

Н О В Ы Й  
М И Р

7

---

1969

7

Н О В Ы Й  
М И Р

1969

# ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 7

Июль, 1969 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания, роман	3
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — Два стихотворения	79
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — У синего моря (Из записок старого охотника)	81
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Из лирики, стихи	104
АЛЕКСАНДР БЕК — Такова должность	106

### ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

А. ВОЛКОВ — Самое важное, самое главное	169
---	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ — Встречи	180
-------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАРДИН — Простые вещи (Заметки о прозе Бориса Лавренева)	216
В. ШЕСТАКОВ — Социальная антиутопия Олдоса Хаксли — миф и реальность	230

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	248
-------------------------------	-----

Л. Антопольский. Точка в мире.— И. Питляр. Посмотри на себя со стороны...— А. Лебедев. Достоинство исследователя.— Я. Гордин. Парадоксы поневоле.— Ст. Рассадин. Наш современник Роберт Фрост.

<i>Политика и наука</i>	264
-------------------------	-----

Ю. Субоцкий. Управление, хозрасчет, самостоятельность.— Вл. Канторович. Социология и промышленные кадры.— М. Гефтер. Великая антиколониальная революция.— А. Морозов. Новое о Разине.— Н. Болховитинов. Т. Рузвельт и «прогрессивное движение».

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Б. Ц. Урланис. История одного поколения.— К. Корнилович. Окно в минувшее.— Л. Е. Кертман. География, история и культура Англии.— Н. Пахомов. Музей «Абрамцево».	282
ОТ РЕДАКЦИИ	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

## ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

*Роман*

*Глава первая*

УХОДЯТ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

1

**С**начала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове.

Я смотрел на черную воду в гавани — как она дымится, а швартовые белеют от инея. Понизу еще была видимость, а выше — как в молоке: если судно причалено вторым корпусом, только рубку и различишь, а мачт совсем нету. Но я-то, когда еще спускался в порт, видел — небо над сопками зеленое, чистое и звезды как надраенные, так что это ненадолго: к ночи еще приморозит и Гольфстрим остудится. Туман повисит над гаванью и сойдет в воду. И траулеры спокойно выйдут в Атлантику.

А я вот уже не выйду. Я свое отплавал. И дел у меня никаких в Рыбном порту не было: просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись, а после — смотаю удочки, да и подамся куда-нибудь в Россию, куда поужнее.

Тут они являются, два деятеля. Вынырнули из тумана.

— Кореш,— кричат,— салют!

Оба расхристанные, шапки на затылке, телогрейки настежь, и пар от них, как от загнанных.

— Салют,— говорю,— кореши. Очень рад видеть.

А на самом деле — никакие они мне не кореши. Ну, с одним-то, с Вовчиком, я корешил недолго, рейса два сплавали вместе под тралом, даже наколками обменялись. У него на пальцах «Сеня» выколото, а у меня — «Вова». Ну зыколото, и ладно. А второго-то, пучеглазого, я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И с ходу лапаться полез.

— Гляди, кого обнаружили! Нос к носу вышли — при такой видимости. Как это понимать, Вовчик?

А так и понимать, думаю. Ты носом своим лиловым всегда кого надо обнаружишь. А раньше всего — денежного человека. Видно же, с кем имеешь дело — с бичами непромысловыми<sup>1</sup>. Которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там «штормяги» и «переплеты». Не портовым девкам, а городским. А все-то ихние «переплеты» — сплзать раз в день отметиться в кадрах, лучше всего — под вечер, когда уже

---

<sup>1</sup> Происходит от английского «beach» — пляж, морской берег, отмель. «To be on the beach» — быть «на мели»; морской сленг -- быть в отставке.

вся роль на отходящее судно заполнена. Ну, и дважды в месяц потолкаться возле кассы, получить свои законные, семьдесят пять процентов. Чем не жизнь? И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры швартуются и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут — гранатами не отобьешься. «Салют, Сеня! Какие новости? Говорят, в Атлантике водички поубавилось, пароходы килем по грунту чешут, захмелиться бы надо по этому поводу. Моряки мы или не моряки?» И знаешь ты их, как родных, а все равно — и поишь и кормишь, потому что любому рылу береговому рад и душа твоя просится на все четыре стороны.

— Что,— спрашиваю,— бичи? На промысел топаете?

— Какой теперь, к шутам, промысел? — пучеглазый орет.— Не ловится в этот год рыбешка. Научилась, швабра, мимо сетки ходить!

— А ты почему знаешь?

— Осподи! Сами ж неделю, как с моря.

А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не морс, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селедки, и тот же Вовчик меня на этом самом причале встретил.

Смутился Вовчик.

— Ну где ж неделя, Аскольд? Больше месяца.

— Да где же месяц?

— А где же неделя?

Уйти бы мне от греха подальше, но, сами понимаете, интересно же— кто сегодня пришел, кого в последний мой день принимают в порту, а верней всего у бичей узнаешь, можно к диспетчеру не ходить.

— Ладно,— говорю,— считаем: неделя без году. Кого встречаете, Вовчик?

— Своих, трехручевских,— отвечает мне Вовчик. А он и правда к женщине одной, инкассаторше, на Три Ручья ездил. Трехручевские ему, конечно, свои.— Триста девятый пришел, «Медуза».

Ну, и пошел, конечно, обыкновенный рыбацкий треп:

— А куда ходили?

— К Жорж-Банке<sup>1</sup>.

— А что брали?

— Окуня брали, хека.

— И хорошо брали?

— Не сильно.

— Штормоваться пришлось?

— Что ты! Штиль всю дорогу, хоть брейся. Гляди в воду и брейся. Хотя окунь-то, он в штиль не любит ловиться.

— Значит, и плана не набрали?

— Да почти что в пролове. Премия-то, ясно, накрылась. Ну, гарантийные получают, и коэффициенту набежит; под Канадой— там вроде ноль-восемь.

Всё знают бичи: и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. Зато уж сами в пролове не бывают.

— Дак вот, плешь какая,— Аскольд опечалился.— Пришли ребята с Жорж-Банки, четыре месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждуют.

— Что ж,— говорю,— целее будут.

Но это они умеют мимо ушей пропустить. Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает:

<sup>1</sup> Джорджес-Банка — обширное мелководье у берегов Канады.

- А у тебя отход на сегодня назначен?
- Нет,— говорю,— кончилась для меня эта музыка.
- Списали, значит?
- Зачем? Сам решил уйти.
- Что ж так?
- А так. Надоело.
- И документы забрал?
- За этим, что ли, дело — с тюлькиной конторой расчихаться?
- Н-да,— говорит Вовчик.— Куда ж ты теперь пойдешь?
- Не пойду,— говорю,— а поеду.
- На другое море?
- Люди, Вовчик, не только ж по морю ходят. И на сухом месте

объякориться можно.

— Можно. Да смотря как.

— Ну, по крайней мере не как у тебя, по-глупому: ни в море, ни на земле.

Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я все же смутил. Да ведь он уже долго бичевал, пообвыкся в бичах, плюнешь в него — умоется.

— Что ж,— говорит Вовчик,— тут грех отговаривать. Если человек решился.

— Да,— говорю,— тут оно твердо.

— Ну, рад за тебя... Не захмелимся по этому поводу?

— Да захмелиться-то недолго...

— А что мешает? Монеты кончились? Вон Аскольд пиджак может заложить, ты расчет получишь — выкупишь.

— Монеты не кончились, Вова. Дураки,— говорю,— кончились.

За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда и звались по-честному моряками, они только переглянулись, когда я сказал про монеты; Аскольд даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были, в пиджаке, в нагрудном кармане, заколотые булавкой,— тысяча двести новыми. Все, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селедку в Северное, к Шетландским островам, и рыба хорошо заловилась, так что мы и премию взяли, и прогрессивку. И сорок процентов начислили мне полярки. А истратил я — на папиросы в лавочке, на лезвия, ну и долги по мелочам роздал, и матери по аттестату. Приход свой, конечно, отметил — рублей на полста. Но уж в кредит на плавбазах не взял ни на рубль и на берегу ни одной стерве не перепало. Кончился для некоторых Сенька Шалай, списывается по чистой и аванса не просит!

Так вот я и говорю им:

— Монеты не кончились, Вова. Дураки кончились.

— Как это понимать, Вовчик? — Аскольд понемногу обидеться решил, багровый сделался, глазищи только на шапку не вылезли. — Это он с матросами не желает знаться?

А Вовчик, друг мой, кореш, засмеялся и говорит:

— Он же шпак теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляже придуркам травить погода, какая в Атлантике сильная погода.

Хотелось мне врезать ему, но ведь кореш все-таки, да и я ему тоже не комплименты говорил,— раздумал и пошел от них подальше. У меня в этот день была мечта — обойти все причалы, пароходы поглядеть, судоверфь, сходить на катере в доки на Абрам-мыс, везде побывать, где я бывал, откуда уходил в море или в ремонте стоял, нес береговую вахту,— а теперь вот сразу и расхотелось. Потому что еще кого-нибудь встретишь и не отвяжешься, такие пойдут беседы.

— Обожди-ка! — Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана. — Значит, не повстречаемся больше? Так, что ли, кореш? А мне и подарить тебе на прощанье нечего.

— Подари, когда будет, Аскольду.

— Он и сам тоже предлагает: подарить бы чего дураку. Чтоб хоть память осталась. А хочешь — мы тебе курточку сосватаем?

— Какую еще курточку?

— Лопух, в чем же ты уедешь?

Подошли, и Вовчик меня взял за пальто, раздраил на груди:

— Срам! Девки на первом броне засмеют. Ну, флотский! Ну, северный! Бостоном не мог обшиться, макен позаграничнее нацепить. Жмешь-ся вот, а себе же и прогадываешь. Где он, этот-то, с курточкой?

— Здесь он. — Аскольд куда-то рукой махнул. — Между пакгаузов ходит.

— Понимаешь, механичек тут один, с торгового, такого курта загноет: ты во сне увидишь, проснешься и опять скорей заснешь!

— Норвежская! — пучеглазый орет. Чем другим, а глоткой бог не обидел малого. — С мехом, понял, на подстежке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, темненькая такая, в дымчик. Что ты! У спекулей разве такую достанешь?

— А он что, не спекуль, торгаш этот?

— Ну где же спекуль? — Вовчик мне доказывает. — Сотнягу просит. Можно считать — даром отдаст. Ну, бывает несчастье у человека — купил, а не в размер. А на тебя, мы так прикинули, в сам раз.

А я, в том-то и дело, насчет такой курточки давно мечтал. Сраму-то на мне не было — вот уж на них срам, это точно! — а у меня пальто было велюровое, с мерлушкой, костюм коверкотовой, шапка тоже в порядке, я себя расхристанным не допускал ходить. Но все мое — что на мне надето. Так и затаскать недолго, следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было — один тельник под сорочкой. Раньше я про это не думал, а как с флота решил списаться, вдруг пришло в голову. Все-таки море меня видело, и я его тоже повидал.

— Чего раздумываешь? — спросил Вовчик. — Так он тебя и ждал, торгаш, с этой курточкой! Ну-к, стой тут на пирсе, никуда не беги...

Прихлопнули меня по плечам, и нет их, растаяли. А я стою и жду. А потом думаю: лопух я, вот уж действительно! Доверился бичам, чтоб они мне барахло сватали. Ведь они, как пить, четвертак еще за комиссию попросят, у них такой преysкурант, за прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия! Что я, сам бы не мог торговаша этого повстречать? К тому же на моих золотых, смотрю, уже два пробило, вот-вот стемнеет.

И снялся я с места, пошел по причалам, под кранами, вдоль пакгаузов. Потом увидел — ни к чему все это. Да и туман. Хороший я себе денек выбрал для прощания! Но ведь его не выбираешь, проснешься как-нибудь утром — или сегодня, или никогда! А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь — так и раздумает.

И все-то я знал в Рыбном порту, любую дорогу отыскал бы с завязанными глазами — только по запаху, по звуку. Вот я слышу: соленой рыбой уже не пахнет, а пахнет мороженым свежем, аммиаком — это я на десятом причале, возле рефрижераторов. Дальше мочеными досками запахло, ручники стучат по железу, шофера матерятся — тарные склады, двенадцатый причал, здесь контейнеры набивают порожними бочками. Еще дальше: нефтяной дурман и нососы почмокивают — там уже тринадцатый, там топливо берут и воду. А после — с контильни по-

несет, как будто сто траулеров поыворачивали трюма наизнанку, и тут уж определишь — справа несет или слева, от воды идешь или к воде.

Если бы я еще лет пять проплавал, я бы и не это знал — чьи там гудки и тифоны перекликаются, чья сирена попискивает — водолазов зовет или сварщика, и как этого диспетчера зовут, который в динамик хрипит на всю гавань:

— «Чеканщик»! Включите радио, «Чеканщик»!.. Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал...

Но я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватило бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А может быть, и не прожил бы — человек же про себя ничего не знает, это точно.

У центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел — кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь.

Однако бичи меня разглядели. Совсем, бедняги, задохлись, но догнали у проходной. И с ними торгаш, с чемоданчиком. А я и забыл про них.

— Что же ты подводишь? — Аскольд кричит. — Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как это понять, Сеня?

Торгаш меня сразу глазами смерил.

— Этот, что ли? Напялим.

Он мне понравился, в порядке был морячок — такой ладненький, резвый, шуба-канадка на нем с шалевым воротником, мичманка на месте, козырек на два пальца от брови. Это мы, сельдяные, все больше в пальтишках, в телогреечках. А торгаши себя уважают.

Мы отошли шага на два, стали за щиты с газетами, и тут он вытащил свою курточку.

Какая это была курточка! Просто явление природы, и более того. Поперек груди — белые швы зигзагами, подкладка сиреневая, скрипучая, потайные карманы внутри на молниях, с хитрыми какими-то замочками, и по бокам еще два косых, белым мехом отороченных, и капюшон на меху, а от него до пояса молния, и пояс — широкий, на резине, а в плечах погончики вшитые с «крабом», без всяких там якорей, якоря — это старо, и рукава тоже мехом оторочены и на молниях до локтя, можно закатывать их и руки мыть. А насчет цвета и говорить не будем — как штормовая волна баллах при восьми и когда еще солнце светит сквозь тучи...

— Сдохнуть можно, — пучеглазый чуть не навзрыд. — Эх ты мой куртярик!

— Ладно, ты, — Вовчик ему сурово. — Не куртярик, а прямо-таки куртенчик. Ты только руками не лапай, твоим он не родился.

— Ну как? — торгаш говорит. — Тот самый случай?

Мне бы спросить, почему твое сокровище, но так же не делается, так только вахлаки на базаре торгуются, надо сперва намерить. Я скинул пальто, дал его Аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась «в сам раз», ну чуть свободна в плечах. Но это ведь не на год покупается, я же еще раздамся.

Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается. Потом открыл чемоданчик — там у него в крышке вделано зеркальце.

— Не торолись — говорит, — посмотришь подольше. Надо же знать, какое действие производишь.

Вид был действительно — как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее. Рот бы чуть пошире. Глаза бы — не зеленые, а серые. И волосы без этой дурацкой рыжины. Но ничего не поделаешь.

— Сколько? — спрашиваю.

— Нравится?

— Можно, — говорю, — принять за основу.

— Ну, если нравится, то полторы.

— Как «полторы»? Ты же сотню просил.

— За такую курточку, родной, не просят. За нее сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал — сотню?

Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись.

— А больше, — говорю, — она не стоит.

Торгаш моментально мичманку с меня стащил и куртку расстегивает.

— Будь здоров, — говорит. — Привет капитану!

— Постой. — Я уже понял, что так просто мне с нею не расстаться. — Сколько, если для конца?

— Вот для конца как раз полторы. Для начала две хотел, но — засовестился. Вижу — идет тебе.

Я потянулся было за пиджаком, а Вовчик уже, смотрю, вынул всю пачку, развернул платок и сам отмусоливает пятнадцать красненьких. Торгаш их перешупал, сложил картинка к картинке, последнюю — поперек, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со щита, завернул мне пиджак.

— Ну, сделались? — торгаш говорит. — Носи на здоровье.

— Что ты! — Аскольд ему улыбается и берет под локоть. — Не-ет, — говорит, — это мы еще не сделались. Не знаешь ты нашего Сеню. А он у нас — добрый человек. Правда ж, Сеня?

Откуда ему, пучеглазому, знать, добрый я или злой? Первый раз человека видит. Добрый — значит, всю капеллу теперь захмели. А торгаш и так на мне руки нагрел, с ихней же помощью.

— Конечно, — говорю, — добрей меня нету.

— А замечаеть, Сеня? — все пучеглазый не унимается. — Мы с тебя за комиссию ничего не берем. А вообще — берут. Замечаешь?

Да, думаю, тяжелый случай. Ну, что поделаешь, раз уж я в эту авантюру влез.

— Гроши-то возьми, — напомнил Вовчик. — Раскидался.

Я взял у него пачку, уже завернутую и булавкой заколотую, и так это небрежно затиснул в курточку, в потайной карман. Не люблю, когда на чужие деньги смотрят!

## 2

И мы, значит, с ходу взошли в столовую — тут же, у центральной проходной, — и сели в хорошем уголке, возле фикуса. А над нами как раз это самое: «Приносить-распивать запрещается».

— Это ничего, — говорит Вовчик. — Это для неграмотных.

Одоложил у торговца самописку и приделал два «не». Получилось здорово: «Не приносить и не распивать запрещается».

— Вот теперь, — говорит, — для грамотных.

Но мы все сидели, грамотные, а никто к нам не подходил.

— Бичи, — говорю, — не отложим ли встречу на высшем уровне?

— Что ты! — Аскольд вскочил. — С такими финансами мы нигде не засидимся. Сейчас пойду Клавку поищу, Клавка нам все устроит, на самом высшем.

Пошел, значит, за Клавкой. А торгаш поглядывал на нас с Вовчиком и посмеивался. У них в торговом порту все это почище делается, и

никто этих дурацких плакатов не пишет. Все равно ведь приносят и распивают, только не честь по чести, а вытащат из-под полы и разливают втихаря под столыком, как будто контрабанду пьют или краденое.

Пришла наконец Клавка, стрельнула глазами и сразу, конечно, поняла, кто тут главный, кто будет платить. Передо мною и с чистой скатерки смела.

— Мальчики,— говорит,— я вам все сделаю живенько, только чтоб по-тихому, меня не выдавайте, ладно?

— Сколько берем? — Аскольд захрипел. По-тихому он говорить не умеет.

— Ну, сколько,— говорю,— четыре и берем, раз уж мы сидя, а не в стоячку. Пора уже вам жизнь-то понимать!

— Вот это Сеня! Добрый человек! А ты думаешь, Клавдия, почему он такой добрый? А он с морем прощается нежно, посуху жить решил.

Очень это понравилось Клавке. Смеется Клавка:

— Вот, слава богу! Хоть один-то в море ума набрался. Ну, поздравляю.

— А ты думаешь, Клавдия, мы не добрые? Видишь, как мы его прибаракхлили?

— Вижу. Хорошо, если эту курточку и его самого в придачу до вечера не пропъете.— Клавка мне улыбнулась персонально. — Ты к ним не очень швартуйся, они пропащие, бичи. А ты еще такой молоденький, человеком можешь стать.

Вся она была холеная, крепкая. Красуля, можно сказать. А лицо этакое ленивое и глаза чуть подпухшие, будто со сна. Но я таких знаю. Когда надо, так они не ленивые. И — не сонные.

— Кому от этого радость,— спрашиваю,— если я человеком стану? Тебе, что ли?

Опять она мне улыбается персонально, а губы у нее обкусанные и яркие, как маков цвет. Наверно, никогда она их не красила.

— Папочке с мамочкой,— говорит.— Есть они у тебя?

— Папочки нету, зато мамочка ремнем не стегает. Неси. чего там у тебя есть получше.

— Не торопись, все будет. Дай хоть наглядеться на тебя, такого залетного...

Торгаш посмотрел ей вслед, как она плывет лодочкой, не спеша, чтоб на нее подольше глядели, и даже присвистнул.

— Хорошая,— говорит,— лошадь. Я бы уж не пропустил, ухлестнул бы на твоём месте.

— Что же не ухлестнешь?

— Своя имеется. Пока хватает.

— Тоже и у меня своя.

— Это другое дело.

Правду сказать, насчет «своей» это я так брякнул. Были у меня «свои», только они такие же мои, как и дяди-васины,— но вот за такими клавками, крепенькими, гладкими, на портовых щедрых харчах вскормленными, я еще салагой гонялся. И с ними-то я быстрее всего состарился.

Принесла она «рижского» на всех и закусь, какой и в меню не было,— жаркое домашнее и крабов, даже копченого палтуса. Поставила передо мною поднос и стала — руки в бока.

— Угодила?

Я и не посмотрел на нее.

— Ух ты рыженький, какой сердитый! А говорил, что жизнь понимаешь. Как же ты ее понимаешь, скажи хоть?

Ни больше, ни меньше захотела знать! Да еще я почему-то рыженький для нее. Ну, есть малость, но никто меня так не называл.

— Сколько надо.— говорю,— столько понимаю. На все другое боцман команду даст. Что касается тебя -- не глядя вижу.

— Ах,— говорит,— какой залетный!..

Опять они с Аскольдом ушли, потом он приносит, озираясь, четыре поллитры в телогрейке, и мы с них зубами содрали шапочки, налили по полному и закрасили пивом.

— Ну что,— говорит Вовчик,— будем, значит?

— Будем! — Аскольд заорал.— Умрем за курточку!

У меня сразу перехватило в горле, но я все же стакан опорожнил раньше их.

— А ты здорово,— торгаш сказал.

Он и то заслезился, а уж, наверное, отведал там, в загранке, и ромов и джинов. Стали закусывать быстренько, как будто нас кто-то гнал.

— Вот, Сеня,— Вовчик ко мне придвинулся и начал втолковывать. Он всегда, как выпьет, чего-нибудь втолковывает. Тем он мне и надоел.— Видишь, как все красиво, по-мирному получилось, а ты уже и знаясь с нами не хотел. А я тебе так скажу, Сеня: не отрывайся ты от бичей, они тебе родная почва. Настоящих бичей, как мы с Аскольдом, мало осталось, все — шушера, никто тебе не поможет. Вот ты с флота уходишь, а никого вокруг тебя нету, один ты по причалам шляешься. Почему бы это, Сеня? А мы тебя и проводим, и на поезд посадим, рукой хоть помашем тебе.

Торгаш мне подмигнул:

— Пропаганда.

Но мне вдруг так жалко стало Вовчика. Ведь спивается мужик, и ничего я тут не подедаю. Я его бить хотел — ну куда его бить! Руки у него трясутся, капли по бороде текут, глаза мутные, в них жилки краснеют. И Аскольда пучеглазого мне тоже стало жалко. Орет, дурень такой, рот у него не закрывается, губы никак не сложит, ну жалко же человека, разве нет!

И так мне захотелось утешить Вовчика, и Аскольда утешить, и торгаша заодно: он тоже ведь человек — наверное, не от хорошей жизни такую курточку толкнул...

— О чем говорить, бичи! — Это я, наверное, во всю глотку рывкнул, потому что набилось в кафе много портового народа, и все на меня глядели.— Вечером отвальную даю — в «Арктике»! Всех приглашаю!

Бичи мои взвеселились, Аскольд ко мне лизаться полез, чуть глаз мне не выколол щетиной.

— За что я тебя полюбил?— говорит.— Я всем скажу: «Он такой человек! Таких теперь нету. Все умерли!»

А Вовчик справился с нервами и говорит:

— Отвальная — это здорово! Святой закон. А сколько ж ты на нее отвалишь?

— О чем ты говоришь, волосан! — Аскольд ему рот ладошкой прикрыл.— Мелко плаваешь, понял? Не хватит у него, так я пиджак заложу. Сейчас вот Клавку позову и заложу!

— Не надо,— говорю,— поноси еще. У меня на всех хватит.

— На всех-то это что! — кореш мой, Вовчик, соображает.— А ежели мы с собой кого приведем?

— Валяй, приводи свою трехручьевскую. И я свою приведу.

— Ясное дело.— Аскольд кивнул.— А кто она у тебя? Может, она какая-нибудь тонкая, не захочет с бичами в ресторане сидеть. Ей это за хороший тон не засчитают.

— Как так не захочет? Раз я с вами приду — значит, захочет.

— В общем, так,— подводит Вовчик черту,— столик на восемь персон.

Он всем опять налил по полному, и мы опрокинули, а пивом уже не закрашивали, не до того было, и тут я почувствовал, что не худо бы и кончить.

Я закусил наспех, а потом встал и качнулся, голова пошла кругом, но все же выстоял.

— Салют вам, бичи! До вечера.

— Да посиди ты.— Аскольд меня не пускал.— И не побеседовали... Интересный же ты человек!

— В «Арктике» побеседуем. Все в «Арктике» будет.

Тут Клавка подошла, не понравилось ей, что мы так расшумелись, и я ее взял за плечи и поцеловал за ухом, в пушистые завитки.

— И тебя, дуреха, тоже приглашаю.

Она и не спросила — куда, только кивнула и засмеялась.

— Значит, так,— Вовчик все о своем,— считаем: два червонца на первый заказ. И кой-кому на лапу один.

— Это точно,— Аскольд подтвердил.

Черт знает откуда это они высчитали. В жизни, наверно, за порядочным столиком не сидели, с таких всегда деньги вперед просят. Да мне перед Клавкой не хотелось торговаться. И неудобно было, что деньги у меня в платке, как у какого-нибудь сезонника. Но Клавка не стала смотреть, собрала посуду и ушла, а я развернул всю пачку и отсчитал — и на заказ, и на лапу, и за все, что мы тут имели, и еще приложил червонец.

Торгаш заторопился, надел свою мичманку и снова сделался ладенький, ни в одном глазу.

— Погоди.— Аскольд мне сказал,— Клавка тебе сдачу сосчитает.

— Сами сосчитаете.

Все равно у вас, думаю, с Клавкой одна коалиция. Ну, и черт с вами, а я буду — добрый. Помирать мне придется с голоду — вы мне копы не подкинете, знаю. И все равно я буду добрый. Вот я такой. Я добрый, и все тут.

Торгаш вышел со мною.

— Ты,— спрашивает,— давно их знаешь?

— А что?

— А то, что девка правду сказала, ты к ним не больно жмись.

— Такая же она, эта девка!

— А не важно, кто учит. Ко всем прислушивайся.

— Вот это здорово,— говорю,— я до этого еще не додумался.

— Оно и видно, родной. Groши попридержи, не раскидывайся. Уродовался, наверно, в море за эти гроши.

— А для чего ж уродовался? Чтоб скрипеть над ними? Зато я добрый.

— А с добрых, родной, семь шкур дерут и все мало кажется.

Ну что вы скажете — профессор! Но, между прочим, сам полторы шкуры содрал — от стыда не помер.

— Будь здоров,— говорю.— Придешь в «Арктику»?

— Точно не обещаю. А в смысле курточки — вспомнишь не раз. Ей сносу не будет. Заляпаешь — потри ацетончиком, и опять она новая.

— Вспомню,— говорю,— потру ацетончиком. Салют!

Я вышел из порта веселый, и мороз мне был нипочем, вот только пиджак и пальто неудобно было тащить — все, кто ни шел навстречу, ухмылялись: ну и фифан, обарахлился, до дому не утерпел. И я подумал: сколько ни живи с людьми, а что они про тебя запомнят? Как ты глупый и выпивший по набережной шел. И пускай, я ведь сюда не вер-

нусь, а если и потянет море, так вода везде найдется — и в Батуми, и на Каспии, и возле Сахалина.

Сверху уже не видно было — ни воды, ни причалов, ни пароходов, сплошное облако плыло между сопками. Небо загустело к ночи, стало ветреней, и пока я шлепал к общаге — мимо вокзала, мимо мореходки, по-над верфью, — понемногу голова засвежела. И тут я вспомнил про бичей. И чуть не завыл — господи, а зачем я этот цирк затеял! На всю столовую разошелся: «Всех приглашаю!» Видали лопуха?

А ведь эти деньги, если на то пошло, уже не мои были. Вот я им брякнул насчет «своей», а ведь я правду сказал. Была девочка. И это я из-за нее решил с флота уйти. И уехать отсюда с нею — не знаю куда, это мы потом решим, вместе. А кто же нам на первое время поможет? Вся надежда была на эту пачку. А она уже заметно потоньшала: я руку приложил — и то почувствовал, сквозь куртку.

Я шел как раз мимо Милицейской, где Полярный институт, и хотел уже дойти до общаги, закинуть шмотки, но посмотрел на часы — около четырех, а в пять она кончает работу. Потом ее кто-нибудь провожать придется или в кино позовет: в наших местах девочку скучать не заставят.

Старуха вахтерша кинулась на меня, но я сказал ей:

— Мамаша, метку несу.

А это как пароль. Метят эти ученые деятели пойманную рыбу, цепляют на жабры такие бляшки и выпускают, а рыбаков просят эти бляшки приносить и рассказывать — где эту рыбу снова поймали, на какой глубине, плотный ли был косяк. Который год они ее метят, а рыба все та же в Атлантике, на палубу сама не лезет. Однако новый рубль за такую метку дают.

Так что старуха меня пропустила, только велела шмотки на вешалку сдать. А спросила бы — покажи метку, я бы еще чего-нибудь придумал, на то я и матрос.

На втором этаже ходил по площадке очкарик, что-то под нос себе шептал. Такой веселяга — отрастил бородку по-северному, как у норвега. а теперь щиплет и морщится. Житья человеку нет.

— А нельзя ли, — говорю, — вызвать Щетинину?

— Лилию Александровну?

— Ага, — говорю, — Александровну.

Оживился очкарик. Вот такие, наверное, и пришиваются. Черт-те чего он ей нашепчет, а девка и уши развесила.

— К вам, — спрашивает, — вызвать?

— Ага, к нам.

Уставился на меня сквозь очки. Но я прилично держался, в сторонку дышал.

— Нельзя, — говорит, — она в лаборатории. Простите, рабочее время.

— Ах какая жалость! А то к ней брат приехал, из Волоколамска. Сегодня же и уезжает.

И откуда у меня в башке Волоколамск взялся? Старпом у нас был из Волоколамска.

— Это вы — брат?

— Нет, что вы! Он там внизу дожидается.

— Почему же вошли вы, а не он?

— Знаете — глухая провинция. Стесняется.

Пошел все-таки звать. Вот тебе и очкарик. С бородой, а не сообразит, что может парню девка просто так понадобится вдруг до зарезу. Хотя бы и в рабочее время.

Наконец она вышла, Лилия. И он за ней выглянул.

— Лилечка, я понимаю, брат, но мы и так не укладываемся...

Такой он был вежливый, никак не мог уйти, стучал дверьми в коридоре, а мы стояли, как дураки, молча.

Потом я спросил у нее:

— Сразу догадалась?

— Нет. Подумала — кто-нибудь из моих.

Мы стали у перил. Тишина тут, как в церкви, по всей лестнице малиновые ковры и всюду, куда ни помотришь, картинки: какая на белом свете водится рыба и как ее ловят — кошельком, тралом, дрефтерными сетями, на приманку, на свет. Почему-то ни разу я к ней сюда не приходил. А вот «мои» — наверное, побывали.

— Кто же они, «твои»? Что-то не рассказывала.

— Разве? Из Ленинграда приехали. Завтра уходят в плавание.

— На «Персее»?

Есть такое поисковое корыто, больше чем на две недели не ходит.

— Нет, в настоящее плавание. На полный рейс. Они не рыбаки, я с ними в школе училась. Пойдут на сейнере, простыми матросами.

— Романтики захотелось?

— Не знаю. Может быть, просто заработать.

Я засмеялся.

— Тогда б они на логгере шли, на СРТ. А то все чего-то на сейнерá ломаются.

— Ну, я ведь не разбираюсь. Может быть, и на логгере.

— Ладно,-- говорю.— Покурим?

Никогда мне не нравилось, если девка курит, но у нее это хорошо выходило: сигарету она разминала, как мужик, и когда затягивалась, голову склоняла набок, смотрела мимо меня. А я на нее поглядывал сбоку и думал: чем она может взять? Она ведь и угловатая, и ростом чуть не с меня, и жесткая какая-то -- руку пожмет, так почувствуешь, — и бледная чересчур, по морозу пройдет и не покраснеет, и волосы у нее копной, как будто даже и не причесанные. Но вот глаза хорошие, это правда, у нее первой я это заметил, а насчет других и не помню, какие у них глаза. Вот у нее — серые. И не в том даже дело, что серые, а какие-то всегда спокойные. Вот я и думал: это она с другими — и угловатая и жесткая, а со мною — самая мягкая будет, самая милая, всегда меня поймет, и я ее только один пойму.

— Вот так, Лиля...

— Да, Сенечка?

— Одни, видишь, в плавание уходят. А другие... некоторые... с флота уходят.

— Совсем уходят некоторые? — Поглядела искоса и улыбнулась чуть-чуть.— Много мы сегодня выпили?

— Ну, выпили. Разве плохо?

— Почему же? Для храбрости, наверное, не мешает. Курточка тоже по этому поводу?

Я к ней стоял плечом, облокотясь так небрежно на перила, как будто эта курточка была на мне год. Но перед нею-то ни к чему было выставляться. И как-то я чувствовал: не выйдет у меня сейчас сказать ей, что хотел.

— Я тебе что-нибудь должна посоветовать?

— Не должна.

— Ты ведь и раньше говорил, что уйдешь.

— Раньше говорил, а теперь -- ухожу.

— Наверное, тебе так будет лучше?

Вот тут бы как раз и спросить: «А тебе?» Но какая-то немота дурацкая на меня нападала, когда я с ней говорил.

— Учиться мне, что ли, пойти? Тоже дело.— А я еще и за минуту про это дело не думал.— Только вот куда?

Она как-то вяло усмехнулась.

— А тут я тебе и вовсе не советчица. Если даже про себя не могла решить. В свое время я это предоставила решать маме. Наши мамы не всегда же говорят глупости. Все я никак не могла выбрать после школы — в медицинский или на журналистику. Почему-то все мои подружки шли или туда, или туда. А мама сказала: «Пойдешь в рыбный». Почему в рыбный? «Там конкурс поменьше». Я бесилась, редела в подушку, хоронила себя по первой категории. А потом — ничего, успокоилась.

— И теперь не жалеешь?

— А что я, собственно, потеряла? Талантов же никаких. Самая обыкновененькая. Как все.

Только это я от нее и слышал. «Ничего мне не надо, Сенечка. Я — как все». Да всем-то как раз и хочется: одному денег побольше и чтоб работа не пыльная, другому — чтоб ходили под ним и отдавали честь, третьему — только семейное счастье подай, дальше трава не расти. А ее — ну никак я не мог зацепить, ну всем довольна. Но я-то видел, как ей жилось — в чужом краю, без жилья своего, без грошей особенных, без папы с мамой, — она без них не привыкла, письма писала им чуть не каждый день.

— Отчего ты вдруг загрустил? — Положила мне руку на руку.— Ну, не со мною тебе советоваться, что я в твоей жизни понимаю?

Бог ты мой, если б она знала — все она мне уже посоветовала. Еще когда я ее увидел. Не она бы, так я бы все жил, как живу, и ни о чем не думал. кидал бы гроши налево-направо, путался с кем ни придется...

— И ты ведь главное уже все решил. Завидую тебе, честное слово. Чувствую твое блаженное состояние. Может быть, самое лучшее — когда ничего не знаешь, что у тебя впереди.

В окнах почернело, вахтерша зажгла свет в люстре и пригляделась: чего это мы примолкли на лестнице? Так я и не сказал еще, ради чего пришёл, не мог даже подступиться. Но впереди была «Арктика»: там-то хорошо языки развязываются. Там я скажу ей — или потом, когда пойду провожать: «Уедем отсюда вместе». Вот так возьму и брякну. «Куда?» — она спросит. «А куда глаза глядят». Лишь бы она не спросила: «Почему вместе?» Но, наверно, что-нибудь же придет мне в голову. Тут уж как бог на душу положит.

Я спросил:

— В «Арктику» не пойдешь сегодня?

— Знаешь, мои хотят какой-то сабантуй устраивать, прощальный. У меня в комнате. Им же больше негде. Я их в наше общежитие устроила, но там такие строгости, боже мой... И ты приходи, если хочешь.

— Спасибо.

— А почему именно сегодня в «Арктику»?

— Можно и завтра. Только я договорился, компания будет. Ну, можно и отменить.

— Зачем же? Просто так или мероприятие?

— Отвальную даю.

— Так полагается по вашим морским законам? Тогда я, пожалуй, приду. Ну, я постараюсь. А что за компания?

— Обыкновенная. Бичи.

— Господи, всюду только и слышишь: «бичи», «бичи», а я ни одного живого бича в глаза не видала. Ты знаешь, я, кажется, все-таки приду. А если я своих сагитирую?

— Как хочешь.

— Нет, как ты скажешь.

— Ты ведь их для себя приведешь?

— Нет.— помотала головой.— Если так, то не нужно. Я что-нибудь соображу. Как от них смяться. Фактически им же только хата нужна.

— А ты?

— Ну и я — до определенного градуса. Но вообще-то они грозились каких-то дам привести. Тут-то я и смоюсь. Ты не заходи за мной, лучше я сама...

Как раз он и высунулся, очкарик. И мы притушили свои окурки.

— Лилечка, я же просил...

— Да-да, Евгений Серафимыч, куда же вы делись?

Он на меня сверкнул стеклышками, я ему сделал ручкой и скинулся по лестнице. А когда брал шмотки на вешалке, слышно было, как он ее допрашивал:

— Где же, простите, брат? Это он и есть?

И быстренько она ему заворковала. Это она умела — чтоб на нее не обижались.

Вахтерша на меня заворчала, где же, мол, метка, шашни тут развели, обманывают старого человека, а мне ее жалко стало: платят с гулькин нос и всякая шантрапа вокруг пальца обводит. Я ее погладил по голове, а она зашипела и вытолкала меня на улицу.

## 4

Из комнаты все разбрелись куда-то. Я завалился на койку вниз лицом, но и минуты не пролежал, как стало укачивать, и пошел в умывалку смочить голову под краном. Тут-то меня и развезло: будто бы с лица не вода текла, а слезы. и вправду мне захотелось плакать. бежать к ней обратно на Милицейскую, умолять, чтоб она непременно пришла, а то я напьюсь в усмерть с бичами. они же только и думают, как меня побольше выставить. А с нею мне никто не страшен, мы посидим и уйдем от них, а завтра возьмем билеты. Колеса будут стучать, деревья полетят за окном, все в снегу... Много я еще городил глупостей, но вот когда она мне стала отвечать, тут я и понял: все это бред собачий, не больше. Я с нею часто так разговаривал, и немота проходила, и оказывалось — она меня с полуслова понимала, отвечала мне, как я и ждал.

Я пошел обратно в комнату, лежал там без света. А когда перевернулся на спину, луна светила в окно, а на полу почему-то снег лежал, серебрился и чернели переплеты от рамы. Соседи как будто вернулись, посапывают на койках, это значит — за полночь, в «Арктику» я опоздал, проспал все на свете! Но кто-то, я слышу, идет — по длинному-длинному коридору, — и отчего-то мне известно: это она ко мне идет. Мне страшно делается — нельзя же ей сюда, они же проснутся, шуток потом таких не оберешься... И слышу вдруг — шарк-шарк! — громадный кто-то, пятиметровый, волочит свои подошвы. И ржет по-страшному. Она от него кинулась — по длинному-длинному коридору, а за нею — с топотом, ржанием, с жуткой матерщиной, их уже несколько, кошмарные какие-то не люди, жеребцы, их убивать надо! Она закричала, побежала быстрее, но от них не убежишь. догнали, топчут сапожищами. И хочу я крикнуть ребят на помощь, один же я не спасу ее, но — не могу крикнуть, меня самого завалили чем-то душным. А там ее добивают, затапывают, и регот доносится конский, и вопли, как будто динамик хрипит на всю гавань: «Ее больше нету!.. Есть еще!.. А вот теперь нету!..» Я забился. отодрал голову от подушки.

Господи, это старуха уборщица шастала метлой под тумбочками, выбивала банки из-под консервов, табуретки ставила на койки ножками вверх. Она мне и удружила, простыню завернула на лицо.

— Нету! — кричит. — Нету меня тут больше — жеребцов обихаживать!

— Чего шумишь, нянечка?

Подскочила ко мне с метлой наперевес:

— Проснулся, сынок? А банки с-под сайры — это дело под тумбочки шибать? Окурки, обгрызки... Плевательницы нету? Коменданту сказала! Пускай, скажу, вас всех в умывалку переселяет. Там себе живите, там себе гадые, а меня нету!

— Это ты неплохо придумала. Все равно мы тут временные.

— А, временные! Ну так и я тоже временная... Закурить не найдется?

Я ей дал «беломорину».

— Все! — говорит. — Ушла я!

И вправду ушла. А я полежал еще, сердце у меня жутко как колотилось. Совсем я стал никуда, а ведь двадцати шести еще не стукнуло парню. Но и то спасибо, разбудила к полвосьмому, как раз время осталось почиститься и брюки смятые вытянуть.

Автобуса я не стал дожидаться — сомлешь в толчее и завезут к чертям на рога, куда-нибудь в Росту, — пошел своим ходом, чтоб совсем развеяло. А возле «Арктики» уже полно было страждущих, и табличка висела: «Все места заняты». Но гардеробщик сам меня пригласил:

— Проходи вот этот, в курточке. У него столик заказан.

Он свое дело знал, даром что однорукий. Кого не надо, не пустит. Каким-то нюхом определит, при деньгах ты сегодня или же на арапа рассчитываешь. И номерков он не выдавал, всех в лицо помнил: хоть своих, хоть приезжих. Выходишь из зала — он уже вам пальтишко несет.

— Ко мне, — говорю, — особа должна подойти. Звать Лилей.

— Простите, не запомню.

— Вы меня с нею видели. Каштановая. Любит зеленую покраску.

Склонил голову набок. Я ему подал трешку, он ее смахнул в кармашек, снял с меня шапку, куртку, отстегнул мех и снова на меня ее надел.

— С обновочкой вас!

Насчет курточки это он усек, а спроси его, как меня зовут, он ушами захлопает.

В зале было полным-полно и накурено будь здоров. На эстраде четыре чудака старались — скрипка, два саксофона и баян, — снабжали музыкой. Но — не качественной, а так себе, «Во поле березонька стояла». Бичи мои сидели в углу, хоть потертые, но прикостюмленные, Вовчик даже галстук надел. Держали столик, как долговременную огневую точку. С ними — Вовчикова Лидка трехручьевская и Клавка. Ну, Вовчикова — не подарок, жилистая, мослатая, злющая, видать; все щипала свой перманент и глазки на лоб заводила. А Клавка сидела королевой — кофта на ней голубая, силовая, с перламутровыми пуговками, в ушах сережки золотые покачиваются, и вся она розовая, вся лоснилась и плавающим обмахивалась сложным, вместе веера.

Бичи мне замахали, и я уже было двинулся к ним, когда вдруг увидел «деда»<sup>1</sup>.

«Дед» сидел один за столиком, и, верно, давно уже сидел, китель был расстегнут на три пуговицы. Рядом еще стоял стул, но прислоненный, — «дед», верно, ждал кого или не хотел, чтоб садились. Он здоро-

<sup>1</sup> Старший механик на судне.

вс сдал за то время, что мы не виделись, морщины пошли по шее. Но плечи еще были прежние, в порядке плечики, только обвисли немного.

«Дед» меня тоже увидел и не сказал мне ни «здравствуй», ни «салют», а выволок стул и улынулся.

— Присаживайся. Алексеич. Откуда такой красивый?

Так он меня звал — Алексеичем, как будто я был старпом или хотя бы третий штурман. Тут же и официантка подскочила, как по вызову для начальства.

— Маленькая, — сказал ей «дед», — один прибор Алексеичу. А заказывать он еще не научился, я сам закажу, мне же и запишешь.

Меню он поднес почти к глазам и стал шарить пальцем.

— «Дед»... Понимаешь, я тут с компанией.

Я ему показал на бичей. «Дед» на них поглядел сурово и покривился. Бичам даже стало не по себе, втянули головы в плечи.

— Это они тебе компания?

Я засмеялся. Отчего-то всегда бичей узнают, хотя и прикостюмленных. Официантка тоже покривилась.

— Затралил, — говорю, — по дороге. Разве от них отвяжешься?

— Отвяжись.

Ни от кого не стал бы я слушать, кто мне компания, а кто нет. Но «дед» и не то мог мне сказать, и я бы послушался.

— Не выгонять же

— Да уж теперь-то пускай сидят, пропащих тоже не обижают. Закажи им там чего-нибудь и приходи. Мы ведь с тобой год как не виделись.

— Год и два месяца, «дед».

Я сходил к бичам — сказать, чтобы заказывали себе чего хотят, а счет бы прислали. И чтоб держали два места, как договаривались. Клавке это не понравилось но плевать мне было на Клавку, она с Аскольдом пришла, вот пусть и будет весь вечер Аскольдова.

Когда я вернулся к «деду», официантка ему распечатала коньяк, и «дед» мне налил полфужера.

— За твой приход, Алексеич. Ты когда пришел?

— Восьмого дня.

Я тут же язык прикусил; как же так вышло, что я с ним не повидался?

— А я вот завтра отчаливаю. Ну, ты не красней, меня обнаружить трудненько было. Полмесяца, с утра до ночи, на Абрам-мысу пропадал. В плавдоке стояли.

— Почему в доке, «дед»?

— Заплату пришивали на корпусе. Вот за нее тоже. — Он первый выпил, понюхал ладонь и зарычал. А мне протянул на вилке лимончик.

— Ты на каком теперь, «дед»?

— Восемьсот пятнадцатый. «Скакун».

Когда-то мы вместе плавали на «Орфее», потом «дед» прихворнул, а я с кепом поругался — не помню уже, на какую тему, — и разошлись мы на разные пароходы<sup>1</sup>.

— Что ж это делается? — сказал я «деду». — Нам же твой «Скакун» сети передавал в Северном, когда вы с промысла уходили. А я и не знал, что ты на нем.

— А ты, значит, на «Сирене» был? — сказал «дед». — Ну, где же знать? Я даже на палубу не вышел. Так бы хоть перекрикнулись.

— А заплата — какая? Есть о чем говорить?

<sup>1</sup> Траулеры, конечно, не пароходы, на них стоят дизели, но так их называют моряки.

— Да повыше ватерлинии. Но длинная, на две шпации. Машину захватывает. Все ржавчина поела.

— Но хоть заварили как следует? Принял Регистр?

«Дед» усмехнулся.

— Тебя что больше интересует — как заварили или как приняли? Не знаешь, как это делается? Свидетельство — имеем. Прикроемся, когда потечет, больше-то на что надеяться? Там уж — ни ангел не явится, ни чайка не прилетит.

Мне неприятно было, что он так шутит. Знал я, как это иной раз делается. Являются три субъекта на судно, шупают заплату пальчиками и при этом морщатся, и все их стараются побыстрее в каюту проводить, выставить им спиртяги или трехзвездочного. Но только у «деда» это было не в обычае. Все-таки здорово он сдал, наверно. Раньше он капитанам головы отвинчивал, а судно у него из порта выходило, как со стапеля.

— «Дед», давай — за твою заплату.

— Давай.— Он легко согласился, потрепал меня по волосам и успокоил: — Да там хоть всю обшивку меняй, один результат...

Да нет, он еще был в силе. Хлопнул — и ни в одном глазу, другой бы давно уже Васю под столом вспоминал. Я смотрел на «деда» — он оживился, вроде бы помолодел, оттого что встретил меня; я ведь знал, что он меня любит, и я его тоже любил — и вот я думал: как же я скажу ему про свое решение? А «деду» я должен был сказать.

— Ну, а ты как, Алексеич? Месячишко погуляешь?

— Может, и больше.

— Больше-то смысла нет. Если бы летом...

— Нет уж, до лета я не дотяну.

«Дед» поглядел подозрительно.

— Ты что-то виляешь, Алексеич. Никогда ты со мной не вилял.

— И геперь нет. Просто я на берег списываюсь.

— Надолго?

— Не знаю. Покамест — насовсем.

«Дед» ничего не сказал. Разглядывал свой фужер.

— Сказать по совести, хватит мне. Я в армии наплавался<sup>1</sup>, три года протрубил и тут почти столько же. Посуху и ходить разучусь, все палуба да палуба. А жизнь — она тоже проходит, разве не так?

— Н-да.— «Дед» вздохнул. Потом улыбнулся, как будто чего-то вспомнил.— А что, Алексеич, может, вместе еще поплаваем?

— С тобой-то — отчего ж нет?

— А вот завтра и поплывем.

Я замотал головой. Ничего он не понял.

— В другой раз, «дед».

— Другого раза не будет. На пенсию меня уведут, под белы руки.

— Тебя на пенсию? Ты шутишь!

— Почему же не пошутить? Раз ты тоже шутишь. А если по правде, то мне ведь уже нормальную комиссию-то не пройти.

— Ну, знаешь. «дед»... Наверное, все мы, сельдяные, на пенсию уйдем, а ты останешься.

— Так вот, Алексеич. Команда, я слышал, недобрана, жожакового не хватает в роли. Я почему знаю — дрифмейстер с помощником сами жожак сегодня укладывали в трюме. Вот ты и пойдешь жожаковым. Это я с капитаном обговорю.

Я подумал: наверное, не сахар ему на этом чертовом «Скакуне». Когда уже вся команда знает, что ты последнюю экспедицию плаваешь.

<sup>1</sup> Армией моряки называют и военный флот.

— «Дед», мы ведь не на век расстаемся. Ты иди и возвращайся. И чтобы с тобой ничего такого не приключилось.

«Дед» вдруг насупился, опустил взгляд. Я-то не заметил, как они подошли, эти двое, думал: он на мои слова. А они у меня за плечом стояли: один — Граков, персона, всей добычи начальник, «сельдяной бог», а второй — бывший мой кеп; ну, скажем, один из бывших, у меня их там штук семь было; тоже личность знаменитая в свое время, а теперь — из его прилипал.

Они как бы мимо проходили, к своему столику, забронированному, и как бы призадерживались невзначай.

— Что же это с Сергей Андреичем-то может приключиться? — Голос у Гракова был веселый, но как бы и озабоченный. — Привет тебе, Сергей Андреич.

«Дед» чего-то буркнул в ответ, я и то не расслышал.

— А кстати, Сергей Андреич, как у тебя с восемьсот пятнадцатым? Отчалите завтра? Ты извини, я, может, не к месту...

— Да уж такие мы люди. — сказал «дед», — на службе про футбол говорим, на футболе — службу вспоминаем.

— Чего-чего? Это ты интересно!..

Граков на шагок поближе к нам пододвинулся. А прилипала-то его просто заклокотал от восторга, даже залысинки у него посветлели.

— Надо бы наоборот, — сказал «дед», — но не можем.

— Не можем, это точно! — Тут же опять он сделался озабоченный, Граков. — Но мне докладывали: там вроде бы все зализано.

— Ну, раз докладывали...

— Одну экспедицию еще попрыгает «Скакунишка» твой, а там и на слом, а?

— На слом, — сказал «дед».

Больше им вроде и говорить было не о чем. Но Граков вокруг себя пошарил глазками, и прилипала мигом куда-то шастнул — не иначе за стульями. А мы их и не приглашали, прошу заметить.

— И нас самих, наверное, на слом? Как думаешь?

«Дед» насчет этого ничего не думал.

— Значит, последний вечерок сидишь?

— Значит, последний.

А точно — прилипала уже стулья тащил. А за ним официантка перла, с бутылкой «арарата». Для Гракова тут специально держали, другого он не пил. Она было начала распечатывать, но прилипала у ней перехватил бутылку.

— Нет-нет, дайте, дайте.

Вышиб пробку ладонью. У него это красочно получалось — покрутил, покрутил и вышиб. Отдал бутылку Гракову. А тот уселся — но не прямо к столику, а чуть боком, — и помахал бутылкой: кому бы налить первому.

«Дед» свой фужер прикрыл ладонью: у него, мол, налито до половины.

— Марочный! — Граков удивился.

— Тем более мешать не стоит.

— Тогда, с твоего разрешения, бича захмелим.

И долил мне. Быстренько, я и не успел свой фужер прикрыть. Ну, и духу не хватило, если по правде. Он-то все-таки бог. Я ему только сказал:

— Промыслового, прошу не путать.

— Кто же в этом сомневается? — засмеялся, даже руку мне на плечо положил. Даже прилипала, который как раз себе наливал, поглядел на меня ласково. Забыл уж, поди, как в свое время орал на меня в рубке.

— А дерзкая пошла молодежь, языкастая!..

Прилипала уже не ласково смотрел, а недовольно.

— Чем же дерзкая? — сказал «дед». — Просто достоинство имеет.

— Ну да, ну да. Достоинство в первую очередь. Потом уже к старшим уважение. Между прочим, мы с этим молодым человеком уже встречались.

— Не помню, — говорю.

— Вот те на! Даже я помню.

А встречались мы с ним действительно — после первого моего рейса. Сошел я на берег с такими деньгами, каких до этого и в руках не держал, и в поезде, возле Апатитов, чистенько у меня эти денежки увели. Со всеми шмотками. с чемоданом. Хорошие мне соседи попались в вагоне-ресторане, и имел я дурость их в свое купе пригласить: зачем же им на жесткой плацкарте валяться, когда у меня свободно? Один, помню, ел ничего, другой — на гитаре; в общем, дай бог попутчики... Ну ладно, в том же вагоне свои ехали, скинулись мне на обратный путь. А все же отпуск идет, куда мне без денег. Я попросил аванса под следующий рейс, в кадрах не отказали, но подписать нужно было у Гракова, и тут он мне выдал: «А почему я знаю — может, ты эти деньги пропил?» Вот это здорово, думаю, полторы тысячи в одну ночь? Ну, а если и пропил: ведь они не казенные. И не твои. «Что ж теперь делать? — говорю. — Я же ваш человек, сельдяной, неужели вы мне навстречу не пойдете?» — «Почему же, говорит. Мы пойдем. Могу тебе направление дать, завтра пойдешь в море, а питание у нас на судах, как тебе известно, бесплатное». — «Да я ведь только из рейса, мне отдохнуть надо или не надо?» — «Это твое право, оно и в законе записано. Однако ты своим правом распорядился аморально, следует тебя проучить. Этак все ко мне придут, и каждому дай деньги?» — «Все не приходят, мне вот и в кадрах посочувствовали. Случай, говорят, исключительный». — «Это прекрасно! А теперь, с твоей легкой руки, это будет массовое явление». Плюнул я и пошел. Спасибо, «дед» меня тогда выручил, я хоть полмесяца на пляже позагорал в Алуште, отогрелся после Атлантики.

Официантка стояла, не уходила. Граков повернулся к ней и пальцем показал на столик. Колечко описал. Мол, это все на меня запиши.

Но тут случился один момент. «Дед» покряхтел и сказал:

— Ну... Мы-то уж тут давно сидим.

Это надо вам объяснить, все эти тонкости. В «Арктике» за себя одного не платят. Если моряцкая компания сидит, то каждый спешит первым за всех выложить. Ну, если уж все разом выложили, то официантка сама решает, с кого брать. Но когда уже вместе посидели, а платят иррозь — это враги, это обида кровная. А мы как-никак, но посидели.

Граков чуть не испариной покрылся. Но недаром же он прилипалу при себе держал. Прилипала-то и спас положение:

— Дмитрий Родионович имел в виду нам двоим чего-нибудь под коньячок. Салатик там фирменный. Только без перца, вам же это нельзя, Дмитрий Родионович. А горячее — на наш столик подадите, мы потом туда перейдем.

Она записала и отошла.

— Ну, а... выпить за тебя — разрешишь? — спросил Граков.

Я поглядел на «деда». Он на меня. Он взял свой фужер. Я тоже бзял. Прилипала, тот просто ел своего Родионыча — глазки его медвежьки, носик кнопочкой, губки всегда поджатые. Но весь вид такой, как будто он сейчас самое важное скажет. Ну такое. до чего тебе в жизни не додуматься, и от отца с матерью не услышать, и в книжках не прочесть.

— Сергей Андреич... Во-первых, сто футов тебе под килем. Это — прими, пожалуйста. Это искренне.

«Дед» кивнул. У прилипалы сразу лоб посветлел.

— А во-вторых... Ну, не в каменном веке же мы живем! Про что я — ты знаешь. Пойми, все мы люди, все можем ошибиться, не казнить же нас за это по двадцать лет. Ах, кержак ты эдакий, ископаемый человек! Время-то, время какое было. Вот молодежь сидит, разве она себе может представить, какое было время?..

Прилипала то на «деда» смотрел, то на Гракова. И такая у него на лице печаль была — ну, действительно, не казнить же; ну, бросьте вы ваши счеты; ну, хоть обнялись бы, что ли. А «дед» молчал и супился. Граков ему руку на руку положил, «дед», я видел, страдал от этого, но руку не убирал.

Я поглядел по сторонам — никто на нас не смотрел, — и «дед» поглядел на меня, понял, что никто не смотрит, и ему легче стало.

— Слушай-ка, Родионыч, — сказал «дед». — Для чего ты это начал? Я ведь тебе никаких обид не высказываю. Ну, было; ну, прошло. Только вот пить за что, все я в толк не возьму.

Граков опять вокруг себя пошарил глазками:

— Что ж она нам не несет? Хоть минеральненькой — запить...

Прилипала вскочил, шастнул между столиками.

— А это мы сейчас сформулируем, — Граков заулыбался, — за что выпить. Насколько я понимаю, ты последний год плаваешь, так?

— Может, и последний рейс.

— А ведь грустно это. Скажи — нет?

— Кому грустно? Тебе?

— Флоту, Сергей Андреич. Флот без тебя осиротеет.

— Так уж прямо осиротеет.

— Сергей Андреич, цену себе надо знать. Ты еще много можешь флоту дать, молодым. Такой механик! Могут с тобой нынешние «деды» равняться? Нынешние-то, двадцатипятилетние? Вот и не хочется мне тебя отпускать на пенсию. Ой как не хочется!

— Что ж делать-то? — «Дед» вздохнул.

Прилипала тем временем воду припер, вскрыл ее вилкой, забулькал по всем фужерам.

— Что делать? — спросил Граков. — А придумать что-то надо. Как, Игнатьич, не отпустим мы Бабилова с флота?

— Нельзя, Димитрий Родионович, нельзя-а!

— Вот и я думаю. Есть предложение. — Граков уж всю ладонь «дедову» в обеих руках держал. — Ты, верно, по зрению в плавсоставе не можешь находиться?

— Ну, — сказал «дед». — Ты уж, поди, в курсе.

— А если — групповым механиком? Как? Правая моя рука будешь, по технической части. Целый отряд у тебя под началом, двенадцать, пятнадцать судов. Нахождение — на плавбазе, отдельный люкс. Трудненько ведь в твои годы на СРТ, покоя хочется, комфорта, если на то пошло. Как, сформулировали тостик? За группового механика Бабилова, Сергей Андреича!

— Да, — сказал «дед», — соблазнительно. Но ты погоди.

— Ну-ну, что тебя волнует?

«Дед» спросил:

— А вот если я твоя правая рука буду, ты меня за минеральненькой — тоже пошлешь?

Мне на прилипалу не хотелось глядеть, жалко мне было моего бывшего кепы. И все ж я видел, как он пошел пятнами, а улыбаться не перестал. Ужас, что можно с человеком сделать!

— При чем тут это? — Граков нахмурился. — Я серьезно с гобой.

— Хочется мне наперед свои обязанности знать. Свое место. Может, и прогадаю по глупости.— «Дед» убрал свою руку, поглядел на прилипалу в упор.— Скажи-ка мне, Игнатъич, ты по мостику не скучаешь?

Представьте себе, он смотрел на «деда» и улыбался. Жуткое было зрелище.

— Ну, а я,— сказал «дед»,— без своей вонючей шахты помру, наверное. Так меня из люкса ногами вперед и вынесут в один прекрасный день. Что же ты, Родионъич, смерти моей захотел?

Граков улыбнулся через силу.

— Не вышел тостик?

— Этот нет,— сказал «дед»,— ты что-нибудь другое придумай. Тогда и приходи.

Граков отставил свой коньяк. поднялся. Прилипала тоже вскочил. Он теперь не знал, улыбаться ему или хмуриться. «Дед» напомнил:

— Марочный не забудьте.

— Жаль,— сказал Граков.— Не понял ты меня, Сергей Андреич. Я к тебе с чистыми намерениями. А ты все же камень за пазухой таишь. Что и доказал сейчас наглядно.

И вдруг он знает чего сделал? Наклонился к «деду» — низко-низко,— обнял за плечи и сказал так задушевно:

— Ну ладно, еще потолкуем.

Я поглядел, как они уходят. Коньяк они свой, конечно, нам оставили. Не такие дураки, с бутылкой через всю залу переть. Но я ошибся, что никто на нас не смотрит. Вся «Арктика» теперь глядела им вслед. А вся «Арктика» видела, как Граков обнимался с «дедом».

Я повернулся к «деду». Он себе отрезал кусок мяса, прожевывал медленно, зубы у «деда» плохие, и мне отчего-то жалко было на него смотреть.

— «Дед»,— я ему сказал,— ведь он же своего добился. А не думаешь, что он и не собирался тебя групповым назначить? Как же ты позволил?..

«Дед» нахмурился.

— Ты не пей больше сегодня. Старый я дурак, тебя не расчуял тепленького.

— «Дед»,— я спросил,— а почему ты один в «Арктике» сидишь? К тебе ведь при Гракове не всякий подсядет.

Он от меня убрал фужер.

— Я с тобой сажу, Алексеич. А глупости будешь пороть — рассядемся. Уяснил?

— Ладно,— я кивнул.— Ты посидишь еще?

— Минут десять, не больше.

— Почему так спешишь?

— А как раз Марья Васильевна моя вещички собрала, сидит теперь скучает. Надо же и с ней напоследок посидеть.

— Понимаешь, ко мне одна девка придет. Просила, чтоб я с тобой познакомил.

«Дед» улыбнулся.

— Что-то давно уже девки насчет этого не просят.

— Ну, не просила, я сам хочу. Подождешь?

Я вошел в вестибюль. Гардеробщик уже и двери заложил жердинкой, а сам в окошко смотрел на улицу.

— Не подошли. Напрасно беспокоитесь, я не ошибусь.

Я ему хотел дать трешку.

... Вот это лишнее. Я ту еще не отработал. Пожалте в залу.

В зале дым стоял коромыслом, и музыканты как будто в тумане ка-

чались. Никто их уже и не слушал. «Дед» расплачивался с официанткой и что-то ей сказал про меня. Она кивнула и отошла.

— Опаздывает? — спросил «дед». — Марафет наводит. У них это долго.

— Нет, — я повалился на стул. — Вообще не придет.

— Почему знаешь?

— Потому что сука.

— Ну, даром девку не хай. Просто ей со мной знакомиться расхотелось. — «Дед» поглядел на часы. — На воздух со мной не выйдешь?

— Нет. — Мне было стыдно перед «дедом». Я улыбнулся ему. — Посижу еще. Дождусь все-таки.

— Да не ругайся с ней, обещаешь?

Я кивнул. «Дед» поднялся грузно, застегнул китель и аккуратно задриннул стул.

— Завтра на причал приходи, попрошаемся.

Я ему пожал руку, обеими своими, как будто навсегда мы прощались, и смотрел, как он идет к выходу. «Дед» был тяжелый, а между столами тесно, но он никого не задел. Потом я повернулся и сидел, как очумелый, глядел в тот угол, на Гракова, ему в затылок. Ладно, думаю, ты у меня попомнишь. Я не человек буду, если ты у меня не попомнишь.

Я услышал: официантка убирает посуду.

— Принеси, — говорю, — еще полтораста.

— Нельзя.

— Думаешь, без денег сижу? Могу показать. — Я расстегнул молнию на куртке и нашупал пачку. — Видишь? Я в море уродуюсь, поняла? И все вы у меня в ногах должны валяться!

— Повалюсь, а не принесу. Вам больше не велено.

— Кто не велел?

— А с кем ты тут сидел. Забыл уже? Напиток могу принести, «освежающий».

— Неси во-он тому борову. Видишь, лысина светится.

— Дурачок ты, — говорит. — Ты тише. Зачем тебе пятнадцать суток сидеть?

Взяла мою руку с деньгами, сунула мне же за пазуху, в карман. Тут крепких баб держат, в «Арктике».

Я пошел к бичам. Они сидели веселые, розовые, а Вовчикова Лидка все перманент шипала и бровки на меня супила — с таким это презрением.

— Чего ты все шиплешься? — спрашиваю. — Облысеешь тоже. И так они у тебя, наверно, на трех бигудях умещаются.

— Фу, — говорит, — до чего не люблю пьяных!

— Вот это здорово! А сама с кем сидишь, с трезвыми, что ли? И как будто я трезвый лучше, чем пьяный.

Клавка сидела против меня, красивая, как в кино, обмахивалась платочком и шурилась.

— Ну что, рыженький? Не пришла твоя верная? Подвела?

— Дура ты, — говорю, — моя верная ни разу не подводила.

— То-то все со старичками сидишь.

— Вот те на! Со старичками! Это такой старичок, знаешь... Тут у него некоторые в ногах должны валяться, поняла? При всем народе прощения просить.

— Это за что прощения? — Аскольд захрипел.

— За то, что человеку верить надо. Вот ты одиннадцать миль не проплывешь, понял. А он проплыл.

Клавка засмеялась:

— Ну, пошли мили-шмили.

И я тоже стал смеяться. Не знаю почему. Ничего она такого не сказала смешного.

— А прогадал ты, рыженький,— говорит мне Клавка.— Меня пригласил, а сам в сторонку. Удивляюсь, чем я тебе не угодила. Не хороша для тебя?

— Слишком,— говорю,— хороша.

— А хочется тебе такую иметь?

— От тебя лучше подальше.

Вовчикова Лидка фыркнула, а Клавка ничего, не обиделась.

— Ну и напугали же его! — говорит.— Да ты меня рассмотрел хоть? Чем я такая страшная?

— А ты из мужиков черт-те чего делаешь, нелюдей.

— Пока что твоя из тебя сделала. Взяла да не пришла. И правильно не пришла, с вами голько так!

Вовчикова Лидка сморщилась, как будто лимон разжевала.

— Не тронь ты,— говорит,— его самолюбие. Видишь, в каком он состоянии.

И с такой это жалостью на меня уставилась, ротик такой скорбный — ну, совсем я погибший во цвете лет. А глаза — как у мыши, близко-близко посаженные, меня даже замутило слегка. И тоска вдруг напала жуткая, волчья. Вот она, моя жизнь: с такими корешами сидеть, с такими девками. Слова живого от них не услышишь. «Самолюбие!» «Состояние!» Ах ты инкассаторша чертова. Нечуева, что ли, у ней фамилия? Ну да, Нечуева. Да они, наверно, и человека-то живого не видели, не знают даже, как он выглядит.

— Нечуева,— говорю,— не чуешь ты мои душевные переливы.

— Остроумно! — прошипела. А злобы-то в ней — на весь белый свет.

— Сейчас я тебе женщину приведу покажу. Ты посмотришь на нее и удавишься. Оттого что такие бывают.

Клавка рассмеялась:

— Ну-ну, рыженький, сходи приведи. Одним бы глазком взглянуть, как ты с ней управляешься.

Я встал и пошел. В вестибюле ко мне гардеробщик кинулся, я его оттолкнул шага на три, подергал дверь, а она ведь жердиной заложена, стал ее тащить и чувствую — кто-то у меня на плечах повис.

— Отстань, гад однорукий!

А это вовсе и не гардеробщик, меня двумя руками держали. Это, оказывается, Аскольд за мной выскочил.

— Чего тебе, филин пучеглазый? Чего ты меня держишь?

— Как то есть «чего»? — И губищи-то, губищи распустил, не лицо у него, а семга вяленая.— Ты же уходишь. А нам счет принесут.

— Я сказал — приду.

— Это еще неизвестно, Сеня.

— Ах ты пучеглазый! — говорю.— Ах, кисанька! Напугался? На тебе на лапу, за мной не заржавеет, ступай к своей Клавке, вермуту ей закажи...

— А торту? Лидка торту хочет бизейного.

Я ему совал пятерками, ронял при этом, а он подбирал, присчитывал бумажка к бумажке и губами шевелил. Гардеробщик, хмурый, стоял сбоку, поглядывал — сколько он у меня берет.

— Те-те-те,— говорит,— я свидетель.

Аскольд ему показал, что взято, остальное они мне сунули в карман. Гардеробщик напялил на меня шапку, из-под стойки что-то достал и мне запахнул за пазуху.

— Мех,— говорит,— забыли.

Мне плакать хотелось, что я его так обидел.

— Спасибо, отец. Прости. Давай поцелуемся.

— Идите,— говорит,— к чертям собачьим. И не безобразничайте.

Вытащил наконец дурацкую эту жердину, и я, на него не глядя, прошел на улицу.

## 5

Одиннадцать миль он проплыл у Кильдина-острова, молодым, в осень сорок первого года. Меня и на свете не было.

И «дед» тогда еще не рыбачил, а служил мотористом — «мотылем» — на транспорте «Днепр». Гордость флота считалась, из первых дизельных,— в войну его приспособили возить питание гарнизону, боеприпасы, а вывозить раненых. Конвой ему не полагался, да и не было чем конвоировать; когда из порта шли — одна надежда на кресты милосердия, когда в порт — расчехляли два пулемета на мостике. Ну, и винтари были, конечно, образца девяносто первого дробь тридцатого года.

Несколько раз им сошло. отбились от самолетов. Но как-то, неподалеку от Кильдина, почти уж при самом входе в залив, всплыла перед ними подлодка и подала им сигнал — следовать за ней к Нордкапу, в плен. Капитан на «Днепре» был мужик горячий, с Кавказа, велел развернуть пулеметы и врезать ей по очкам. Но немцам это об стенку горох, они в ответ кинули пару зажигательных и устроили на «Днепре» пожар. А тушить не давали, обстреливали, зажигали снова. Так что кеп уже не пожарную велел пробить, а шлюпочную. А перед тем, как покинуть судно, он увидел, что «Днепр»-то все еще на плаву, немцы потушат пожар своими средствами и возьмут «Днепр» на буксир. Тогда он и сказал «деду», то есть не «деду» еще, а «мотылю»: «Надо открыть кингстон». — «Сделаю,— сказал «мотыль»,— сходи в шлюпку, Ашотыч». Кеп ему показал на далекий берег: «Это, говорит, Кильдин. Доплывешь с нагрудником?» — «Доплыву ли, не знаю. А меня не дожидайся».

Это он потому сказал, что Ашотычу полагалось сойти последним. Но «деду» он был не нужен, «дед» бы и за троих справился. Так что Ашотыч за кингстон был спокоен и сошел последним во вторую шлюпку. А «дед» — ушел в машину.

Многие думают, что кингстон открыть просто, будто бы есть такой специальный рычаг для затопления судна. Никто, конечно, таких рычагов не ставит, все на судне делается, чтоб плавать, а не тонуть, а через кингстон забортная вода идет к двигателю, на охлаждение, и нужно еще перерубить трубопроводы. «Дед» два топора извел, пока их рубил, потом пилил ножовкой, ломом растягивал прорези, руки изранил до кости. Он мне рассказывал: «Я потому и увидел, что дело сделано, когда вода хлынула и смыла кровищу».

Но прошло минут сорок, и за это время команды уже не стало. Ашотыч велел шлюпкам идти враздрай и отстреливаться из винтовок: ну мало ли как повезет, вдруг немцы за двумя зайцами не погонятся! Немцы и не стали гнаться, они на одну шлюпку положили снаряд и размолотили в кашу. А другую преследовали, пока там не кончились патроны, а потом подошли спокойно, зацепили багром и перетащили всех к себе на палубу. В этой-то шлюпке и был Ашотыч.

Когда «дед» поднялся из машины, лодка уходила на погружение, и «Днепр» тоже погрузился до фальшборта, а больше на море живой души не было. Ему только и оставалось, что плыть с нагрудником к берегу. Это одиннадцать миль, не меньше, потом это место установили точно по вахтенному журналу с подлодки. Но «дед» все-таки доплыл до берега,

только вот берег был не Кильдин, это Ашотыч сгоряча ошибся, а маленький островишко, он только на морских картах и обозначен. А до Кильдина еще было миль двадцать — где же силы взять? «Дед» на другой день попробовал, проплыл мило и вернулся — стал замерзать. Больше не пытался.

Сорок дней прожил он на этом островишке — без хлеба, без огня, без кровли над головой. Он уже радовался, когда дожди пошли: содрал брезент с нагрудника и собирал пресную воду. «Все ничего, — он мне рассказывал, — а вот без курева было скучновато. Помру, думаю». Наконец его засек наш самолет-разведчик, сделал два круга, но сесть нельзя было, летчик ему только банку кинул со сгущенкой. И та — об скалу разбилась, «дед» потом эту сгущенку слизывал. Тогда, конечно, не до Робинзонов было: еще трое суток прошло, пока прислали гидро-самолет и сняли «деда» с утеса. Первые дни он и говорить не мог, его в госпитале кормили с ложечки, потом ожил, рассказал, как погиб «Днепр» со всей командой. Он-то думал — они все погибли. Он только пальбу слышал, а видеть ничего не видел. И пришлось ему — хуже нет, потому что к нему в госпиталь матери приходили, жены, и каждой расскажи: как погиб Вася, что перед смертью сказал Коля, — а что он мог рассказать?

Я вот часто думаю: если бы он наплел чего-нибудь с три короба — как вели бой с неравными силами, как он закрыл глаза капитану, как там кто-нибудь, истекая кровью, сказал ему на прощанье: «Плыви, Серега, передай восточку!» — все бы, может, и обошлось. Но он только одно твердил: «Ушел в машину, слышал перестрелку, больше ничего не знаю». И тут один человек, из штаба порта, выразил сомнение: «А так ли все было, как травит наш уважаемый «мотыль» Бабилов? Не странно ли, что капитан, которого мы все знали и любили, покинул судно не последним? А последним — Бабилов, моторист. Не исключено же, что немцы сами его подбросили на этот островишко? Ну, скажем, он мог подписать присягу, что, проникнув к нам в гарнизон... Я ничего не утверждаю, я только прошу заметить — не исключено!»

«Дед» все допросы прошел, и ничего против него не доказали. Под расстрел не попал. Но отсюда он загремел. И не только отсюда. В конце войны разыскался Ашотыч в немецком концлагере и еще человек пять из команды, рассказали следователю, как все было с «Днепром», как «мотыль» Бабилов пошел открывать кингстон и суровая волна поглотила славного героя. Но им тогда и самим веры не было, и всю эту историю забыли. А вспомнили, когда нашли вахтенный журнал с этой самой субмарины. Там это все по минутам было расписано, буквально:

«11 30. Русский транспорт охвачен пожаром. Команда пересела в шлюпки. Однако моими наблюдателями замечен на палубе смертник, оставленный для того, чтобы способствовать затоплению судна.

12.00. Русский транспорт погружается. Подобрал восьмерых уцелевших из его команды и опасаясь, что дым горящего судна привлечет русские самолеты, сам начал погружение и ухажу подводным курсом к Нордкапу».

Вы это и сами можете прочесть — в нашей сельдяной газете. «Дед» со «старухой» читали — прослезились. Но я вот что спросил у «деда»:

— И как же вы с ним теперь — помиритесь? Рыла ему не начистить?

— Кому, Алексеич?

— Ну, кто тебе все это устроил.

Он удивился.

— Это за что? Все-то ведь другие устраивали, он только сомнение высказал. Ну, время не такое было, чтобы сомневаться. А ты — поверил бы?

— Тебе, «дед»?

— В то, что человек в нашей воде осенью одиннадцать миль проплывет и сердце у него не лопнет?

Честно сказать, я и сам не знаю. Я никогда, наверно, не пойму, как у него сердце выдержало.

— То-то вот! — сказал мне «дед». — И я б не поверил. Потому что второй бы раз не проплыл.

## 6

Я шел по снегу, он аж звенел, и мороз палил мне лицо. Мех я не стал пристегивать, руки неохота было из карманов вытаскивать — еще застужу. Я только нос в воротник упрятал и чуть не по полквартиры с закрытыми глазами шел. А мог бы и всю дорогу так, и не сбился бы.

Это в большом-большом дворе, на Володарской, пройти под аркой и сразу налево, угловое окошко на четвертом этаже, там она снимала комнату. Там я бывал — четыре раза, там все вещи чужие, ее — только накидка на кровати, коврик и финтифлюшки на столике, а все-таки думаешь: она век здесь живет. Ну да, ведь ей же — «ничего не надо».

Окошко светилось. Я постоял внизу — нельзя же к ней сразу, пускай немного развееет — и увидел: кто-то подошел к окну, она подошла, смотрит на улицу. А кругом бело, ни скамейки, ни кустика, один я чернею. Нет, не заметила, повернулась туда, в комнату, я только волосы увидел, темную копну, и вот она отошла.

Парень какой-то подошел, повернулся затылком, взлез на подоконник, к нему второй подошел. Разглядеть я их не мог, высоко было, но как будто они там смеялись. Почему бы не посмеяться, если тепло, и выпивка на столе, и кадровая девка под боком, и она им рассказывает, как я ее приглашал в «Арктику», а она вот не пошла, с ними осталась в компании. Господи, думаю, ну и не пошла, свет клином на тебе не сошелся, только врать было зачем? У меня была Нинка, посудомойка с плавбазы, я с ней морскую любовь имел, и в плавании и на берегу, держал себя с нею по-свински, месяцами не заявлялся, и все же она со мной таких фортелей не выкидывала. А попробовала бы выкинуть, я бы ушел, не оглядываясь. Потому что вот так и делают из тебя нечеловека.

Однако я все не уходил, ждал чего-то, а из подбезда какой-то мужик вышел в черном, лица не видно. Ступил два шага и замер, на меня уставясь. Чего, думаю, он от меня хочет? А это его, наверно, «москвичишко» стоял под брезентом, так он думал, что я колеса пришел снимать. Ну, веселяга!

— Ступай, — говорю ему, — спи, дядя. Не нужны мне твои колеса.

Он куда-то метнулся вбок и опять встал. Совсем пропащий человек.

— Ты кто? — спрашивает. Голос как из бочки. — Откуда взялся?

— Туда же и уйду. А ты спи.

Не хотелось мне этого олуха тревожить. Ведь до утра будет своего «москвичишку» стеречь, замерзнет. Или работу проспит, нагоняй получит. Я уже на улицу вышел, а он под аркой встал и смотрит, печальный такой и скучный. Пропади ты, думаю, со своими колесами. И вообще мне на всех на вас чихать, уйду, откуда взялся.

Улица была длинная-длинная, конца не было этой улице, я шел и вдруг почувствовал, что дело худо. Хоть бы до какого-нибудь тепла дошлепать, до обшаги или до «Арктики». Но общага далеко, в другой стороне, а в «Арктике» бичи сидят и Клавка будет смеяться. «А что я говори-

ла, рыженький! Не пошла она с тобой?» — «Ну и не пошла, говорю, очень она мне нужна! И ты мне тоже, стерва розовая, гладкая, пушистая, не нужна, лучше я к Нинке поеду, у нее тепло, у Нинки, она меня спать положит и не ограбит, она добрая, Нинка, она за мной всегда смотрела, не то что другие, которым только деньги от меня нужны, у нас с ней любовь, с Нинкой».

Ну, вот я и до морского вокзальчика добрался, откуда идут катера через залив; ввалился весь деревянный, насилу кулаки из карманов вытащил, до того заковенели, а перчатки я где-то посеял. В помещении было жарко от печки, накурено и людей набилось — кто в доки ехал в ночную вахту, кто с работы домой, — но все хмурые, гады, ни с кем не поговоришь. К одному дяде я втиснулся на лавку, стал ему объяснять, что я к Нинке еду на Абрам-мыс, потому что я ее не забыл, а он мне:

— Иди ты со своей Нинкой!

— Куда же, — говорю, — идти, туман не кончился, катера без локаторов не пойдут.

— Это в башке у тебя туман, а локатора нету.

— Вот в чем причина, — говорю, — ну, я тогда покемарю, ты меня толкни...

Я только привалился к нему, и вдруг — кричат:

— Катер пришел! Кому на Абрам-мыс?

Дядя схватил меня за грудки, поставил на ноги, а сам побежал. Все побежали. Ну, и я тоже побежал с ними вдоль какого-то забора. Долго же мы бежали!

## 7

Катеришко посапывал у причала, и все вниз повалили, в кубрик, а я не пошел — сидеть уже негде там, — сел на кнехт. Туман и вправду кончился. Последние хлопья относил ветром с Баренцева, и вода не дымилась, была черная, без морщинки, и в ней стояли огни: красные, зеленые, белые. На том берегу светились доки, и корабли, и домишки на сопках. Там-то и жила моя Нинка. Один огонек был ее. И я, когда возвращался с моря, всегда уже знал, дома она или нет. И ребята мне говорили: «Нинка твоя лампадку засветила». И мне нравилось, что она не ходит на пирс, а ждет, пока я сам приду, по своей воле.

Скоро мы зашлепали, ветер обжег мне щеку, потом другую — это мы делали циркуляцию, проходили под пароходами, под их носами и кормами. Шла на судах работа, искры сыпались в воду и шипели, что-то там заваривали, шкрябали борта, висели в беседах, а по трансляции травили джазы. Вдруг вынырнула тюленья башка, совсем как у собаки, только уши обрезаны. Поглядел на меня тюлень, фыркнул и опять нырнул. Что им тут делать в заливе, тюленьям, не знаю, но часто они сюда заплывают и разглядывают нас — как мы на них смотрим в зоопарке. Вот он с другого борта показался, пронырнул, бродяга, под килем и — на меня глядит, усами двигает. Чем я ему понравился? Такой любопытный, до всего ему дело. Наняться бы мне на такой катеришко, работа не бей лежачего: трап подай и убери, гашу<sup>1</sup> на кнехт накинй и сбрось, а в основном — сиди, любуйся на воду. Я бы непременно какого-нибудь тюленя приманил, окрестил бы как-нибудь — Васька или Серега, — он бы сразу выныривал, плыл бы рядышком от причала к причалу. Веселая бы у нас была жизнь!

Но мы уже подходили, народ понемногу выползал на палубу, всем не терпится поскорее в тепло, а я не стал толкаться, последним сошел.

<sup>1</sup> Г а ш а — или «огонь» — глухая, не скользящая петля на швартовом конце.

И закарabalся к Нинке — напрямик, через сопки. Можно и дорогой пройти, только она вьетса, гадюка, час по ней идешь, я всегда по утесам карabalся. Здесь домишки, как стрижиные гнезда, лепятся один над другим, и клочки земли — как палуба при крене, все время одна нога выше другой. А все чего-то пытаются развести на этой земле, картошку, морковь, но ни черта не вырастает и не вырастет. Мы эту землю отняли у чаек и сами за это живем, как чайки.

Долго я лез, весь измок под курткой. А наверху на меня накинулся ветер, заледенил, и я уже думал: конец, полечу с косогора и крика моего не услышат. Но разглядел Нинкин плетень, вытащил из него жердину, стал ею отталкиваться, как посохом. Окошко у Нинки светилось, я приложился лицом, но ничего не увидел — все затянуло изморозью. Я постучался и пошел к двери, привалился к ней. Долго Нинка не шла, я задремать успел, пока она открыла, и повалился ей на плечо.

Нинка не напугалась, удержала меня, только не говорила ни слова. И не прижалась, как всегда.

— Что ж не встречаешь, Нинка? Я к тебе пришел или не к тебе?

Губы у меня ползли от холода. Нинка прислонила меня к стенке, как полено, и заперла наружную дверь. Потом прижалась ко мне и заплакала.

— Горе ты мое, — говорит мне Нинка. — Мучение.

Ну и все такое прочее. Я сам чуть не заплакал. Обнял ее покрепче и поцеловал в лоб. Вот уж мучение так мучение.

— Погоди ты, я же пришел, никуда не делся. Веди меня к себе, что же ты меня в сенях держишь?

Она прижалась сильнее. И пуще заплакала. Просто сил моих не было. Но все-таки в комнату не повела.

— Нинка, у тебя там есть кто?

Я никак не мог ее руки отодрать.

— Я ж чувствую, — говорю. — Ну и ладно, неужели же мне нельзя в гости к тебе? Как ты считаешь, Нинка?

Сам-то я считал: нельзя, мне уйти надо. Но вот что мне Нинка скажет — это я хотел знать. Она отступила, но сени были тесные, я сразу нашарил Нинкины плечи. Она, оказывается, стояла у двери в комнату, загоразживала ее.

— Ты что, Нинка?

Лицо у ней было все мокрое.

— Не пушу. Ты драться будешь.

Вот именно, думаю, мне только этого сегодня не хватало.

— С ума ты сошла!

— Я тебя не знаю, что ли?

— Ладно. Пусти!

— А будешь?

— На улицу пусти, я назад пойду.

— Куда! Ты до причала не дойдешь, замерзнешь.

— Ну, видишь! Что ж теперь делать?

Нинка тогда открыла, и я вошел за нею.

Он сидел за столом, в майке и в галифе, чистенький такой солдатик, крепышок, ежиком стриженный. Весь розовый, как из бани. Улыбался мне. Гимнастерка его лежала на койке, на красном стеганом одеяле; я помню, как Нинка его купила. «Теперь, говорила, укрываться будем по-человечески». Раньше у нее шитое было из лоскутков. Она тепло любила до смерти и печку топила жарко, я вот так же мог за столом сидеть, в одном тельнике или голый до пояса. А теперь она ему пришивала пугови-

цы. Или подворотничок — это уж я не знаю; просто увидел — ножницы уже не на гвоздочке висят, на стенке, а лежат на одеяле, рядом — иголка и нитки. Сапоги же его кирзовые она у двери поставила, я их не заметил и повалил. Не нарочно, а просто не заметил. Он так это и понял, не перестал улыбаться.

На столе была закуска и водка, полбутылки они уже распили, оттого он и был такой хорошенький, просто загляденье. Только вот ростом не вышел, не повезло Нинке, не могла повиднее затралить. Ну, и то хорошо.

— Что стоишь, Нинка, не познакомишь меня с товарищем военнослужашим? Солдат,— говорю,— матросу друг и помощник. Взаимодействие и выручка.

Нинка не двинулась, стояла между нами, к нему лицом, а ко мне — спиной. А он вскочил, как на пружине, протянул мне руку.

— Сержант Лубенцов. А так вообще Аркадий.

Я и руку отдернул. Подошел к его гимнастерке, расправил и повесил ее на стул, чтоб видны были лычки. А руку ему подал не сразу, сперва потер об штаны.

— Сенька.

— Очень приятно. Семен, значит?

— Что вы! — говорю.— Семен — это если трезвый. А так Сенька.

— Ну что ж,— говорит,— корешами будем?

Ах, скуластенький, так и набивался на хорошее отношение.

— Не только,— говорю,— корешами. Может, и родственниками. Все ж таки Нинка нам не чужая.

Нахмурился скуластенький. А я подошел к столу и сам себе налил в стакан. В Нинкин. Он смотрел, моргал бесцельными ресницами. Что же, думаю, ты сейчас предпримешь? Ударишь? Ну, это просто, я тут же с копыт сойду. Но только ведь этим не кончится. Я упаду, но я же и встану. А Нинка чью сторону возьмет? Поможет тебе меня выпроваживать?

— Прошу к столу.

Это он мне говорит, скуластенький, и ручкой показывает на стол. А я уже сам себе налил. Вот положение.

— Да нет,— говорю,— благодарен. Только что ужинал.

И полез вилкой в шпроты. Тут он снова заулыбался. Непробиваемая у солдатика оборона. Прошу прощения,— у сержанта.

— Как жизнь, морячок?

Это он у меня спрашивает, береговой, сухопутный. Прямо так и спросил: «Как жизнь, морячок?»

— Да какая же,— говорю,— у морячка жизнь! Одни огорчения.

— Ну, это зря!

— А вот, представьте себе, один мой знакомый... ты его, Нинка, не знаешь... сошел, значит, на берег. Заваливается к своей женщине. На всех парусах к ней летел. А у нее, представьте, другой сидит. Ну, все понятно. Соскучилась женщина ждать. Но кто-то же из них двоих — третий. А третий должен уйти, как в песне поется. Мой знакомый ему и говорит: «Я тебя вижу или не вижу?» А он мужчина строгий, мой знакомый. Правда, уже его нет, удалился в сторону моря. Погиб в неравном бою с трескою. Ну, с кем не бывает. А тот, представьте, моргает и не уходит. Стесняется, что ли, уйти. Тогда мой знакомый знаете чего делает?..

Но тут я на Нинку посмотрел и замолчал. Она уже сидела на койке, ноги скрестив, а руки у ней лежали на коленях. Смотрела на меня и кусала губы. Но я не на губы смотрел, а на руки.

Я вам сказал или нет? Она судомойкой была на плавбазе. И еще всякие постирушки брала — и в море и на дом, всегда у нее полное ко-

рыто стоялю в кухоньке. Представляете, сколько же она за свою жизнь всего перемыла и какие у нее могли быть руки! Ей, наверное, и тридцати еще не было, я никогда не спрашивал, но руки еще лет на тридцать были старше, я честно говорю. Как будто с чужих рук содрали кожу перчаткой и натянули ей, а кожа не приросла, такая и осталась — мертвая, влажная, бледно-розовая, вся в морщинах, в мешочках. Когда я ее обнимал, я только и думал: хоть бы она меня не трогала этими руками, у меня всякая охота к ней пропадала. Я сам не свой делался, хотелось мне реветь и бежать от нее, куда глаза глядят. Но и она как чувствовала — от меня их прятала. Вот я их увидел и все тут забыл начисто. Зачем я сюда явился? Что я этому скуластенькому толковывал?

— О чем же это я?

— Про твоего знакомого, — Нинка напомнила. Губы у ней дрожали. — Чего же он сделал? Убил их?

— Да нет же! — Я засмеялся. — Третий-то — он был, вот в чем дело. Сказал он им: «Тогда за ваше счастье!»

Солдатик смутился, но я взял его руку и чокнулся с ним.

— Чего ты смущаешься? — говорю. — Нинка знаешь какая женщина! Ты не пропадешь с ней, она тебя и обстирает и обожьет. С ней сыт будешь, и пьян, и нос всегда в табаке. Ты только не бей ее — это мы все умеем, а что не так — скажи ей с металлом в голосе, не тебя мне учить, она и послушается...

Такого со мной еще не было: я пил и трезвел. И вправду мне вдруг подумалось: может, это оно и есть, Нинкино счастье? Чем черт не шутит, может, ей с этим вологодским тепло будет на свете? А я тогда зачем тут стою, почему не уйду? Ведь я же не подберу ее никогда, я только лясы буду точить, голову ей баламутить, а он, может, и подберет?

— А ты, морячок, легок на помине, — скуластенький мне сказал.

Я допил и поглядел на него. Глазки у него повеслели, но что-то осталось в них тревожное. Не верил, поди, что все так добром и кончится и он останется сегодня с Нинкой.

— Вот здорово! Что же вы тут про меня говорили?

— Да нет, не про тебя лично, а просто Нинок сейчас ножик уронила; надо, говорит, постучать об стол, а то к нам мужчина пожалует. А я говорю: «Суеверие — привычка вредная. Если и пожалует, то вред ли».

— Правильно говорите, Аркадий... Как вас там дальше?

— Васильевич. Я лично, например, в тринадцатое число не верю. И насчет черной кошки — это все глупости. А человек — хозяин природы, всего мировоззрения, он должен твердый курс иметь в поведении. И на все постороннее не обращать внимания. Вот, например, задумал — умри, а сделай. Согласен ты?

— Да что вы меня-то, вы у нее спросите?

— Нет, я о чем? Вот у меня тоже друг. Неустойчивый, все ему чего-то мерещится. А я на него воздействием постоянно. И перелом намечается, определенно. Вот, Нинок его знает...

Нинка поглядела на меня и вздохнула. Какой же был у него курс, у скуластенького? Сегодня — к ней в койку, под одеяло стеганое. А служба кончится — он к себе в Вологду поедет, там его другая ждет, запланированная. А Нинка все так и будет на Абрам-мысу жить, как чайка, светить окошком новому трепачу. А я — что могу для нее сделать?

Я снял куртку — мех пристегнуть — и увидел изнутри карман, затянутый молнией, плотно еще набитый. Вот разве только это. И то — если она возьмет.

— Выйди со мной, Нинка. Я чего скажу.

Он так и примерз к стулу. Но улыбался. Конечно, не уведу же я ее.

- Что ж так скоро, морячок?  
 — Вахта,— отвечаю.  
 — Э, хорошая вахта сама стоит!

Ах, скуластый, что ты еще про морячков знаешь? Но больше он меня не удерживал. Пожал мне руку — со всей, конечно, силенкой,— но как-то я почувствовал: нет, ненадолго у них.

Нинка пошла за мной, я пропустил ее в сени, помахал ему рукой и притворил дверь. В темноте я ее взял за плечи и притянул.

— Сеня! — Она сама ко мне прильнула. Вот уж ни к чему. Я же не за тем ее звал.— Прогнать его, да? Скажи только...

Ничего, я подумал. Особенно она страдать не будет, если у них и ненадолго.

— Ты брось это, Нинка, выкинь из головы... Все у вас наладится, он, знаешь, верный, такой даром не гуляет.— Сам я ни на копейку в это не верил. Почему бы солдатику и не погулять даром? — Это мне верить нельзя, а он же положительный, ты и сама видишь.

- Ты за тем меня позвал?  
 — Нет, не за тем... Нинка, возьми у меня гроши.  
 — Ты что?

— Ну, на сохранение возьми, я все равно размотаю.

Я стал ей совать полпачки. Она меня схватила за руки — своими руками! — я дернулся, выронил все, рассыпал по полу. Нинка нагнулась и стала шарить впотьмах. Я тоже с нею шарил, Нинка мне их совала в руку, а я опять ронял. Тогда она меня оттолкнула к стенке, стала одна подбирать, потом все сразу затиснула за пазуху, в карман. Я снова за ними полез — она вцепилась и держала меня за руки.

— Уйди! Уйди по-доброму. Ничего мне от тебя не надо!

Она уже меня не держала. Один ее голос — из темноты египетской, через слезы — бухал мне в уши: «Сволочь... Изувер...»

- Не гони, я и так уйду.  
 — Иди! В последний раз тебя видела! Замерзни, гад...

Я нашарил щеколду, Нинка меня оттерла плечом и сама открыла дверь. Ветер нас ожег колким снегом. Нинка сразу притихла — верно, уже не рада была, что гнала меня. Но не ночевать же нам тут втроем, хотя у нее и кухня была в этой хибаре.

Нинка спросила:

— Как же ты дойдешь такой?

Я ее погладил по плечу и пошел с косогора. Прошел шагов двадцать — услышал: стукнула щеколда.

С катера я все хотел разглядеть ее огонек и не увидел — расплылся он среди прочих. И я заснул на кнехте. Только помню — когда причаливали у морвокзала, матрос вахтенный замешкался, не вышло у него с ходу накинуть гашу, и я к нему полез отнимать ее,— как он меня отпихнет локтем:

- Отскочи, ненаглядный, в лоб засвечу!  
 Так, думаю, ну, быть мне сегодня битым.

## 8

Я только успел сойти на причал, они ко мне кинулись — двое черных, как волки в лунной степи.

— Сеня! — кричат.— Ну, теперь какие планы?

Не знаю, как у бичей, а у меня планы были в общагу идти, спать.

— А я тебе что говорил! — это Вовчик Аскольду.— Мы-то по всему городу, с ног сбились, в милицию хотели звонить, не дай бог замерзнет, а он — спать!

— Как это понять, Сеня? Ты постарел или с нами не хочешь знаться?

Да, вам таких корешей не иметь. Я от волнения даже сел на причальную тумбу. Ведь и вправду же я мог замерзнуть.

— Вставай, Сень, не сиди, вредно! — Подняли меня под локотки. — Пошли погреемся.

Вовчик побоку плелся, дышал в воротник, а Аскольд — то вперед забежит, то приотстанет — зубами блестел, рассказывал:

— Я ему говорю: «Вовчик, грю, это не дело, мы грех берем на душу, это нам не простится, что мы его не разыскали». А он говорит: «Какой же грех, он к бабе ушел, всех нас забыл». Нет, грю, он человек верный, что-то не то, вот так люди и погибают. Ну, мы на моторе к тебе в общагу, все перевернули кверху килем, а там тебя знают, Сеня, ты человек известный. «Ищите его на Абрам-мысу. Бывает, он туда ездит».

— Это кто же сказал? Толик? Лысоватенький такой?

— В том-то и дело, не лысоватенький. А очень даже курчавый. Неважно кто, Сеня! А важно, что нашли тебя — живого-здорового.

Не иметь вам таких корешей, я честно говорю!

Так мы и до «Арктики» дошли. Ну, ничего удивительного: если от морвокзала к общаге идти, ее, конечно, не минуешь. А оттуда уже последних вышибали, и двое милицйских на страже стояли, с гардеробщиком. Какой-то малый к ним ломился, ростом с дверь, убеждал сиплым голосом:

— Папаша, пустите кочегара, у меня ребенок болен.

Аскольд к нему кинулся на подмогу.

— Там наши дамы сидят, в зале.

— Нету ваших дам, — сказал гардеробщик, — уехали.

— Как это уехали? Без нас уехали?

Мы стали вчетвером ломиться. Да только у нас дверь поддалась немного — милицейский высунулся в шубе.

— Это что за самодеятельность? Кой-кто у нас посидит сегодня. А ну, Севастьянов, бери вот этого, в куртке.

Ну, я эти штуки знаю, никакой Севастьянов меня не поведет, охота ему на холод вылезать. Так что я ногу просунул в дверь и держу, помощи ожидаю справа и слева. Но Вовчик с Аскольдом скисли тут же и сами же меня отгасили. Дверь и закрылась. Так обидно!

— Это ничего! — орет мне пучеглазый. — Зато у меня план есть. Сейчас мы в Росту смахаем, у Клавки доберем. Тем более ты ей понравился, Сеня!..

Ага, думаю, значит, в гости поедем. Ну, она тоже занятная, Клавка.

— А есть у нее?

— У Клавки чтоб не нашлось! Ты как, на ногах держишься?

— Стою, — говорю, — не падаю.

— И стойте тут, я к вокзалу побежал за мотором.

Ну, пусть, думаю, сбегает, у него мослы долгие, а вокзал — метров двести, не больше. Но наблюдаю — Вовчика шатает слегка. Я его стал поддерживать. А он меня. Ага, думаю, значит, и меня шатает. Тем более надо вместе держаться. Кореша мы или не кореша?

Долго ли, коротко мы так с ним корешили, но вот и такси загудело, и Аскольд нам из окошка машет. Мы с Вовчиком полезли, а там еще какие-то ехали, с барахлом. Вовчик-то поместился, а у меня ноги наружу.

— Это ничего, — говорю, — так веселее!

— Кто повеселится, а у кого и права отберут.

Это шеф, значит, голос подает из провинции. Вылез, переложил мои ноги внутрь. Оказывается, и для них место нашлось.

— Эй, капиталисты, вам куда ехать?

Вот неугомонный какой!

— Стартуй, шеф! — говорю ему. — Потом разберемся.

— Потом! Ты потом отрезвеешь, что ли?

— В Росту вези! — пучеглазый орет. — Улица Инициативная, три, второй этаж, четыре звонка.

— Э, мне в Росту ехать — это себе во вред. Смена-то кончается!

— Это не разговор, шеф! — кричит пучеглазый. — Ты сперва счетчик вырубь, тогда будет разговор. Крути налево!

И сам уже там — баранку, что ли, вертит.

— Э! Ты мне не помогай.

— Все, шеф, мы тебя любим. Мы за тебя умрем.

— Не надо, поживи еще. Только у меня пассажиры до Горки, им ближе.

— Дело не в том, ближе или дальше, а мы раньше сели.

Это какая-то гражданка сзади меня. Оказывается, я к ней привалился. То-то мне было мягко. Я к ней повернулся, обнял за шею и стал извиняться. А она мне руками в грудь уперлась.

— Сидите, — говорит, — спокойно. Без этих штук. А то я, знаете, с мужем еду.

Я и на мужа хотел посмотреть, но шея уже дальше не поворачивалась. А муж — он тут же голос подал:

— Действительно, — говорит, — уж если вас посадили, так не хулиганьте. А то и милицию можно пригласить.

— Хе! — сказал шеф. — Какая теперь милиция!

И поехал, родной. Да только мы двинулись — кто-то догоняет, приложился носом к стеклу:

— Ребятки, возьмите коচেга, у меня ребенок болен!

Шеф сразу на тормоз:

— Ты, охламон, отстанешь или нет?

— Езжай, — орет пучеглазый, — сам отвалится!

— Куда езжай, он за дверку держится.

Стали они там объясняться на морозе. Долго что-то руками махали. Потом шеф снова сел и как рванет с места. Кочегар попрыгал, попрыгал и отстал.

— Послушайте, — вдруг эта гражданка говорит, — вы в самом деле счетчик выключили? Там уже сколько-то набито!

— Действительно. — мужнин баритон, — мы уж доедем, потом свои порядки устанавливайте.

— А тебя кто спрашивает? — говорит ему Аскольд. — Ты кто? Приезжий? Ну и сиди, приезжий, не вякай. Мы, если хочешь знать, и за вас можем заплатить. Видишь вот этого, в курточке? А ты думаешь, он кто? А он капитан-директор всего сельдяного флота. Самый главный капиталист!

— Рокфеллер! — кричит Вовчик.

— Про него каждый день в газетах интервью печатают, понял? Он всю страну рыбой кормит. И за границу всю кормит. Да мы тебя, приезжий, со всеми шмотками купим! Покажи ему, Сеня, какие у нас капиталы... Смотри, приезжий!

Я засмеялся, сунул руку за пазуху и вынул всю пачку. Хотя это была уж не пачка, а ворох — мы же их с Нинкой не складывали впопыхах, совали как придется. Я этот ворох и показал — и дамочке, и ее мужу, и шоферу тоже показал: пусть не волнуется, на арапа не едем.

— Спрячь, — говорит Вовчик, — а то ослепнут. Они в темноте светятся.

— Видал, приезжий? — спросил Аскольд. — Так что помалкивай. Тут патриоты едут, понял, родного Заполярья. Была бы гитара, я б тебе спел... «Суровый Север нам дороже кавказских пальм и крымского тепла!»

И Вовчик тоже запел:

— «И наши северные ворота — бастионы мира и труда!»

— Газуй, шеф! Крути лапами!

Эх, и парень же был этот пучеглазый! Ну, и Вовчик тоже дай бог! А машина не шла, а просто летела над улицей, покрывками снега не касалась, только виляла на поворотах, и меня так славно стало укачивать...

Проснулся я, когда этим приезжим надо было вылезать. Муж чего-то там заплатить хотел, а пучеглазый орал шефу:

— Плюнь ты на ихние трешки, ты тоже патриот! Чаевые в нашем городе не берут!

Потом стало свободно, я растянулся на заднем сиденье, головой Вовчику на ляжки. Голова у меня моталась, я просыпался и снова засыпал, не мог понять — куда едем. Слышал только: пучеглазый ругался с шефом, все время один другому дорогу путал. Один под банкой, а у другого изморозью стекло затянуло.

Потом Аскольд меня взбодрил:

— Эй, капиталист, Рокфеллер, как спали? Платить надо.

Я засмеялся, расстегнул молнию на курточке.

— Давай, сам плати.

Вовчик сунул руку, вытащил сколько-то там, дал шоферу. А тот, дурень, еще отнекивается:

— Орлы, я с пьяных больше десятки не беру.

— Бледный ты, шеф! — пучеглазый орал. — Плохо питаешься. Тебе капитан-директор премию выдает, на поправку. Сень, ты подтверди!

— Ага, — подтвердил, — я же у нас добрый.

А правда — так хорошо мне было, счастливо, оттого что они меня все любят и я их любил, как родных...

А совсем я проснулся — от холода; мотоцикл грешал, и я уже не в такси ехал, а в коляске. Когда ж это я в нее пересел? Просто уму непостижимо.

— Эй, артист! — надо мной милицейский склонился, в дохе. Сам он сзади сидел, на колесе. — Тебя держать? Не вывалишься?

— Да хулиган он, а не артист! — еще какие-то орали.

Мотоцикл медленно выезжал со двора, и целая толпища нас провожала.

— Господи, когда же мы от них город очистим?.. Учти, лейтенант, коллективное заявление у нас готово!..

— Отдыхайте, граждане, — лейтенант их успокаивал. — Коллективных не надо, а у кого конкретно стекла побиты...

Рядышком пучеглазый шел и мне шептал сиплым голосом:

— Сень, они же нас не поймут! Вспомни все лучшее, Сень!

Что же там лучшего-то было?.. Я какие-то обрывки помнил... По какой-то я лестнице летел вперед башкой и парадное пробил насквозь, обе двери, то-то она у меня раскалывалась. И лицо горело, как набитое. Да точно, набитое, с кем-то я еще перед этим дрался... Я по лицу провел ладонью и кровь на ней увидел. Господи, да с корешами же я и дрался, с кем же еще! Вовчик меня стучал, а пучеглазый за локти сзади держал.

Я вспомнил все лучшее и полез из коляски. Аскольд от меня отскокил на шаг. А Вовчика я что-то не видел, друга моего, кореша бывшего.

— Сиди, — лейтенант мне надавил на плечо. — А ты чего, — у Аскольда спросил, — с нами хочешь поехать, свидетелем?

Только пучеглазого и видели.

— Куда вы меня? — говорю. — Я еще с ними не разобрался.

— Теперь уже в отделении разберемся. Давай жми, Макарычев. Отдыхайте, граждане!

Макарычев на меня поглядел с высокого седла:

— Ну, арти-ист! — И прибавил газу.

## 9

Глаза у меня слезились от нашатыря, лицо горело, пальцы на правой сочились сукровицей. Лейтенант мне какую-то ватку дал прикладывать, посадил на лавку в дежурке, и они с Макарычевым уехали.

Я себе посиживал, а дежурный чего-то пописывал за барьером и на меня не глядел. Я уже подумал: не уйти ли по-тихому, но тут зашел старшина, в тулупе, роста весьма внушительного, личико кирпичное. и прислонился к косяку. Еще была дверь с решеткой, там какая-то баба стояла патлатая, разглядывала меня сквозь прутья. Не знаю, чем она провинилась, почему за решетку села. А я — почему на лавке. Дежурному видней.

Он уже был в летах, до майора дослужился, облысел на этом деле. Но пока еще «внутренним займом» пользовался, зачесывал с боков. Я поглядел-поглядел и засмеялся. Тут он и бросил скрипеть перышком.

— Самому смешно? Сейчас мне расскажешь, я тоже посмеюсь.

— С удовольствием, — говорю. — Только дайте вспомнить.

— Это пожалуйста, дадим. Время у тебя будет, суток пятнадцать. Не возражаешь?

— Да что там... Ведь от этого ж не умирают.

— Как фамилия?

— Ох, — говорю. — А бесфамильного — вы меня не посадите?

— Ныркин, при нем документы были?

Старшина переминался с ноги на ногу.

— Нету.

Все правильно, я их в общаге оставил, в пиджаке.

— А что при нем было?

— Денег — сорок копеек.

— Чего-чего? — Я вскочил с лавки, пошел к барьеру. — Каких сорок. вы что-о? У меня тысяча двести было новыми, с рейса остались.

Майор поглядел на меня и ручку закусил во рту.

— Правду говоришь?

— Ну, поменьше, я куртку вот купил, в ресторане сидел, на такси тоже потратился... Но тысячу ж я не мог посеять!

Майор поглядел на старшину. Тот лишь руками развел.

— Не знаю, как там тебя...

— Шалай.

— Так. Ну, вот и познакомились. Майор Запылаев. Так вот, Шалай. Мы же твои деньги не заначили. Ты же это прекрасно сам знаешь.

Я пошел обратно к лавке. Когда ж их у меня заначили? Все как-то обрывки... Аскольд, задом к двери, молотил в нее ногою, а Вовчик как сунул палец в звонок, так и держал, пока Клавка не приоткрыла на цепочке. «Кого еще черти?..» — «Отпирай, Клавдия, мы к тебе Сеню специально привезли. Жить без тебя не может!» Она там стояла в халатике с красными и зелеными цветами, смеялась. «И что я с вами, тремя идиотами, буду делать?» За ней — трехручьевская, в бигудях, что-то ей шептала. «Ты там, Нечуева, не агитируй!» Это Аскольд все орал. Потом он на ливанчике сидел, гренькал на гитаре: «Пришел другой, и я не виновата, что я любить и ждать тебя устала...» И хохотал при

этом. Вовчик свою Лидку обжимал, она его шлепала по рукам и шипела: «Не щекочись, мне смеяться нельзя, видишь — лицо кремом намазано». А я сел на пол у батареи, Клавка мне поднесла стопку и чего-то закусить, хотела со мной чокнуться. А я ее ноги увидел, красивые, с круглыми коленками, и чокнулся об ее коленку. Я ее так любил, Клавку, никого в жизни так не любил!.. Где-то я еще в кухне ее обнимал... Ну да, голову пошел смочить... Куда-то я ее поехать со мной упрашивал, потому что бичи меня ограбят, только она одна меня может спасти, я без нее и правда жить не могу. «Ах ты, рыженький, я ведь не железная, учти, тоже голову могу потерять. А если мне твоя верная в глаза кислотой?» Чего-то я еще ей бормотал несусветное. Потом она вырвалась, запахнула халатик, ушла из кухни...

— Ты что,— спросил майор Запылаев,— совсем ничего не помнишь?

— Начисто.

— А с кем в ресторане сидел?

— С друзьями.

— На них не думаешь?

Я не ответил.

— И куда на такси ехали, запомнил?

— К женщине.

— Что за женщина?

...А в комнате я ее с Аскольдом застал, чуть не в обнимку. Ну, так мне показалось. И я его с дивана на пол швырнул. А сам к ней подошел, стал ее целовать — в шею, в грудь. Она не вырывалась, только хотала и дула мне в лицо. И вдруг меня пучеглазый стал душить. А Вовчик вроде бы разнимать кинулся, но сам же первый и стукнул. В коридор они меня вытащили метелить. Но там-то я вырвался и врезал обоим хорошо по разу, а в третий раз в стенку попал, себе же на убыль. И уж они меня без помехи метелили. Аскольд держал, а Вовчик примеривался и стукал. «Это ему еще мало. Это он еще не запомнит. А вот так — запомнит. И вот так». Покамест Клавка не выскочила. «А ну, прекрати-те, звери! Я вас сейчас всех налажу!» Но их наладишь, когда уж они озверели. Открыли дверь и с лестницы меня — головой вниз...

Баба вдруг подала голос из-за решетки:

— Ты вспомни получше, мальчонка. Милиция — она хорошая, она чужого не берет. Это шалава тебя растрясла.

— Сиди, сиди, Кутузова,— сказал ей старшина,— тебя не спрашивают.

— Есть, гражданин начальник. Мне мальчишка жалко.

— Нам тоже жалко. А ты молчи в тряпочку.

Майор Запылаев вздохнул и сказал:

— Так как же, Шалай? Не поможешь мне? Я ведь обязан твои деньги найти.

— Ничего вы не обязаны. Я по крайней мере не прошу.

— Напрасно ты так. Тем, кто это делает, крепко может попасть, а ты покрываешь. Что — и фамилии ее не помнишь?

Фамилию-то я вспомнил. Когда я эти кирпичики стал кидать — ей в окошко, а попал кому-то другому, раза два или три даже, тут целый взвод выбежал меня хватать, и мужик какой-то кричал сверху: «Это у Перевошиковой, у Перевошиковой шпана собирается. Я эту квартиру давно на замстку взял!» А Клавка из подъезда: «Больше тебе делать нечего! Смотришь, кто ко мне ходит? А я женщина свободная. Может, мне тоже жизни хочется». Ну и голосок же был у моей возлюбленной!.. Но я еще и про Нинку вспомнил: бичи-то ведь знают, что я на Абрамыс ездил, милиция до нее докопается, а вдруг у ней деньги в сенях

остались, даже наверняка остались, и Нинку вполне замести могут ни за что ни про что, потом мне ее и самому не выручить. А если и бичей заметут с Клавкой — все равно, какие б они ни были, как бы я против них ни озверел, не стоили эти деньги, чтоб люди из-за них сели в тюрьгу. Я всего двадцать суток на губе сидел, больше не сидел, и все равно я знаю: никакие деньги этого не стоят. Лучше я сам их при встрече возьму за глотку.

— Ты откуда, Шалай? С тралового?

— Сам ты траловый!

— Давай, груби мне. Я все фиксирую.

— Не траловый я, а сельдяной.

— Вот и отвечай по существу. Я на тебя официальный документ заполняю. Где живешь?

— На земле и на море.

— Ладно, спрошу точнее. Прописан где?

— Прописан по кораблю.

— Так... В общежитии, значит. Ну что, две недельки у нас поживешь. За вытрезвление с тебя четыре тридцать, так и быть, не взыщем.

— Спасибо.

— Ныркин, выдай ему постельный комплект, завтра еще допросим.

— Но я уже передумал. Не поживу я у вас, я лучше в общагу пойду.

— Ну, милый, это уж мне знать, где тебе лучше. Нахулиганил — значит, у нас лучше.

— Нельзя мне, майор. Береговые у меня. Я неделю как с моря.

— Что ж делать, Шалай? Мы, что ли, с Ныркиным стекла били, покой нарушали трудящихся?

— И мне завтра по новой в море. Утром отход.

Майор Запылаев бросил свой документ писать, вздохнул.

— Ныркин, завтра какой отходит?

— Кто его знает? В диспетчерскую надо звонить.

— На каком идешь?

— Вот,— говорю,— буду я еще номера запоминать!

— Ну, название.

— А это тем более.

Это он знал, Запылаев, мы свои СРТ больше по номерам различаем.

— Кто там капитан?

Я пожал плечами. Капитана я еще не успел придумать.

— В море,— говорю,— познакомимся.

— Врет,— сказал Ныркин.— А может, и не врет.

— Ну, а кого-нибудь помнишь? Старпома? Дрифмейстера?

— Штурманов? — баба сказала из-за решетки.— Механиков?

— Во! Стармеха помню. Бабилов.

— Сергей Андреич?

— Точно.

Запылаев опять чего-то вздохнул.

— А ведь я могу и проверить. Телефон-то у него наверняка есть.

Это правда, телефон был у «деда», его за три года до этого депутатом выбирали в райсовет. Только не нужно ему было знать про мои похождения.

— Он же спит,— говорю.

— Ничего, разбудим. Твоя вина.

— И все я пошутил. Никакой у меня не отход.

— Врал, значит?

— Ага,— я снова пошел к лавке,— давай мне, старшина, комплект, я спать лягу.

Майор Запылаев все-таки набрал номер. Я так себе и представил, как в длинном-длинном коридоре, где сундуки стоят, корыта, холодильники, а на стенах висят велосипеды, как там звенит, заливается звонок, пока кто-нибудь, нервный, не выскочит, протирая кулаками очи, не нашарит выключатель, потом — в другой конец не зашлепает, к телефону. Потом идут стучать «деду» — тоже подвиг, опять в другой конец беги. Но «деда» нельзя не позвать, его и ругают и уважают. И вот «дед» поднимается, кричит, накидывает бушлат, сует ноги в теплые галоши, идет, и вся квартира, конечно, пристраивает уши к дверям: кому же он понадобился в столь поздний час? Любопытно, любопытно, «майор Запылаев из милиции», то-то нынче пошатывались, когда пришли. Нет, с «дедом» все в порядке, матросик из его экипажа набедокурил — «в нетрезвом, конечно»,— теперь на него ссылается. Скажите, полторы косых размотал за ночь, не помнит где. Хорош экипаж! А «деду» он что — сын, племянник? Ах, этот, который все к нему ходил, вроде подкидыша. Хорош подкидыш, с таким подкидышем жить да радоваться. А старей-то за него просит, унижается, было бы из-за кого. Господи, и Марь Васильевна выбежала, бог своих не дал, вот и носятся с прохиндеем великовозрастным, души не чают... Потом идут они двое, между замочных скважин, и молчат. Запираются в своей комнатешке и друг другу ни слова.

Майор Запылаев положил трубку.

— «Скакун» твое судно называется. В восемь отход.

— Спасибо. Теперь буду знать.

Он погладил свой «внутренний заем» и насупился: что же теперь ему с официальным документом делать?

— Оставлю на всякий случай. Жильцы пожалуются. Стекла придется тебе вставить. Договорились?

Я кивнул. Ничего, сквозь землю не провалился, только лицо как будто пятнами пошло.

— Я идти могу?

— Мотай! Хотя подожди, Лунев с Макарычевым тебя отвезут, а то еще где-нибудь попадешься, снова придется Бабилова будить.

Будил-то не я, а он. Но я уж смолчал. Тут как раз и подъехали Лунев с Макарычевым — злые, как бесы. Макарычев платком ссадину зажимал на щеке, а Лунев высыпал Запылаеву на стол гильзы от пистолета, штуки четыре. Оказывается, в международный конфликт им пришлось вмешаться — возле Интерклуба англичане подрались с канадцами.

— Веселая ночка! — сказал майор Запылаев.— А придется еще, Макарычев, съездить, бича в общежитие сvezешь.

Лунев поглядел на меня.

— Так и будем, значит, работать: мы задерживаем, а ты выпускаешь?

— Ладно, завтра ему в море. И Бабилов за него поручился.

— Пусть отдохнет Макарычев,— сказал Лунев,— сам отвезу.

По дороге я Лунева попросил подождать, зашел в один знакомый двор и постоял там, задрав голову. Окошко на четвертом этаже погасло. Я вернулся и сел в коляску.

— Порядок? — спросил Лунев.

Я только кивнул. Он меня довез, разбудил вахтершу и на прощанье помахал мне рукой.

— Все ерунда, ты не огорчайся.

Про деньги ему уже сказали.

— Спасибо, — говорю.

— Счастливо тебе в море!

Я пришел, скинул только куртку и тут же повалился на койку — лицом вниз. Заснул без снов, без памяти, как младенец.

## 10

Вахтерша свое дело знала. Если кому в море идти, она всю общагу перевернет, но тебя и мертвого поставит на ноги. Постоишь, покачаешься — и оживешь. Но уж соседям, конечно, не улежать. Все мои четверо проснулись, поглядели на черные окна и задыхались в четыре рта. Сочувствовали мне. Шутка сказать — вместе неделю прожили! Тем более в одной компании нам уже не встретиться. Сегодня же на мое место другой придет, как в том анекдоте: «Спи скорей, давай подушку», а меня позабудут.

Они себе покуривали, а я собирался. Чемоданчик еще был крепкий, две пары белья на смену, три сорочки и галстук, и шапка меховая, и золотые часы, а пальто и костюм я на хранение решил оставить — одолжил у соседей иглу и химический карандаш, зашил в мешковину и написал: «Шалай С. А. Ждать меня в апрелс. СРТ-815 «Скакун». Вот все, что я нажил. И еще курточка. Ну, с ней ничего не случилось. И кровь хорошо замылась, никаких следов. Да, вот и полпачки осталось «беломора», на сегодня хватит, а завтра можно и в кредит брать, в лавочке у артельного. А если сегодня и вправду отойдем, то и деньги мне ни к чему, сами понимаете. Вот если бы они были, тогда другое дело. Ну, ладно, что теперь говорить.

— Счастливо, негрятя!

— Тебе, дикаренко, счастливо. Уродуйся там по-хорошему.

— Встретимся в море. У Фарер.

Мы посидели, как водится, потом я всем пожал лапы — еще теплые, вялые со сна.

Сколько же раз я уходил отсюда — дайте припомнить. Ну, не из этой комнаты, все они на один лад: пять коек с тумбочками, стол под газеткой, потрескавшееся зеркало на стене и картина — люди спасаются на обломке мачты, а на них накатывает волнишка баллов так на десять — черта лысого спасешься! На другой стене пограничный дозор в серых скалах вглядывается в серое море, старшина ладошку приставил ко лбу — бинокль у него, наверно, в воду свалился. Да, без воды нам, конечно, не обойтись на берегу. Ладно, пускай висят. А я пошел.

При выходе вахтерша меня остановила:

— Погоди, сынок, у тебя за семь дней не уплачено.

Вот этого я не учел. Семь дней — это значит семьдесят копеек. Я вынул свои сорок. Она поглядела на меня поверх очков, вздохнула.

— У соседей не мог одолжить?

— Меньше десятки занимать — несолидно.

— Ладно, сама за тебя заплачу. Запомнишь?

— Забуду. Вы напомните, пожалуйста.

— Постой, я тебе пропуск выпишу.

Я показал ей, что у меня в чемоданчике, а пропуск порвал и кинул в плавательницу. Кому же его показывать? Той же вахтерше.

— До свиданья, мамаша.

— Ступай, счастливо тебе в море.

Была еще самая ночь, когда я выходил, со звездами. Я пошел по тропочке, вышел на набережную. Порт переливался огнями до самых

дальних причалов, вода блестела в ковшах<sup>1</sup>, и весь он ворочался, кипел, посапывал, перекликался тифонами и сиренами; и отовсюду к нему спешили — толпами, врассыпную, из переулков, из автобусов.

На углу Милицейской я стал. Четверть десятого было на часах. Она уже там. Она минута в минуту приходит. Не то что я—к отходу. Монеты у меня для автомата не было, но я зато способ знаю.

Подошел там к трубке мужчина.

— Нельзя,— говорит,— она в лаборатории. Мы по личному делу...

— Ах, какая жалость! А то к ней брат приехал...

— Из Волоколамска?

Так и есть, нарвался я на очкарика.

— Ну, нельзя — не зовите. Только передайте: тот самый звонил, ему сегодня в море, просил ее прийти на причал.— Я ему сказал, какое судно и как найти причал.— Запомните?

С кем-то он там пошептался и ответил:

— Хорошо, я постараюсь.

— Вы-то не старайтесь. Пусть она постарается.

— Она... по-видимому, придет. Если сможет. Больше ничего?

— Нет, спасибо.

Так мы с нею и пообщались.

Мне еще нужно было в кадры — это рядом, на спуске: избенка в один этаж, стены внутри голубые, облупленные, карандашами исписанные вкось и наискось, увешанные плакатами: «Рыбак! Не выходи на выметку без ножа», «Не смотри растерянно на лоно вод. Действуй уверенно, используй эхолот!», «Перевыполним план годового улова трески на трам-тарарам процентов». Пять или шесть окошечек выходят в коридор — в такое окошечко лица не увидишь, только руку просовываешь с документами. И народ здесь толчется с утра до ночи, атакуют эти окошки — кажется, век не пробиться. Но это так кажется.

Я вломился в коридор и заорал с порога:

— Бичи! Пустите добровольца!

Расступились. Девушка даже выглянула на меня из окошечка.

— Это ты доброволец?

— Ага. Выдай мне билетик на пароход. Срочно!

— Выбирай любой. Какой на тебя смотрит?

— Восемьсот пятнадцатый.

— Привет! Ушел уже.

— Не может быть,— говорю.— Отход на восемь назначен. А сейчас только полдесятого. Вон у тебя и роль еще на столе.

— Ой, ну надо же! — захлопотала.— Неужели я еще не отнесла?

Бичи мне дышали в затылок, смотрели, как она меня оформляет.

— Ты гляди! — один говорит другому.— В Норвежское идут под селедку. Ну, юмористы!

— Надеются, значит,— отвечает другой.

— Ты шутишь! Какая же в январе селедка?

— Так это ж не я иду. Это ж они идут.

Девушка мне выбросила направление и закрылась. Бичи повздыхали и ушли перекуривать. А я дальше — крутиться по карусели. И часа не прошло, как выкрутился — со всеми печатями.

На спуске народ уже валом валил по мосткам. Я вклинился и зашагал — как рыбешка в косяке. Снег скрипел под ногами, скрипели доски,

<sup>1</sup> К о в ш — часть портовой акватории, углубление, ограниченное с трех сторон причалами.

и с нами облако плыло от нашего дыхания; мы в нем шагали, как в тумане. У проходной разделились на три рукава, потекли мимо милицеевских. Портовые шли належке, ну, а меня с чемоданчиком остановили.

Спиртного при мне не было. Даже милиция выразила удивление:

— Небось через проволоку передал?

— Святым духом,— говорю,— по воздуху.

— А много? — смеется милиция.

— Да штуки три.

— Это еще не много. Вот сейчас кочегара задержали — восемь поллитров в штанинах нес.

— Анекдот,— говорю.— Конфисковали?

— Ну, так если вываливаются — это ж не дело! Надо, чтоб не вываливалось.

— Правильно,— говорю.

— Счастливо в море!

Народ растекался по причалам, по цехам, по пакгаузам. Знакомые меня приветствовали — машинист с локомотива, доковые слесаря, девчата с коптильни, с рефрижераторов; я им улыбался, помахивал рукой и шел себе, не задерживался, пока не уперся в шестнадцатый причал. Здесь мой «Скакун» стоял первым корпусом — такая уж честь отходящему в нашем тесном порту,— весь в инее, как будто обсахаренный. Грузчики-берегаши набивали трюма порожними бочками. Кран с берега подавал их в контейнере, контейнер зависал над люком и рассыпался, и бочки летели в трюм с грохотом.

У трапа чудак скучал с вахтенной повязкой — две синих полосы, между ними белая,— поглядывал на берегашей и поплевывал в воду. Не нравилась ему такая работа. Я ему подал направление и матросскую книжку. Он приложил их к пачке, а сам на мою курточку загляделся.

— Матросом идешь? — спрашивает.

— Матросом.

— Хорошо.— Не знаю, что тут особенно «хорошо», но так уж всегда говорится.— Я третьим штурманом.

— Тоже хорошо.

— Медкомиссию прошел?

— В этом году не надо.

Ростом третий штурман был меня ниже, а вида ужасно задиристого. Где-то шрам себе заработал через всю щеку. Когда он смеялся, шрам у него белел, и лицо ошеривалось, вся улыбка из-за этого пропадала.

— Отойдем сегодня? — спрашиваю.

— В три часа, наверное. А может, и завтра. Капитана еще нет. А ты почему опаздываешь?

— Оформляли долго.

— Оформляли! Дисциплина должна быть. Курточку не продашь?

— Нет.

— И не надо. Раз опоздал — будешь вахтенным. Повязку надень.

Он мне отдал свою повязку и сразу повеселел.

— В контору сбегая. Лоции надо взять и аптеку.

— Так и скажу, если спросят.

— Ну, молоток! За берегашами следи. Видишь -- как бочки швыряют. Все клепки разойдутся. Ты покричи, чтоб кранец подкладывали.

— Покричу обязательно.

— Надо, знаешь, хоть покричать.

Мы друг друга поняли. Если кранец подкладывать, покрывку от грузовика, это нужно каждую бочку кидать отдельно. Так мы и через неделю не отойдем.

— А заскучаешь, — сказал третий, — на камбузе собачка сидит, Волна, поиграешь с ней. Сообразительный песик. А может, махнешь курточку?

— Нет.

Он сбегал по трапу и скрылся. А я пошел устраиваться. Кубрики на СРТ — носовые, под палубой. В каютке дрейфмейстер с боцманом живут; в двух кубриках, на четыре персоны и на восемь, вся палубная команда. Но туда, где четыре, мне и толкаться нечего — там «Рыбкин» поселяется, помощник дрейфмейстера, бондарь и какой-нибудь матрос из «старичков», из ветеранов этого парохода. Ну, а я уж как-то на любом судне молодой, мне — туда, где восемь. Я скинулся по трапу, толкнулся в дверь, а — дым на меня коромыслом, и пар от горячего камелька, и веселый дух от стола, где пятеро сидело с дамами. С верхних коек шестой свешивался и седьмой.

— Здорово, папуасы!

— Будь здоров, дикарь! С нами идешь? Присаживайся, выпей.

— Нельзя мне. На вахте.

— А что на вахте — богу молятся?

Я поглядел — ни одного знакомого. И койки пока все заняты. Две чьими-то шмотками завалены, а в других — сидели по двое, обнявшись намертво, из-за занавесок выглядывало по четыре ноги: две в ботинках, две в туфельках. Так и будут они выглядывать — до самой Тюва-губы. Потому что порт — это еще не отход. Вот Тюва — это отход. Там мы возьмем вооружение: сети, поводцы, кухтыли, возьмем солярку и уголь для камбуза, проверим компас, в последний раз потопчем берег. Потом отойдем на середину залива, и к нам причалит катер. Всех нас соберут в салоне и возьмут наши паспорта. Дело уже будет к ночи, в Тюве прокантуемся сутки, это как пить дать, хотя там делса часа на четыре, не больше. Тут мы в последний раз этих женщин увидим — внизу, под нашим бортом, под прожектором. будем орать им: «Ты там смотри, Верка (или Надька, или Тамарка), гулять будешь — узнаю, слухом земля полнится и море тоже, мигом аттестат закрою и кранты нашей дорогой любви!» А они нам снизу: «Глупый ты, Сенька (или Васька, или Серега), говори да не заговаривайся, люди же слушают, когда же я от тебя гуляла, я себя тоже как-нибудь уважаю!» И катер нырнет в темноту, покачивая топовым, повезет наивернейших наших жен, невест и подружек, — я за них ручаюсь, с кем-нибудь из этих и я вот так же прощался за занавеской.

Одним словом, койки мне сразу не нашлось, а это худо дело, я вам скажу, потому что койка в море — это твое прибежище, в ней не только спишь, в ней читаешь книжки и пишешь письма, в ней штормуешься — это значит, лучше всего, когда она вдоль киля, а не поперек, и ложишься в нее ногами вперед: в случае чего сначала все-таки ноги, а голова потом. Но такой уже я невезучий, это надолго. Ладно, я закинул чемоданчик в крайнюю верхнюю, у двери, и пошел.

И только я показался в капе, уже меня какой-то верзила кличет, в безрукавке-выворотке, без шапки, в шлепанцах на босу ногу:

— Вахтенный! Флажок почему не поднял?

— Может, он поднят?

— Нет. Мне диспетчер звонит. Надо поднять.

Я взлез на ростры, пробрался между шлюпками и поднял флажок — весь замасленный, линялый, в копоти, — разглядит там его диспетчер в бинокль или нет? Я закрепил фал и спустился. А тот меня ждал внизу, на морозе, приплясывал в своих шлепанцах. Ну, такому ничего не сде-

дается — лицо младенческое, румянец по всей щеке, и в пухлых плечах дремучая, должно быть, силища.

— Новенький, аттестат будешь оформлять?

— Матери в Орел.

— А бичихи — нету?

— Нет.

— И алиментов не платишь? Что ж ты такой?

— Такой уж.

— Ну, и я такой.— Протянул мне ручищу розовую, в крапинах.— Выбери время, зайди. Ножов моя фамилия. Жора. Второй штурман.

— Хорошо.

— Вот так. Свои будем. Стой вахту, не сачкуй.

Зашлепал к себе вприпрыжку. Тут меня с берега позвали:

— Вахтенный!

Стоял на пирсе мужичонка, весь в бороде, поматывал концом шланга.

— Воду будем брать ай нет?

— Обязательно, отец.

— Ну и валяй, откупоривай танки-то. Какой я тебе отец? Я еще тебя перемоложе.

Хорошо же я выглядел после вчерашнего!

— Вода у тебя — пигьевая?

Он для чего-то на шланг поглядел.

— Нет, вроде мытьевая.

Я вывинтил пробку над форпиком, приладил шланг, махнул ему рукой. Тот своему напарничку махнул. такому же бородатому. А гот еще кому-то. Так и домахались до водокачки. Потекло, вздулся рукав.

— Вахтенный!

Повар кричал с камбуза. Машина привезла продовольствие. Я к ней подвел лебедку, петлей обвязал коровью ногу и затянул.

— Вирайте!

Поплыла мороженная нога с причала на камбуз — торжественно, как знамя. Потом еще мешки перегружали — с картошкой, сухофруктами, вермишелью, черт его знает с чем. И только успел управиться — опять голос, с берега:

— Вахтенный!

Стоит в шляпе, под ней уши мерзлые, дышит себе на руки.

— Кто воду берет?

— Что значит «кто»? Пароход берет.

— Кто персонально? Фамилия? Шаляй? Почему, матрос Шаляй, питьевую воду в мытьевые танки заливаете? Очистка денег стоит. Народных. Государственных. За границей, например, за это золотом берут. Валютой.

— Мы ж не за границей.

— Тем более. Значит, себя грабим. Кто это приказал?

— Кто шланг давал, сказал — мытьевая.

— Персонально кто? Не помните. Как же так получается?

А черт его знает, как это получается. Все руками махали.

— Что ж теперь, — говорю, — обратно ее качать? Тоже ведь деньги. Народные. Государственные.

Озадачился в шляпе.

— Эт-то верно, — говорит.

— Опять же, чище помоемся. Тоже ведь проблема!

— Да мне-то, собственно... Только если все начнут питьевую. Непорядок! Вот как мы это определим.— Махнул рукой и пошел.

Минуты не прошло, как снова:

— Вахтенный!

Это из рубки старпом — их на отходе вахта. Стоял в окне, как портрет в раме, с фингалом на левом глазу, косил мне на палубу. А там, возле трюма, стоял некто — в барашковой шапке, в пальто с шарфом, в теплых галошах, руки за спиной, наблюдал за берегашами — как они бочки швыряют. Так, думаю, сейчас насчет кранцев будет заливать.

— Ты вахтенный?

Смотрел на меня холодными глазами и морщился. Капитан, конечно. Капитану в море еще много чего придется сказать, ну, а когда он в первый раз ступает на палубу спешить не надо, а надо сказать такое, чтобы запомнили. Чтоб прониклись.

— Скользко на палубе, вахтенный. Люди упадут и ноги переломают.

Так сразу и переломают. А я думал: он насчет кранцев.

— Сейчас,— говорю,— посыплю.

— Так. А чем будешь посыпать? Солью?

— Нет,— говорю,— это инструкцией запрещено. Песком надо.

— А песок у тебя есть?

— Нет. Но достану.

— Новенький, а знаешь. Ну, действуй.

Сказал он свое капитанское слово и пошел к себе в каюту, легонько так пошатываясь. А я взял лопату, пошел к бочке с солью и стал ее сыпать. Новенький, а знаю. И он тоже знает. Это один гений в газете написал, что от соли настил гниет. И напечатали. Не спросили только — а чем ее, палубу, в море поливает, не солью? Потому что — борец за экономию. Как будто если я ее песком посыплю, это дешевле выйдет. Песок зимой дороже, чем соль. А летом и посыпать не надо.

Ну вот, я и с этим покончил, больше никто меня не звал, и сел на комингс трюма перекурить. Кто-то выполз из кубрика — глаза мутны, нос сиреневый,— пошатался к капе, к трюму, подошел и встал над люком. Стоит, шатается. Я вскочил и отодвинул его на полшага.

— Отодвигаешь меня? Ты главный тут?

— Не главный, но вахтенный. Свалишься — мне отвечать.

Тут одна бочка выпала из контейнера, еще с высоты, и раскололась по всем клепкам. Не знаю отчего, так же и другие падали. Наверное, обруч был с перекалиной.

Он усмехнулся лениво, хмельно и вдруг сгреб меня за куртку, задышал мне в лицо:

— А я за бочки отвечаю, понял? Потому что я бондарь.

— Пусти,— говорю,— порвешь.

Он хотя и косою был в лыжину, но мертво держал, сильнее был меня трезвого. И так смотрел на меня из-под серых своих бровей, с такой медвежьей злобой, просто убить хотел.

— Сука ты, а не вахтенный.

Один из берегашей, который внизу был, укладывал бочки в трюме, сказал:

— Что вы, ребята, как не стыдно! Вы ж в море идете, должны быть как братьевья.

— Ты помалкивай там,— сказал ему бондарь. Но все-таки отпустил куртку. Зато поднес кулак к самому лицу.— Убивать таких братьевьев.— И пошел обратно в кубрик.

Берегаши работу оставили, смотрели ему вслед. Тот, в трюме, спросил:

— Слышь, вахтенный. Неужели же он из-за бочки? Ну, стоит она? Может, чего не поделили? Так лучше не ходить вместе.

— Чего нам делить? Первый раз его вижу.

— Вот дела!

Действительно, я подумал, дела. Ведь тут ничего не попишешь, если не понравились двое друг другу на корабле. Не из-за бочки, конечно, а просто рылами не сошлись. В море и те, кто нравится, в конце концов надоедают. А тут мы рейс начинаем врагами и врагами, конечно, разойдемся. Даже не пойдем отчего. Может, и правда не ходить с ним?

— Слышь, вахтенный,— сказал мне тот, из трюма,— ты на это плюнь. Ну, спяна сказал человек.

— Да чепуха,— говорю,— есть о чем говорить!

— Ну, правильно. Слышь, пошарь там на камбузе — хлеба не найдется ли? Есть захотелось.

Ох уж эти берегаши. Вечно у моряков чего-нибудь клянчат. Как будто прорва бездонная на траулере.

— Пошарю,— говорю.

— Будь ласков. Может, и мяску найдешь? Или там курку?

На камбузе у кандея пыхла кастрюля на плите, и два помощника чистили картошку. Сам кандей собачку кормил из миски — рыженькая такая, пушистая, глазенки выпуклые, лобик с зачесиком. Она не ела, а чуть отведывала и ушками все прядала и поджимала лапку. Не верила, что так все хорошо.

— Рубай, Волна, веселей,— кандей ее уговаривал.— Скоро на вахту пойдешь.

Всех портовых собак зовут Волна. А если кобель, то Прибой. В Тюва-губе она, конечно, сбежит. Не такие они дураки, портовые песики, с нами в море идти. У них программа четкая — обычно за кем-нибудь увяжутся, чувят судового человека, и по нескольку дней живут на парохде в тепле и в сытости, только бы уши не оборвали от широты душевной. А в Тюве сбегают на берег и на попутных возвращаются в порт. Я все понять не мог, как они различают, кто в море идет, кто в порт: ведь к одному и тому же причалу подходят. А наверное, по запаху — с моря-то трезвые возвращаются и настроение совсем не то.

Я спросил у кандея, нет ли чего для берегашей. Он поохал, но вынул из кастрюли кус мяса и завернул в газетку с буханкой черного.

— А сам не покушаешь?

Я со вчерашнего не ел, но как-то и не хотелось.

— Ну, компоту хоть порубай.— Дал мне полкастрюли и черпак.— Докончи, все равно мне новый варить.

Сам он лишь папиросу за папиросой курил, худющий, страдальческое лицо в морщинах. Язву, наверное, нажил на камбузах.

Я ел нехотя и поглядывал на его помощников, как они картошку чистят. Каждый глазок они вырезали. Это у кандея и завтра не будет готово. Они, конечно, старались, но — медленно. А мы не работаем медленно. Мы, черт меня задери, все делаем быстро. Потому что удовольствие мало картошку чистить. Или бочки катать. Вот узлы вязать — это иное дело, это я люблю. Но тут ведь все удовольствие — что делаешь это быстро. А картошка — это, как говорил наш старпом из Волоколамска, «не работа для белого человека».

Один заметил, что я смотрю, смущенно мне улыбнулся, откинул со лба белесую прядь. Он славный был, но дитя еще пухлогубое.

— Что,— спрашиваю,— рука онемела?

— Да нет, чепуха.

Салаги они, я сразу понял. Рыбак старый, конечно, сознался бы. Ничего нет зазорного.

Я кинул черпак в кастрюлю, взял у него нож и показал, как чистить. Чик с одного боку, чирик с другого и — в бак.

— Так же много отходов,— говорит.

— Ну, чисти как знаешь.

Второй, смуглолицый, раскосый, как бурят, посмеялся одними губами.

— Друг мой Алик, всякая наука благо, скажи спасибо.

— Спасибо,— сказал Алик.

Из салона пришел малый в кепчонке, в лыжной замасленной куртке, взял кочергу и сунул в топку. Потом посчитал, сколько нас тут на камбузе.

— Шура! — крикнул туда, в салон.— Четырех учти.

— Я не в счет,— говорю.— На вахте.

— Сиди ты! Вахтенному полуторную.— Не улыбаясь, наморщенный, угрюмый, сунул мне пятерню.— Фирстов Серега. Компоту оставь запить.

Алика отчего-то передернуло. Сказал как-то виновато:

— Меня, пожалуй, тоже... Я этого не пью. Ни разу не пил.

Раскосый опять посмеялся одними губами.

— Ах, он пьет только шампанское.

— Разбирайся с вами, котятками,— сказал Серега,— кто чего не пьет!

Кочерга накалилась, он прикурил от нее и пошел в салон. Мы тоже пошли. А Шура там уже распечатал ящик с «Маками» и сливал из флаконов в чистый котелок. Двадцать четыре флакончика стограммовых — это команде на бритье, но никто еще с ними не брился.

Шура веселыми глазами смотрел: что там творится в котелке? А тем временем кандей вскрывал шлопочный ящик с галетами.

Рядом с Шурой стояла девка — молоденькая, нахмуренная, держалась за его плечо.

— Шура,— просила его,— когда ж ты со мной поговоришь?

Он только плечом подергивал. А она ничего кругом не замечала, голько его одного и видела. Ну, я бы на ее месте тоже по сторонам не смотрел: такой красивый был парень, глазастый, темнобровый, зубы — как жемчуг. Он, наверное, сам своей красоты не знал, а то бы девки за ним по всем причалам пошли толпою. А может быть, и ходили. Но все равно, наши ребята себя не знают. Вот и Серега был бы красив, хотя не сравнить его с Шуркой — черен, как деготь, и синеглаз — это ведь редко встретишь, но уж как рыло свое угрюмое наморщит, лет на десять ему больше дашь.

Шура из котелка разлил по кружкам, и мне почему-то первому поставил.

— Хватани, кореш.

Сам же не брал себе, пока все не расхватали. Смотрел на меня, улыбался мне весело. Вот с ним-то мы поладим. И с Серегой, наверное, тоже. Не знаю, как объяснить вам, отчего я это почувствовал.

— Сам откуда, кореш?

— Орловский.

— Ну, ты даешь! Земляки почти, я из Мценска. Давай, земля, грохнем.

Мы чокнулись с ним. Даже его провожающая поглядела на меня милостиво. Потом мы грохнули, она тоже пригубила из его стакана и сморщилась, замахала рукою у рта. Мы слегка пригорюнились, быстренько запили компотом и потянулись за галетами. Салаги долго не решались, смотрели на нас — не умрем ли? нет, живы,— потом раскосый

глотнул все разом, подобрал живот и выдохнул в подволок. Алик же пил судорожными глоточками и плавился, истекал слезами.

— Ничего,— сказал Шура,— с ходу оморячились!

Алику, однако, стало плохо, хотя он и улыбался героически. Кандей вскочил и увел его на камбуз. Мне тоже пора было идти.

— Да посиди, земля,— сказал Шура,— не украдут пароход.

Провожающая взглянула на меня исподлобья.

— Ну, раз ему надо идти. Вы потом, в экспедиции, наговоритесь. Я взял сверток и вышел.

Берегаши, конечно, не грузили, ждали меня, и тут же сели закусы-вать.

— Ступайте, ребята, в салон,— говорю.— Там тепло и есть чего выпить.

Берегаши подумали и отказались.

— Да чо там,— сказал один,— нам все равно бесполезно, по холоду выдохнется. А вы уж почувствуйте как следует, вам в море идти, три месяца будете трезвенники.

— Это верно. Три с половиной.

Я ушел на полубак, сел там на бочку, дымил и поглядывал на причал. Я еще не потерял надежды, что она придет. В прошлый раз она тоже опаздывала, успела к самому отплытию. Вот разве очкарик не передал ей, что я звонил. Но какой ему резон — если я ухожу? И с кем же он тогда шептался?

До Полярного недолго было и сбежать или позвонить из диспетчерской, но чертова повязка меня связала по рукам, по ногам. Кому ее передашь, у каждого эти минуты последние. Просто сбежать, и все? Никто особенно не хватится, покричат — другого найдут. Но этого я не могу: я с вахты еще не бегал. Не в этом дело, хватятся или нет, а тут у меня определенный свих, я не могу объяснить. Так, наверное, заведено: одним — жить в тепле, другим — стынуть и мокнуть. Вот я родился — стынуть и мокнуть. И не сбежать с вахты. Я сам себе это выбрал, тут никто не виноват.

Уже смеркалось, когда снова позвали:

— Вахтенный!

Было начало четвертого, а к причалу никто не спешил — я бы изда-лека увидел.

## 11

Позвал меня «дед». Он возился под рубкой, доставал из-за лебедки шланги и футшток — готовился к приемке топлива. Он не знал, кто на вахте, звал любого. И сказал мне, не оборачиваясь:

— Сейчас прилив начнется, швартовы не забудь ослабить.

— Не забывал до сих пор.

«Дед» повернулся, оглядел меня.

— А мне сказали: новенький на вахте. Давай-ка остаток замерим.

Он вывинтил пробку в танке, я туда вставил футшток, упер его в днище и вынул. «Дед» стоял наклонившись и смотрел.

— Сколько там?

Он даже не различал делений. А я их видел с полного роста, да и не темно еще было. Значит, ему и правда на пенсию. Рано или поздно обнаружат, что он слепой. Я встал на корточки и пощупал — где мокро от соларки.

— Тридцать пять вроде...

— Я так и думал. Завинчивай.

— «Дед», а почему ты сам замеряешь? «Мотыля» мог бы послать.

— А я не сам,— сказал «дед».— Ты вот мне помогаешь. Ничего, я их в море возьму за жабры.

Или они тебя, я подумал, ты стар уже, «дед», теперь стармехами в моем возрасте плавают.

— Как довели тебя, в норме? — спросил «дед».

— Спасибо.

— Мне-то за что? А деньги — ты не тужи об них, деньги наших печалей не стоят. Ну, вперед будь поосторожней.

Я засмеялся. Вот и вся «дедова» нотация. За что я его и любил.

— Зайдешь ко мне? — спросил «дед». — Опохмелиться дам.

— Да я уже.

— Чувствуется. Пахнешь, как балерина.

— Зайду.

«Дед» пошел к себе, а я — в корму и на полубак, ослабить швартоубые. Прилив еще не начался, но когда начнется, за ними не уследишь: рваться будут, как нитки. Я скинул по шлагу с кнехтов и пошел к «деду». На СРТ у троих только отдельные каюты: у кепы, стармеха и радиста. Штурмана и те втроем живут. Но «маркони» тут же аппаратуру держит, и народ у него всегда толчется, это не каюта, а рабочее место. А фактически — у двоих, одна против другой. «Дед», как говорят, «вторая державка на судне». И к нему в каюту никто не ходит. Даже к капитану ходят по тем или иным вопросам. А к «деду» один я ходил, и то на меня за это косились. И на него тоже. Но мы на это плевали.

«Дед» к моему приходу разлил коньяк по кружкам и нарезал колбасу на газетке.

— Супруга нам с тобой выставила,— объяснил мне.— Жалела тебя вчера сильно.

— Марь Васильевну я, жалко, не повидал. Проводить не придет?

— Она знает, где прощаться. На причале — одно расстройство. Ну, поплыли?

Я сразу согрелся. Только теперь почувствовал, как намерзся с утра на палубе.

— Кой с кем уже познакомился? — спросил «дед».

— Кеп — что-то не очень.

— Ничего. Я с ним плавал. Это у тебя поверхностное впечатление.

— Да бог с ним, лишь бы ловил хорошо.

— А вообще народ понравился?

Я пожал плечами.

— Не хочется плавать? — спросил «дед». — Тебя только деньги и тянут?

Я не ответил. «Дед» снова налил в кружки и вздохнул.

— Я вот чего решил, Алексеич. Я тебя весь этот рейс на механика буду готовить. Поматросил ты — и довольно. Это для тебя не дело.

Я кивнул. Ладно, думаю, пусть он помечтает на старости.

— Ты пойми, Алексеич, правильно. Матрос ты расторопный. Я видел — на палубе ты хорош. Но работу свою не любишь, она тебя не греет. Оттого ты все и качаешься, места себе не находишь. И нельзя ее любить, скоро вас всех одна машина заменит — она и сети будет метать, и рыбу солить, а человеку только и делов будет — подмазывать ее и подналаживать.

— Это здорово! — Я потянулся к кружке, но «дед» ее накрыл ладонью. — Только я ни черта в твоей машине не разберусь.

— У меня разберешься! Да не в том штука, чтоб разобраться. А чтобы — любить. Я тебя жить не научу, но дело свое любить будешь. А это главное. Дальше-то все само приложится. Ты себя другим челове-

ком почувствуешь. Потому что люди обманут, а машина — как природа: сколько ты в нее вложишь, столько она тебе и отдаст, ничего не заначит.

Я улыбнулся «деду». Под полом чистило гулким, ровным стуком, кружки на столике ездили от вибрации.

— Хорошо стучит.

— Нет, плохо,— сказал «дед».— Ей сейчас тяжело. Разве не чувствуешь, она нагрузки просит, это не режим — у стенки трястись.

Света мы не врубили, и не нужно было, в «дедовой» каютке любую вещь достанешь, не вставая со стула,— но я увидел в полутьме его лицо. Тепло ему тут жилось, наверное, когда она день и ночь стучит под полом.

— Что ты! — сказал «дед», как будто услышал, о чем я думаю.— Я как попал в эту карусель... и только и ожил, когда меня к машине поставили.

— А что она делала, эта машина?

«Дед» пододвинул мне кружку и сказал строго:

— Худого она не делала, Алексеич. Асфальтовую дорогу прокладывала через тайгу.

— Зверушек, наверное, поугадили там?

— Каких таких зверушек?

— Да нет, я так.

Просто я вспомнил — мне рассказывал один, как они лес рубили зимой, где-то в Пошехонье, и трелевочными тракторами выгоняли медведей из берлог. Я себе представил этого мишку — как он вылезает из геплой норы, облезлый, худющий, пар от него валит. Одной лапой голову прикрывает от страха, жалуется, плачет, а на трех — улепетывает подале, искать себе новую берлогу. А лесорубы, здоровые лбы, идут за ним оравой, в руках у них пилы и топоры, и кричат ему: «Вали, вали, Потапыч!..» Я потом спрашивал у этого малго, нашел себе мишка новую берлогу или нет, но откуда же он мог знать...

— Я тебе серьезно,— сказал «дед»,—а ты мне про зверушек. Давай-ка лучше поплывем.

Мы выпили, и мне отчего-то жалко стало «деда». Я и вправду решил к нему пойти на выучку. Может быть, что-нибудь из меня и выйдет.

— «Дед», не обижайся. Я ради тебя чего только не сделаю.

Тут меня снова позвали с палубы.

— Ступай,— сказал «дед».

Когда я уходил, он, сутулый, сидел в темноте за столиком и смотрел в окно. Потом убрал недопитую бутылку и кружки.

— Куда делся, вахтенный? — Старпом стоял в окне рубки, светил своим фингалом. Был он, наверное, из поморов — скуластенький, широконосый, глазки спрятались под белыми бровками. И очень важничал, переживал свою ответственность.— Я тебя час зову, не откликаешься.

Час — это значит, он два раза позвал. Я не стал спорить. Это самое лучшее.

— Не ходи никуда, сейчас отчаливать будем. Люди все на месте?

— Кто пришел, гот на месте.

— Отвечаешь не по существу вопроса.

А что ему ответишь? Не пошлет же он меня в город, если кто и опоздал. В Тюва-губе догонят.

Еще два человечка прыгнули с причала, с чемоданчиками в руках, и тут же скрылись в кубрике. Потом показался третий штурман — с белым мешком за спиной. Не с мешком, а с наволочкой. В ней он, наверное, лощи приволок и аптеку: он ведь на СРТ и за доктора. Лекарств у него там до фени, самых дорогих, каких хочешь, но на все случаи жизни — зеленка и пирамидон, больше он не знает. Зеленка — если пора-

нишься, а пирамидон — так, от настроения. А больше мы в море ничем не боеем.

За третьим — женщина прибежала, в пальто с лисой и в шляпе. Как раз у трапа они и начали обниматься. Женщина большая, а штурман — маленький. Он ее за талию обнимал, а она его — за шею. Едва отпустила живым, набрасывалась, как тигрица. Третий прыгнул на палубу и псмахал ей морской отмашкой. Глаза у него блестели растроганно.

— Иди,— сказал ей нежно,— простудишься на морозе.

Она постояла, как статуя, и пошла.

— Хороша? — спросил у меня третий.— За полторы сойдет, верно?

— За двух.

— Сашкой зовут. Вчера познакомились.

Я кивнул.

— Слышал новости? Отзовут нас с промысла, рейс не доплаваем. Точно, мне в кадрах верный человек сказал.

— Это почему отзовут?

— А не ловится селедка.

— Неделю назад ловилась.

— Неделю! За неделю знаешь, что может произойти? Землетрясение! Черт-те чего! Я те говорю: отзовут.

Новости, конечно, самые верные. Из агентства ОБС и КП. Одна баба слыхала и кореш подтвердил. Всегда перед отходом ползают какие-то таинственные слухи: отзовут, не доплаваем, вернемся суток на двадцать раньше. Иногда и правда отзывают. Один раз на сотню. Но я сколько ни плавал, день в день приходили, на сто шестые сутки.

— Что ж,— говорю,— приятно слышать.

— Вот! Ты со мной не спорь. Как насчет курточки?

— Все так же.

— И зря. Отнеси мешок в штурманскую.

— Не понесу. Это твое дело. А я с палубы не могу уйти.

— Резкий ты парень!

Он поднял воротник на шинели, вскинул наволочку и побежал, полусогнутый.

— Вахтенный! — старпом позвал из рубки.

— Ну?

— Не «ну», а «слушаю». Убрать трап!

С берега мужичонка, в шапке набекрень, подал мне трап и помахал ладошкой. Больше никого на пирсе не было. Над всей гаванью заревело из динамиков:

— Восемьсот пятнадцатый, отходите! Восемьсот пятнадцатый, отдавайте концы!

Старпом в рубке горделиво стоял у штурвала. Рад был ужасно, что кеп ему доверил отчаливать.

— Вахтенный! Отдать кормовой!

Тот же мужичонка подал мне конец, и я вышел под рубку, ждал, когда борт отвалит от стенки.

— Что молчишь? — спросил старпом.— Конец отдал?

— Порядок,— говорю,— можете отчаливать.

— Надо говорить: «Чисто корма!»

— Знаю, как надо говорить.

Чудо, что за паролод. Как будто один я отчаливал. Не считая, конечно, старпома.

Машина встрясла всю палубу дребезгом, и винт за кормой всхрипнул, взбурлил черную воду. Борт начал отходить, и я пошел на полубак. Старпом мне крикнул вдогонку:

— Отдать носовой!

Опять мы с тем мужичонкой встретились. Он сделал свое дело, похлопал рукавицами себя по груди, по ляжкам и сказал мне:

— Счастливо в море, парень!

— Ага. Бывай, отец.

Мы уже отошли на метр — в слабом свете плескалась мазутная вода между бортом и стенкой, плавали в ней щепки и мусор, — и я пошел закрепить леер, где раньше был трап.

Вдруг меня оттолкнули: какая-то девка с плачем, охая кинулась с борта на причал. Едва-едва достала до пирса, одними носочками — и испугалась, заплакала чуть не навзрыд. За нею выскочил Шура — в одной рубашке, без шапки. Он ей орал:

— Мне все про тебя скажут, не думай, не утаишь!

— Шура! — Она шла по причалу, прижав руки к груди, платок ей закрывал половину лица. — Как ты так можешь говорить! В гробу я с ним лежала!

— Я тя люблю, поняла, но услышу про твоего Венюшку — гад буду, все тут кончится!

— Шура!

Она отставала, уплывала назад и скрылась за рубкой. Мы разворачивались в ковше, шли к середине гавани. Я закрепил леер. Шура стоял рядом, ругался по-страшному и мотал головой.

— Жена? — я спросил.

— Да только расписались.

— Зря ты с ней так, девка тебя любит.

— Любит!.. А ты чо суешься? Твое дело? — Потом он успокоился, улыбнулся даже. — Ничего, для любви не вредно. Все равно она в Тюву завтра примчится.

— Думаешь?

— А не приедет — тоже неплохо. Громко попрощались. Запомнит.

Причалы уходили вдаль, за корму, надвигались и уходили другие причалы, корпуса пароходов. Вода, черная, как деготь, поблескивала огоньками. Над рубкой у нас три раза взревел тифон. Низко, протяжно. Кто-то издалека откликнулся — судоверфь, наверно, и диспетчерская.

— Раньше не так было, помнишь? — сказал Шура. — Весь порт откликался. Аж за сопки провожали.

Он вздрагивал от холода, но не уходил, смотрел на порт.

— А тебя почему не проводили? Времени не нашла?

— Не смогла.

— Убить ее мало. Сходи погрейся, я за тебя постою.

— Не надо.

— Ну и стой, дурак. — Он пошел в кубрик.

Мы шли мимо города, проходили траверз «Арктики», потом траверз Володарской — промелькнула в огнях, стрелой, направленной в борт, и отвернула назад. С другого борта уходил Абрам-мыс, высоко на сопке мелькнуло Нинкино окошко. Потом — пошла Роста.

— Слышь, вахтенный, — позвал старпом. — В Баренцевом, сообщают, шторм восьмибалльный.

— Ничего себе.

— Повезло нам. До промысла лишний день будем шлепать.

— Нам всегда везет. Чем ни хуже, тем больше.

— А ты чего такой злой?

— Я не злой. Это у тебя поверхностное впечатление.

— Ишь ты! Ладно, притремся. Иди спать пока, до Тювы ты не нужен.

Но я не сразу ушел, а покурил еще в корме, на кнехте. Здесь шумела от вина сгрудя, переливалась холодными блестками и отлетала во

тму, и лицо у меня деревенело от ветра. Ветер шел от норда: в Баренцевом и правда, наверно, штормило. Но мы еще не завтра в него выйдем, завтра весь день — Тюва. Если я сильно захочу, можно еще оттуда вернуться.

Мы шлепали заливом, лавировали между темными сопками, покамест одна не закрыла напрочь и порт, и город, и огоньки на Абрам-мысу.

Встречным курсом прошлепал кантовочный буксирчик — сопел от натуги, домой спешил. Кранцы висели у него по бортам, как уши. На нем тоже можно было вернуться, если сильно захотеть.

Прошла его корма, я на ней разглядел матроса — в ушанке и черном ватнике. Он, как и я, сидел там на кнехте, прятал сигарку в рукав от ветра. Увидел меня и помахал рукой:

— Счастливо в море, бичи!

Я бросил окурок за борт и тоже ему помахал. Потом ушел с палубы.

### *Глава вторая*

### СЕНЯ ШАЛАЙ

#### 1

Веселое течение — Гольфстрим!..

Только мы выходим из залива и поворачиваем к Нордкапу, оно уже бьет в скулу, и пароход рыскает — никак его, черта, не удержишь на курсе. Но зато до промысла, по расписанию, шлепать нам семеро суток, а Гольфстрим не пускает, тащит назад, и получается восемь — это чтобы нам привыкнуть к морю, очухаться после берега. А когда мы пойдем с промысла домой, Гольфстрим же нас поторопит, поможет машине, еще и ветра подкинет в парус, и выйдет не семь, а шесть: в порту мы на сутки раньше. И плавать в Гольфстриме всегда веселей — в слабую погоду зимой тепло бывает, как в апреле, и синева, какую на Черном море не увидишь, и много всякого морского народу плавает вместе с нами — косатки, акулы, бутылконосы, — птицы садятся к нам на реи, на ванты...

Только вот Баренцево пройти, а в нем зимою почти всегда штормит. Всю ночь волна громычала бочками в трюме и нас перекачивала в койках. И мы уже до света не спали.

Иллюминатор у нас — в подволоке, там едва брезжило, когда старпом рявкнул в капе:

— Па-дъем!

К соседям в кубрик он постучал кулаком, а к нам зашел, сел в мокром дождевике на лавку.

— С сегодняшнего дня, мальчики, начинаем жить по-морскому.

Мы не пошевелились, слушали, как волна ухаёт за бортом. Один ему Шурка Чмырев ответил, сонный:

— Живи, кто тебе мешает.

— Работа есть на палубе, понял?

— Какая, только из порта ушли! Чепе какое-нибудь?

— Вставай — узнаешь.

Лицо у старпома таинственное было и важное. С фингалом в придачу это смешно выглядело.

— Не, — сказал Шурка, — ты сперва скажи, чего там. Надо ли еще вставать.

— Чего, чего! Кухтыльник сломало, вот чего.

— Свисти! Сетку, что ли, порвало?

— Не сетку, а стойку.

— Это жердину, значит?

— Ну!

На нижней койке, подо мною, заворочался Васька Буров, артельный. Он самый старый среди нас и с лысиной, мы его с ходу назначили главным бичом — лавочкой заведовать.

— Что ж ты за старпом?— говорит.— Из-за вшивой жердины всю команду перебудил. Одного кого-нибудь не мог поднять?

— Тебя, например?

— Не обязательно меня. Любого. Волосан ты, а не старпом!

Тот озлился, пятнами пошел.

— А мое дело маленькое, сами там разбирайтесь. Мне кеп сказал: найдется работа — всех буди, пускай не задёживаются.

— Я и говорю: волосан. Кеп-то сказал, а работы нету. А ты авра-лишь.

Старпом поскорей смылся. Но мы тоже не улежали. Покряхтели да вышли. На судне ведь ничего потом не делается, все сразу. Хотя этот кухтыльник и не понадобится нам до промысла.

Горизонта не видно было, сизая мгла. Волна — свинцовая, с белыми гребнями — катилась от норда, ударяла в штевень и взлетала толстым желто-пенным столбом. Рассыпалась медленно, прокатывалась по всей палубе, до рубки, все стекла там залепляла пеной и потом уходила в шпигаты не спеша, с долгим урчанием. Чайки носились косыми кругами с печальным криком и присаживались на воду: в шторм для них самая охота, рыба дуреет, идет к поверхности. И заглатывают они ее, как будто на неделю вперед спешат нажраться: только мелькнул селедкин хвост в клюве — уже на другую кидаются. Смотреть тошно.

Мы потолкались в капе и запрыгали к кухтыльнику. Ничего с ним такого не сделалось, стойку нужно было выпилить метра в полтора, обстругать и продеть в петли. Работы — одному минут на двадцать, хотя бы и в шторм. Но мы-то вдевятером вышли! Это значит на час, не меньше. Потому что работа — на палубе, а кто ее должен делать? Один не будет, если восемь останутся в кубрике. Он будет орать: «Я за вас вкальваю, а вы ухо давите!» И пошла дискуссия.

В общем, и полутора часов не прошло, как управились, пошли в кубрик сушиться. А кто и сны досыпать; кандей еще на чай не звал. И тут возле капа увидели наших салаг — Алика и Диму, которых с нами не было на работе. Алик, как смерть зеленый, свесился через планшир и травил помалу в море. А Дима его держал одной рукой за плечо, а другой сам держался за вантину<sup>1</sup>.

Дрифтер, который всей нашей деятельностью заворачивал, сказал ему, Диме:

— На первый раз прощается. А вперед запомни: когда товарищи выходят, надо товарищам помогать.

Дима повел на него раскосым своим, смешливым взглядом.

— Я вот и помогаю товарищу.

— Травить помогаешь? Работа!

Дима сплюнул только и отвернулся. И правда, говорить тут было не о чем. Но дрифтер чего-то вдруг завелся. Он еще после кухтыльника не остыл:

— Ты не отворачивайся, когда с тобой говорят, понял?

Дима не повернулся.

<sup>1</sup> Вантина, множ. ванты — боковые отяжки мачты.

— Понял или нет?

— Со мной не говорят, на меня орут,— Дима ему ответил через плечо.— А я в таких случаях не отвечаю. Или отвечаю по-другому... На первый раз прощается.

Дрифтер как вылупил рачьи свои глаза, так и застыл. У него даже шея стала красной. Он, правда, и не орал на салагу, просто у него голос такой, ему по ходу дела много приходится орать на палубе. Но салага все равно был на высоте, а дрифтер уж лучше молчал бы. Вообще он мне понравился, салага. Он мне еще в Тюве понравился, когда сети грузили. Понюхал и сказал Алику: «Лыжной мазью пахнут». Сколько я их перетаскал, а вот не учуял — и в самом деле лыжной мазью.

— Ты сперва руку брось с вантаины!— Дрифтер уже и впрямь заорал, встал над ним с кулачищами. У нас еще боцмана бывают добренькие, ну а дрифтеру всю палубную команду нужно в кулаке держать, так что кулаки у него дай бог.— А то еще на трех ногах стоишь на палубе!

— Пожалуйста,— сказал Дима.

Тут из ребят кто-то, Шурка вроде Чмырев или Серега Фирстов, толкнул дрифтера, увел в кап, и мы всем хором скинулись по трапу в кубрик. Сели в карты играть, покамест кандей не позовет. Серега достал засаленную колоду и роздал по шестям. Пришел еще боцман наш, Кеша Страшной,— ну, на самом-то деле он не страшной, а симпатичный, в теле мужичок, с чистым лицом, как с иконы, в довершение еще бородку начал рóстить. До порта побалуется, а там жена все равно потребует сбрить. О чем мы тут заговорили? Да, боцман-то и начал мораль нам читать — на что мы времечко золотое убиваем, карты у нас с утра, лучше бы книжки читали.

— Все поняли,— Шурка ему говорит,— садись теперь с нами, а то у нас игра не заладится.

— Вот кеп вас застукает, он вам наладит игру.

— Хе!— сказал Шурка.— Хотел бы я поглядеть на такого кепы, который к матросам ходит в кубрик.

Боцман взял карты, разобрал их и вздохнул.

— А вообще-то на судне не положено. Это игра семейная.

— А мы что, не семья?— спросил дрифтер.— Мы и есть семья.

Тут как раз и явился Дима, взял полотенце с койки и сказал — так, что мы все услышали:

— Семья! Ничего себе семья.

Мы положили карты лицом вниз, поглядели на него. Он был матовый от злости, на скулах вздулись желваки.

— Ну, как он там?— спросил дрифтер.— Все дразнит тигра?

— Не понимаю шуток,— сказал Дима.— Человеку плохо, а вы зубы скалите. Что за подончество!

Сказать между нами, дрифтер-то спросил из самого милого сочувствия. Он уже забыл начисто, как он орал на палубе. И из-за чего орал. Потому что палуба — одно, а кубрик — совсем другое. Там свои интриги, а в кубрик пришли — все забыто, сели играть, ходи с шестерки. Но салага-то этого не знал.

— Ты озверел? — У дрифтера глаза на лоб полезли.— Чем я тебя обидел?

— Да нет, все в порядке. Это я тебя обидел. Если не повторится, возьму свои слова назад.

Дима кинул полотенце через плечо и пошел. Мы опять взяли карты. Но что-то нам теперь не игралось.

— Берут же инвалидов на флот! — сказал дрифтер.— И мытарься с ними. Еще и рот разевают, дерьма куски.

Я положил карты снова лицом вниз и сказал ему:

— Ты, дрейф, еще не понял, что ты сам кусок? Ты этого на палубе не понял? Так я тебе здесь, в кубрике, могу объяснить.

— Ну, кончили,— Шурка поморщился.— Не заводишь.

Но я уже завелся. Меня вот это дико бесит — как мы друг к другу относимся.

— Салага тебе урок дал — другой бы со стыда помер. Но ты не помрешь, не-ет! С таким-то лбом стоеросовым — жить да радоваться.

— Ладно, они тоже не помрут,— сказал боцман.— Злее будет.

— Зачем же злее, боцман?

— Зачем! На СРТ пришли. Тут им не детский сад.

— А ну валяйте тогда. О чем еще с вами говорить!

— Нет уж, поговорим, Сеня,— сказал дрейфтер. Лицо у него побелело, ноздри раздулись.— Ты же мне объяснить хотел. А не объясняешь. Только ругаешься. Лучше-ка вот я тебе объясню. Ведь мы, Сеня, такие деньги получаем — ты их нигде не зарабатываешь: ни на заводе, ни в колхозе. Значит, работать надо со всей отдачей. Так мы еще с салагами будем возиться, учить их по палубе ходить? Они-то что думали — придут на траулер и сразу нам будут помощники? Нет, Сеня, они этого не думали. А это, как ты считаешь, по-товарищески? Они моряками станут, когда мы последний груз наберем и в порт пойдем — денежки считать. Вот где от них-то помощь будет! А покамест они нам на шее камень. Они это должны усвоить. И рот не разевать, когда их уму-разуму учат.

— Ты научишь! В ножки тебе поклониться за такое учение.

— Валяй сам тогда учи. Если такой добрый.

Плечи у него выперли тяжело под рубашкой. И все он сверлил меня своими глазками. Устал я с ним говорить.

— С отдачей — это как, дрейф? Доску всем хором приколачивать? А кто не вышел — всем хором на того и кидаться? Не будет у нас этого на пароходе!

Боцман засмеялся, сказал, глядя в карты:

— Откуда ты знаешь, Сеня, как у нас будет на пароходе? Как сложится, так и будет.

Васька Буров на своей койке вздохнул, отвернулся к переборке.

— Охота вам лаяться, бичи, на пустое брюхо. Чаю попьем и лайтесь тогда до обеда. А так-то скучно.

— И правда.— Серега стал собирать карты.— Что-то не шевелится кандей.

В кубрике еще один сидел, Митрохин некто. Совсем унылая личность. Я только заметил за ним — он с открытыми глазами спит. Даже ответить может во сне, такой у человека талант. Но хуже нету, если он тебя на вахте сменяет. Будят его ночью: «Коля, на руль!» — «Ага, иду». Тог, значит, возвращается в рубку, стоит за него минут пятнадцать, потом отдает руль штурману, снова приходит будить: «Коля, ты озверел? Ты ж не спишь, дьявол!» — «Нет, говорит, иду уже». А сам спит дремучим сном.

Так вот он сидел, слушал, морщины собирал на лбу, потом высказался:

— А вообще у нас, ребята, этот рейс не сложится.

Дрейфтер повернулся к нему, его стал сверлить.

— Как это — не сложится?

— А не заладится экспедиция. Все как-то накось пойдет. Или рыбы не будет. Только не возьмем мы план.

— Свистишь безответственно! Ты скажи — какие у тебя предчувствия?

— Не знаю. Не могу точно сказать.

— Не знаешь, а свистишь.

Митрохин опять в свои думы ушел, лоб наморщил. Может, у него и в самом деле предчувствия? Я чокнутым верю. Всем как-то грустно стало.

Я поднялся, вышел из кубрика. Наверху, в гальюне, Алик стоял над умывальником, а Дима, упершись ногой в комингс, держал его за плечо, чтоб его не било о переборки.

— Полегчало?

Алик поднял мокрое лицо, улыбнулся через силу. Он уже не зеленый был, а чуть бледный, скоро и румянец выступит.

— Господи, сколько волнений! Это ведь со всеми бывает?

— Со всеми. С одними раньше, с другими — потом.

— С тобой тоже было?

— И со мной.

Он поглядел в дверь на сизую тяжелую волну и сам потемнел.

— Ты не смотри, — я ему посоветовал. — Вообще приучайся не глядеть на море.

— Это интересно. — Алик опять улыбнулся. — Зачем же тогда плавать?

— Не знаю, зачем ты пошел. Меня бы спросил на берегу — я бы отсоветовал.

— Как-то ты нам не попался, — сказал Дима.

Я пожал плечом. Алик утерся полотенцем и сказал бодро:

— Все нужно пережить. Зато я теперь знаю, как это бывает.

— Да, — говорю, — повезло тебе.

Он и не узнал, как это бывает. Со мной-то не было, но я других видел. Вышли мы как-то на крейсере на учения, и — шторм баллов на девять. Эти-то калоши рыболовецкие вместе с волной ходят, валяет их с борта на борт, а на крейсере из-под тебя палуба уходит — будь здоров, как себя чувствуешь. Одного новобранца как вывернуло — десять суток в койке пластом лежал, языком не шевелил. Хорошо, что уследили за ним: взял карабин, ушел в корму — застрелиться хотел. Или вот тоже — на «Орфее»: пошел с нами один, из милиции. Все похвально, что он приемы знает, любого может скрутить. А за Нордкапом его самого скрутило — уполз на ростры, поселился в шлюпке под брезентом, там и пересидел. Я, помню, принес ему с камбуза миску капусты квашеной — говорят, помогает, — да он на нее и смотреть не мог, смотрел на волну, не отрываясь. «Я знаешь чего решил, говорит. На тринадцатый день, если эта бодяга не кончится, прыгаю в воду». А в глазах тоска собачья, мне тоже прыгнуть захотелось, с ним за компанию. Мы уже думали — связать его, пускай в кубрике лежит, но на двенадцатый день кончилось, и он сполз оттуда, списался на первой базе. Теперь снова в милиции служит.

Кандей наконец позвал с кормы:

— Чай пить!

В салоне мы все следили за нашими салагами. Диме-то все нипочем, держался, как серый волк по морскому ведомству. Сразу и кружку научился штормовать — меньше половины пролил. Алик же — поморщился, поморщился и тоже стал есть. Но это еще ничего не значит. Вот если закурит человек...

Дрифтер открыл свой портсигар, протянул Алику. Шурка поднес спичку.

— Спасибо, — Алик удивился, — у меня свои есть.

— Вот от них-то и мутит,— сказал дрефтер.— Рекомендую мои. С антиштормином.

Алик поглядел настороженно, ждал какого-нибудь подвоха. Потом все-таки закурил. Тут все и расплылось. На это всегда приятно смотреть — еще одного морская болезнь пощадила, пустила в моряки.

— Теперь посачкуй у меня, салага,— сказал боцман.— Сегодня же на руль пойдешь как миленький.

— Я разве отказывался? — спросил Алик.

Дима все понял и засмеялся. Однако слова свои назад не взял.

## 2

За Нордкапом погода ослабла, и мы потихоньку начали набирать порядок: из сетевого трюма достали сети, стали их растягивать на палубе, укладывать на левом борту; еще распустили бухту сизальского троса, поводцов из него нарезали двадцатиметровых. Обыкновенно это на третий день делается или на четвертый, лишь бы до промысла все было готово. Но если погода хорошая, лучше сразу и начать, потому что она не вечно же будет хорошая, не пришлось бы в плохую маяться.

С утра было солнце и штиль — действительно, хоть брейся,— и мы себе шлепали вдоль Лофотен, так что все шхеры видны были в подробности, чуть присиненные дымкой. И вода была синяя с прозеленью. Чайки на нее не садились — рыба снова ушла на глубину,— иногда лишь альбатросы за нею ныряли. С вышины, дико вскрикнув, кидались белыми тушами и не выныривали подолгу,— думаешь, он уже и не появится, но нет, показался с рыбиной в клюве, только глаза налиты кровью — тяжелый же хлеб у птиц! Обыкновенно, когда работаешь, всего и не видишь, некогда лоб утереть, но порядок набирать — работа спокойная, можно и покурить, и байки потравить, и поглядеть на красивый берег.

Мы как раз и разлеглись на сетях, дымили, когда боцман привел их ко мне — Алика, значит, и Диму.

— Вот,— говорит,— это у нас Сеня. Матрос первого класса. Ученый человек. Он-то вас всему и научит. Слушайте его, как меня самого.

И пошел себе, довольный, оглаживая свою бородку. Ну что ж, я на это сам почти напросился. Моряки, конечно, подняли головы — ждали какой-нибудь потехи. Это уж обязательный номер, да я это и сам люблю. А салаги стоят передо мною, переминаются, как перед каким-нибудь капитан-наставником.

Хорошо, я сел и сказал им — Алику, значит, и Диме:

— Начнем,— говорю,— с теории. Она, как известно, опережает практику.

— Не совсем точно,— Алик улыбнулся,— она ее и подытоживает.

— Кто будет говорить? Я буду говорить или ты будешь говорить?

— Пардон,— сказал Дима.— Валяй, шеф.

— Первый вопрос. Каким должен быть моряк?

Моряки там уже потихоньку давились.

— Ну, тут ведь у каждого свои понятия,— сказал Алик.

— Знаешь или не знаешь?

— Нет,— сказал Дима. Скулы у него сделались каменные.

— Моряк должен быть всегда вежлив, тщательно выбрит и слегка пьян. Второе. Что он должен уметь?

— Мы люди темные,— сказал Дима.— Ты уж нас просвети.

— Вот это я и делаю. Моряк должен уметь подойти — к столу, к женщине и к причалу.

Старые байки, согласен, но с них только все начинается. Салагам же, однако, понравилось. Алик, тот даже просветлел лицом.

— Теперь,— говорю,— практика. Ознакомление с судовыми работами.

— Пардон, шеф,— сказал Дима.— Мы знаем, что на клотике чай не пьют.

Ну, самый, что называется, благодатный материал. Совсем тетерю и неинтересно разыгрывать.

— А я вас на клотик и не посылаю,— говорю.— Я вам дело серьезное даю. Ты, Алик, сходи-ка в корму, погляди там — вода от винта не греется? Пар, в смысле, не идет ли?

— А это бывает?

— Вот и следят, чтоб не было.

Пожал плечами, но пошел. Дима смотрел насупясь — он-то чувствовал розыгрыш, но не знал, с какого боку.

— А ты, Дима, вот чем займешься: возьми-ка там в дрейфтерском ящике кувалду. Кнехты надо осадить. Видишь, как выперли.

Тоже пошел. Скучно мне все это было до смерти. Но моряки уже, конечно, лежали. В особенности когда он поплевал на руки и стукнул два раза, тут-то и начался регот.

— Что,— спрашиваю,— не пошли кнехты? Пару надо заказать в машине, пусть немного размякнут.

В это время Алик является с кормы.

— Нет,— говорит,— не греется. Я во всяком случае не заметил.

Моряки уж просто катались по сетям. «Ну, Алик! Ну, хмырь! Не греется?» Алик посмотрел и тоже засмеялся. А Дима взял кувалду наперевес и пошел ко мне. Ну, меня, конечно, догонишь! Я уже на кухтыльнике был, пока он замахивался. И тут он как двинет — по кухтылю. Хорошо, кухтыль был слабо надут, а то бы отскочила да ему же по лбу.

— Э, ты не дури, салага. Ты ее в руках держать не умеешь.

— Как видишь, умею. Загнал тебя на верхотуру.

— Ну, порядок, волоки ее назад, у нас еще работы до черта.

— Какой работы, шеф?

Смотрел на меня, как на врага народа. А черт-те чего, думаю, у этого раскосенького на уме. С ним и не пошутить, идилом скуластым.

— Мало ли,— говорю,— какой. Палубу вот надо приподнять джилсоном, а то бочки в трюмах не помещаются.

— Нет, шеф, это липа.

— Кухтыли надувать.

— Чем? Грудной клеткой?

— А чем же еще!

— Тоже липа.

А хорош бы он был, если б я его заставил кухтыль надувать вместо компрессора. Но это сразу надо было делать.

— Ладно, повеселились... Поводцы надо клетневать, каболкой обвязывать.

— Ничего не понимаю, но похоже на дело.

Я прыгнул, отобрал у него кувалду. Все-таки он молодец был, моряки его тут же зауважали. А этот, Алик, конечно, лапша, заездят его на пароходе.

— Продолжим практику, шеф?

— Продолжим.— Я наступил ему на ногу, потом Алику. Они, конечно, опять ждали розыгрыша.— Первое дело: скажете боцману, пусть сапоги даст на номер больше. В случае — свалитесь за борт, можно скинуть. Все-таки лишний шанс.

— А вообще между нами, девочками, говоря,— спросил Алик,— таких шансов много?

— Между нами, девочками, договоримся — не падать.

— Справедливо, шеф, — сказал Дима.

— Второе — на палубе чтоб я вас без ножей не видел. Зацепит чем-нибудь — тут распутывать некогда.

— Такой подойдет? — Дима вытащил ножичек из кармана, шелкнул пружинкой, лезвие выскочило, как чертик. — Чик — и готово!

— Спрячь, — говорю, — и не показывай. Это в кино хорошо, а на палубе плохо.

— Почему же, шеф?

— Потому что лишний чик. Шкерочный возьмешь. И наточишь поострей, обе стороны.

Мне еще многому пришлось их учить — и узлы вязать, и поводцы койлать в бухточки, и марку накладывать, чтоб трос на конце не расплеснивался, и сетную дель укладывать. Много тут всякой всячины. Меня самого никто этому не учил. Ну, правда, я с флота на флот попал, но тут и чисто рыбацкой премудрости было с три короба, а этому уже и не учили.

Они ничего соображали, не туго, да тут и недолго сообразить, если кто-нибудь покажет толком. Найти только нужно, кто бы и мог объяснить, и хотел. Я вам скажу, странно себя чувствуешь, когда расстаешься с какими-нибудь секретами. Что-то от тебя убывает, от твоей амбиции. Вот, значит, и все, что ты умеешь и знаешь? Только-то? И все равно же они всю премудрость за один рейс не постигнут. А во второй, пожалуй, и не пойдут.

— А все-таки, ребяташки, — я их спросил, — кой черт вас в море понес? Романтики захотелось?

Дима лишь усмехнулся краем губ. Алик же помялся, как девица.

— За этим ведь тоже ходят, правда?

— И находят, — говорю, — не только что ходят. Матюгов натолкают вам полную шапку, тут вы ее и увидите.

— Ну, шеф, — сказал Дима, — это мы тоже умеем.

— Да, на первое время вам и это — утешение. А если по правде — так деньги поманили?

— Шеф, это тоже не лишнее.

— И вообще интересно же, — сказал Алик, — как ее ловят, эту самую селедочку. Которая так хороша с уксусом и подсолнечным маслом.

И сам же смутился, когда сказал.

— В общем, шеф, мы этот вопрос еще сами не уяснили.

— Так. А на берегу кем работали?

Алик посмотрел на Диму. Тот быстро сказал:

— Шоферами. На грузовых. Если интересуется, можем рассказать при случае. Поговорим, шеф, за карбюратор. За трамблёр.

— Что ты! Мне этого вовек не понять.

Мы потравливали из-под лебедки стояночный трос, смазывали его тавотом от ржавчины. Алика я за ключом послал — «крокодилом», — потом дал его Диме — развинтить чеку.

— А работа как? — я спросил. — Нравилась?

— Не пыльная, — сказал Дима. — Временами наскучивало.

— А в смысле шишей?

— На беленькую хватало. По большим праздникам.

— И по субботам?

— Почему же нет, шеф?

Я засмеялся.

— Нет, — говорю, — по субботам уже не хватало.

Тут и Дима смутился.

— Пardon, шеф. Не понял.

— Потому что шоферами вы не работали.

— С чего ты взял?

— Просто. Ты гайку отвинчивал — сначала вправо подал, потом уже влево. Шофер так не сделает.

— Ну, шеф, это еще не улика.

— Ладно,— сказал я ему,— не закипайся. Не хочешь говорить — не надо, я у тебя не анкету спрашиваю. И что ты все — «шеф» да «шеф»? Заладил тоже! Я те не таксишник.

Я ушел к лебедке смотать трос. Они думали — я не слышу.

— Действительно,— Алик ему сказал,— чего вилить?

— Ну, скажи ему, скажи, бродяга. Чей ты родом, откуда ты. Свой будешь в доску.

А бог с ними, с дурнями, я подумал, на судне-то разве утаишься? Все про тебя узнают, рано или поздно.

День на четвертый, на пятый они помалу освоились, начали разбираться, что к чему. Еще больше вид делали, что освоились, по глазам было ясно — для них это темный лес: поводцы, подборы, сто концов извивается, не знаешь, за какой взяться. И вот слышу — Дима кричит Алику:

— Брось ты эту веревку, мы одну и ту же койлаем. Вот эту бери, у меня под сапогом.

И берет Алик эту самую «веревку», мотает себе на локоть одной левой. А правая у него в кармане. Я его отозвал и сказал по-тихому:

— Не дай тебе бог, салага, работать одной рукой! Что ты! Заплюют тебя, замордуют, живым не останешься.

— А кому какое дело,— спрашивает,— если я одной могу?

— Тем более и двумя сможешь. Надо, чтобы обе были заняты. И Димке это скажи.

— Это интересно!

— Ну, не знаю. А мой вам совет.

Однако не вняли они. А лишней руке кто же на палубе дела не найдет? Димку, правда, не очень стали гонять, он и послать может куда подалее, а этот — отзывчивый, рад стараться.

— Алик! — ему кричат. — Ты что там стоишь, делать тебе не хрена, сбегай к боцману, иглу принеси и прядины.

Алик не стоит, он ждет, когда ему поводец дадут — закрепить на вантине. Но бежит, приносит иглу и прядины.

— Алик! Иди-ка брезент сташим, я в трюм слазаю.

— Но у меня же...

— Без тебя справятся!

Тащит Алик брезент.

— Алик, куда ты делся? Вот это — что за концы висят?

— Не знаю.

— А тебя и поставили, чтобы знать. Закрепи, а после бегай.

Распутался он с поводцами, лоб вытер. Теперь ему бондарь командует:

— Алик! А ну поди сюда!

— В чем дело?

— В той самой. Обручá осаживать.

Бочек тридцать он задумал, бондарь, для первой выметки приготовить, и мы ему с Шуркой помогли. Справлялись вполне, салага нам был не нужен. Тут уже я не вытерпел.

— Иди назад,— я сказал Алику.— И стой, где стоишь. Всех командиров не слушай.

Бондарь усмехнулся, но смолчал, постукивал себе ручником по обручу. Руки он заголил до локтя — узловатые, как у гориллы, поросшие рыжим волосом. С отхода мы как-то с ним не сталкивались, я уже думал: он меня не запомнил. Но нет, застрял я у него в памяти.

— Ты жив еще, падло?

Улыбнулся мне — медленно и ласково. Глаза водянистые наполовину прикрыты веками.

— На, прими, — я ему откатил готовую бочку.

— И курточка твоя жива?

— В порядке. Мы чего с тобой не поделили?

— И в начальство пробиваешься?

Я засмеялся:

— Олух ты. В какое начальство? Над салагами?

— А приятно, когда щенки слушаются? Ты старайся, в боцмана вылезешь. Меня еще будешь гонять.

— Тебя-то я погонял бы!

А сами все грохаем по обручам. Шурка к нам прислушивался, потом спросил:

— Об чем травите, бичи? Мне непонятно.

— А нам, — я спросил, — думаешь, понятно?

Он поглядел подозрительно на нас обоих и сплюнул в море через борт.

— В таких ситуациях одному списываться надо. Советую.

— Пускай он, — говорю.

Бондарь ухмыльнулся и смолчал.

А салаги — я как-то вышел из капа, они меня не видели за мачтой — стояли одни на палубе, и Дима втолковывал Алику:

— ...Природа, создавая нас двуногими, не учла, что мы еще будем моряками. Но есть один секрет. Шеф тебе не зря сказал: «Не смотреть на море». Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней наклоняются, с ней и выпрямляются. А у тебя устают вестибулярный аппарат. И все время хочется за что-нибудь схватиться.

— Все ясно, — Алик говорит, — и свежее дыхание пассата холодит нам кожу.

Ушли довольные. Только все за что-нибудь да хватались. А я встал на их место — интересно же, как это я хожу. И на что же я при этом смотрю? На палубу или на горизонт? Смотрел и вдруг сам за подстрельник схватился. А ну их в болото, так еще ходить разучишься.

## 3

— Смысл жизни ищут, — сказал я «деду». — Никак не иначе.

Мы у него в каюте поздним вечером приканчивали ту самую бутылку.

— Так, значит? — сказал «дед». — Ты-то уже бросил его искать?

— Оставил покамест. На период лова.

— И это хорошо. Но что-то не нравишься ты мне. Рассказываешь, а — брюзжишь. Стареешь ты, что ли?

— Может, я и старею, — согласился я с «дедом». — Но дурью зато не проваляюсь. Что они, своим делом заняты? Книжечек, поди, начитались, ну и пошли...

— Так это же и прекрасно, Алексеич! Начитались и — пошли. Другой и начитается, а не пойдет. Нет, это ты зря про них. Сейчас хорошая молодежь должна появиться, я на нее сильно надеюсь. Мое-то поколе-

ние — страшно подумать, кто голову сложил, кто руку-ногу на поле оставил. Да и кого не тронуло — тоже не всякому позавидуешь. А тут что-то упрямое, все пощупать хотят, ничего на веру. Такой-то дурью пробавляться — лучше, чем с девками по броду шастать.

Я улыбнулся. Мне с ним не хотелось на моральные темы заводить-ся, тут ни я не силен, ни он.

— А чем плохо! Если есть такая возможность. Я бы сейчас пошастал!

«Дед» тоже улыбнулся и чокнулся со мной.

— Хватит тебе. Ну, поплыли.

Мы допили и поглядели в пустые кружки. «Дед» закричал, будто с досады, опустил окно и выкинул бутылку — она промелькнула над планширом, красная от бортового огня, и исчезла в брызгах.

— Теперь у нас по плану трезвость, — сказал «дед». — До апреля.

Он локтем оперся на раму и смотрел в темноту, старые его волосы шевелились от ветра. Погромыхивала неприкрытая дверка на мостике или еще какая-нибудь железяка, и машина стучала под полом, и слышен был винт — то ровно он лопотал в глубине, а то вдруг взборматывал и шлепал. И так я затосковал вдруг — о Лиле. С каждым оборотом все дальше я от нее, уже мы вторую тысячу разменяли. И обиды у меня уже не было на нее. Мало ли отчего не приходят. Может, вдруг заболела, или очкарик не передал ей, что я звонил. И с чего я взял, что она все слышала? С секретаршей он там какой-нибудь шептался.

— А с этой что.. не выходит у вас? — вдруг спросил «дед». Я чуть не вздрогнул. — Которую в «Арктике» ждал.

— Почему — «не выходит»?

— Я так спрашиваю. Ты ее, по-моему, и на причале высматривал. Может, мне показалось.

— Ничего я не высматривал.

«Дед» не ответил. Но мне хотелось, чтоб он еще спросил. Зря я его так сразу осек.

— Понимаешь, «дед», она вообще не местная, все законы знать не обязана. Ну, и тем нравится баба, что не похожа на других. Скажешь — нет?

«Дед» слушал меня и морщился от ветра. Потом сказал:

— Тебе женщина нужна, Алексеич. А не баба.

— Есть разница?

— А ты не чувствуешь? Все это чепуха собачья: «обещала — не обещала», «обязана — не обязана». Бабская терминология, ты уж меня прости.

— Постой. Когда тебя твоя ждала — столько-то лет! — ты считал — так и должно быть?

— Нет. Не считал.

— Но все-таки надеялся?

Он помотал головой, глядя все туда же, в темноту.

— Тоже бабская терминология: «надеялся — не надеялся».

Я засмеялся.

— Ты кержак, «дед». Вымерший человек. Но говоришь занятно. Жалко вот, все выпили.

— Потерпи, — сказал «дед». — Я на плавбазе достану. Монахи мы, что ли?

Я вот о чем подумал: хорошо бы нам где-нибудь поселиться рядом. Он вот отплавает свой последний рейс, а я свой, и мы возьмем наших женщин и увезем их. Куда-нибудь в Россию. Где трава и лес. И речка недалеко. Есть одно хоршее место возле Орла. Как раз то, что нужно.

Там бы мы себе отгрохали дом из бревен. Я бы только мать еще забрал из города, сколько же старухе одной вековать! Нам бы так славно жилось, кто нам еще нужен! А работа везде найдется. На худой конец, плоты пригонять по Оке: там лесопилка неподалеку. Или на дебаркадере. А совсем бы хорошо — мы бы с «дедом» устроились на речной пароходишко туристов возить, показывать им всякие церквушки, места боев, братские могилы. «Дед» — и за капитана и у машины, а я концы отдавать, рвать билетки, ухаживать за всем судном. И читать — я столько еще не успел! Хотя я и так всего навиделся. «Дед» бы еще увидел моих детей. Будут же они у меня когда-нибудь. И уж я их, сволочей, выучу, как жизнь понимать, они у меня глупостей валять не будут... Почему это все — нельзя? Только ведь захотеть. Энергии у меня до черта лысого. Только вот чего я хочу — я и сам не знаю. Я так все могу придумать, с такими, брат, тонкостями, что самому и расхочется. Вот я хотел уехать с Лилей, начать другую жизнь. Теперь она ее с кем-нибудь другим начнет. И если на то пошло, я как-то не очень и жалею. Иногда вдруг занает, но справиться можно, это еще не такая мура, от которой лезут на переборку.

— «Дед», я пойду, пожалуй.

Он засуетился, достал из шкафчика книжку и сунул мне. Потом отобрал, надел на нос очки в железной оправке. Книжка была — «Судовые двигательные установки».

— Мы уж тут говорили, — сказал «дед», отчего-то смущаясь, перелистнул пару страниц. — Первая главка тут заковыристо, а дальше все пойдет. Что не ясно, я тебе на нашем дизеле объясню.

— Добро, — я ее сунул под куртку, — читаем обязательно.

— До порта ты помалу весь курс пройдешь. Сам не заметишь. А на берегу экзамен сдадим, в следующий рейс пойдешь у меня мотористом.

— В следующий! Тебе же — на пенсию.

— Ну, может быть, и нет. Все, знаешь, вилами по воде...

Я вышел, встал под рубкой. Вода блестела, как чешуя, переливалась от носовой струи, и далеко-далеко, за тридевятью морями, мерцали огоньки на Лофотенах. Воздух был дикий, пьяный, как спирт. Ничего мне еще не поздно, я подумал, жалко только, что «дед» этого не дождется. Он и вправду стал дедом, хотя у него внуков не было. И сыновей тоже. Не считать же меня, охламона.

Крайнее окно в рубке было опущено, вахтенный штурман — третий — мурлыкал чего-то и кутался в доху. Смотрел на звезды. А кто на руде — я не узнал, он снизу был освещен, из нактоуза, подбородок и ноздри в огне.

Я вдруг забанал сапожищами — черт знает с какой стати, — запел гнусаво:

Теплоход в дальний рейс уп-плыва-а-ает...  
 Не уйти никуда от пррра-тя-нут-тых рук!  
 У ллюб-бви берегов а не быв-ва-ает,  
 А у ллюб-бви н-не быв-вает прраздук!

Штурман зачертыхался, врубил прожектор и жарил меня в спину, пока я не смылся в кап. Вот какая почеть! А все-таки поднял я ему настроение, будет о чем посвистеть с рулевым.

В обоих кубриках не спали еще. У соседей пилила гармошка: «И только одна ты, одна виновата...» Я хотел зайти — да там этот Ребров, бондарь, лучше на его территорию не заходить, — пошел сразу в наш. Тут были дела серьезные — Шурка Чмырев с Серегой Фирстовым сидели у стола за картами. Дрифтер всей тушей ерзал по лавке, заглядывал то к одному, то к другому и хлопал себя по ляжкам. Истомился

от раздвоения личности — игра еще на равных шла, а он всегда за того, кто выигрывает.

Увидел меня — потянул носом.

— Ах! — говорит. — Коньячком запахло. Заходи, Сеня, быстрее и дверь закрой, а то жалко — развеет.

Шурка с Серегой подняли головы, поглядели затуманенным взором и снова в карты.

— «Фокушорчик» там или три звезды? — спросил дрифтер.

— Там уже ни одной.

Он вздохнул горестно.

— Жалко, я с кепом блат не завел. Хорошо бывает к начальству в гости зайти.

Я стал снимать куртку, и тут выпала книжка. Я и забыл, что она под поясом. Он сразу на нее кинулся.

— «Судовые двигательные установки». Ай, Сеня! Переквалифицироваться решил. По пьянке или всерьез?

— Дай сюда.

Но у него отнимешь, он уж ее за спину упрятал. Я скинул курточку, сапоги и полез в койку. Там зажег плафончик и задернул занавеску. Тут же он ее отдернул. Засопел над ухом:

— Сень, подыши на меня. Что ж ты, эгоист такой, от общества укрываешься?

Невозможно на него озлиться. Я дохнул — он замурлыкал, зажмурился.

— Ах, какая жизнь настала! А за чей счет пьете, Сеня? Ты «деду» ставишь или он тебе? Я вот все думаю: какой ему резон бича захмеливать?

— Отлипни! — сказал ему Шурка. — Ты сам крохобор, так тебе за всю биографию никто чекушки не выставит. А ты, земля, чего стесняешься, двинь ему по клямкам.

— Играй, — сказал Сереге.

Дрифтеру стало скучно. Отдал мне книжку.

— Читай, Сеня, грызи науку. Зато уж потом! Галстук нацепил и лежи в каютке, ножки кверху, за тебя машина уродуется.

— Механики, они тоже для чего-то вахту стоят, — сказал Шурка.

— Конечно, не при коммунизме живем, надо ж хоть пальцем пошевелить. Маслица подлить, на манометр поглядеть. Но только это «уход» называется, а не «работа».

— А механиков послушаешь — лучше палубной работы на всем пароходе нету. Палубные чем дышат? Диким воздухом. А механики? Соляркой, маслом горелым...

— Повару хорошо. С «юношей», — Васька Буров высказался. — Они у плиты греются. В любой час пожрать могут.

— А еще лучше радисту, — сказал Митрохин. — У него каюта отдельная на «голубятнике». Кто его там проверит — работает он или сачкует.

Дрифтер спросил у него:

— Азбуку Морзе надо знать или не надо? Ты ее когда-нибудь учишь, заразу? Или — в передатчике разобраться. Лучше всего штурманом. Вахту отстоял — и лежи.

— Тогда уж лучше кепу, — сказал Шурка.

— Башка! Кеп за все отвечает. И за улов, и за моральное разложение. И чтоб ты за борт не упал «по собственному желанию». Кеп рыбу ищет. А механики со штурманами — это уж точно, бездельники.

— Голова у тебя! — сказал Шурка. — Не понятно, зачем ты дриф-мейстером ходишь? Почему не механиком?

Дрифтер почесал в затылке, вздохнул:

— Так уж мне больше нравится. Я человек трудящийся.

— А я думал...

— Ты не думай, — сказал Серега. — Ты играй.

Дрифтер опять к ним подсел. А я открыл книжку: «Судовые двигательные установки служат основным или вспомогательным средством... Подразделяются на... Топливом для них являются...»

— Тишина, — дрифтер прошептал, — читает!

Но я уже не читал, а смотрел в подволок — у меня над самым лицом. Потом я ее закрыл аккуратно и положил под подушку. А вынул другую — Ричарда Олдингтона, «Рассказы». Я прочел один, начал второй, но как-то он меня не забрал, этот Ричард Олдингтон. Там все какие-то рассуждения были, а сюжета не было. Сдуру я его взял. В судовой библиотеке у нас книжек восемьдесят, и каждый, конечно, хватает какую потолще. Чтобы уж весь рейс одну читать. Разновесов не любят: все, говорят, в башке перемешивается, кто за кого замуж вышел. Я тоже себе не тоненькую отхватил, но я-то у этого Ричарда Олдингтона читал одну вещь, «Все люди враги», так вот то действительно была вещь. Давно я ее читал, еще на крейсере. Командир правой полубашни мне посоветовал. «Зачти, говорит, эту вещичку. Похабели тут, правда, много, но знаешь — дергает!» Я зачел и не оторвался. Только там конец, по-моему, испорчен. Так хорошо у них все начиналось, у этого парня, главного героя, с этой женщиной; и так тревожно за них: чуть не плачешь, когда война и они расстаются, даже забыли друг про друга. А вот когда они снова встречаются с такими трудами да после всего, что каждый из них пережил, тут и пошла бодяга — все он ей покупает какие-то шмотки; ничего ему, видите ли, для нее не жалко, и в чем-то они все время извиняются друг перед другом. Говорить им, наверно, не о чем. И жить вместе ни к чему. Лучше бы им теперь расстаться по-хорошему. Или, может быть, лучше было этому Ричарду Олдингтону тут и оборвать, где они только-только встретились. Ну, может, я не так все понял. Но неужели они тоже стали врагами?.. Командир правой полубашни со мной не согласился. Но оказалось, он ее не дочитал.

Эти «Рассказы» я тоже отложил. Перевернулся, свесил голову через бортик. Подо мною Васька Буроз уткнулся в какой-то талмуд — от туда лишь бороденка его торчала и шевелилась.

— Васька, ты чего читаешь?

— Не знаю, Сень, заглавие оторвано.

— А стоящая литература?

— Что ты! — Он мне улыбнулся блаженно, показал реденькие зубы. — Одна Оксана чего стоит!

Ну вот, думаю, и хорошо, есть, на чем душе успокоиться. Я стал смотреть, чем другие заняты.

Салаги, сбросивши сапоги, уселись на нижнюю, Димкину, койку — разучивали узел. Как я понял — «морскую любовь». Наверное, дрифтер им показал. Чтоб загладить конфликт. Это вяжется шлагов двадцать или тридцать, есть разные варианты, кажется — вовек не распутаешь, но тянешь за оба конца — и он весь отдается. Занятное, я вам скажу, рукоделие.

А чего наш чокнутый делал, Митрохин? Авоську сплетал из серой прядины. Безо всякого там крючка, пальцами. Это он рано еще начал, ближе к порту и другие начнут их плести. Зачем, вы спросите? Не знаю, его ведь учили маты плести, концы сплеснивать, бензеля — куда же это все денется? В порту он ее жене подарит или теще, они ее назавтра же

выкинут и купят в магазине капроновую, цветную. Копеек десять это будет стоить. Или двадцать, я их ни разу не покупал.

Димка и то сказал с усмешкой:

— Столько мороки за гривенник!

Но дрифтер ее взял, разглядел на свет и спросил у Димки:

— Зачем солдаты в окопе ложки кленовые вырезают — знаешь?

— Ну? — спросил Димка. — Зачем?

— А вот и сами не знают. За голенищем алюминиевая лежит, казенная.

А Шурка с Серегой заканчивали кон. Жулили они отчаянно, но не обижались друг на дружку, у нас без этого не играют. Вот уж когда расплата настает, тут без дураков, выдай товар лицом, чтоб нос торчал бушпритом и шелкать было удобно с обеих сторон. Серега в этот раз продул — играет он не хуже, а жулит плохо, нет в нем «свободы совести», как говорил наш старпом из Волоколамска. Потом они посчитались — вышло бить шестью картами одиннадцать раз. Шурка, улыбаясь злорадно, сложил их поплотнее, сел поудобней, а Серега потер нос ладошкой и выставил его — на позор и муки.

Дрифтер в большое удовольствие пришел. Теперь уж он, конечно, Шуркин был, предан ему до гроба.

— Двадцать восемь! — считал громогласно. — Двадцать девять!.. Ты смотри, как бьются!

Посмотреть там было на что. С пятого шелчка у Сереге обе ноздри горели, с восьмого — пламя кверху поползло, к бровям. Все он вытерпел, мученик, только скулы пожестче выступили и глаз пошел блеском. И быстренько стал он сдавать по новой.

— Не торопись, — сказал ему Шурка ласково. — Дай, чтоб остыло.

— Топчи его! — дрифтер орал. — Топчи лежачего!

Шурка, небрежно так, разобрал карты.

— Ну вот, ну что тут с тобой ката тянуть, козырей же навалом, готовь рубильник заранее.

— Играй! — сказал Серега. — Козырей!

Шурка подождал еще, пока он получше озверееет. Везло же ему, красавцу, — и в картах везло, и в любви.

На шум принесло к нам боцмана. Наш кубрик, наверное, самый веселый, никак его не минуешь. С толстенной книгой пришел, пальцем заложенной.

— Так! — вздохнул. — Ну что с вами делать, безнадежные вы мужики. Силком вас книжки заставляя читать?

— Начитались уже, — ответил Серега. — Надо отдых дать извилинам.

— Если б они были у тебя!

— Были, — сказал Серега, — да я их всякой мурой забил. Все одно и то же пишут. Какие все хорошие. Как им всем хорошо.

— Для тебя же, дурака, и стараются. Чтоб ты цель имел в жизни. Было бы тебе, понимаешь, на что равняться. Стремиться к чему.

— К правде, боцман, — сказал Димка. — Токмо к ней единой.

Боцман повернулся к нему:

— Закройся! Правда, ее, знаешь, не всем и говорить можно.

— Да-а? Это что-то новенькое.

— Такому вот скажи — он и будет сидеть в грязи по макушку. Скажет, что так и нужно.

— Товарищ боцман, вы большой ученый.

Боцман посопел и сказал:

— Подмести в кубрике, чтоб я ни одного окурка не видел.

— А кто уборщик? Расписания же нету.

— Вот с тебя и начнется.

Димка сказал, усмехаясь:

— Кроме того, боцман, ты еще, оказывается, волюнтарист.

— Возьми веник, салага Сказали тебе.

— Есть!

— То-то вот. Безнадежные вы мужики!

Димка, когда он ушел, опять полез в койку. Все же освоился, салага.

Я лежал, слушал, как вода шипит за переборкой, почти у меня над ухом. Меня слегка укачивало от хода, и я летел куда-то над страшной студеной глубиной, только мне было тепло и сухо. И я было заснул, но они заговорили снова.

Восьмым у нас в кубрике Ванька Обод жил. Я вам еще про него не рассказывал. Да я его и не замечал особенно. Весь он — из сапог и шапки, а под шапкой едва его личико разглядишь наморщенное. И всегда он помалкивал и хмурился, а в кубрике сразу же заваливался в койку, только сапоги свешивались через бортик. Вот он полеживал, этот Ванька Обод, покачивал сапожищем, а тут вдруг заговорил:

— Цель имел! Я ее вот лично имею. Мне цыганка посулила: «Ты, золотой, в казенном доме умрешь, тридцати семи годочков». Так мне чего беспокоиться?

Шурка привстал с картами, но так, наверное, и не разглядел его за голенищем с раструбом.

— Ванька, ты там чего?

— А ничего. Черо! Черо! Бабу свою решил пришить. Как раз времечко. Я знаю, с кем она там сейчас. А я, дурак, аттестат ей открыл.

— Ну, Ванька,— сказал Шурка, усмехаясь,— ты за морями видишь!

— Ага. За синими и за зелеными. Сам пользовался. Я с одной, при мужней, роман в Нагорном имел. Так мы на его аттестат так славно время проводили. Он вторым штурманом ходил. Что ты! Всю дорогу хмельные были.

— Приятно вспомнить!

— А нет, скажешь? Потом она его на причале встретила: «Ах, Витенька, я без тебя не жила, а прямо таяла». Вот именно, таяла. Ну, я приду — ох, если застану! Топориком это дело решу...

— Эту,— спросил Шурка,— с которой роман имел?

— Свою.

— Да как же застанешь? Она у диспетчера справится, когда у тебя приход.

Ванька там призадумался. Не понять было, травит он или всерьез. Потом опять донеслось из-за голенища:

— А вот и не узнает. Я на всю экспедицию не задержусь, спишусь на первой базе. Или на второй. У меня врачиха есть знакомая. Душевная баба, Софья Давыдовна. Глупая, сил нет. Бюллетень мне выписывала за первый свист: «Радикулит у меня, говорю, наследственный». Она и проверять не стала. «Правильно, голубчик, отдохни, надо разумно к своему здоровью относиться». А топор у меня в сенах лежит. С топором и войду.

— Постой,— сказал Шурка,— а если она одна будет?

Ванька опять призадумался ненадолго.

— Одна — значит, не вышло. Да не может быть, чтобы одна.

— Да,— сказал Шурка.— Это ты прав.

Ему уже не игралось, ходил кое-как. А Серега, конечно, пользовался.

Алик вдруг подал голос:

— Почему же «не может быть»? А если она тебя любит?

— А я чего сказал? — спросил Ванька. — Не любит?

— Ну, значит, ждет...

Голенище затряслось — от Ванькиного смеха. Тряслось оно долго, Ванька смеялся с чистым сердцем, хотя голос у него надтреснутый был и хриплый. Потом он сел в койке, и шапка на нем затряслась, уши так и прыгали, он часто и шапку не снимал, когда заваливался в койку. Потом Ванька спросил:

— Ты что, маленький? Или мешком шлепнутый? Не знаешь, кого бабы любят? Они мужика любят, который рядом, понял? А когда его нету, они другого любят. Он теперь с ней рядом. Эх, салага!

— И никаких исключений? — спросил Димка с еле заметной своей усмешкой.

Ванька опять завалился в койку.

— Исключений! Мне кореш про нее написал, еще в прошлом плавании. Верный кореш, не соврет. Он ее с этим хмырем видал, как они на пару из магазина выходили. А магазин какой, знаешь?

— Нет, — сказал Димка. — Какой же магазин?

— Галантерейный. Духи продают. И чулки. И эти... бюстгалтеры. Так что он теперь ее лапает...

Васька Буров бросил свой талмуд, заворочался.

— Бичи, кончайте вы свою дурь. Я с тоски не засну.

— А ты давай, — сказал ему дрифтер, — включайся в беседу. Это не дурь, Вася, а семейная проблема.

— А я уж их все порешал давно. А до ваших мне дела нету.

— Да ты с нами-то поделись. Как они решаются.

— Так и решаются. Потрохов народи и радуйся.

Дрифтер даже подпрыгнул на лавке:

— Вот те на! Радуйся. Да у меня их четверо. Хоть в сених спи.

Шурка с Серегой зареготали.

— Вот и хорошо, — сказал Васька. — Теперь твою бабу никто не соблазнит. А соблазнят — тоже горя мало. Главное — потрохи. У тебя они пацаны, что ли?

— Четверо военнообязанных.

Васька вздохнул с завистью:

— Я б хоть одного хотел. А то у меня обе — пацанки. Хорошие, но — пацанки.

— Плохой ты задельщик, Вася. К следующему рейсу не исправься — мы тебя артельным не изберем.

— Тебя бы вот попросить.

— Я, Вась, всегда за товарища.

— Конечно. Мозгу-то чуть, на что другое не хватит.

Дрифтер не обиделся, зареготал — со всеми за компанию. Васька повернулся лицом к переборке. Но дрифтер опять к нему пристал:

— Васька, а Васька!

— Ну чо тебе?

— Не чокай, мы те все равно спать не дадим. Ты как их зовешь, пацанок, — Сашка и Машка? Или же — Сонька да Тонька?

— Что я их — для потехи родил?

— А для чего, Вась?

— Дурак ты. Им жить надо. Имена им для жизни дают. Не просто так, корове кличка.

— Ну, дак как же ты, как же ты их, Вася?

— Как же... Одну — Недочка. Недда.

— Ух ты! Кит тебя проглотит полосатый! А другую, Вась?

— Другую — это... Земфира.

— Ну, проглоти!

Я думал — они до слез нарегочутся.

— Не, Вась, не обидься. Заделал плохо, дак хоть назвал хорошо. Неддочка, значит, и Земфира! Ах ты цыган развеселый...

Васька помолчал и вздохнул тяжким вздохом:

— Не, бичи, я вижу — вы так не кончите. Ну-ка я вам сказку расскажу!

Дрифтер запрыгал, заскрипел лавкой.

— Давай, Вася, травани чего-нибудь божественное про волков.

— Жил, значит, король. В древнее время. Молодой и распрекрасный.

— Это где же было? — спросил Шурка.

— А я почему знаю? В Турции.

— Там не король, там султан. С гаремом.

— Не базлай! — заорал дрифтер. — Шесть классов кончил, а все он знает — где король, где султан. Дай сказку слушать.

— Жил, значит, король, и служил у него кандеем один бич, с детства порченый. Горб у него был на спине.

Шурке не понравилось:

— А без горба нельзя?

— Нельзя. Тут все дело в горбе. А условие кандею такое было: каждый день новую похлебку варить. Чтоб без повтору, иначе секир-башка. Ну, изворачивался бич. И король его за это очень любил. Как придет с охоты — сразу кандея: «Чего сегодня настряпал?» — «Суп с оленем, господин король». — «А вчера разве не с оленем?» — «Никак, господин король, вчера с кабаном». — «А завтра?» — «А с этим, как его, с медведем». — «Ну, валяй. Но если ты мне, швабра, то же самое сварить, чего я уже отведал, я те голову острой шашкой снесу и прикажу моим ближайшим помощникам съесть!» Так ему, бичу-то, жилось. А звали его Маленький Мук. Да, и вот как-то приходят три ведьмы. Мымы ужасные, из-под носа клыки торчком. Идут к этому кандею на кухню...

— Где ж охрана была? — спросил Шурка.

— Где? Вся с королем уехала, на медведя. А ведьмы — они через любую охрану пройдут. Да, и говорят они кандею: «Слышь, кандей, а хочешь — мы тебе горб исправим?» — «Как так?» — «А это наше дело. Исправим, и все. Красив будешь, как принц, и королевская дочка в тебя влюбится без памяти. Двенадцать потрохов тебе нарожает и верность будет блюсти. Ты, например, в море уйдешь, брильянты искать на дальних островах, а она хоть черным хлебушком перебьется, а верность тебе соблюдет». — «А что же я за это должен сделать?» — «А вот чего. Супа ему с оленем навари». — «Дак он уж рубал с оленем». — «Вот еще навари».

— Ать стервы! — Дрифтер опять заерзал.

— «Э,— говорит кандей,— так я не только что горба, так и головы лишусь». — «Ну как хочешь,— ведьмы сказали,— мы тебе самое легкое предлагаем». — «Да вдруг он заметит? На кого мне тогда сваливать?» — «А вот, говорят, в том-то все и дело! Тебе еще гарантию дай. Какое же с твоей стороны будет геройство?» А за королевскую дочку геройство надо было проявить.

— Это понятно,— Шурка кивнул. В карты он уже не глядел.

Ну, кандей почесал горб и думает: «Была не была. Сварю я ему с оленем. Может, он и не заметит». Приезжает король с охоты: «Супчику бы, говорит, наварнул сейчас, тарелок бы восемь!» — «А пожалста, господин король, целый бак наварили». Сел король за похлебку. «Это чего, говорит, я отведываю?» — «А что, не вкусно?» — «Вкусно, говорит,

и даже жалко, что я этого больше в жизни не отведаю». Тут у кандея надежда появилась. Вдруг его король помилует. И потом он все же честный был, кандей, до сих пор не врал ни разу. Бац королю в ножки и лбом трясет. «Ты чего это, верный Мук?» — «Виноват, господин король, вы это уже вчера рубали». Король сразу и ложку бросил. «Ах ты волосан, где моя любимая шашка?» Сразу к нему вся охрана кидается. «Вот, господин король, мою возьмите». — «Нет, уж лучше мою...» Король и на охрану озверел: «Я сказал: мне мою любимую чтоб дали! Я всю жизнь мечтал кому-нибудь этой шашкой башку снести, да все случая не было...» Побежали, значит, за любимой шашкой...

Тут Васька примолк.

— А дальше чего было? — спросил дрифтер. — Э, ты не спи! Доска зывай. Принесли шашку, а дальше?

— Кто сказал: принесли?

— Побежали, побежали за ней.

— Вот. Побежали. Это дело другое. А шашки-то — нету.

Дрифтер чуть не до слез растрогался.

— Сперли, шалавы! Вот те и ведьмы, а?

— Ага,— сказал Васька.— Ведьмы.— Он уже совсем был сонный.

— А он, значит, не хочет другой, не любимой?

— Не-а, не хочет.

— Васька, не спи. Васька!

Васька только замычал.

— Васька, этак мы сами не заснем. Что дальше-то было?

— А не знаю. Не придумал.

— Что же ты, вражина, непридуманную рассказываешь? Это как называется?

—, Завтра придумаю. Доскажу.

Дрифтер до того обиделся — чуть дверь не разнес, когда уходил к себе в каюту. А Васька дрых, конечно. Потом все же успокоились бичи, поздно уже было, улеглись. Одни Шурка с Серегой доигрывали кон, а после сводили счеты:

— Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь...

Как я понял, Серега снова продул. Наконец и он уgomонился, вытянулся в койке, а на сон грядущий оглядел перед собою весь подволок и переборку. Он, как поселился, сплошь их обклеил всякими красотками. Из журналов, да и своего производства — Вальками-тузлучницами, Надьками-официантками, Зинками-парикмахершами, — с приветами, без приветов, в кофточках и так, неглиже на лоне природы, где-то он их за сопками снимал, средь серых скал, гусяная кожа чувствовалась. Он даже расписание тревог убрал, чтоб разместить всю коллекцию. Потом и Серега шелкнул плафончиком.

Тьма настала кромешная и тишина, только волна шипела близко, у меня над головой, а где-то далеко, в теплом нутре, урчала, постукивала машина. И я летел один, качался над страшной студеной глубиной. Все сказочки для меня кончились. Они-то, впрочем, давно уже кончились. Я в этом рейсе как будто впервые плавал, заново открылись у меня глаза и уши, я теперь все видел и слышал со стороны, даже себя самого. Странно, кто это со мной сделал? Может быть, эта самая Лиля? Да нет, едва ли, она уже потом появилась, а сначала мне самому вдруг захотелось совсем другой жизни, где ничего этого нет — ни бабьих сплетен, ни глупостей, ни тревоги: что там делается дома, чем будешь завтра жив. Потом она появилась — в Интерклубе мы познакомились, на танцулях. Чесговали тогда не то английских торгашей, не то норвежцев, теперь не помню, а помню, как... Ну, вы представляете — когда полон зал и накурено, хоть топор вешай, и все уже

обалдели, выпили, накричались, обмахались всякими там жетонами и значками, и уже где-то спят в углу на сдвинутых стульях, а у массовички еще регламент не кончился, хотя она уже еле ползает и хрипит, как боцман на аврале,— ей, видите ли, еще хочется, чтоб мы теперь всей капеллой станцевали «международный» танец: «Внимание! — хлопает в ладоши.— Эттэншен плы-ыз! Смотрим все на меня. Делаем, как я. И-и, раз! И-и, два! Беремся все за руки». И вот чья-то рука оказалась в моей, только и всего. Горячая, цепкая. Потом я ее в буфет повел: «Плы-ыз, леди, плы-ыз», раздобыл выпить, и мы посидели за столиком, а рядом сложил голову какой-то мулат. Иногда просыпался, подмигивал нам. Та еще была атмосфера! И я зачем-то слова коверкал «по-иностранному» — по дурости какой-то или отчего-то вдруг оробел,— а она все допытывалась: «Вы англичанин? Инглиш? Нет, вы норвежец!» Пока я ей не брякнул: «Из тутошних мы, не робей». Как она рассмеялась!.. На ней было зеленое платье с вырезом, платочек за рукавом, и волосы — копной. Потом я ее провожал. Я еще ничего не знал про нее, кто она и что она, но вдруг померещилось, что я свое нашел, и теперь я все к чертям перепахую, меня на все хватит. А вот упал — в первой борозде. Из того же я теста, что и все прочие.

Лучше-ка я вам расскажу про «Летучего Голландца» — это совсем другой коленкор. Тоже сказочка, не лучше она и не хуже, чем у Васьки Бурова, который их где-то вычитал, да все перепутал, когда рассказывал своим пацанкам. Но это все-таки не из книжки, он в самом деле приходил к нам на флот, этот парень, лет десять назад или двенадцать. Откуда он взялся — никому не ведомо. Куда потом делся — тоже. Вот он и есть Летучий Голландец — я вам рассказываю северный вариант.

## 4

## Легенда о Летучем Голландце

(Северный вариант)

Так вот, этот парень пришел на флот еще в то время, когда сельдяные экспедиции бывали по полугоду, и залавливали рыбаки по тысяче тонн, по восемьсот в самый худой рейс, а приносили домой по тридцать пять, по сорок тысяч старыми. Может быть, селедки тогда в Атлантике было побольше, а может быть, столько же ее и было, да она еще не научилась мимо сетки ходить. Тогда на всем косогоре от причала до «Арктики» стояло двадцать девять забегаловок, стоячих и сидячих, а тридцатой была сама «Арктика», но до нее, конечно, редкие добирались. Тут-то и «выкристаллизовывалась стойкая когорта», как говорил наш старпом из Волоколамска, и ей, конечно, весь почет доставался и все уважение гвардейцев пищеблока. Шла эта когорта, не сняв роканов, в сапогах полуболотных, в касках-зюйдвестках, чуть только скатывали себя шлангами, а все-таки ей скатерки постилали крахмальные, и «Арктика» не закрывалась до тех пор, покамест последнего посетителя двое предпоследних не уносили на руках. Потому что все понимали — что такое полгода без берега! Этого только Граков не понимал, из отдела добычи, он тогда на всех собраниях призывы кидал: «Рыбаки! Возьмем перед родиной обязательство — год без захода в порт!..» Рыбаки — то есть кепы, старпомы и «деды» — слушали и помалкивали. Родину любили, план уважали, но и с ума тоже не хотелось сходить. Да Граков, наверное, на то и не рассчитывал — было бы слово сказано.

Но я не про Гракова, я про Летучего Голландца. Ладно, его оформили вторым классом, вытолкнули в рейс, а там, как бывает, кого-то

списали из-за «среднего уха» или кто-нибудь опоздал к отходу, и этого салагу переоформили в первый. Потому что он сразу притерся и пошел вкальывать, как будто для этого и родился. Правда, когда штормило, ему плохо делалось, он в койке лежал зеленый, а все-таки, когда звали на палубу, выходил первым и держался других не хуже. Но в ту экспедицию шторма были не частые явления, а вот рыба хорошо заловилась, пустыря ни разу не дергали, по триста, по четыреста бочек набирали в день. И вот — полгода прошло, как одна трудовая неделя, от гудка до гудка, и радист получает визу: можно сниматься с промысла. Тогда он, конечно, вылетает из рубки пулей и орет как чокнутый: «Ребята, в порт!», и рулевой, без команды, тут же кладет штурвал круто на борт, делает циркуляцию и держит, собака, восемьдесят три градуса по точке, как никогда не держал. А машина уже врублена на все пять тыщ оборотиков, она чуть не докрасна раскалена, плюется горелым маслом, сейчас развалится... А полгоря, если и развалится, по инерции долетим! И парус, конечно, поднят на фок-мачте, и Гольфстрим подгоняет — лишь бы свой залив сгоряча не проскочили. Вот они уже прошли Лофотены, вот и обогнули Нордкап, вот и Кильдин-остров — кому видится, кому не видится. А встречным курсом идут на промысел другие траулеры и приветствуют счастливых гудками и флагами.

И вот тут, значит, этот самый Голландец поднимается на «голубятник», подходит к капитану: «Просемафорьте, пожалуйста, встречному — не нужен ли матрос?» Я себе представляю этого кепу — у него, наверное, шары на лоб вылезли. «А тебе-то зачем? Не хочешь ли обратно на промысел?» — «Вот именно, хочу обратно». — «Нет, — кеп говорит, — я тебя слышу или не слышу? Или, может, я сдурел?» Голландец ему улыбнулся вежливо: «Просемафорьте, пожалуйста, а то они пройдут».

Ну что — просемафорили: нужен матрос. Он часто бывает нужен. Кто-нибудь опоздал или море кого-то не приняло. «Прекрасно, — Голландец говорит, — значит, я пересяду. Пускай плотик пришлют». — «Погоди, — говорит кеп, — плотик мы тебе и сами спустить можем. Но ты сначала сходи к кандею, пусть он тебя накормит, а потом покури подольше, а за это время крепко подумай. Они подождут — не в порт же шлепают». — «Зачем же? Я об этом полгода думал. Прикажите, чтоб плотик быстрее смайнали».

Ему тогда спускают плотик, он забирает чемоданчик и спрыгивает не мешкая. Вся команда его отговаривала, а он и не возражал, только улыбался. Пароход отошел от него, подошел встречный и принял его на борт. На прощанье он помахал своим бичам и тут же к другим ушел в кубрик. И плавал с ними еще полгода. Тряс сети, бочки катал, укладывал их в трюме, выгружал на плавбазах. Другие к концу рейса уже одуревали, а он всю дорогу оставался таким же спокойным и ясным. При этом, рассказывали еще, кто с ним плавал, что писем он ни разу ниоткуда не получал, и радиogramмы ему не приходили, и сам он никому не писал. А все время после работы лежал в койке и читал газеты да изредка, задержав занавеску, пописывал карандашиком у себя в блокнотике. Однажды посмотрели, без этого не обходится, так там какая-то цифирь была и ни одного слова. Но вообще-то никакой придури за ним не водилось, и был он всем свой, только всем на удивление — вот ведь плавает человек два рейса, и ему хотя бы хны. Но главное-то, никто себе в голову не забрал, что еще дальше будет. Когда завернули за Нордкап, он опять подошел к капитану: «Просемафорьте, пожалуйста, встречному — не нужен ли матрос?»

И так он это пять раз проделывал. Два с половиною года проплавал, не ступая на берег, только видел его за двадцать две мили — но это ведь и не берег, а мираж. Уже на всех траулерах знали про этого Лету-

чего Голландца, и половина портовых бичей подсчитывала, сколько же он загребет, да всякий раз со счета сбивались. Потому что за каждую новую экспедицию ему набегали какие-то там проценты и сверхпроценты — длительные, прогрессивные, полярные, штормовые и бог еще знает какие, — и на круг выходило раза в полтора больше, чем в предыдущую. В последнем рейсе он уже втрое против кепа имел, а подсчитали, что, если он в шестой пойдет, он половину пая возьмет, это уже тюлькиной конторе невыгодно! Да, но как ему запретишь? Он такой матрос был, что его не спишешь, и он ведь в своем праве — не чужое берет, горбом заколачивает. Уже, я так думаю, самому Гракову икалось — до чего его проповедь бича довела! И как прикажете стоп давать?

Но отыскались умные головы. Дали радиogramму капитану: «При возвращении в порт — чтоб не было встречных!» А встречные тоже были предупреждены — чтоб двигались мористой. За Нордкапом этот Летучий Голландец все время торчал на палубе — кому-то он вроде бы признался, что хочет в шестой раз пойти, чтоб было три года для ровного счету, — но встречных не было. Все они шли за горизонтом, и дымка не видать. Тогда он сошел в кубрик, достал свою цифирь и подвел черту. Не вышло у него в шестой рейс пойти без перерыва, а с перерывом — ему невыгодно, опять начни со ста процентов. Вот он и подвел черту.

На причал огромная толпища сбежалась — на него посмотреть. Думали, сойдет образина, бородачи до самых глаз, а глаза не людские. А он сошел — ясный, спокойный, и улыбался — глядя на землю, на камешки, на шепки там или мазутные пятна, от которых дуреешь, когда возвращаешься. И сразу стопы свои направил в кассу. Однако и двух шагов не прошел — свалился, застонал от боли. Вы, наверное, знаете — какие-то мускулы в ногах слабеют, когда долго не ходишь по твердой земле, без качки, — так вот, он первые метров двести едва на карачках не полз, отдыхал у каждого столба. И вся толпища шла за ним и молчала. А когда он дополз, в кассе и денег таких не оказалось, какие он заработал. Представляете — что такое касса сельдяного флота! Так вот, там не оказалось. Пришлось к нему приставить двоих милицейских, они ему наняли такси и отвезли в банк. Милицейские потом рассказывали, что все пачки у него едва поместились в чемодане, и он оттуда выкидывал в урну сорочки, носки, свитера, белье. Моряки, из его экипажа, ожидали при входе — посидеть с ним в «Арктике», отметить прибытие. Он к ним не вышел, сидел в банке до закрытия, с чемоданом под боком. Не знаю — чего он боялся, никто б его и без милиции не тронул. Ведь он же стал легендой, кто ж осмелится испортить легенду! А может, он просто устал до смерти — и покуда плавал, и когда шел от причала. Та же милиция купила ему билет на «Полярную стрелу», посадила в вагон. Больше из наших его никто не видел. И не встречался он в других местах. Вдруг как-то обнаружилось, что он ни одному человеку не сказал — откуда он, где живет.

Только слава осталась. И к ней потом все больше прибавлялось легенд. Кто говорит — он четыре года проплавал, кто — пять. Но я вам говорю — два с половиной, а я это знаю от тех, кто был с ним в последнем рейсе. Портовые-то сколько хотите прибавят, а для моряков и год — это слишком много. Вам расскажут: он был горилла, якорь мог выбрать заместо брашпиля, и зубы у него все были стальные, на спор комбинированные тросы — пенька-железо — перегрызал. Но это уже такая тупта, что и спорить не о чем. А если вы возьмете старую подшивку — там писали о нем, когда он остался на второй рейс, — увидите его фото: самый средний он, слегка кососкулый, с белесым чубчиком, с прозрачными глазами.

Если подумать, ведь он эти деньги все равно что в тюрьме отсидел, а ради чего? Если из-за женщины, кто бы его ждал так долго? А если бы и ждала какая-нибудь, то писала бы ему, а ему никто не писал, ни одна душа. Может, он себе дом хотел отгрохать, со всем хозяйством, — и это можно выколотить, и не такой ценой. Если быть таким, как он. А он, конечно, был из другого теста. Его бы на все хватило. Я вот часто думал о нем и никак его не постигну. Но одно я знаю: мне таким не быть — это точно.

Вот и вся сказочка.

## 5

Мы лежали в койках одетые и ждали, когда позовут на выметку.

Девятый день, с утра мы уже — на промысле. Та же вода, синяя и зеленая, и берега те же, миль за тридцать от нас, как горная гряда под снегом, и маячат норвежские крейсера — на границе запретной зоны. Но простора нет уже, столько скопилось тут всякого промыслового народа: англичане, норвежцы, датчане, французы, фарерцы — все шастают по морю, как шары по бильярду, чертят зигзаги друг у дружки под носом. А суденышки у них ничего, хотя и мельче наших, но ходят прибранные, шлюпки с моторчиками так аккуратно подвешены. И тут влезает наш какой-нибудь — черный, ржавый, все от него чуть не врассыпную. Но и то правда, никто из них больше чем на три недели не ходит, дом под боком, грех не присмотреть за судном, а наши за сто пять суток так обносятся, что в порт идти стыдно.

И ловят они тоже будьте здоровы, особенно норвежцы — они свое море знают. Бросают кошельковый невод, обносят его на моторном ботике и тянут себе кошелек — обязательно полный. А сами телевизор смотрят. Мне рассказывал один — он за борт упал и наши не заметили, а норвежцы спасли, — в салонах у них телевизоров штуки по три, не знаешь, на какой смотреть. В одном ковбой скачут, в другом — мультипликация, живот надорвешь, а в третьем — девки в таком виде танцуют... А роканы у них какие! Черные, лоснящиеся, опушены белым мехом на рукавах и вокруг лица, в таком рокане спокойно можно по улице ходить — примут за пижона.

Сперва мы только присматривались, как другие ловят, штурмана поглядывали в бинокли, потом и сами начали поиск. Но весь день не везло нам, эхолот одну мелочь писал, реденькие концентрации, до ужина мы так и не выметали. Теперь лежи и жди — хоть до полночи, а то и до двух, — а спать нельзя, да и сам не заснешь.

Всегда мы молчим в такие минуты. Даже салаги отчего-то примолкли, то они все перешептывались. Наше настроение им передалось. А какое у нас настроение перед первой выметкой, этого я вам, наверное, не объясню. Пароход носится зигзагами, переваливает с галса на галс, и вот-вот поднимут нас, как по тревоге. Видели вы спортсменов перед кроссом? Хочется им бежать? А ведь никто не гонит их. Вот так же и мы. Но только все, что было до этого — переход там, порядок набирали, притирались друг к другу, — все это были шуточки, а вот теперь-то главное начинается.

Волна била в скулу, разлеталась и шипела на палубе, переборки тряслись от вибрации. И сразу — утихло. Даже отсюда слышно стало, как ветер свистит в вантах. Потом винт залопотал, взбурлил, и кубрик опять затрясся — дали реверс.

— Зачем-то назад пошли, — сказал Алик.

Ванька Обод ответил ему, из-за голенища, нехотя:

— Не поймешь ты. По инерции шли, а теперь встали. Нашли ее.

— Думаешь, нашли рыбу?

— Чего тут думать? Метать надо, а не думать.

Васька Буров надел шапку, вздохнул долгим вздохом.

— Начинаются дни золотые. Рыбу — стране, деньги — жене, сам — носом к волне.

Тот же час захрипело в динамике. Старпом забубнил:

— Палубная команда, выходи готовиться метать сети.

В боцманской каюте хлопнула дверь, дрефтер захохотал по трапу. И мы стали подбирать с полу непромокаемые наши роканы и буксы, а под них надели телогрейки и ватные штаны, сунули ноги в полуболотные сапоги с раструбами, головы покрыли зюйдвестками. И потянулись один за другим. Не спеша. Но и не мешкая.

Навстречу Шурка проталкивался, прибежал с руля. Там теперь вахтенный штурман заступил. Кто-то сказал Шурке:

— Ну, Шурка, поглядим, какую ты нам рыбу нашел.

Так уж говорят рулевому: «Посмотрим на твою рыбу», хотя он, конечно, не ищет, делает, что ему велят.

И Шурка ответил, как будто извинялся:

— Эхолот, ребята, верещит — аж бумага дымится. Ну, черти его знают — может, он планктон<sup>1</sup> пишет.

Может быть, и планктон. Это мы завтра узнаем. А пока что — оба прожектора зажглись, вся палуба в свету, а за бортом чернота египетская, брызги оттуда хлещут. Мы разошлись по местам, позевывая, поживаясь, упрятали шеи в воротники. А мое место — у самого капа, надо взять торцовый ключ с воротком, отдраить круглую люковину у жожакового трюма, в пазы уложить ролик, через него перебросить конец жожака и подать дрефтеру — он его срстит с бухтой. что лежит у его ног, под левым фальшбортом. А другой конец сам уже соединяешь с лебедкой. И стой, поглядывай в трюм, как идет жожак, и покрикивай: «Марка! Срост! Марка!» — это чтобы дрефтеру заранее знать, где ему затягивать узел на жожаке, а где руки побереечь от сроста.

В трюме зажглась лампочка, и в первый раз я его увидел — мой жожак: из желтого сизаля, японской выделки. Толщиной в руку. Валютой за него, черта, плачено. Он еще на вид шелковый, не побывал в море, и пахнет от него «лыжной мазью». А завтра придет ко мне серый и пахнуть будет солью, водорослями и рыбой. И сети тоже запахнут морем, зелень на них потемнеет, и порвутся не в одном месте, латать мы их будем и перелатывать.

Дрефтер воткнул нож в палубу, натянул белые нитяные перчатки. Пока они еще белые и пока еще целые. Пар сорок он в клочья сносит, пока мы вернемся в порт.

Кеп уже вышел из рубки на крыло. Но не спешил, ждал свою верную минуту. Наверное, холодно было ему стоять на крыле — не от ветра, а оттого, что все смотрели с палубы. Штурман тоже на него смотрел, грудью привалясь к штурвалу.

— Скородумов! — кеп закричал. Дрефтер приставил ладонь к уху. — Какие поводцы готовили?

— На шидисят метров!

Кеп подумал и махнул рукой. Ладно, мол, пусть на шестьдесят. Это серединка на половинку. Обычно от сорока до восьмидесяти заглубляют сети.

Почему нельзя точно знать, вы спросите, ведь эхолот рыбу нащупал, он до метра указывает глубину? Он-то ее нащупал, да на самом дне, туда не забросишь сети, поэтому мы вперед забежали, и рыба к нам бу-

<sup>1</sup> П л а н к т о н — скопление мельчайших плавающих водорослей и рачков.

дет идти всю ночь, а к утру она всегда поднимается к поверхности. И вот насколько она поднимется — этого кеп не может знать. Он предполагает, а рыба располагает.

— Боцман! — опять он крикнул. — Поднять штаговый!

И на фок-мачте, по штагу — к самому клотику — поплыл фонарь с черным шаром. Шар виден днем, а фонарь — ночью. Это значит, мы застолбили косяк, просим других не соваться. Какая б там ни была рыба, где бы ни шла — она теперь наша, мы ее будем брать.

Однако минута еще не настала. А нам зябко, брызги секут лицо, затекают за ворот, пальцы стынут в брезентовых варежках. Но тут ничего не поделаешь, он иначе не может. И стоим, не жалеемся.

А штурвал уже положен круто на борт, и пароход летит с креном, чуть не черпает бортом. Описывает циркуляцию. Секунда, еще секунда, и кеп кричит:

— Поехали!

И тут-то все началось. Ради этого мы и стояли. Дрифтер нагнулся, сграбастал всю бухту разом, швырнул ее через планшир. За нею полетели три концевых кухтыля, шлепнулись, зацепились за воду, запрыгали на черной дегтяной волне и — пропали из глаз. И тут же пополз мой вожак — сначала как неживой, а потом зарычал, заскрежетал роликом. Желтый он, пока еще желтый, и вот выползла первая, чернью намазанная, отметка.

— Марка!

Дрифтер уже присел с поводцом в руках, обметывал вокруг жоака выбленочный узел. И на марке — раз! одним рывком! — затянул его, а сам руки в сторону. Первые-то марки легко идут, и у него и у меня, я их поначалу различал стоя, а потом они замелькали, вожак уже пошел вразгон, и мне тоже пришлось присесть — различать их при лампешке в трюме. Там этот черт носился кругами, отлипая от бухты, змеился тяжельми кольцами, бился об горловину и вылетал с рычанием.

— Марка! Еще марка!

Серега снимал поводцы с вантины, подавал дрифтеру по одному, но это работа нетрудная, у всех у нас работа нетрудная, а вот у дрифтера главное дело в руках. Привяжи их, попробуй, когда вожак уже разогнался. Его теперь всем хором не остановишь. Зацепится — выворотит к чертям горловину, а она литая, чугунная. Не сглазить бы, такое ведь случается.

— Марка! Срост!

Я один из всех палубных имею голос. Даже кеп молчит. Его дело сделано. «Поехали!» — и больше ничего не поправишь. Он постоял и ушел. Ни один кеп не ждет конца выметки. Да и что тут смотреть, завтра посмотрим.

Кухтыли танцевали на волне и пропадали за рубкой. Струились через планшир сети, три километра сетей — все, что мы тут навязали, уложили. Где-то в черной глубине — ее себе и представить холодно — они теперь повиснут на кухтылях, как простыни на веревке, перед носом у косяка, перережут ему путь. Передние подойдут и влезут в ячею — она зеленая, мягкая, — упрутся в нее горбом, чтобы пролезть насквозь, а потом уж осадят, да поздно. Глупая рыба — не сообразит, как все просто: прижать жабры и тогда выберешься легко. Нет, будет их топырить и застрянет намертво. Ну, а другие, которые насадают, толпятся около, отыскивают свободную ячею, — неужели она их не может предупредить? Да они и сами все видят, а все-таки лезут. Когда-нибудь, наверное, научатся, наберутся ума-разума. Но мы тогда еще что-нибудь придумаем. А пока — все просто...

— Марка! Еще марка!

Сети уходили и уходили, мы их провожали торжественно, как линейные на параде, — как будто бы с ними уходили и все наши глупости, страхи и тревоги. Я-то знаю, что каждый теперь чувствует. Я ведь на всех местах стоял, а теперь стою вожаковым, покрикиваю:

— Марка! Срост!

Я стоял в кухтыльнике, кидал на палубу кухтыли — там теперь Алик. Подавал их, как Димка теперь подает, помощнику дрифтера, а тот их привязывает верхними поводцами к сетям. И, как Васька Буров и Шурка, я расправлял сети, сторожил их, чтоб шли без задева. И на месте Сереги я был. Только вот вожаковым еще не был. Крупные перемены в моей жизни!

Пожалуй, отсюда мне лучше всего всех видно. Они ко мне стоят спиной или боком. Смотрят в ночное море, куда уходят сети. Смотрят не отрываясь. Стоят, расставив ноги, на кренящейся палубе, воткнув в нее ножи. И, облитые светом, мы сами светимся, как зеленые призраки. Нездешние этому морю — орловские, рязанские, калужские, вологодские мужики. Летим к чертям на погибель, в черноту, над бездонной прорвой, только желтые поплавки оставляем за собою.

Однако работа есть работа. Она когда-нибудь кончается. Все меньше сетей на борту, и бухта вожаковая все ниже в трюме. Скоро пайолы покажутся, последние шлагы вылетают.

— Много там? — спросил дрифтер. Совсем он упарился. Почти сотню узлов навязал.

— Сейчас отдохнешь.

И все зашевелились, забормотали, кто о чем. Вот и последняя марка вылетела. И тут уж, кто мог уйти, повалили оравой в кубрик. А мне еще чуть работы — люковину задраить, потом сходить на полубак, посмотреть там, чтобы стояночный трос лежал бы на киповой планке, не терся о планшир. Когда я вернулся, Алик и Димка стояли посреди палубы. И бондарь заливал бочки забортной водой из шланга. Все стихло, ветер сразу улегся — мы уже лежали в дрейфе.

— И больше ничего? — спросил Димка.

Для них, наверное, целый час прошел. А прошло, если хотите, минут десять.

*(Продолжение следует)*



---

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Кукует поздняя кукушка.  
Клубится пар грибных дождей.  
Дубы качают на верхушках  
Пучки зеленых желудей.

И я иду тропинкой хвойной,  
Травинку горькую грызу.  
И так чудесно, так спокойно  
В согретом солнечном лесу!

Но не могу переупрямить  
Ту боль, что сердце мне свела,—  
Моя измученная память  
Гудит во все колокола.

Гудит во мне глухим набатом  
О днях ошибок и потерь,  
О том, что сделано когда-то  
Не так, как сделал бы теперь...

А лес шумит на косогоре...  
Скажи, кукушка, сколько дней  
Еще мне жить,  
Еще мне спорить  
С жестокой памятью моей?

\* \* \*

Осень, опять начинается осень.  
Листья плывут, чуть касаясь воды.  
И за деревней на свежем покосе  
Чисто и нежно желтеют скирды.

Град налетел. Налетел и растаял  
Легким туманом в лесной полосе.  
Жалобным криком гусиная стая  
Вдруг всполошила домашних гусей.

Что-то печальное есть в этом часе.  
Сосны вдали зеленой и видней.  
Сколько еще остается в запасе  
Этих прозрачных стремительных дней?

Солнце на миг осветило деревья,  
Мостик, плотину, лозу у пруда.  
Словно мое уходящее время,  
Тихо в затворе струится вода.



---

---

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

## У СИНЕГО МОРЯ

*(Из записок старого охотника)*

**И**з многих путешествий по обширным и дальним просторам родины нашей особенно запомнились мне мои охотничьи путешествия в чудесный край птичьих зимовок. Занимаясь наблюдениями и охотой, несколько раз возвращался я в зеленую теплую Ленкорань, богатством и разнообразием своей природы во все времена манившую охотников и натуралистов.

С особенным чувством вспоминаю первое охотничье путешествие. Диким, нетронутым казался тогда сказочный край. С ружьями за плечами бродили мы в горах Талыша, с риском для жизни перебирались через бурные потоки, пенившиеся в заросших огромными папоротниками крутых берегах. Нетронутый лес накрывал нас. Здесь впервые увидел я диковинное «железное» дерево, покрытое серебристой корою, ночами отражавшей волшебный свет луны. На сказочные изваяния были похожи сросшиеся ветвями кроны. Мы любовались величественными каштановолиственными дубами, в самое небо возносившими зеленые, шумевшие на ветру вершины свои. Колючие плети лиан сплошными занавесями загромождали нам дорогу. Длиннохвостые фазаны шумно взлетали из-под ног охотников, не успевавших поднять ружья. Сказочным казался этот чудесный далекий край, лежавший на древнем пути в Индию. О чудесных богатствах далекого края складывались в старину сказки, о синем Хвалынском море и лебеди с лебедятами певали русские женщины хороводные песни.

В маленькой лодке-куласе скитались мы по мелководному обширному морскому заливу, любовались множеством зимующих здесь птиц. По зеркальной глади плавали белоснежные лебеди, тысячными стаями, похожими на чудесные розовые острова. кормились на отмелях красные гуси — фламинго. В зарослях тростника, на голубых скрытых озерах, наблюдал я султанских курочек. Над головами нашими пролетали бесчисленные косяки гусей, а с береговых отмелей непрерывно слышался шум несчетных птичьих голосов.

Прошло много лет, и почти неузнаваемой стала природа некогда дикого края. Я вновь стоял на берегу реки, по-прежнему быстро бегущей в крутых своих берегах. Здесь некогда переходили мы вброд заросшую кустарником реку. Но как изменился окружавший меня ныне ландшафт! Следа не осталось от непроходимых зарослей колючек и кустарников, истощавших плодороднейшую почву. Широкие открывались взору пространства. На склонах гор, на обработанной, утучненной вековым перегноем земле раскинулись плантации чая. Там, где, подобно героям приключенческих романов, мы продирались сквозь заросли цепких лиан, ны-

не видны молодые фруктовые сады. Где в непроходимых зарослях гранатника и колючей ежевики скрывались семьи диких кабанов, а в вековечном лесу рыли норы дикобразы, ютились шакалы и дикие лесные коты, — белеют стены жилых домов и хозяйственных построек.

По этим местам когда-то бродили мы с моим первым спутником — старым лесничим. На зональной станции, у подножия гор, лесничий приступал к первым опытам преобразования природы дикого края. У кирпичного здания станции, окруженного зарослями колючек, на небольшой опытной площадке мы любовались первыми выращенными лимонными деревьями, похожими на девушек-подростков. Сидя вечером за чаем после долгого и утомительного похода, старый энтузиаст-лесничий рассказывал о первых опытах чаеразведения на ленкоранской тучной земле.

### В СТЕПИ

Со старым приятелем моим Иваном Васильевичем вторую неделю живем мы на кордоне в маленьком, похожем на украинские белые мазанки домике, построенном на берегу обсыхающего птичьего залива. Вправо от домика простирается степь, слева — плещется море.

По утрам, на рассвете я ухожу в степь, слушаю, как кричат, разговаривают между собою пробудившиеся на заливе птицы. Над моей головой то и дело, свистя крыльями, пролетают небольшие табунки диких гусей. Гуси летят в степь кормиться или возвращаются с жировки на воды залива. Многочисленными стаями пролетают над степью краснозобые казарки, красивые редкостные птицы, ежегодно прилетающие сюда зимовать с далеких арктических берегов Ледовитого океана. Веселыми голосами разговаривает в небе «пискулька» — белолобая казара. Кружат, водят в небе хороводы крикливые чайки. Как бы справляя шумную свадьбу, танцуют они над степью. Снизу слышны их резкие голоса. Точно хмельные, чайки кружат на месте, то неуклюже валются набок. На пьяный истошный хохот похож их крик. Долго наблюдаю, как, то затихая, то раздражаясь хохотом, кружится над степью пьяный чайечий хоровод.

Вдали, на отступившем берегу видна кормящаяся у воды птица. Полоска воды серебром переливается, исчезает в степи, поросшей рыжеватой шубой полыни. Куда ни поведи глазом — степь, степь. Гонимые ветром, точно живые, катятся к берегу клубки сухого перекасти-поля.

Я иду с ружьем за плечами, с биноклем в руках, останавливаюсь, оглядываю степную равнину. Многочисленные стаи дудаков-дроф мирно пасутся в высокой сухой траве. За тысячу шагов видны их желтоватые туловища, сторожко поднятые шеи. Точно зоркие часовые, следят они за человеком. Стая стремительных стрепетов взрывается вдруг над степью и, сверкнув быстрыми крыльями, поднимается над горизонтом. Остановившись, приложив к глазам бинокль, долго наблюдаю, как летят над степью, исчезают освещенные солнцем быстрые птицы. Этой теперь уже такой редкой степной птице народ дал некогда удачное имя за ее стремительный трепетный взлет.

Наблюдателю-охотнику негде укрыться в голой степи. Множество птичьих и звериных глаз наблюдает за ним. Вот, торопливо взмахнув крыльями, повис в воздухе седой лунь. Что видит он под собою в густой траве? Желтая степная лисичка перебежала через натопанную в степи тропинку и, зачуйв человека, вдруг притаилась. Издали вижу рыжую ее шубку, вострые ушки. Вынюхивая мышей, она то припадает к земле, то легким движением кидается на невидимую добычу.

Степь покрыта следами птиц и зверей. На подсохшей земле написана грамота невидимой ночной жизни. Сотни шакалов, волков, лисиц

скитаются в местах птичьих жировок. Разбойникам всегда есть готовая, доступная добыча. Норами маленьких грызунов изрыта степь. Хищникам всех пород и мастей добычливое золотое житье.

### ЗЕЛЕНый ШАЛАШИК

Чтобы поближе видеть сокрытое от глаз человека, я построил в зарослях зеленой куги небольшой и уютный шалашик. Из прикрытой дерном и травой засады было удобно наблюдать кормившихся на отмели птиц. Из шалаша был виден залив, берег и степь — обширные места птичьих жировок. Занятые своим делом птицы и звери не замечали укрывшегося в куге человека. Они продолжали плавать, летать и кормиться. С утра до позднего вечера перед моими глазами происходило великолепное и пышное театральное представление.

Сидя в зеленом шалаше, наслаждаясь нетронутой природой, час за часом наблюдал я и записывал, как идет-движется вокруг меня чудесная шумная жизнь.

### Бой в воздухе

Глядя на покрытый птицами залив, я увидел сокола-сапсана. Короткокрылая сильная птица летела над самой водою. Бреющим полетом сокол мчался над сборищем птиц. Кормившиеся на воде, застигнутые врасплох утки быстро ныряли. По пути полета сапсана сама собою расчищалась на воде широкая опустевшая дорога.

На середине залива сапсан налетел на стайку жирных черных лысух. Растерявшись от неожиданного нападения, глупые птицы пытались взлететь. С необычайной ловкостью соксл-сапсан начал маневрировать. Делая крутые виражи, он старался отжать лысух от воды. Стремительный короткокрылый хищник кружился и падал, как самолет-истребитель.

Чтобы лучше наблюдать воздушный бой, я взял в руки бинокль. Теперь были видны все движения птиц. Отжимаемые от воды, выше и выше поднимались неуклюжие лысухи. Хищник, казалось, издевался над ними.

Я следил за смертельной игрою. Вдруг, изменив свой полет, сапсан ракетой взвился над лысухами в небо. Набрав высоту, он ринулся с неба на разбившихся, растерявшихся птиц. Сраженная ударом лысуха закувыркалась в воздухе, беспомощно стала падать. Стремительно описав петлю, сапсан бросился на другую отбившуюся от стаи лысуху. Воздушный боец делал мертвые петли, падал в пике. Глядя на него, я вспоминал летчиков, с таким же искусством владеющих крылатой машиной.

С необычайной быстротою сапсан расправился со стаей. Сбитые птицы падали на берег и в воду. Хищнику вряд ли пришлось воспользоваться добычей. Он убивал, чтобы насладиться своей ловкостью и могуществом.

### Орлан-белохвост

На отмели, в местах жировки птиц, высится фигура орлана-белохвоста. Долгими часами орел сидел неподвижно, как каменный истукан. Изредка он поворачивал голову. Казалось, он наблюдал за порядком великого птичьего мира.

Неисчислимое множество птиц двигалось, кипело, кричало вокруг. По-видимому, птицы ничуть не боялись неподвижного истукана. Не обращая внимания на грозного орла, они двигались у самых его ног. Черта клювами жидкую грязь, быстро бегали длинноногие кулики, оправлялись и чистились утки всех пород и мастей. Под самым клювом

орлана важно прогуливалась белая цапля-эспри. Долго я любовался птичьим многочисленным миром, который казался мне великолепным театром.

«Что делает в этом мире неподвижный огромный орлан? — думал я. — Какая выпала ему роль в этом большом представлении?»

Но вот наконец орлан зашевелился и, раскрыв огромные крылья, тяжело поднялся на воздух. Он летел к самому берегу, где на приплёске чайки делили свою добычу. По-видимому, это была большая мертвая рыбина, выкинутая на берег волною. Чайки брезговали падалью и неохотно клевали тухлую рыбу.

Разогнав птиц, орлан принялся жадно клевать отнятую у чаек добычу. Я с изумлением смотрел на орлана, питавшегося отбросами. Так обманчиво было первое впечатление. Грозный царственный орел вел жалкую жизнь побирушки, исполнял самую позорную роль, и птицы его презирали.

### Пеликаны

Возвращаясь в наш домик, я шел берегом наполненного весенней водою протока. Остатки камышей скрывали меня от кормившихся на отмелях птиц.

Подходя к воде, я услышал сильный шум. Поначалу мне показалось, что где-то на всех парах проносится скорый поезд. Через камыш и высохшее соленое озерко я стал осторожно подвигаться на шум. Чем ближе я подходил, отчетливее слышались странные звуки. Непонятный шум то усиливался — и тогда казалось, что поезд проносится совсем близко, — то вдруг затихал, и в наступившей тишине можно было различить крики и гоготанье птиц.

«Наверное, к берегу подошел большой косяк рыбы и это охотятся пеликаны», — думал я, вспоминая свои давние наблюдения.

В устье реки, впадавшей в залив, я увидел пеликанов-бабур. Огромные белые птицы выстроились на воде полукружьем, замыкавшим вход в мелководный залив-култук. Иногда, как по команде, пеликаны начинали хлопать по воде крыльями. Производимый ими шум был похож издали на шум поезда. Птицы загоняли на отмель косяк рыбы. Вода в култуке, казалось, кипела. Пользуясь случаем, много черных бакланов кружилось и падало над водою, кишевшею рыбой. Загонщики-пеликаны, не разрывая охотничьей цепи, приближались к отмели. Спрятавшись в камышах, я видел, как кипит рыбой вода, как подбрасывают, задрав головы, живую добычу прожорливые бакланы.

Пригнав рыбу на отмель, пеликаны стали торопливо набивать добычей подклювные мешки, растягивавшиеся, как резина. С наполненными живой трепещущей рыбой торбами-мешками пеликаны тяжело отрывались от воды, поднимаясь в воздух. Нагруженный добычей большой белый пеликан низко пролетал надо мною. Не желая убивать, я выстрелил в воздух. Испуганная выстрелом птица быстрее замахала крыльями и выкинула из мешка свою добычу. С неба к моим ногам упала живая трепещущая рыбина, которой пеликан как бы хотел от меня откупиться.

### ОДИЧАВШИЕ КОРОВЫ

Мы с Иваном Васильевичем пьем утренний чай. От Ивана Васильевича, старого ленкоранского жителя, я слышал много удивительных рассказов. Теперь он рассказывает мне о стаде одичавших домашних коров, которых еще в годы коллективизации выпустили в степь богатые жители больших молоканских селений. Собравшись в стадо, коровы скрывались в береговых камышах, из которых выходили в степь на кор-

межку. По распоряжению директора заповедника для одичавших коров были устроены в степи кормушки. Чтобы приручить коров, в степи расставили корыта с солью — солонцы. Коровы ходили к солонцам и кормушкам. Когда Иван Васильевич пытался приблизиться к ним, несколько коров, грозно наклонив рогатые головы и подняв хвосты, угрожающе бросались навстречу. Не подбегая близко, они быстро поворачивались, и все одичавшее стадо на глазах человека скрывалось в далеких камышах.

По наблюдениям Ивана Васильевича, коровы научились обороняться от степных волков. При нападении волков они собирались в тесный круг, в центре которого оставляли телят, и, наклонив рогатые головы, отражали атаки хищников. В первое время—рассказывал Иван Васильевич—вожаком стада ходил большой грозный бык. Потом этого быка сменила корова. Корова надолго оставалась вожаком, и стадо ей повиновалось.

### ШАКАЛЫ

Ночами под окнами нашего домика шакалы устраивают свои концерты. В их голосах есть что-то жалобное и слезливое. Просыпаясь, я вспоминаю похоронный женский плач, слышанный в детстве.

Охотники справедливо ненавидят этих трусливых и дерзких разбойников, промысляющих днем и ночью. Обмеление залива позволило шакалам пробраться в самые недоступные уголки, где гнездившиеся птицы чувствовали себя в полной безопасности. В заповеднике гнездилась султанская курочка и лысуха. Пробравшись на остров, шакалы и лисицы дочиста истребили гнездовья, перерезали фазанов, которые обитали в зарослях дикобразника и ежевики.

Убить разбойника-шакала дело нелегкое. Трусливый и осторожный зверь редко попадает на глаза даже самому наблюдательному человеку. Незаметно сопровождают шакалы охотника, отправившегося за добычей. Они следят за каждым выстрелом, за каждым его шагом. Упавший после выстрела и отлетевший подранок неизбежно попадает в острые зубы шакалов.

По ночам я прислушиваюсь к вою шакалов. Они завывают иногда под самыми окнами, и тогда в их голосах мне слышится глухая и отчаянная угроза. Чтобы отогнать незваных гостей, я с ружьем выхожу на крыльцо, но и в помине нет дерзких разбойников.

Необыкновенно темны, непроглядны здесь зимние ночи. В густой темноте я не вижу своей протянутой руки. Влажный ветер дует в лицо. С залива доносятся далекие сонные голоса птиц...

### ПТИЧИЙ ОСТРОВ

На пустынном маленьком островке, недавно поднявшемся со дна моря и уже заросшем степною травой, летом гнездятся большие морские чайки-хохотуньи. Рыбаки называют этих чаек «мартынами», «мартышками». В период кладки яиц отлогий берег островка, поросший редким камышом и рогозником, покрывается множеством гнезд. Гнезд так много, что человеку трудно между ними пройти.

В прежние времена местные жители приезжали на легких лодках-куласах собирать птичьи яйца и уже вылупившихся маленьких птенцов, с которых безжалостно сдирали пух. Обшипанных птенцов сборщики пуха тут же бросали. Наполненные птичьими яйцами куласы возвращались в деревни. Чайчьи крупные яйца за гроши продавались на ленкоранском и даже бакинском базарах. Экономные хозяйки не отказывались покупать эти яйца, отличавшиеся своей величиною и дешевой.

Хищнический сбор яиц теперь запрещен. Птицы без опаски могут выводить своих птенцов. Уцелевшие гнездовья чаек находятся под особой охраной.

Необычайное зрелище представляют такие птичьи гнездовья. Сотни, тысячи птиц вьются над островом, покрытым их известковыми испражнениями. Чайки то вдруг поднимаются белою тучей, то вновь садятся на свои гнезда. Хохот и шум (крик чайки-хохотуны напоминает громкий человеческий смех) слышны на много километров. Днем и ночью чайки ссорятся и дерутся. Множество гнезд покрывает маленький остров — теснота бывает причиной многочисленных ссор и драк. На огромный шумный базар похоже голосистое птичье становище.

Но не всегда чайки проводят время в ссорах и драках. Дружно отражают они опасность, грозящую их гнездовью. Тучею нападают они на хищника, задумавшего навестить птичий остров. Величина и сила хищной птицы их не пугает. Оглушенный криком, поливаемый жидким пометом (защищаясь от своих врагов, чайки прежде всего прибегают к этому испытанному средству), опозоренный разбойник старается скрыться. Провожаемый злым хохотом, он летит над водой, а сотни птиц еще долго продолжают его преследовать. Редкому хищнику удается попользоваться добычей: чайки издали видят его приближение.

Только четвероногие хищники — шакалы не боятся птиц, защищающих свое гнездовье. Стоит шакалам пробраться на остров, в обычное время окруженный водой, — и птичьему царству приходит конец. В самое короткое время расправляются шакалы с гнездовьем, и потревоженным чайкам приходится искать новое, недоступное для этих разбойников место.

В связи с обмелением залива в последние годы чайкам часто приходилось менять места гнездовых. Недоступные прежде для шакалов острова соединились теперь с материком, и целые полчища четвероногих разбойников появились в местах старых гнездовых. Ища спасения, чайки переселились на новые, выступившие из воды острова. Только на таких островах, окруженных со всех сторон водой, птицы могут чувствовать себя в безопасности.

Чтобы подробнее изучить жизнь чаек, мой знакомый натуралист-ученый поселился однажды на таком маленьком птичьем островке. На первых порах чайки отнеслись к человеку враждебно и не раз пускали в ход свое испытанное оружие. Ученый-натуралист терпеливо переносил нападения птиц.

— Мне нужно было приучить чаек к себе, — рассказывал он о своих злоключениях. — Для этого я старался как можно меньше беспокоить птиц, не причинять им ни малейшего вреда. Чтобы чайки меня узнавали, я всегда ходил в одном и том же охотничьем костюме. Палатку свою поставил в центре птичьей колонии. Ближайшие гнезда были в нескольких сантиметрах от полога палатки, протянув руку, я мог достать до гнезда. Птицы скоро перестали считать меня врагом, привыкли ко мне, моя палатка и лодка их не тревожили.

Не обращая на меня внимания, чайки продолжали вести свою шумную общественную жизнь — ссорились, дрались, насиживали яйца и выкармливали птенцов. За полтора месяца такой отшельнической жизни я в непосредственной близости мог наблюдать мельчайшие подробности птичьего быта. Я видел, как самцы кормят самок и заменяют на гнездах своих хлопотливых подруг.

Подраставшие птенцы, бродившие по всему гнездовью, нередко приползали в мою палатку. Я их понемногу прикармливал. Нередко они собирались у меня целую кучей, а неподалеку сидели их родители, спокой-

но доверявшие мне своих детей. Одного маленького птенца (родители его, по-видимому, погибли) мне пришлось усыновить. Это был чудесный птенец ростом около двадцати сантиметром. Он был в пуху, на крыльшках едва пробивались первые перья. За ум и находчивость я назвал его человеческим именем. Ванька привязался ко мне, хорошо узнавал, вместе с ним мы жили в палатке.

Закончив свои наблюдения, я взял Ваньку с собою. Занимаясь в лаборатории, я часто слышал его тоненький писк. Больше всего Ванька любил пристраиваться у моих ног. Разумеется, я не мог приучить его к чистоплотности: в моей лаборатории он вел себя как на гнездовье и всюду оставлял «печати». Дурные привычки Ваньки портили нашу дружбу. Ложась спать, я отсылал его на кухню. Ночью он обычно перекочевывал к моей кровати и сладко засыпал в ночной туфле, лежавшей на полу. Когда я просыпался, Ванька со всех ног бросался в кухню, как бы стараясь избежать наказания и скрыть свое непослушание.

Ванька мог бы прожить у меня долго, но научные занятия требуют жертв. Заспиртованная тушка Ваньки хранится в наших научных коллекциях. Глядя на нее, я буду долго вспоминать о моей жизни на птичьем острове...

Так закончил свой рассказ мой знакомый ученый-натуралист.

### ОХОТА НА ФЛАМИНГО

Перед моим отъездом директор заповедника предложил мне участвовать в редкостной охоте. Для научных целей нужно было отстрелять несколько пар красного гуся — фламинго, тысячными стаями державшегося на отмелях птичьего залива. Обычно охота на фламинго запрещена законом. Благодаря долгому и строгому запрету охоты на редкостных птиц, уничтожавшихся некогда беспощадно, стаи фламинго размножились чрезвычайно. Еще в прошлые мои путешествия подолгу любовался я тысячными скоплениями птиц. В пасмурные зимние дни зрелище это производило незабываемое впечатление. Казалось, что за привычной сеткой зимнего дождя на горизонте пылают сказочные алые острова. Тысячи, десятки тысяч огромных птиц необычайного вида и раскраски толпились на отмелях залива.

Охота на фламинго — дело нелегкое. Сидя на отмелях тысячными, похожими на острова, стаями, птицы днем не подпускают человека на выстрел. При приближении лодки фламинго поднимаются в воздух, и на глазах путешественника волшебный алый остров начинает таять. В воздухе птицы выстраиваются длинной вереницей. Изумительно видеть, как исчезает над горизонтом, извиваясь и вытягиваясь, длинная розовая лента выстроившихся птиц.

Вряд ли кому-нибудь из моих друзей-охотников доводилось испытать подобную фантастическую охоту. Окруженные непроглядной тьмой, мы плыли серединой мелководного залива, прислушиваясь к голосам невидимых в темноте птиц. Яркий сноп света — мы приладили на носу лодки автомобильную фару — освещал впереди воду. И лодка, и сидевшие в ней люди оставались в темноте.

В призрачно-белом электрическом свете возникали фантастические очертания птиц. Ослепленные птицы подпускали нас вплотную. Освещенные фарою, они казались огромными. Мы видели спящих уток, гусей, лебедей, качавшихся на волнах. Уснувшая на воде чайка, поднявшая при приближении лодки крылья, казалась белым видением.

Эта необычайная охота напоминала мне хорошо знакомую с детства осеннюю рыбную ловлю «с лучом». В темные осенние ночи, по первым

заморозкам,— вода в это время особенно прозрачна — мы также езжи-вали по реке. На носу лодки ярко полыхал смоляной костер, освещавший песчаное дно. На дне реки были видны чудовищные коряги, подводный лес водорослей, бросавших зыбкие тени. Большие и маленькие рыбы, пошевеливая плавниками, недвижно спали в воде. С острогами в руках мы стояли в лодке у жарко полыхавшего костра, и ночной, звездный замы-кался над нами мир.

Точно такое же поэтическое чувство испытывал я теперь на новой, невиданной мною охоте. Лодка двигалась посреди морского залива. Густая, влажная, непроглядная окружала нас темнота. В темноте со всех сторон слышались странные звуки. Ночуя на отмелях, птицы перегова-ривались.

Стоя на корме лодки, Иван Васильевич осторожно толкался длин-ным чѣпом-веслом, упиравшимся в твердое дно. Лодка покачивалась на волнах, музыкально звеневших о деревянные борта нашего маленького куласа. В пустом ночном заливе легко заблудиться. Потеряв направле-ние, мы плыли на голоса птиц, поглотивших наше внимание. Чем ближе подплывали мы к стае фламинго, отчетливее слышались их отдельные крики, внезапное хлопанье сильных крыльев.

Множество диковинных птиц с длинными шеями и странно надло-манными клювами со всех сторон окружало скрытую темнотой лодку. Попадавшие в луч фары птицы плавали, бродили по воде на длинных высоких ногах, засунув за крыло клювы, спокойно покачивались на вол-нах.

— Стреляйте! — шепнул мой спутник.

Я медлил. Было жалко нарушать изумительную картину. Слеплен-ные светом птицы ходили и плавали у самой лодки. При ярком электри-ческом свете алая окраска крыльев фламинго побледнела. Птицы каза-лись видениями, скользившими над водою. Иногда они расправляли крылья, и чудилось, что мы любуемся ночным фантастическим балетом.

— Стреляйте же! — еще раз сказал спутник.

Я прицелился в одну из бродивших по воде птиц. Невероятный под-нялся после выстрела шум. Сотни напуганных птиц снимались с воды в ночной темноте. Поднимаясь на воздух, они долго хлопали крыльями, громко кричали. Казалось, вокруг нас пробудился огромный сказочный мир, населенный неведомыми существами.

Раненый фламинго, вытянув тонкую шею, плавал у самого борта лодки. Нам хотелось взять его живьем, но он быстро и ловко увертывался от наших рук. Пришлось его пристрелить. Мы положили в лодку первую добычу. Это была огромная тяжелая птица. С вытянутой шеей и длин-ными красными ногами она была с человека среднего роста.

Напуганные выстрелом птицы не отлетали далеко. Мы слышали, как они садились на воду, и направляли к ним нашу лодку. Необычайная охо-та не представляла больших трудностей. Слепленные фарой птицы по-прежнему позволяли подъезжать к ним вплотную. Стрельба по живым освещенным мишеням не доставляла удовольствия, и я предпочел любо-ваться редким зрелищем, видеть которое довелось, наверное, единствен-ный раз в жизни.

Мы долго кружили по просторному, наполненному птицами заливу и, разумеется, заблудились. Конечно, мы знали, где находится берег, но найти маленькую пристань было нелегким делом. Приближаться к бе-регу в лодке было рискованно: мы боялись засесть на мель.

— Чтобы попасть к кордону, надо забираться влево, — сказал один из моих спутников, правивший лодкой.

— Ошибаешься, приятель,— возразил другой,— я хорошо примечаю дорогу,— надо держать правее.

— Наверное, на пристани погас фонарь, и теперь ни один черт не найдет дороги. Придется кружить всю ночь до рассвета...

Болтаться в заливе до рассвета нам очень не хотелось. Чтобы выручить товарищей, я решил сойти с лодки. Высокие резиновые сапоги позволяли мне безбоязненно идти вброд. Шагая по колено в воде, я направился по заливу к предполагаемому берегу. Чем дальше уходил я от лодки, гуще и темнее накрывала меня ночь. Никогда еще не испытывал я такого странного и приятного чувства. Я брел посреди залива, и временами казалось, что конца краю не будет воде: я один в мире и вокруг меня — темнота. Медленно повышавшееся дно показывало мне, что я иду к берегу. Тоненькой звездочкой горел вдалеке фонарь на покинутой мною лодке. Я брел один среди черного, непроглядного мрака, вода журчала по моим сапогам. «Так можно идти без конца»,— думал я, и мне почему-то приятно было так думать.

В полной темноте я наконец добрался до песчаного берега морского залива. Стояла нерушимая тишина. Я шел по скрипешему под ногами песку, добрел до маленькой лодочной пристани, зажег погасший фонарь, служивший маяком для нашей лодки. Спутники мои скоро возвратились.

Утром мы снимали с убитых фламинго их яркие шкурки. Я взял себе два больших красных крыла, которые привез в Ленинград, повесил на стену как память о моем путешествии.

## ВЕСНА

Бывает так: на севере еще нет знаков бурной весны, термометр показывает зимнюю температуру, а первые косяки птиц уже двигаются в дальний путь. Где-то далеко, на северных реках, в эти сроки начнется весна. Кто, по какому таинственному радио, дает птицам первый сигнал отлета?

Нередко бывает, прилетев к своему месту, птица страдает от нагрянувших внезапно холодов. Кому не известно, как гибнут застигнутые заморозками, поздним обильным снегопадом первые весенние гости! Долгий свой путь птицы совершают не торопясь, двигаясь по этапам. В пути они останавливаются в кормных местах на отдых. Негаданно переменяющаяся погода может надолго задержать птичьи пролетные косяки.

Медленно, неторопливо движется южная весна. Соки земли не приходят здесь в кипение. Не бывает тут шумных и полноводных разливов, весеннего ледохода, тревогою наполняющего сердце впечатлительного человека, родившегося в России.

Весна. Здесь она чувствуется в сборе и отлете птичьих стай. Скоро на север двинутся полчища птиц. Последние дни на гостеприимном заливе проводят дикие утки и гуси. Но уже по-особенному кличут гуси, в их клике есть что-то дорожное, путевое. Стройными косяками, не сбиваясь с пути, полетят они к местам родных гнездовий. Давно уже, блистая близкой своих крыльев, улетели лебеди. Быть может, птицам уже видится родина, широкие и могучие реки, родные северные озера.

Здесь, провожая на север птиц, с особенным чувством вспоминаю родную весну, набухшие соком березовые ветви, тревожные волнующие запахи обнажившейся от снегов земли. Ручеек бежит под землю. И мне кажется — далеко-далеко токует тетерев-косач. Ниточкой пролетели над вскрывшейся рекою утки, над обнажившимися полями высоко в небе прокликали журавли.

Я иду по степи. Маленькие степные цветы голубыми звездочками высыпали на пригревах. Пригретые солнцем, проснулись в лагунах медлительные черепахи. Медленно и лениво совершается здесь круг годовой жизни, не спеша движется весна.

Из-под ног сорвался, затрепетал в воздухе и, поднимаясь в небо, радостно запел жаворонок. Я остановился ошеломленный. Так вдруг вспомнилась Россия, своя, родная весна. Я стоял в степи, подняв голову, и слушал песню, рассыпавшуюся с неба золотым дождем. Крылья жаворонка горели в лучах солнца. С необычайной отчетливостью почувствовал я далекую родную весну, первые проталины на освободившихся от снегов полях, черные кочки, свист крыльев в высоком ослепительном небе. Как бы утверждая возникшее радостное чувство весны, высоко в небе стройными косяками летели над степью гуси. Клик отлетавших на родину птиц был особенный, деловой и спокойный. Следуя как по компасу, не останавливаясь, гуси тянули прямо на север.

И неудержимое желание — точно я сам был птицей — увидеть родную весну охватило меня, и, прислушиваясь к дорожным голосам птиц, быстрее и быстрее я шел по степи.

### АСТРАХАНЬ

Кто желает в неизвестностях или сумнительствах бытописания упражняться, тот нигде лучше своих догадок употребить не может, как при древней и средней истории города Астрахани, а потому довольно будет начать с тех времен, в которые сей город и все Астраханское царство присоединено к Российскому государству.

*Путешественник С. Гмелин, 1770 год.*

В прошлые времена это был один из замечательных городов нашей страны, со своей интереснейшей историей, обильной бурными событиями, имевшими значение для процветания России, ее торговли и связи с народами сказочного Востока.

С давних, незапамятных времен город жил торговою, подчас беспокойной и шумной жизнью. Через Астраханское царство пролегал древний торговый путь в Индию, в богатый некогда Иран. Предприимчивые торговые люди стремились в Астрахань. Сюда приезжали с товарами персы, богатые индийские купцы.

В пятнадцатом веке по Волге и синему Хвалынскому морю совершил свое знаменитое «хождение за три моря» наш земляк тверечанин Афанасий Никитин, задолго до официального открывателя Индии португальского мореплавателя Васко да Гама посетивший Индию, описавший ее быт, людей и торговлю. «Се написах грешное свое хождение за три моря, — торжественным слогом начинается знаменитая книга русского средневекового путешественника, претерпевшего великие трудности и лишения, — первое море Дербеньское, дорья Хвалитьская, второе море Индийское, дория Гундистанская, третье море Черное, дория Стамбольская...»

Астраханские жестокие ханы, прямые наследники Золотой Орды, веками разорявшие русскую землю, долгое время мешали русским торговцам свободно плавать по Волге, выходить на синий простор Хвалынского моря. В низовьях Волги разбойники грабили русские корабли, обманом и хитростью захватывали людей в неволю, на невольничьих рынках продавали их в вечное рабство. Неслыханные муки приходилось терпеть русским людям, попадавшим в турецкую и татарскую неволю.

Только при Иване Грозном Астраханское царство было присоединено к России и былые разбои почти прекратились.

Именно в эти годы открылся для русских торговых людей свободный путь в море, в далекие заморские и все еще сказочные страны. С того давнего времени в любимых песнях и сказках с особенным поэтическим чувством воспевал русский народ «Хвалынское синее море». О белопарусных купеческих кораблях, об удалых гребцах-молодцах по всей русской земле пели женщины, вода хороводы. О волшебном Лукоморье, о лебеди-царевне, о подводных богатырях с дядькой Черномором, о царе Салтане и Шамаханской царице, о сказочном острове Буяне с народных слов складывал свои чудесные сказки великий Пушкин.

Со времени Грозного царя стали селиться на нижней Волге и у берегов Каспия русские вольные люди. Их привлекал морской простор, обильные земные и морские богатства. Бежав от боярской неволи, от унижительного крепостного рабства, со свойственными русскому человеку упорством и тягой к свободе и воле взялись они устраивать новое житье. Астраханские вольные казаки не за страх, а за совесть защищали границы родной страны, не раз отбивали набеги турецких и персидских разбойников. В широких прикаспийских просторах Поволжья возникла шумная вольница Разина Степана, в поэтической памяти народа оставившая неизгладимый след, близко проходил донской казак Пугачев.

В Астрахани, где сходились большие торговые пути, сохранялись эти старинные вольные черты. К сожалению, русские писатели прошлого века молчанием обошли колоритнейший город нашей страны. Ни один крупный писатель не поинтересовался в прежние времена Астраханью, бытом населения, трудом астраханских и каспийских ловцов. А каким чистым, образным языком говорили каспийские рыбаки, какие чудесные разливались на Каспии песни! Здесь умели сказать меткое словечко, к месту привести мудрую поговорку или поговорку.

В художественной литературе прошлого об Астрахани было сказано мало, почти ничего. Несколько беглых очерков своего путешествия оставил известный писатель А. Ф. Писемский, в пятидесятых годах прошлого столетия побывавший в Астрахани и на Каспийском море. Современному читателю странно читать эти далекие, нам уже непонятные описания.

«...За Царицыным дорога пошла, к вящему моему удовольствию, горами, но увы! Это приятное ощущение было только на первых порах... — рассказывал А. Ф. Писемский о своем путешествии из Москвы в Астрахань на лошадях по зимней дороге. — Не знаю как летом, но зимой трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этого пути: представьте себе снежную поляну, испещренную проталинами, а над ней опрокинутое небо: хоть бы деревенька, огородик, дымок на горизонте; только изредка попадаются деревья без листьев, да мелькают однообразные столбы. Из живых существ разве увидите медленно тянущиеся возы, да десятка два-три ворон, которые пронесутся бог знает откуда и куда, и все это еще в хорошую погоду. Я, как выросший в лесной губернии, не мог никогда вообразить себе, что это такое: среди белого дня, за две сажени, ничего уже нельзя видеть: что-то вроде крупы, песку, снегу падает сверху, поднимается с земли, наносится с боков. Захваченный такой метелью, я с человеком приютился в кибитке за рогожей, но бедный извозчик, с залепленными глазами, поворотил лошадей как-то назад и проехал таким образом, не догадываясь сам, несколько верст — и только попавшиеся навстречу обозники надоумили его.

...Так вот он, — думал я с грустью, — наш благословенный юго-восток, который я в таком свете представлял себе в холодном Петербурге, так вот это наше волжское приволье с его степями, табунами, кочевниками!

Много надобно труда, много надобно поселить людей, чтобы оживить эти пустыни... Проезжая теперь по этим безлюдным и полным безмятежною покою окрестностям, странно даже подумать, что некогда тут существовало воинственное царство Золотой Орды, что наши великие князья ездили через эти степи на поклонение своим грозным завоевателям, встречая или унижительное покровительство, или, чаще того, позор и даже смерть...»

«...С калмыцких салазок я попал по колено в грязь,— писал дальше Писемский,— а из грязи взмохнул на подъехавшую за мной почтовую телегу и велел себя везти в гостиницу, с жадным любопытством смотря на всех и на все... Маленькие деревянные домики, по большей части за забором, а который на улицу, так с закрытыми окнами,— закоптелые, неуклюжие, с черепичными крышами; каменные дома с такими же неуклюжими балконами, или скорей целыми галлереями, и непременно на двор. После безлюдного степного пути мне показалось, что я попал в многолюднейший город на ярмарку: народ кишмя кишит на улицах и что за разнообразие в костюмах: малахай, персидская шапка, армяк, халат, чуха. Точно после столпотворения вавилонского, отовсюду долетают до вас звуки разнообразных языков. Пропасть грязных мелочных лавочек, тьма собак и все какие-то с опущенными хвостами. Я каждую минуту ждал, что кувыркнусь, хотя и ехал шагом: мостовой и следа нет, улицы устроены какими-то яминами в середине, в которых стоит глубокая грязь.

В гостинице, куда меня привезли, отвели мне сыроватый и темноватый номер с диваном, столом и картинами, изображавшими поучительно-печальную историю Фауста и Маргариты.

— Дай мне, братец, поесть,— сказал я номерщику. Он подал огромную порцию стерляжьей ухи, свежей осетрины и жареного фазана, при котором место огурцов занимали соленая дыня и виноград. «Вот с этой стороны Астрахань красива»,— сказал я сам себе и заснул, как может заснуть человек, проехавший на перекидной повозке на почтовых две тысячи верст...»

Прошло много лет с тех пор, когда совершавший свое путешествие в Астрахань через нелюдимые степи на почтовых перекладных русский писатель писал свои путевые записки.

В конце девятнадцатого века, с развитием рыболовства, объявились на Каспии богатые люди. В эти давние, отжитые теперь времена славились старая Астрахань пудовыми сладкими арбузами, зернистой и паюсной икрой, громкими кутежами рыбопромышленников-купцов, нестерпимой летней жарою, старинным городским кремлем, помнившим времена Разина Степана. Ленивые градоправители мало заботились о благосостоянии и украшении городских улиц. Закрывая солнце, забывая проходим глаза, в знойные дни степная пыль тучами проносилась над городом, над городскими голыми площадями. Скрываясь от пыли и зноя, ютился в деревянных домиках и мазанках разнообразнейший бедный люд. Как бы свидетельствуя о незыблемости хозяйских капиталов, возвышались на центральных улицах купеческие каменные особняки. За вечно прикрытыми ставнями светились у образов неугасимые лампадки, текла сокрытая от посторонних глаз убогая мещанская жизнь толстосумов-купцов. Дешевый труд бедняков, огромные, почти нетронутые рыбные богатства помогли этим обделистым и жестким людям. Со сказочной быстротою наживались здесь капиталы. Десятки тысяч рук работали на новых миллионеров. Строились и откупались промыслы, расчищались тони, возникал ловецкий флот. Торговля осетровой и белужьей икрой велась с Европой. Астраханские миллионеры не брезговали ничем, подкупали начальство, подчас занимались морским разбоем. Одно за

другим возникали новые имена. В руках астраханских миллионеров-купцов, не шадивших родного брата, оказались несметные богатства Каспия.

Об этих, теперь почти сказочных, временах еще вспоминали астраханские старожилы, помнили каспийские ловцы, живущие новой жизнью. В астраханской гостинице (уже самое здание гостиницы с полутемными высокими номерами и длинными коридорами свидетельствовало об отжитых временах) познакомился я внизу в ресторане со стариком официантом. У старика было испитое морщинистое лицо, с удивительной живостью, несмотря на возраст, делал он свое привычное дело: расставлял тарелки, подавал, смахивал со скатерти крошки. В привычных, круглых движениях его чувствовался многолетний опыт. Принимая от официанта заказанный обед, я спросил:

— Наверное, вы еще помните прошлые времена?

— Как не помнить. Пятьдесят пять лет работаю, всего насмотрелся. Сам Беззубиков Петр Александрович, знаменитый астраханский миллионер, сюда хаживал. Купцы здесь пировали, с шансонетками в отдельных кабинетах гуляли, шампанское, бывало, рекой лилось. В миллионах купались. Жесткий был народ, безобразничали, удержу никакого не знали. Квартальному однажды всю морду горчицею вымазали и в таком виде на улицу выбросили. А сынок-то Беззубикова собирался все прогулять, да вот революция помешала. Огнем всю эту свору повыжгла. Теперь-то, признаюсь, вспоминать тошнехонько, чего только не делалось. Никакой над собой власти не чуяли: чего левая нога хочет. Ну и погуляли же, побаловались, поизмывались. Молодежи теперь рассказать, нипочем не поверят...

Старик, видимо, хорошо знал прошлые времена, прежних людей.

— Теперь не то. Зайдут, обед закажут, котлетку с макаронами, водочки выпьют — и вся недолга, — как бы с некоторым сожалением заключил он свой рассказ.

Я поглядел вокруг. В просторном зале в полуденный час сидело несколько человек. Это были, по-видимому, наезжие люди: инженеры, научные сотрудники, обычный народ. Они ели и деловито между собою разговаривали. Да, не похожи, не похожи...

За годы советской власти Астрахань изменилась необычайно. Изнывавший некогда от зноя и пыли город теперь утопает в молодых зеленых садах. Даже на избалованного, видалого человека Астрахань производит свежее, радостное впечатление. Зелень молодых бульваров украсилась, расцвели городские площади. Там, где над бульжными раскаленными мостовыми завихрялась нестерпимая пыль, где летом беспощадно пекло солнце, — молодые кудрявые деревца бросают живительную прохладную тень.

### РАССКАЗЫ СТАРЫХ РЫБАКОВ

В небольшой, заваленной рыболовными принадлежностями «капитанской» каюте мы хлебаем деревянными ложками горячую уху «порыбацки». В чугунном котелке плавают сазаньи жирные головы, куски разварной севрюжины. Над ухой, щекоча ноздри, вьется ароматный пар. Необыкновенно вкусна эта сваренная из живой, только что пойманной рыбы простая рыбацья уха!

— У нас так бывало спокон веку — круглый год в море, — вытирая усы, набивая трубку, рассказывал об опасной и трудной работе ловцов старый рыбак — капитан колхозной рыбницы. — Летом больше красную рыбу ловили на глыби — белугу, осетра, севрюгу, а то на «чернях» в реке — частика. Зима придет — подо льдом ловили белорыбицу, били

тюленя. Бабы наши, бывало, зимою дома сидели, снасти чинили, хозяйство вели, ребятишек ростили. А мужики все до одного гуляли по морю. Зимний промысел самый трудный и самый опасный. Всякий год пропадало на море много народу. Теперь над морем летом и зимою самолеты летают, выручают в беде рыбаков, а и то всяко случается: море — не родная матушка.

Не всякий ловец может выдержать зимний лов. Главное — руки стынут. Нужно крепкое здоровье да наша рыбачья закалка. Недели на две в море на санях по льду выезжали. В каждой партии по восьми рыбаков. Работали посменно, по четыре человека. Перед работой на камышине мерялись — кому в первую смену идти. Сломим, бывало, камышину, руками перебираем, как малые ребятишки в игре. На место приедем — первым делом стан на льду сделаем, камышом, снегом загородимся, сверху укроемся парусами. Живем, как в дому. Посреди костер горит, над костром котел с ухой. Для дыма наверху отверстие сделано. С которой стороны ветер дует — вязанку сена подвешивали, чтобы не задувало. Сидим в тепле, в одних рубахах. Когда погаснет костер, отверстие наверху сеном закроем, завалимся спать. А рыбу ловили так: прорубаем пешнями лунки во льду, ставим сети (у нас «порядком» назывались). Через день, через два сети осматривали. Старики, бывало, говорили: «В порядке рыбы не накопишь, нужно почаще сети смотреть!» У стариков ко всякому делу свои законы и приметы были. Высушат маленького северяночка, на нитку повесят. В какую сторону северяночек носом поворачивается — с той стороны ветра жди. До последних дней кой у кого такие барометры были.

Попадались в сети нередко тюлени. Как-то раз поставили сети, видим — кругом много тюленей, а в сети не попадают. Что, думаем, за причина? Подходит к нам из соседней бригады старый ловец Семен Городцов. «Здравствуйте, ребята». — «Здорово, Семен Иванович». — «Как ловите?» — «Да как ловим: шесть белуг выловили». — «Нечего жаловаться, хороший улов, — у нас вот ни одной нет». Спрашиваем у него: «Почему это тюлени кругом играют, а ни один в сеть не попался?» — «А вы разве не знаете — тюлень теперь зоркий, сети под водой видит. Подождите, похолоднеет вода — станут попадаться». — «А почему?» — «Потому, говорит, когда вода холодная — у тюленя глаза слезой заливают, он видит плохо. Сами скоро узнаете». Так вот и получилось: похолодала вода — стал тюлень попадаться.

Ловецкое дело нелегкое, опасное. Ветер, бывало, подует — лед двинется. Тогда уходи скорее, рыбак! Не раз уносило рыбаков в открытое море на отколовшихся льдинах, случалось, совсем пропадали. Раз так-то и с нами было. Взяли мы тот раз с собою на лов собачонку. Сидим у огня, беды не чуем, варим уху. Теплую одежду всю снимали. Только стали уху есть — слышим: собачонка скулит, воеет, царапается к нам снаружи. «А ну, посмотри, что там такое!» Вышли поглядеть, а собачонка людям под ноги. Визжит, трясется. «Что такое?» Только подумали так — тронулся лед. Пять суток носило по морю, с голоду чуть не померли. Спасибо, самолет выручил...

— Животные первыми беду чуют, — говорит другой ловец. — Стояли мы как-то станом в море вторую неделю, я за лошадьми ходил. Улов у нас богатый был, через пару ден домой собирались. Вышел я утром к лошадям корму задать, гляжу — беспокоятся лошади. Ушами прыдут, стучат копытами, до овса не касаются. Старики говорили в таких случаях: жди беды, уходи надо. К вечеру загремело, как гром. Выскочили мы, кто в чем. Видим — лед двинулся, горой прет на наш стан. Кое-как успели одну лошадь запрячь, имущество побросали, едва успели отъехать. А лед прет и прет. На глазах наших стан наш льдинами зава-

лило. Едем, ветер свистит, пурга. А мы в одних рубахах. Кое-как до черной добрались к своим рыбакам. Обогрели нас товарищи, отпоили. После пошли смотреть: от стана нашего ничего не осталось. Все завалило льдом, выросла на том месте ледяная гора. Пришлось дожидаться весны. Кругом лед растаял, а ледяная гора стоит. Время идет, помаленьку стала таять. Видим наш парус, под парусом фонари все побиты, керосину банка. Кой-чего спасли, а одежда вся попрела. Уж когда гора растаяла, разглядели: лежат на дне наши тулупы. Баграми достали, все попортились, раскисли...

— Трудное, опасное дело рыбацье, — выколачивая трубку, сказал капитан, — а оторваться не можешь. Кто рыбаком родился, рыбаком и помрет. Дети наши с пеленок в воду глядят, бабы мужикам не уступают. Да и народ у нас добрый, артельный. В рыбацьем деле, известно, в одиночку ничего не сделаешь. Один ловец — не ловец. Всегда в ватаги, в общество собирались, друг дружке на помощь шли. Помнят: дело общее, опасное. Опасность и труд сближают людей. Спасешь один раз кого-нибудь — в другой раз и тебя спасут, не оставят. Да, правду сказать, и робких-то среди нас как будто и не бывало. Привык рыбац с опасностью под ручку гулять. Это про крестьян, бывало, говорили, что крестьянин свою землю любит, что его от земли не отодрать. А у рыбака страсти другие. Хлебопашеством и землею рыбаки не интересовались — не сеяли, не пахали: море кормило рыбаков. Мужик себе под ноги смотрит, за землю следит, а рыбац глядит в синее морюшко. Ну и характер у рыбака складывался иной: любили рискнуть, погулять, любили петь песни...

#### НА «ШАЛЫГАХ»

Даже поздней осенью над северным Каспием часто держатся ясные, чистые дни. Ярко сияет солнце. Поднимая крутую волну, дует с открытого моря сухая «морьяна». Так называют рыбаки сильный юго-восточный ветер, нагоняющий воду на прибрежные отмели. В небе ни облачка. Воздух и небо пол-летнему чистые, голубые. По желтовато-серой воде катится крупная зыбь.

В эти холодные осенние дни торопились ловцы закончить летнюю путину. Опасаясь раннего ледостава, они выводили из открытого моря «посуду», готовились к зимнему трудному промыслу: лову белорыбицы и тюленьему бою.

Осенью любил подшутить над ловцами седой дедушка Каспий. Заезжают, запоздают на море рыбаки — глядишь, затрет, «срежет» молодым льдом посуду, а то выбросит рыбаков на песчаные пустынные острова-«шалыги», где в осенние холодные дни, поднявшись из теплых вод южного Каспия, скопился на залежки морской зверь тюлень. В осеннее позднее время, перед ледоставом, начинался на северном Каспии промысел тюленя.

В прошлые времена тюленщики-ловцы собирались в ватаги и, несмотря на штормовую погоду, на небольших лодках-тюленках, а зимою на лошадях в санях отправлялись в море разыскивать тюленьи залежки. Лодками и всею несложной промысловой снастью за зверскую плату снабжали тюленщиков откупщики-купцы. Охота на пугливого и сторожкого зверя, иногда тысячами стадами скопьявшегося осенью на песчаных островах-шалыгах, требовала большой осторожности, терпения и смекалки. Осенний и зимний промысел всегда считался очень опасным. Целыми месяцами промысленники жили на льду, передвигаясь с места на место в поисках зверя. Нередко тюленщики попадали в смертельную беду. Течение и ветры разламывали и разносили лед, тюленщики попа-

дали в относ на оторвавшихся, уносимых в открытое море льдинах. Немало промышленников бесследно погибало во время зимнего промысла на льду. Доход с добычи получали откупщики-купцы, а на долю тюенщиков, рискующих жизнью и здоровьем, доставались крохи.

В последние времена промышленникам-тюенщикам на зимнем промысле помогали самолеты. Совершая разведывательные рейсы, летчики высматривали залежки, указывали людям дорогу. Во время штормов и относ помогали тюенщикам выбираться из опасных льдов и в случае нужды вывозили с оторвавшихся льдин на берег. О пережитых приключениях, как страшную сказку, рассказывали мне старые промышленники-ловцы.

Осенний промысел тюеня проходил обычно в восточной части моря, у берегов пустынного Мангышлакского полуострова, где на малодоступных отмелях и пустынных песчаных островах-шалыгах зверь чувствовал себя в безопасности. Специалисты-ученые еще не объяснили причину осеннего залегания тюеней. По их наблюдениям, каспийский тюень, по внешнему виду мало отличающийся от обычного арктического тюеня, вел своеобразную жизнь в замкнутом бассейне Каспийского моря. Летом он перекочевывал на большие глубины в южную часть моря, где вода холоднее. Осенью перемещался в северные мелководные районы, покрывающиеся на зиму льдом. Подобно гренландскому тюеню, которого с давних пор промыслили поморы в горле Белого моря, каспийский тюень размножался зимою на льду—в суровые холодные дни января—февраля.

Готовясь к суровой зиме, тюень, по слову ловцов, «отдыхал». Многотысячными стадами еще осенью залегал он на пустынных песчаных островах-шалыгах. Не выдав залежки тюеней, трудно представить эти шумные многоголовые сборища зверя. Занимая полюбившиеся острова, тюени вели между собою борьбу за каждый свободный клочок земли. Шум и рык стоят невообразимые. Вылезая на сушу, звери толкают и отпихивают своих неуклюжих друзей, прежде них занявших и обогрехших уютные места. В борьбе за «жилплощадь» они грызутся, царапаются передними лапами, не нанося, впрочем, большого вреда обиженному соседу. Туго приходится слабым и молодым: более сильные отгоняют их с «пляжа» на середину острова или бесцеремонно сталкивают к урезу воды.

Неуклюжие и беспомощные на суше, тюени необыкновенно ловки и изящны в своей природной стихии — воде. С непостижимой ловкостью ловят они быструю рыбу. Можно любоваться, как купаются, ныряют на глади спокойной воды, как бы наслаждаясь жизнью, сытые и быстрые тюени. Великолепные ныряльщики и пловцы, тюени могут спать на открытой воде. Даже сильное волнение не мешает им отдыхать, спокойно качаясь на волнах. Плавая по Каспийскому морю, не раз наблюдали мы ныряющих, занятых игрою и спящих на воде тюеней. Спящее животное то поднимает, то опускает голову, набирая в легкие воздух. Сон тюеня так крепок, что на маленькой лодке можно приблизиться к нему почти вплотную.

Отправляясь на осенний промысел тюеня у берегов Мангышлакского полуострова, мы с большой осторожностью приближались к пустынным, оголившимся над водой песчаным островам-шалыгам. Стоя у борта, капитан «Чуваша» ежеминутно перекидывал над водою наметку.

— Два метра! Метр восемь десятых!..— слышался его ровный голос.— Семь!.. Задний ход!.. — громко командовал он своему помощнику-рулевому, заботливо выглядывавшему из окна рубки.

Содрогаясь всем корпусом, грузный «Чуваш» стукался килем о песчаное дно. Было слышно, как под днищем грохотала «пятá» — тяжелая

железная пластина, пришитая к килю,— прыгал, задетый грунтом, в своем гнезде руль.

Отпихиваясь шестью, долго сползали с мели. Опять постукивал мотором неуклюжий «Чуваш», спокойным голосом покрикивает капитан рулевому:

— Два метра двести!.. Два пятьсот!.. Вперед полный!..

Здесь, на мелководных местах, Каспийское море пустынно. На горизонте не видно рыбацких парусов, оживляющих привычный морской ландшафт. Редко покажется над волнами, качаясь на крыльях, белая чайка-маргышка, да совсем близко от борта «Чуваша» вдруг вынырнет, покажет круглую голову и, испуганно шлепнув ластами, мгновенно исчезнет под водою одинокий тюлень.

Чтобы увидеть залежки тюленей, нужно подойти к шалыгам, недоступным для тяжелого «Чуваша». Оставив наметку, капитан то и дело взбирается на мачту, смотрит в бинокль. Но по-прежнему пустынен морской горизонт, за которым простираются недоступные пространства обсохшего морского залива.

С каждым годом обнажались новые отмели, выходили из воды еще неведомые пустынные острова. Подойти близко к шалыгам, на которых скоплялись тюлени, невозможно даже на плоскодонных подчалках.

Готовясь к тюленьему бою, ловцы темной ночью высаживались в воду из лодок и, соблюдая величайшую осторожность, гуськом брели по воде в высоких резиновых сапогах. Обычный на залежке шум, рычание ссорившихся зверей, запах их извержений помогали ловцам точно определять направление. В полной темноте, храня строжайшую тишину, окружали люди многочисленную залежку. Ближайшие звери, лежавшие в воде, в темноте принимали людей за выплывавших из воды собратев-тюленей и, на минуту подняв головы, издав обычные звуки, погружались в предутренний крепкий сон.

С наступлением рассвета начинался бой. Вооруженные дубинками-«чекушами» и железными баграми, тюленщики кидались на залежку. Со всех сторон слышались глухие удары, предсмертный рев проснувшихся зверей.

Даже для привычного человека зрелище убоя тюленей не может представлять удовольствия. Жалко беспомощных, неуклюжих на земле зверей, в панике давящих друг дружку. «Но что поделаешь,— говорят ловцы,— промысел есть промысел. На городских бойнях, где ежедневно убивают тысячи голов скота,— не лучше...»

Отказавшись любоваться промысловым боем тюленей, занялись мы отловом молодых самцов. Живого тюленя на лежке изловить нетрудно. У берегов Казахстана нередко попадают они в открытом море в расставленные рыбаками «аханы» — рыболовные сети.

Всего труднее и поучительнее доставить живым и невредимым пойманного тюленя, приручить его и вскормить, в неволе наблюдать жизнь и повадки этого мало изученного, обычно очень пугливого зверя. Каспийские и гренландские тюлени, как большинство ластоногих (за исключением калифорнийского морского льва, проявляющего изумительные способности и понятливость при дрессировке), очень трудно приручаются и переносят неволю. Интересной работой по приручению и акклиматизации каспийских тюленей занимался советский ученый Б. И. Бадамшин.

#### РАССКАЗ УЧЕНОГО

Бурган Иззятулович Бадамшин посвятил изучению Каспийского моря много лет своей жизни. С этим преданным своему делу ученым совершал я свое путешествие. Поздно ночью в канун Октябрьских праздников

тронулись мы в путь из Астрахани. В темной осенней ночи особенно многочисленными казались огни. Длинные отражения огней живыми змейками скользили по черной, как деготь, воде. Промысловая рыбацкая, двухмачтовое моторно-парусное судно «Чуваш», переделанное в плавучую научно-исследовательскую лабораторию, прошла бесчисленные повороты, вышла на фарватер. Под бортом плескалась темная волжская вода.

Сидя в крошечной каютке раскачивавшегося на отчаянной «толчее» судна, много услышал я увлекательных рассказов. Бурган Иззятулович, очень подвижной, общительный человек, приятный, умный собеседник, с большим увлечением рассказывал о своей работе, о приключениях на море, связанных нередко с огромной опасностью. Такой опасности подвергались и промышленники в осеннее и зимнее время. Промысловые их лодочки, случалось, вмерзали в лед при внезапно начинавшихся сильных морозах, когда море от берегов покрывается тонким льдом, по которому еще нельзя ходить, но и невозможно двигаться на лодках. Большой опасности подвергаются и летчики, вылетающие на разведку залежек тюленей на открытых маленьких самолетах. Недавно во время такой разведки Бурган Иззятулович едва не погиб.

— Произошло это прошлой осенью, — рассказывал Бадамшин. — Собрался я лететь на разведку. Летчики у меня — ребята славные. Пилот — парень молодой, бедовый и, как это иногда бывает, немного беспечный. Говорю ему перед полетом: «Неприкосновенный запас у вас есть?» — «Нет, говорит, ни к чему, тут пустое дело долететь». Пригласил к себе летчиков — пилота и бортмеханика. Позавтракали поплотнее, чаю напильсь. Взяли с собою термос, несколько бутербродов. Подъехали к самолету, уселись. «А ну, посмотри еще раз хорошенько, Вася, как масло у нас?» Бортмеханик покачал головой, говорит: «Дело наше дрянное, совсем мало масла осталось». — «До Гурьева дотянем?» — «Должны дотянуть». Пришлось отказаться от долгого полета, решили лететь напрямик на Гурьев. Километров сорок пять осталось долететь, вижу — пилот рукавицей на приборы показывает. «Что, думаю, такое?» — «Масло, масло, кричит, кончается. Что будем делать?» Что делать? Дальше лететь — наверняка сгорит мотор. «Садитесь, кричу, надо! Садитесь!» — и показываю рукой. Стали садиться, на воду сели благополучно. Кругом вода, погода хороша. Огляделись хорошенько, видим — что-то поблизости из воды маячит. «Что бы такое, думаем, затонувших судов здесь как будто не было...» Мотор еще не остыл. Стали дотягивать, рулить по воде. Смотрим — поплавок от буя, на якоре. Зацепились за него, решили отставаться. День так стоим, второй. Ветерок стал покачивать. Бортмеханик — он из новичков был — укачался. А ветер все сильнее и сильнее, того и гляди захлестнет. «Что, думаю, делать? Дело худое. Надо, говорю, отвязываться, ветер к берегу дует, нас поднесет». Пилот смеется: «Давайте жребию тащить, длинную вытащите — по-вашему быть...» Заломил спичку. Я длинную спичку вытащил, решили отвязываться, плыть. Понесло нас ветром. Пилот Сережа не унывает, песни поет. Слышу, говорит: «Берег, берег виден!» Я поглядел: полоска видна белая на горизонте. Берег? Нет, не берег... а лед. Ближе подплыли — точно, лед. Дело совсем плохое. Думаем: что дальше делать?..

Скучно сидеть, курить хочется, а курить нельзя: кругом бензин. У пилота была махорка. Я курить отказался, а пилота на хвост посылал курить. Самолет в то время по ветру хвостом вперед развернуло. Стало самолет на лед наносить. «Мотор придется бросать», думаю. Надел рыбацьи сапоги, вылез на хвост. Сапогами бью лед. Набрал полные сапоги воды. Подвигаемся помаленьку. Доплыли так до разводья. Пилот

приспособился по ветру рулить. Так от разводья к разводью приблизились к берегу на песчаную косу. Кругом пусто, ничего не видать. Подтащили самолет, стали оглядываться. Виднеется что-то в стороне вроде брошенного подчалка. Сережа пошел, приносит доску. Хотели мы костерок разжечь, да доска мокрая. Поливали бензином — не горит. Вспыхнет и погаснет. Бросили.

А уж третий день живем без еды. Еще ночь прожили. Стали думать-гадать: как быть дальше. Бортмеханик совсем ослабел. Все-таки решились идти пешком. По песку идти тяжело, вязнут ноги. Прошли несколько километров, бортмеханик сдал. «Не могу дальше, делайте как хотите...» Пробовали его под руки вести — с ног валится, на руках тащить — не под силу. Что делать? Я решил вернуться с бортмехаником к самолету, ждать, а Сережа отправился один. Кое-как добрались до самолета. Глядим: лед напирает, самолет наш движется. Пришлось укреплять. Пятый день нашей голодовке пошел. Я еще ничего, держусь, а бортмеханик совсем плох...

Слышу однажды — летит самолет. Смотрю — верно, летит, курс держит на косу. Я снял куртку, стал махать над головою. Видим — повернул самолет вдоль косы, нас не заметил. Знаем, что это нас ищут. Обыщут один квартал, потом другой, донесет летчик: в таком квартале ничего, мол, нет. Не скоро потом еще прилетят... Вот тут-то и стало нам особенно тяжело. Я был покрепче, поддерживаю товарища, стараюсь шутить. «Скоро, скоро выручат!» — «Да где уж там! Дети у меня, жалко детей. Вот о чем, Бурган, я тебя попрошу: хочу написать письмо жене. Есть у тебя бумага и карандаш?» Дал я ему бумагу и карандаш. Пишет, вижу, семье своей завещание. Думаю: «Пожалуй, и мне нужно написать». У меня и теперь это завещание хранится на память.

Шестой день так прошел, стало нам совсем плохо. Вижу вдруг — беркут! Огромная птица сидит на льду. Думаю: «Недаром сидит беркут, что-то есть там». Стал подползать — поднялся беркут, полетел. Гляжу — остался на льду сазан, совсем свеженький, бок один расклеван и кровь на льду. Схватил я сазана и к самолету тороплюсь. На ходу вырвал у него молоки, половину проглотил, половину принес товарищу. Очень мы обрадовались нежданному подарку. Достали порожнюю банку от икры. «Будем, говорю, варить уху». В крышку бензину налил, края отогнул, чтобы проходил воздух. Закипела скоро наша уха. Отвинтил я с термоса крышку-стаканчик, налил ухи, подаю товарищу. Смотрю и удивляюсь: пьет горячую уху и ни капельки не обжигается. Еще ему стаканчик. Потом налил себе. Такое тепло по телу пошло — благодать! И тоже — почти кипятком пью и ни чуточки не обжигаясь. Допили мы бульон, а рыбу оставили про запас. Повеселели: сил и надежды прибавилось. «Не бросят нас, обязательно выручат!»

Просидели еще день. Видим — опять летит самолет, низенько, прямо на нас. Отошел я, стал делать знаки. Приземлился самолет, выходят летчики: «Живы, товарищи?» — «Живы пока». Обнялись, расцеловались. Рассказали нам летчики про нашего пилота Сережу. Добрел он до самого берега; недалеко от казахской кочевки потерял сознание. А казахи на берег за водой ходили. Слышат — залаяли собаки. Подходят: лежит у воды человек, ни мертвый, ни живой, одна рука в воде. Стали его толкать, будить. Поднял голову, смотрит. Казахи по-русски не понимают. Повели его на кочевку, напоили горячим чаем, накормили, отправили в Гурьев. Вот оттуда и организовал он нам помощь. Уселись мы в самолет, полетели. В Гурьеве нас немедленно определили в больницу. И странное дело: до того времени я держался, а в больнице сдал. Да и то сказать: восемь дней голодали. Из Москвы пришло распоряжение

оказывать нам всемерную помощь. Ухаживали за нами, как за малыми детьми. Каждый день приносили фрукты, давали вино. Даже и теперь приятно вспомнить.

### КУЛАЛЫ

На остров Кулалы мы пришли на «Чуваше» ночью. Слева долго тянулась песчаная низкая коса с едва заметными следами растительности, с возвышавшимися над отлогим берегом песчаными и ракушечными буграми. Длинный узкий остров тянулся на десятки километров.

В восточной части острова показались огни. Там был поселок, небольшая метеорологическая станция и научная база, которой заведовал Бадамшин. При свете луны, фантастически отражавшейся в водной глади, мы бросили якорь. На берегу послышались голоса, плеск весел на подъезжавшей лодке-тюленке. С трудом взобрался я на высокую деревянную пристань, под которой играла и зыбилась лунным светом вода.

Странное, почти фантастическое впечатление производил ночью этот пустынный песчаный остров. Мы шли, утопая в песке, перемешанном с битой ракушкой, и мне казалось, что под ногами скрипит зимний снег. Впечатление снега усиливал свет месяца, точно в снежных сугробах, отражавшийся на поверхности ракушечника и песка.

На пристани нас встретили девушки, работавшие на биологической станции. В руках они держали фонари, свет фонарей казался красным. Радуюсь приезду своего начальника Бургана Иззатуловича, они рассказывали о скудных здешних событиях, спрашивали о новостях, о письмах.

Мы вошли в просторное и уютное помещение биологической станции, очень напомнившее мне некогда виденные мною далекие полярные станции и зимовки. Заведующий хозяйственной частью станции заместитель Бадамшина Ибрагим пригласил нас к себе. По обычаю, при входе в комнату пришлось разуваться. В высокой выбеленной комнате без стола и стульев нас гостеприимно усадили на застланном мягкими толстыми кошами полу. Скинув резиновые сапоги, я неумело уселся на пол, поджав под себя ноги, а услужливый сын хозяина положил мне под спину подушки. Мы ели вкусный плов, изготовленный из белужьего мяса, лепешки, жаренные вместо бараньего сала на свежем осетровом жиру, пили чай с молоком по-казахски. За самоваром на полу сидела красивая молодая женщина. С приветливой улыбкой она разливала чай, который разносил и подавал нам молчаливый юноша. Я наблюдал людей, слушал незнакомые мне слова, приглядывался к легким движениям юноши. Маленькая девочка, младшая дочь хозяина, жалась к ногам молодой женщины. Любовь и дружба соединяли этих простых людей, воспитателями которых были труд и природа.

О юноше, о трагической судьбе матери его — первой жены Ибрагима — мне рассказал Бадамшин. Несколько лет назад на Мангышлакском полуострове была суровая, многоснежная, редкая в этих местах зима. В горах и на пастбищах выпал глубокий снег. Долго держались крутые морозы, погибли стада пасшихся в горах овец. Глубокий снег выпал и на острове Кулалы. Находившиеся на биологической станции лошади заблудились в снежной пурге. Разыскивать пропавших лошадей отправился подросток, сын Ибрагима. Мальчика ждали три дня, он не возвращался. Обеспокоенная мать решила идти на розыски сына. В лютую метель она тайно одна вышла из дома. Случилось так, что сын вернулся в тот самый день, когда мать ушла разыскивать его. Через несколько дней замерзшую мертвую мать, засыпанную снегом, нашли на

каменистом острове. Ибрагим и его дети похоронили погибшую женщину.

Чтобы не оставлять осиротевшую семью без хозяйки, Ибрагим отправился по знакомым айлам Мангышлакского полуострова. Он внимательно приглядывался к женщинам, отыскивая добрую жену и хозяйку. В одном из айлов он познакомился с молодой вдовой, муж которой погиб на войне. Они поженились.

Переночевав в маленькой комнате, утром мы вышли осматривать остров, научное и промысловое хозяйство. На пустынном острове Кулалы уже не первый год Б. И. Бадамшин вел свои наблюдения над тюленями, жившими в обширном, наполненном водой бассейне и в обычных, зарешеченных помещениях без морской воды. По наблюдениям Бадамшина, каспийские тюлени при надлежащем обращении и уходе хорошо приручаются, узнают ухаживающих за ними людей, идут на зов и берут корм из рук человека. Особенности способности проявляла Машка — молодая самка, жившая в бассейне. Взобравшись на площадку высокого бассейна, я долго любовался ее ловкой игрою, веселыми и быстрыми движениями, напоминавшими движения хороших пловцов. В часы кормежки она появлялась на зов и, подняв из воды круглую лоснящуюся голову, смотрела на нас большими темными глазами. Корм — куски свежей рыбы — она брала прямо из рук. Было забавно смотреть, как, плотно пообедав (аппетит Машки вызывал изумление), купалась она и ныряла, испытывая несомненное удовольствие. Над водой то и дело показывалась ее голова с выпуклыми глазами, глядевшими на любовавшихся ее движениями людей. Остальные тюлени приручались более трудно, чуждались посторонних людей, рычали и щетинили усы при их приближении.

По предположениям ученых, промысел тюленя на Каспии существовал с древнейших времен. Еще у Геродота встречаются сведения о прикаспийских людях, одетых в скользкие тюленьи шкуры. Каспийский промысел тюленя дает государству значительное количество медицинского жира, заменяющего тресковый жир. Из шкур тюленей выделывается кожа. Особенно ценится мех «бельков» — новорожденных тюленей, покрытых пушистой белой шерстью. При соответствующей обработке и подкраске мех этот заменяет дорогие меха морского котика. Самки тюленей щенятся (каспийские рыбаки называют их «матухами») зимою, на льду, у своих лунок — «лазков». Матухи-тюленки трогательно заботятся о новорожденных, не покидают их даже в минуту смертельной для себя опасности.

### АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Уже поздней осенью, когда на северном Каспии по-прежнему, как в летние дни, сияло яркое солнце, с пустынного острова Кулалы, побывав в старинном казачьем городке Гурьеве, я на маленьком самолете вернулся в Астрахань. Мы летели над пустынными берегами, над дельтой Волги, похожей сверху на географическую карту, разрисованную извилистыми линиями бесчисленных ериков и протоков. В Астрахани я пробыл недолго. Вместе с сотрудниками Астраханского заповедника я решил еще раз побывать в знакомых местах.

Опрятный, выкрашенный в голубую краску, празднично нарядный катер с поэтическим именем «Лотос» быстро мчал нас по извилистым ерикам и протокам, заросшим высоким тростником и кудрявой лозою. Неопытному человеку трудно разобраться в сложном лабиринте протоков. Камыш стоит стеною, его освещенные солнцем метелки колышутся под морским ветром. Над водой, над берегом летят пуховки-семена.

Астраханский государственный заповедник, основанный по указанию Ленина, находится в центре дельты Волги. В 1919 году В. И. Ленин собственноручно подписал декрет об охране природы и организации заповедников в нашей стране. Заповедник занимает небольшую площадь, где пролетные птицы и проходные рыбы находят себе надежный приют.

На берегах неширокого и быстрого протока растут высокие деревья, покрытые гнездами птиц. На ветвях деревьев сидели цапли и черные бакланы. При приближении катера они слетали с деревьев и низко тянули над водой. То и дело с воды срывались дикие утки. Почти у самого борта «Лотоса» из воды выскакивали и падали в воду тяжелые, золотые на солнце сазаны.

После нескольких часов пути катер остановился у маленькой деревянной пристани небольшого поселка. Вдоль берега выстроилось несколько голубых нарядных домиков под черепитчатыми крышами. Кругом — камыши, непроходимые, непролазные джунгли. Здесь с давних пор живут и работают научные сотрудники заповедника, проходит летнюю практику учащаяся молодежь. Выйдя на пристань, где нас встретили знакомые люди, мы отправились в поселок. В центре небольшого, обсаженного цветами сквера высится бюст Ленина.

Мне отвели комнату в одном из домов поселка, где я прожил несколько дней, бродя по заросшим камышом берегам протока, наблюдая жизнь птиц, любясь игрой выпрыгивавших из воды сазанов. Вместе с сотрудниками заповедника я путешествовал в лодке по небольшим протокам и заливам-калтукам. Однажды мы ездили на лов сазанов, залегающих на зиму на дне глубоких протоков. Сазанов здесь ловят наметкой, особой рыболовной снастью, состоящей из широкой веревочной петли, на которую нанизаны грузила и легкая сеть. Нужно уметь забрасывать наметку с носа лодки так, чтобы она ложилась на воду ровным кругом и медленно тонула. Из поднятой со дна наметки мы вынимали трепещущих живых сазанов.

По ночам сотрудники заповедника занимались отловом злых морских разбойников — бакланов, уничтожавших много рыбы. Для этого над поверхностью протока от берега к берегу протягивали длинную сеть. Спускаясь по течению протока, сотрудники заповедника спугивали сидящих на деревьях бакланов, которые, низко летя над водой, запутывались в ночной темноте в поставленную сеть.

С давних пор Астраханский заповедник славился зарослями священного лотоса, удивительного растения, цветущего в начале лета. Заросли лотоса — главное сокровище и украшение заповедника. Путешественник, побывавший в заповеднике, не может забыть дивной картины. Над тихой водой поднимаются великолепные, огромные цветы, издающие тончайший аромат. Необычайна окраска этих пышных цветов, от пурпурно-красной до бледно-розовой. В течение суток окраска цветов изменяется. Огромные листья плавают по воде и поднимаются над нею кудрявыми зарослями.

В древнем Египте, в Индии цветок лотоса считался священным. Древние люди поклонялись ему как прекрасному божеству. Неведомо с каких давних времен сохранился в устье Волги лотос. Теперь в связи с обмелением моря зарослей лотоса в Астраханском заповеднике осталось мало.

В осеннее время мне не удалось полюбоваться цветущим лотосом, но я с удовольствием бродил по шелестевшим камышам, в которых перелетали мелкие птицы, скрывались дикие кабаны. Я любовался пролетом крупных птиц, возвращавшихся на зимовку с дальнего Севера нашей страны. Над дельтой Волги ночами пролетали гуси и лебеди, бес-

численные дикие утки различных видов, носились и кричали беспокойные чайки. Сотрудники заповедника рассказывали мне, как трудна борьба с браконьерами, уничтожавшими пролетную дичь.

Прожив несколько дней в заповеднике, я вернулся в Астрахань, над которой по-прежнему светило ясное, но уже не жаркое солнце. Астраханские друзья проводили меня на московский поезд. Попрощавшись с ними, оставшись один в купе, я смотрел в окно на пустынную степь, на голые деревца, росшие на левом берегу Волги. Чем дальше двигался поезд на север, серее становилось небо. Утром, под Саратовом, я увидел лед, покрывавший широкую Волгу. Порошил легкий снег, мертвой казалась застывшая Волга.

С особенным чувством смотрел я на запорошенную снегом степь, на низкие зимние облака. Последнее мое путешествие на полюбившийся солнечный Каспий кончалось.





## НЕ ПИШЕТСЯ

*(Ироническое)*

Я — в кризисе. Душа нема.  
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.  
А у меня —  
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.  
Погашены мои заводы.  
И безработица души  
зияет страшную зевотой.

И мой критический истец  
в статье напишет, что, окрысясь,  
в бескризиснейшей из систем  
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный, мой неподкупный друг,  
хорош костюм, да не по росту.  
Внутри все ясно и вокруг —  
но не поется...

Я деградирую в любви.  
Дружу с гитарою трактирною.  
Не деградируете вы —  
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.  
Свистал хоккейным бомбардиром.  
Я разучился рифмовать.  
Не получается.

Чужая птица издали  
простонет перелетным горем.  
Умеют хором журавли,  
но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру  
ты плачешь белому Владимиру?  
Я этих нот не подберу.  
Я деградирую.

Семь поэтических томов  
в стране выходит ежесуточно.  
А я друзей и городов  
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса  
и онемевшие рассветы,  
где деградирует весна  
на тайном переломе к лету...

Но верю, что моя родня —  
две тысячи пятьсот пятнадцать  
поэтов нашей федерации —  
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.



---

АЛЕКСАНДР БЕК

★

## ТАКОВА ДОЛЖНОСТЬ

### ЗНАКОМСТВО

**П**омнится, это было в 1935 году. В воскресный день я впервые пришел к Степану Семеновичу Дыбецу. Он занимал квартиру в недавно возведенном у Москвы-реки, близ Каменного моста, многоэтажном доме, который назывался тогда Домом правительства.

Обстановка квартиры не запечатлелась в моей памяти, хотя впоследствии я не раз бывал у Дыбеца. По-видимому, никаких особенных, как-либо привлекающих внимание вещей там не водилось: на положенных местах находились более или менее обычные, не очень дорогие стулья, столы, радиоприемник, диван. Как я узнал несколько позже, квартиры в этом доме первым жильцам предоставлялись с мебелью. Пожалуй, несколько примечательной была книжная полка: наряду с корешками красочных твердых переплетов виднелось немало неказистых. Чувствовалось, что хозяин берег эти книги.

Сейчас он стоял, спокойно разглядывая меня, ожидая моих слов. В его одежде не замечалось никакой небрежности или, так сказать, солдатской нетребовательности, характерной тогда и для работников промышленности. Серый костюм был хорошо сшит, свеж, отлично выутюжен. Белейшую сорочку красил в меру яркий галстук. Легко было догадаться, что Дыбец находил время для парикмахера: темные волосы, уже чуть отливающие сединой, были аккуратно подстрижены. Слегка блестящие безукоризненно выбритые щеки и широкий, с небольшой ямкой подбородок.

Представившись, я достал бумажку, адресованную этому плотному, моложавому, под пятьдесят лет человеку, начальнику Главного управления советской автомобильной и тракторной промышленности. В бумажке говорилось о задачах серии сборников «Люди двух пятилеток» и содержалось обращение к Дыбецу: «Редакция убедительно просит Вас, уважаемый Степан Семенович, поведать свою жизнь, рассказать обо всем, что Вы пережили и повидали».

— Богатая идея! — произнес Дыбец. — Широко размахнулись.

Я поспешил это подтвердить.

— Широко размахнулись, — повторил он. — Надо полагать, что ничего не выйдет.

Дыбец не улыбнулся, тон был серьезен, но в карих глазах засветились искорки. Я понял, что передо мной человек с юмором.

— Возможно, что не выйдет, — согласился я. — Но давайте все же воспользуемся случаем, запишем ваши воспоминания для истории.

Глаза моего собеседника утратили юмористическое выражение. Сейчас Дыбец взвешивал: стоящая ли идея предложена ему?

— Тем более,— продолжал убеждать я,— говорят, что вы, Степан Семенович, несколько раз встречались с Лениным.

— Да, было дело.

— Ну вот... Грех не записать это для истории.

Дыбец не ответил. Мне показалось: он колеблется. Следовало усилить напор, проявить изобретательность.

— Степан Семенович, а не сохранилось ли у вас каких-нибудь памяток о встречах с Ильичем, каких-нибудь его записок?

— Сохранилось.

Из нижнего ящика письменного стола Дыбец достал большой, перевязанный бечевкой конверт, развязал, высыпал содержимое на стол. Я увидел не очень объемистую книгу в потрепанном, даже захватанном, картонном переплете. Заглавный лист был наклеен на этот картон. Я прочел название: «Основы счетоводства, коммерческой арифметики и исчисления себестоимости». Вместе с книгой в конверте хранилась некая толика бумаг. Я взглянул на голубоватый билет делегата на съезд профессиональных союзов в 1917 году. Чернилами было вписано «Дыбец» и строчкой ниже: «анархо-синдикалист».

— Степан Семенович, вы были анархо-синдикалистом?

— А как же? Записано пером.

— Когда же вы...

— Когда успел? Еще в Америке... По молодости лет, а отчасти и по другим обстоятельствам была каша в голове... Первостатейная каша, как сказал мне однажды Владимир Ильич.

— Вы жили в Америке?

— Да, поскитался там десяток лет. Удалось после всяких мытарств обосноваться слесарем-сборщиком на фабрике киноаппаратов. А в тысяча девятьсот одиннадцатом году стал одним из основателей «Голоса труда», газеты русских анархо-синдикалистов в Америке. Потом все мы, участники «Голоса труда», стали членами Ай-Даблю-Даблю.

Держа записную книжку, я не подал и виду, что мне известно это произнесенное Дыбецом загадочное наименование. Хотелось услышать объяснение от него. На чистом листке Дыбец вывел три буквы по-английски.

— Ай-Даблю-Даблю,— повторил он.— Индустриальные Рабочие Мира. Свою красную книжечку, членский билет, я получил из рук в руки от Билла Хейвуда.

Имя Хейвуда Дыбец произнес не мягко — Биль, как обычно выговариваем мы, а твердо, на американский манер: Билл.

— От Хейвуда? Того, который похоронен в Кремлевской стене?

Дыбец ответил, что в Кремлевской стене замурована лишь половина пепла, оставшегося после кремации Хейвуда. Хейвуд завещал перевезти в Америку другую половину, захоронить рядом с могилами казненных чикагских анархистов.

— В прошлом году,— продолжал Дыбец,— когда я ездил в Америку заключать договор с Фордом, выкроил денек, съездил на чикагское кладбище, погосидел около Билла. От Ай-Даблю-Даблю теперь ничего не осталось... Лишь воспоминания.

Дыбец помолчал. Я показал на книгу с сугубо прозаическим бухгалтерским названием, что лежала перед нами.

— А это вы, Степан Семенович, почему храните?

— Разверните.

Я откинул переплет и на титульном листе вдруг увидел надпись. Насколько помнится (конечно, я понимаю, что свидетельство памяти может быть и не вполне точным), все это вместе — крупный типограф-

ский шрифт заглавия и ниже несколько рукописных строк — выглядело так:

ОСНОВЫ СЧЕТОВОДСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКИ  
И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Затем от руки:

*Или, что то же  
(как сие ни парадоксально),*

ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ

ЛЕНИН

И дата — какой-то день 1922 года.

Я недоуменно смотрел на эту надпись.

— Полистайте, — предложил Дыбец.

Развернув книгу, я прочел на случайно открывшейся странице: «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как естественно-исторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому».

Нет и капельки... Ленинский характерный оборот. Удивленный, я воскликнул:

— Позвольте, какое же это счетоводство?!

— Догадались? «Государство и революция» в невинном переплете. Этот экземпляр повидал виды...

Я стал перелистывать книгу, проглядывая подчеркнутые карандашом строки. Должен покаяться, в ту пору приемы профессионала, добывающего рассказы бывалых людей для горьковского «Кабинета», слишком в меня въелись. Я умел, что называется, «завести» собеседника, пробудить в нем дух противоречия, легко находил, пускал в ход маленькие ловушки. При этом бывал и легкомысленным. Впрочем, нужны ли оправдания?

Я простодушно сказал:

— Не кажется ли вам, Степан Семенович, что капелька утопизма все-таки туда проникла?

Еще не договорив, я уловил, что достиг цели: мое замечание затронуло Дыбеца. Спокойное, нелегко, по всей вероятности, выражающее внутреннюю жизнь лицо чуть изменилось. Подбородок стал упрямым. Дыбец ответил:

— Ленин этого не находил.

— Вы разве его спрашивали об этом?

— Спрашивал. Именно об этом. Собрался с духом и спросил.

— И что же?

Держа карандаш наготове, я глядел на Дыбеца.

— Долгая песня, — сказал он. — Начинать надо издалека.

— Вот и хорошо... Наша заповедь, Степан Семенович, не спешить, не комкать.

— Нет, это займет слишком много времени. Но в сокращенном виде я, пожалуй, мог бы рассказать.

Дыбец невозмутимо смотрел на меня. Смугловатое лицо вновь приобрело добродушное выражение. Я взволновался, запротестовал. В сокращенном виде? Нет, ни Дыбец, ни я не имеем права сокращенно излагать, сокращенно записывать историю его жизни, в которую вплетено столько событий, столько встреч. И о разговорах с Лениным тоже сокращенно? Я даже не допускаю этой мысли. Нам с вами, Степан Семенович, не простят этого будущие поколения. Если понадобится, затратим

двадцать, тридцать вечеров, но запишем полностью всю вашу жизнь. Запишем даже то, что кажется будто незначительным, ничего не пропустим. Так, только так, Степан Семенович, нас приучают работать в горьковской редакции. В общем, я выложил лавину аргументов.

— Что ж, попробуем,— наконец согласился Дыбец.

Обрадованный, я предпочел промолчать. Дыбец взял книгу, положил ее в конверт, стал собирать и другие бумаги. Мое внимание привлекли две или три газетные вырезки. Невольно я спросил:

— А это что такое?

— Грехи молодости: некоторые мои газетные статьи...

— Так покажите же.

— Пожалуйста.

Я просмотрел вырезанные из газеты столбцы не очень отчетливой печати на плохо выбеленной, рыхловатой бумаге первых лет революции. И вдруг меня поразили строки: «Отметит ли когда-нибудь историк эту повседневную, кропотливую, не крикливую работу самих масс? Придет ли когда-нибудь к ним, участникам великого переворота, который совершается в самых глубинах жизни, попросит ли нас, пока мы живы: свидетельствуйте перед историей?»

Дважды прочитав эти строки, я в удивлении заглянул даже на обратную сторону: да, я держал небольшую статью Дыбеца, вырезку из «Правды» 1922 года. А он невозмутимо поглядывал на меня.

— Так вы, Степан Семенович, собственно говоря...

— Угадали... Поджидал вас много лет.

— Но почему же вы мне этого сразу не сказали?

Дыбец улыбнулся. Теперь улыбка была откровенно лукавой. Многое она сказала. Примерно вот что: если ты меня прощупывал, «заводил», то и я тебя взял на зубок — тот ли ты, кого я ждал?

Но взамен всех этих объяснений Дыбец лишь вымолвил:

— Такова должность.

Да, не зря, видно, ему верили целую отрасль промышленности, и еще какую — автомобильную и тракторную. Не зря посылали заключать договор с Фордом. «Советский Форд» — так называли Дыбеца американские газеты.

Нет, это не Форд. Это один из тех, кого мы именуем людьми двух пятилеток. Мне, посланцу «Кабинета мемуаров», он сам расскажет о себе.

Так произошло наше знакомство, так начались встречи, во время которых Дыбец повествовал, а я слушал.

\* \* \*

Пользуясь случаем, добавлю еще несколько слов о «Кабинете мемуаров». Мы, несколько молодых литераторов, были привлечены туда в качестве беседчиков — этим неуклюжим наименованием обозначалась наша профессия. Увлеченные делами своего времени, мы умели увлеченно слушать, допытываться, поощрять собеседника, что как бы дарил нам, современникам, — да и потомству — устную повесть своей жизни, нередко изумительную.

Так мы ходили по людям — творцам революции, творцам пятилеток, — приносили записи. Постепенно в сейфах «Кабинета» набралось несколько сот стенограмм. Помнится, это собрание называли стенотекой.

К сожалению, после смерти Горького многие предприятия им начинания сошли как-то на нет. Прекратилась работа и редакции «Люди двух пятилеток», готовившей выпуск ряда сборников к 1937 году, к двадцатой годовщине Октября. Обидно погибли и материалы «Кабинета мемуаров» — их не поберегли. Доселе не вполне ясно, как, где они

утрачены. Думается, следовало бы изучить обстоятельства этой пропажи — может быть, что-нибудь еще отыщется. Немногие записи, к тому же и не в полном виде, сохранились у меня. К ним принадлежит как бы вырванная из некоей книги стопка воспоминаний Степана Семеновича Дыбеца.

Привожу эти уцелевшие страницы. Кое-где я опустил малозначительные эпизоды и сократил некоторые длинноты, кроме того, разбил этот сравнительно обширный текст на главы, обозначенные цифрами.

## РАССКАЗЫВАЕТ ДЫБЕЦ

(Уцелевшая часть стенографической записи)

### 1

...В минуты душевных потрясений, пока я отчета себе не отдам, я ни с кем не разговариваю. Роза Адамовна — она, как я упоминал, тоже скрывалась со мною в Бердянске — изучила эту мою черту. Когда у меня внутри сумятица, я могу молчать месяц. Дам себе отчет — на моем языке это называется сбалансировал, — после этого могу разговаривать. А пока мучаюсь — все пуговицы застегнуты и никто лишнего слова не добьется.

Найдя приют в Бердянске, я, как сказано, работал ради хлеба насущного на кооперативном заводике, переехавшем из Америки в Россию. Он так и назывался: Русско-Американский инструментальный завод, или сокращенно РАИЗ. Но чем бы я ни занимался — стоял ли у тисочков, орудия напильником, или исчислял кредит и дебет в бухгалтерии, которая была более укромным уголком, — своей чередой в голове шли размышления.

Вновь и вновь я себя пытал: чему же научила меня в Кронштадте и в Колпине моя деятельность анархо-синдикалиста? Каждое столкновение с большевиками отбрасывало меня в контрреволюционный блок, то есть к сторонникам такого социального устройства, которое всей душой я отвергал. Но опять я терзался необходимостью признавать государство. И лишь книга Ленина «Государство и революция», попавшая какими-то путями в Бердянск вот в этой безобидной обложке «Основы счетоводства», книга, которую товарищи сунули и мне, покончила с последними моими колебаниями.

Примерно к осени 1918 года я пришел к выводу: революция есть революция, идеализировать рабочих и крестьян нельзя, революционными делами надо руководить и при этом придется применять силу, чтобы преодолеть всякие препятствия. А ежели сила — значит, государство. Пришлось уразуметь, что самое мощное орудие в общественной борьбе — это, конечно, государство, которое я по своему невежеству дотоле отрицал. И больше я к этому не возвращался. Я могу болеть долго, но, выздоравливая, излечиваюсь уж до конца.

В октябре я сказал некоторым моим товарищам большевикам, тоже работавшим на этом Русско-Американском заводе:

— Я, ребята, фактически сдал позиции. Расписываюсь в несостоятельности анархо-синдикализма. Готов перейти к большевикам.

Товарищи меня знали еще по Америке, знали, что я не случайный революционер, приняли мою протянутую руку. Однако в Бердянске, который в 1918 году был захвачен немцами, передавшими затем власть русским белогвардейцам, водворилась тогда такая реакция, что мы некоторое время ничего не предпринимали. Принесет кто-нибудь новость. Обсуждаем ее группой в пять-шесть человек. Другого дела, собственно

говоря, не было, хотя в уезде, как я вам уже рассказывал, происходили крестьянские восстания, действовали партизанские отряды.

Примерно в январе или в первых числах февраля 1919 года у белогвардейцев в Бердянске началась паника. Они принялись грузиться на пароходы. Пулеметы трещат по всему городу, а они срочно грузятся с имуществом и лошадьми. И уходят в неизвестном направлении, оставив город совершенно без власти.

На сцену выплыла бывшая городская дума. Обсудив положение, мы, горстка большевиков — в эту горстку уже был включен и я, — решили так: к чему пренебрегать властью, если она плохо лежит? Надо ее поднять. И украсить хотя бы красным флагом, а там будет видно. Пока пулеметы трещали, мы собрали за городом фракцию, то есть главным образом рабочих, о которых мы знали, что они, как говорится, большевистски настроены. На собрании постановили, что, как только последний пароход отойдет, нужно хватать власть и создать ревком. Делегаты в ревком выбирались на заводах. Наш заводик делегировал меня, остальные большевики прошли в ревком от других заводов.

На первых порах мне было дико все согласовывать. Я не привык согласовывать. Если вопрос для меня ясен, я тут же объявляю решение. Но порой товарищи меня одергивали. Это было первое стеснение, которое я почувствовал как член партии. Впрочем, ребята хорошо меня знали и не крепко били за излишнюю самостоятельность, тем более что в ту пору — это нужно сказать — у меня был, что называется, непечатый край инициативы, то есть попросту бесконечная инициатива.

Как только мы сформировали власть и выпустили листовки, что волею рабочего класса организован ревком, которому принадлежит вся власть в городе, что рабочий класс принимал участие в выборах ревкома, делегировав от таких-то заводов таких-то товарищей, так тотчас же начали сколачивать и свою собственную вооруженную силу для поддержания порядка в городе. Вытащили у кого какие были ружья. Оказалось, что большая часть винтовок испорчена, без затворов. Самое досадное — не было патронов. Исправных винтовок сотни три все же набралось, но на каждую винтовку приходилось лишь по два-три патрона. Тем не менее все это было извлечено, взято на вооружение. Соответствующим проверенным товарищам поручили организовать боевой отряд.

А мне на заседании ревкома был выделен финансовый отдел, поручено вести финансовое хозяйство. Тут моя хозяйственная инициатива развернулась на полный ход. В банке я нашел три рубля бумажками, но тем не менее была по всем правилам произведена национализация банка. Далее я начал разрабатывать проекты, как жить дальше, как обложить имущую часть населения, чтобы получить деньги. Начал брать на учет и обнаруженные в городе различные ценные материалы: металл, кожу и т. д.

## 2

Примерно через неделю после того, как мы провозгласили власть ревкома, к городу подошли маховские отряды. Нестор Махно тогда был в такой ипостаси: командир третьей советской крымской бригады имени батько Махно. Эта бригада входила составной частью в регулярную армию паркомвоенмора и командующего Крымским фронтом товарища Дыбенко. Махно таким образом явился в качестве командира бригады Красной Армии. Нам ничего другого не оставалось, как его приветствовать: все же советские войска.

Каков он был из себя? Ну, что сказать? Был среднего роста. Носил длинные волосы, какую-то военную фуражку. Владел прекрасно всеми видами оружия. Хорошо знал винтовку, отлично владел саблей. Метко

стрелял из маузера и нагана. Из пушки мог стрелять. Это импонировало всем его приближенным — сам батько Махно стреляет из пушки.

Тут надо упомянуть, что в 1905 году моя Роза (то есть в ту пору еще не моя, так как познакомилась мы только в Америке) сидела в одесской тюрьме, и тогда же в той же тюрьме сидел и Махно. Анархисты слышали, что меня занесло в Бердянск, что я стал большевиком, членом коммунистической партии. А Роза еще оставалась анархисткой. Встреча ее с Нестором — это встреча старых бойцов. Затем Махно подходит ко мне.

— Здравствуй, Дыбец. Значит, ты ренегат теперь?

— Здравствуй. Значит, ренегат.

— Выходит, совсем большевик?

— Выходит, совсем.

— Да, многие продаются большевикам. Ничего не поделаешь.

— Значит, продаются. И я продался.

— Но гляди не пожалей.

— Гляжу.

Такой примерно разговор, не в дружеских, как видите, тонах, но и не на высоких нотах, у нас произошел. Я держался с ним спокойно. Мы друг другу не подчинены. Хожу я тут с достаточным авторитетом.

Здесь надобно сказать, что Бердянск отличался от других городишек тем, что там подвалы были полны вина. Махновская бригада вошла к вечеру, а наутро мы увидели, что если армия постоит в городе еще два-три дня, то никакой армии не останется — просто перепьются.

Наутро, когда мы в ревкоме получили сведения о том, что делается в городе, я связался с махновцами и сказал, что мне нужно поговорить с Махно. Махно явился. Другие большевики, члены ревкома, как-то меньше с ним имели дело, а мне по наследству, как бывшему анархисту, главным образом и приходилось вести с ним переговоры.

Я ему сказал:

— Ты войсками город занял зря. Если хочешь спасти свои войска, надо их немедленно выводить на фронт. А город будет вас снабжать обмундированием, продовольствием. В пределах возможности поможем. Судя по сводке, которую я имею, твоя армия перепилась вдребезги. А присосавшись к вину, она не уйдет, пока все не высосет. Однако вина здесь столько, что твоя бригада будет пить целые месяцы.

Махно мне ответил, что в таких советах не нуждается. Сегодня его приказом будет назначен комендант города. Этому коменданту мы обязаны подчиняться, ибо когда армия занимает город, то все учреждения подчиняются армии, город переходит на военное положение.

Я ему заявил, что мы на это не пойдем, что мы собственными силами гарантируем здесь порядок. Он как командир бригады может предъявить нам требования. Все его требования мы постараемся удовлетворить. Но самоустраняться от власти мы не собираемся. Так что ему придется арестовывать весь ревком. (Это я не согласовал с товарищами, но был уверен в их поддержке.) Махно повторил, что назначит своего коменданта.

— Мы не возражаем насчет коменданта, однако и у ревкома есть свои права. Если желаешь, будем об этом договариваться.

Должен сказать, что если бы я имел дело с обычным командиром красноармейской части; то все равно воспротивился бы хозяйничанию такого военного человека. Ну а что касается Махно, то тут, как говорится, нам сам бог велел ему власть не сдавать.

Наш разговор ничем не кончился. Я отправился в уездный комитет партии, или, как тогда мы говорили, в уком. Собрали бюро и начали об-

суждать нашу линию поведения. Пришли к заключению, что власть не уступим. Превратить ревком в некое безличное учреждение, подчиненное Махно, — это не выйдет, тем более что слава про Махно идет не совсем ладная. Поговаривают, бандитствует. А нам нужно укреплять советский порядок, советскую власть. Так что не выйдет. Мы должны отстаивать свои права как революционная советская организация. Городом и уездом мы должны управлять. Махно может оставить своего коменданта, поскольку это касается военных нужд, военной защиты города. А для поддержания порядка надо довооружить патронами тот батальон, который мы создали, и у нас будет своя надежная военная сила для охраны города с тем, чтобы, если ворвется грабитель или разложится какая-либо воинская часть, мы могли бы твердой вооруженной рукой водворить порядок.

К вечеру Махно действительно вновь к нам приехал. Мы выступили с нашей декларацией. Он заявил, что ему такая декларация ни к чему. Он человек военный и признает только военную власть.

— Эдак не пойдет. Тогда арестуй нас сразу. Город мы не уступим никому. Тем более что надо насаждать советскую власть в селах. Что же, ты и в селах будешь военную власть организовывать, туда ставить комендантов? Смотри, тебе это невыгодно.

Такие аргументы на него подействовали, он пошел, что называется, на попятный:

— Да, зерно и фураж уездная власть должна нам дать. Поэтому черт с вами, оставайтесь, будете нас снабжать. И надо найти контакт.

Было ясно, что скорее с нами он предпочел компромисс. Мы, однако, понимали, что, несмотря на такой компромисс, он все же будет грабить город.

Тут надо сделать небольшое отступление. К моменту, когда махновцы пришли в Бердянск, вероятно, именно в эти же дни подъехала группа коммунистов, которые работали здесь раньше, были организаторами первого Совета, а потом в разное время покинули город, когда оккупанты-немцы, а затем и отечественные белогвардейцы чинили в городе расправу. Эта группа состояла из таких товарищей: Могильный — теперь он работает в Совнаркоме, Волков — теперь член Московской контрольной комиссии, Кулик — теперь в Главсоли, и некоторые другие. Названные товарищи были наиболее опытными, закаленными в разных передрягах коммунистами. Вот из них-то и из выдвинувшихся местных коммунистов и организовался уком. Да, с ними еще прибыл Яковлев — питерский рабочий. Его вскоре выбрали секретарем укома.

В эти же дни мне поручили быть председателем ревкома. Моим заместителем стал Волков. Могильный был назначен уездным военкомом, Кулик — уездным комиссаром продовольствия. У Кулика работал заместителем Журко, болгарин, очень энергичный человек. Хорошо работали, как я уже сказал, и несколько местных товарищей. Таким образом, коммунистические силы у нас были. Тут я уже был оформлен как член партии, получил партийный билет. Меня ввели и в члены укома.

Так начали мы совместное жительство с махновцами.

### 3

Махно был из тех анархистов, которые принципиально отрицали всякую организованность. Такие люди или, верней, лучшие из них идеализировали движение масс и в особенности крестьянский бунт. Они не понимали, что среди крестьянства есть кулак, середняк, бедняк, рассуждали о крестьянстве вообще, будто оно являло собой что-то сплошное.

Махно запутался в своих политических воззрениях. Не раз доводилось мне спорить с ним на эти темы. Спрашиваю:

— Какая же у тебя программа?

— А вот свергнуть сначала белых, потом большевиков.

— Ну, а дальше?

— Дальше народ сам будет управлять собой.

— Как управлять? Дай ты себе отчет.

В ответ он туманно излагает анархические идеи о безначалии, о крестьянских коммунах, не подчиненных никакому государству, никакому организующему центру.

— Наша же деятельность, — говорит он, — только агитация и пропаганда. Народ сделает все сам. Этого мы придерживаемся и в военном деле. Сама армия собою управляет.

— Чепуха. Полнейшая чепуха.

Но Махно твердит:

— Вот посмотришь. Разделаемся сначала с белыми, потом с большевиками.

В его ближайшем окружении находилась разная шантрапа, представители анархо-бандитизма. К нему слетелись разоруженные анархисты из Москвы и Петрограда, некоторые вырвались из тюрем, ушли от чекистских пуль. Были и попросту уголовники-грабители, всякие дегенераты — Никифорова Маруся, Черводемский и другие. Позднее к Махно примкнул и такой анархо-синдикалист, как Волин, человек доктринерского ума, не умевший и не желавший видеть действительной жизни, лично мне известный еще по Америке. Он мог бесконечно разглагольствовать, но всегда терял нить мысли. По любому вопросу готов выступить с докладом или с лекцией, начнет, растекается, говорит по три часа.

— А какие же выводы?

— О выводах побеседуем завтра.

В политотделе махновской армии Волин был, пожалуй, наиболее чистой личностью.

Сам Махно не отличался высоким уровнем развития. Он, как анархист, читал кое-что Кропоткина, Оргияни, а также, может быть, Бакунина, но этим и ограничивался его багаж.

Думается, Махно обладал недюжинными природными задатками. Но не развил их. И не понимал, какова его ответственность. Ему льстило, что вокруг него собралась такая большая армия. Но что делать завтра — этого он себе не представлял.

Предотвратить грабежи, которыми то и дело занималась его армия, тем самым отталкивая от него крестьянство, он был не в силах. Иногда он карал грабителей, расстреливал десяток-другой своих приближенных, но затем опять давал волю стихии, поднявшей его на гребень, и грабежи возобновлялись. Он не мог систематически с этим бороться, будучи противником организованности.

Около него группировалась еще и кучка его родственников и земляков по Гуляй-Полю, которые снабжали его выпивкой, шелковым бельем и тому подобным.

Пил он несусветно. Пьянствовал день и ночь. Развратничал. Ему, отрицателю власти, досталась почти неограниченная бесконтрольная власть. И туманила, кружила голову.

Свою военную деятельность Махно начал как батько-атаман небольшого партизанского отряда. Совершил несколько лихих набегов в тылы белых. Проявил в этом дерзкую изобретательность. И постепенно в селах распространилась слава о нем. Может быть, тут была вина и молодой советской власти, когда ему создавали популярность как герою.

И пошли даже на то, чтобы его войско, уже многотысячное, звалось бригадой имени батько Махно.

А он плыл по течению, которое несло его неведомо куда.

Случалось, я опять разговаривал с ним с глазу на глаз, снова спрашивал:

— Что ты будешь делать завтра?

— Будет народная коммуна. Анархическая республика.

Однако, толкуя о будущем, он обнаруживал полное невежество, особенно в таких вопросах, как экономика, промышленность. Знал лишь, что завод — это такая вещь, которая должна выпускать изделия, а во всем остальном — откуда брать сырье, каким образом осуществлять хозяйственные связи, хозяйственный план — оставался совершенно темным. Повторял свое:

— Коммуна.

— Посмотри ты на свою коммуну. Ты даже не знаешь, что она выделяет. Твои войска грабят кругом.

— Подойдет время — перестанут.

— Да они завтра же повернут винтовки против тебя, если ты их попробуешь прижать. Неужели ты этого не видишь, слепой ты человек!

Мои аргументы были настолько весомы, что Махно лишь говорил:

— Ренегат.

Это был его самый убийственный довод против меня. Другими возражениями он не располагал.

#### 4

Махно оставил в Бердянске начальника штаба своей армии — Озерова. Озеров был военным по профессии, родом из кубанских казаков, некогда командовал конной сотней. Позднее я близко узнал этого довольно интересного человека. Он уверял, что принадлежит к левым эсерам. Однако, по-моему, это был политически мало развитый вояка. В гражданскую войну он успел получить несколько ранений. Кисть правой руки была совершенно раздроблена. Но каким-то образом он ухитрился носить в этой руке нагайку, которой стегал направо и налево, наводя дисциплину в махновской вольнице.

К Махно его направил Дыбенко, балтийский матрос-большевик, который в ту пору был командующим советской крымской армией. Озеров, как начальник штаба, чувствовал, понимал свою ответственность, но все его усилия навести порядок в войсках Махно оставались тщетными. Никак не удавалось превратить бригаду батьки Махно в регулярную воинскую часть.

Надо сказать, что вся эта бригада имела весьма своеобразное строение. Ни полков, ни батальонов в ней не имелось. Были отряды. Отряд такого-то, отряд такого-то. При этом численность отрядов все время менялась.

Если, скажем, в отряде Щуся насчитывалось, по его словам, две тысячи человек, то, когда мы с Озеровым пошли проверять, оказалось, что сегодня в отряде налицо триста бойцов, завтра — пятьсот. Спрашиваем:

— Откуда появились двести человек, которых вчера не было?

— Подошли из деревни.

— А куда девались остальные? Ведь у вас числится две тысячи.

— Ушли в деревню.

Более или менее постоянное ядро в этих отрядах состояло из командира и его штаба, а все остальное — текущий состав. Как набиралась эта армия? Объезжая уезд, я однажды в каком-то селе стал свидетелем следующей сцены. Пожилая крестьянка срамит парня, своего сына:

— Ты же ни черта не делаешь, да и делать сейчас по хозяйству нечего. Шел бы к Махно. Посмотри на ребят из нашего села. Вот Николай, вот Иван Федорович пробыви у Махно три месяца, привезли по три шубы, пригнали по паре лошадей.

Так крестьяне и шли к Махно. Вступив в отряд, можно было пограбить. Потом вернуться восвояси. А через некоторое время снова пойти на войну. Из-за этого в отрядах происходила непрерывная текучка.

Были исключения. Крепко сколоченным являлся отряд села Новоспасовка. Там подобралось несколько требовательных, твердых военных людей. И завели настоящую воинскую дисциплину.

Но почти все остальное представляло собой некие таборы, то разраставшиеся, то внезапно тающие.

Озеров метался из отряда в отряд, переживал свое бессилье. Не однажды наедине со мной он плакал, называл себя мучеником, трагической фигурой, предрекал себе роковую участь.

Мне как председателю ревкома полагалось бы заниматься лишь, так сказать, гражданскими вопросами и не вмешиваться в армейские дела. Я бы и не занялся изучением махновской армии, если бы ко мне не пришел Озеров и не заявил, что, по сведениям его разведки, сосредоточиваются офицерские войска генерала Шкуро. Озеров при этом заявил, что если я не отдам ему своего батальона, то он не сможет отстоять город. И не исключено, что уже через сутки, а то и через два часа сюда войдет Шкуро и вырежет нас, как кур. Мне было очень жаль расставаться с батальоном. Как мог ревком лишить себя вооруженной силы, когда в городе то и дело происходили грабежи? Я заподозрил Озерова в том, что он норовит нас разоружить и даст таким образом свободу рук своим махновцам, любителям пограбить.

— Поедем,— сказал я,— посмотрим твой участок, а после этого будем решать, как быть.

Он согласился. Мы поехали. Это был мой первый выезд в махновские войска. Фронт пролегал между Бердянском и Мариуполем. Мы поехали от края к краю по всему этому фронту. Я уже говорил, что не было ни полков, ни батальонов — только отряды неопределенной переменной численности. Наконец среди этого разброда встретился отряд, который представлял собой действительно боевую единицу. Бойцы, как ранее я упомянул, были новоспасовцами, жителями большого села Новоспасовка.

Там, в Новоспасовке, мы обнаружили интересный порядок. Во-первых, мы познакомились со всеми лидерами села. Настроения махновские, однако народ организован. И даже отряд, который они выслали на фронт, назван батальоном. В батальоне четкие подразделения: роты, взводы. В селе — штаб тыла. Штаб этот регулярно изо дня в день снабжает своих фронтовиков продовольствием, ежедневно получает сводку о наличии бойцов в ротах, не сбежал ли кто. Если сбежал, никуда дальше не уйдет, как к себе домой. Секут за самовольную отлучку. Двадцать пять — пятьдесят нагаек — это норма, если парень ушел без разрешения командира.

Побыли мы и в новоспасовском батальоне на фронте. Увидели настоящий военный порядок: окопы, сторожевое охранение, часовые, связь. Командиром батальона был двадцатитрехлетний парень Куриленко, военная косточка, лихой кавалерист. Он, крестьянин из середняков, не очень развитой, тоже разделял махновские воззрения. Но управлял твердо.

В батальоне имелась кавалерия. Для нее были взяты лучшие кони из села. Обзавелись и пулеметами.

— Кто вам дает оружие?

— Да вот разживаемся у белых. Сколько отберем — все наше!

Новоспасовцы заранее разведывали через крестьян, где и какие обозы находятся у белых, затем совершали налет, захватывали пулеметы, патроны и таким способом довооружались. И хороший запас держали. И в продовольствии не нуждались: снабжались из села. Новоспасовка мобилизовала и соседние селения. Оттуда тоже шло подспорье. Сапоги, например, были новыми у всех бойцов. Но уж если какой-нибудь боец отнял лошадь у крестьянина — получай пятьдесят — сто нагаек.

— Стрелять не буду, — объяснял Куриленко, — а шкуру спущу.

На каком-то другом отрезке фронта, ближе к Мариуполю, мы наши греческий отряд. В греческих селах офицеры-каратели учинили беспощадную расправу за революционные дела. Греки возненавидели белых. Так возненавидели, что только приказы — пойдут в бой. Железная дисциплина была введена в греческом отряде. Таким образом, на всем фронте дисциплинированными, боеспособными были только эти два формирования.

Во всех остальных — ералаш, если не употреблять более крепких выражений. Никакой связи по фронту. Никакого правильного командования. Приказы Озерова, в которых требовалось сообщить о том, где расположена данная часть и с кем держит связь, не выполняются.

Тут мне довелось видеть, как Озеров своей искалеченной рукой перепорол командиров.

— Приказ получил?

— Получил.

— Связь с кем держишь? С кем по приказу должен держать связь?

— Да я позабыл.

— Как так позабыл? Ты знаешь, кто я?

— Так точно. Озеров.

— Озеров... Не Озеров, а начальник штаба!

— Так точно, знаю.

— А с кем связь держать — не знаешь?

— Да позабыл, товарищ Озеров.

— Так я тебе напомню.

После этого Озеров командует:

— Сейчас же разошли связь. Свяжись с такими-то участками.

Этот наш обезд фронтных частей многое показал Озерову, а еще больше мне. Я впервые собственным глазом посмотрел, каков этот фронт, какова эта армия, бригада Махно, которая грудью защищает подступы к Бердянску.

Кстати тут надо заметить, что в детстве я ездил верхом, а теперь, проехав в седле первые сорок километров, едва мог ходить. Пришлось пересест на тачанку, а Озеров ехал на коне. Однако я изо дня в день тренировался и недели через две, к концу нашей поездки, стал неплохим кавалеристом, в тачанку больше не садился, не отставал от Озерова на своей верховой лошади.

## 5

Возвращаясь с фронта, мы с Озеровым пришли к твердому убеждению, что, если войска держать в бездействии, не продвигать дальше, они совсем разложатся. Озеров обратился в штаб Дыбенко, просил разрешения перейти в наступление на Мариуполь, просил дать хоть сколько-нибудь патронов.

С этим своим рапортом он пришел ко мне.

— Прочти. Отправляю нарочным. Но Дыбенко моему рапорту вряд ли поверит. Ты же теперь большевик. Добавь от себя несколько слов. Подтверди мою бумагу.

Я приписал, что положение на фронте Озеров охарактеризовал правильно.

Озеров затем продолжал:

— Вы, коммунисты, здесь на месте сами видите: я делаю все, чтобы бригада стала организованной боевой силой, но я не могу из песка без цемента слепить что-то крепкое. Дайте мне коммунистов в армию.

Мы и без его просьб уже пробовали давать. Однако нередко случалось, что в махновских отрядах коммунистов резали. Коммунист не позволял грабить. А раз так — значит, это враг. Чик — и поминай, как звали.

Вместе с тем махновцы разводили демагогию: как воевать — так большевиков нет, не сыщешь их на фронте, а как город взят — они тут как тут, сразу объявляются, хватают власть. Зная эти настроения, я, когда мы объезжали фронт, везде и всюду представлялся: председатель уездного ревкома и большевик.

Озеров затем снова просил передать ему батальон ревкома.

— Ты же убедился, — говорил он, — что мы висим на волоске. Разве мы можем удержать город этой армией? Стукнут — и я не даю тебе никакой гарантии. Мне нужен ваш батальон со всеми командирами и политработниками, чтобы закрыть любой прорыв.

Условились, что батальон остается в нашем распоряжении, а в крайности выступит на фронт.

Вскоре Озеров получил приказ Дыбенко о переходе в наступление. С этим приказом он опять пришел ко мне.

— Едем на фронт. Поведем армию в наступление. Тебе, Дыбец, это выгодно. Наживешь политический капитал в войсках. Посмотришь, как наступают, и будешь мне помогать.

Я об этом доложил в укоме. Товарищи высказались так: мне следует ехать, надо показать, что большевики не страшатся идти в бой, делят судьбу фронтовиков. Я, таким образом, получил разрешение вновь ехать на фронт в качестве председателя ревкома.

Со мной снарядили несколько подвод белья, сапог. Это предназначалось бойцам, которые дерутся. Если самоотверженно дерешься, получишь пару белья, чтобы тебя, боец, не ела вошь.

Под Мариуполем расположено село Шарог. Там обосновались белые. Наши части изготовились захватить это село. Патронов у нас было маловато, примерно восемнадцать — двадцать на бойца. Причем под давлением Озерова Куриленко поделился своими запасами. Больше откуда было взять.

Новоспасовский батальон должен был наступать с правого фланга. Озеров и я приехали туда. Рядом с новоспасовцами заняли исходные позиции и три-четыре отряда — довольно ненадежные отряды. Озеров, как умный вояка, одну новоспасовскую роту расположил в тылу. И приказал:

— Если кто побежит обратно — пристреливать!

Цепь, которой предстояло атаковать, залегла против села. Озеров верхом поехал вдоль цепи. Рядом с ним трусил на своем коне и я. Белые окатили нас, двух всадников, ружейным и пулеметным огнем. Для меня это было боевым крещением. Уши ловили неприятное посвистывание пуль. Но Озеров оставался спокоен, не пригибался к гриве, не убистрял ровного аллюра. Конечно, и я следовал его примеру.

Бойцы нас провожали взглядами. Вон под огнем начальник штаба Озеров и председатель ревкома большевик Дыбец.

Артиллерийской стрельбы белые не вели. Позже выяснилось, что у них не было снарядов.

Наши двинулись перебежками к селу. Белые лежат, стреляют. Пулеметы строчат по нашей цепи. Там-сям пуля срезает бойца. Но наши все сближаются с противником. Наконец приходит критический миг. Белые так близко, что надо или броситься в штыки, или...

Белые уже прекратили пальбу. Значит, к чему-то готовятся. Вероятно, только ждут, чтобы наши поднялись, и встретят пулеметами, встретят таким огнем, которого не одолеть. Здесь я имел случай увидеть, сколь необходим в решительную минуту какой-то психологический толчок. Не знаю даже, как это назвать — военная демагогия, что ли. Мы с Озеровым уже спешились. Он мне тихо говорит:

— Пожалуй, вперед дальше не пойдут. Скомандуешь: «Вперед!» — а побегут назад. Надо принимать меры.

И Озеров вскочил на коня, ударил нагайкой. Конь рванулся. Я, разумеется, поспевал за Озеровым. Он подлетел к командиру передовой цепи:

— Встать!

Командир вскочил. Озеров сплеча огрел его нагайкой.

— Я тебе, сволочь, говорил, чтобы держать интервалы! Учил тебя, дурака, соблюдать интервалы в три-четыре шага между бойцами! В каком порядке цепь? Почему нет равных интервалов?

И нагайка действует без устали. Бойцы глядят: Озеров лупит командира, у того уже лицо в крови, кричит об интервалах. А белые все выжидают, не открывают пальбу.

— Цепь, вперед! — во все горло орет Озеров.

И цепь поднялась, ринулась вперед. Пулеметы белых ее не остановили. Наши ворвались в село, вышибли противника, забрали восемь пулеметов, пятьдесят — шестьдесят подвод с патронами, три пушки, что стояли без снарядов.

Вот как решается иногда бой.

Озеров потом целовал избитого командира:

— Не тебя я бил! Я всю твою цепь лупцевал! Надо было психологически воздействовать.

Это сражение, в котором меня по всему фронту видели рядом с Озеровым под огнем, создало мне среди махновцев славу: Дыбец, бывший анархист, а ныне коммунист, пуль не боится, будет драться вместе с нами, привез белье — значит, наш брат, к нему можно апеллировать, ходить к нему как к своему коммунисту.

Пробыв на фронте три-четыре дня, я вернулся в Бердянск и опять взялся за свои обязанности председателя ревкома. Обозначим, кстати, дату: подходил к концу март 1919 года.

В Бердянске пришлось решать неотложные задачи. Махновцы продолжали грабить город. И из волостей все чаще поступали жалобы: махновские отряды самовольничали, забирали зерно на ссыпных пунктах, кормили пшеницей лошадей. Из-за этого срывались наши продовольственные заготовки. Следовало что-то предпринимать.

Между прочим, в эти же дни обнаружили настоячивые поползновения махновцев вывезти различные запасы из Бердянска в Гуляй-Поле, где располагалась, так сказать, ставка батьки Махно. Особенно они по-

кушались на главное наше богатство — кожу. Дело в том, что к моменту ухода белых из Бердянска в городе оказалось вагонов двадцать отлично выделанной кожи, принадлежавшей различным спекулянтам. Мы ее реквизировали, открыли большую мастерскую, где шились и шились сапоги. Этими сапогами мы прежде всего наделили наш батальон. Давали и войскам Махно.

Само собой разумеется, нам не хотелось выпускать кожу из Бердянска. Я решил, что уж если нас вынудят расстаться с этой кожей, то отошлем ее только в Москву, не иначе. Тем временем представители Махно учинили нам скандал и категорически потребовали, чтобы мы направили кожу в Гуляй-Поле. Они берут на себя снабжение своей армии. Они нами недовольны: ревком плохо их снабжает. Армия воюет без сапог.

Под конец, после долгих словопрений, я делаю вид, что отдаю махновцам эту кожу. В их присутствии погрузили двенадцать вагонов.

На пути из Бердянска в Гуляй-Поле находится узловая станция Пологи. Там переформируются поезда. На станции Пологи работал мой старый друг еще по 1905 году Ваня Гончаренко. Этого парня я вызвал в Бердянск. Мы с ним договорились, что вагоны с кожей будут прицеплены к любому пассажирскому поезду, идущему в Москву. Сие и было проделано в наилучшем виде. Своих сопровождающих махновцев не догадались послать. Вагоны проскочили Гуляй-Поле. Таким образом удалось переправить в Москву под охраной наших людей главные запасы кожи. Кое-что по соглашению с махновцами мы оставили у себя. Наши мастерские работают, выпускают сапоги.

Получив шифрованное сообщение, что вагоны благополучно проследовали, я с недельку выждал, а потом, когда махновцы обращались ко мне за сапогами, говорил:

— Адресуйте в Гуляй-Поле. Туда отправлено столько-то вагонов.

И возразить нечего. Все видели, как шла погрузка кожи. И вагоны ушли по назначению в Гуляй-Поле: так гласили железнодорожные документы.

Далее я стал этой кожей козырять на всех собраниях, когда там участвовали махновцы. Вот мы такие-сякие, недобрые люди, а отправили двенадцать вагонов кожи по требованию вашего штаба. Видимо, Гуляй-Поле будет крепко снабжать вас сапогами. Махновцы растерялись. Где же все-таки вагоны? Исчезли.

А мы заседаем, нас не остановишь:

— Эх вы, не могли вагоны получить. Двенадцать вагонов на глазах людей были погружены. Вот, значит, как у вас поставлено снабжение. Вот, значит, какая у вас организация. А если нет организации, не беритесь за дела, с которыми не способны справиться, предоставьте это людям, умеющим работать.

Дело приняло настолько скандальный оборот, что в Бердянск приехал Махно. Мне он говорил:

— Не знаю, где кожа. Если бы я знал, кто украл кожу, тут же своей рукой бы расстрелял. Но пойми, Дыбец, мое положение. Кожу сперли, а ты кричишь: двенадцать вагонов! Бога ради, перестань кричать об этой коже, а то войска начинают меня трепать.

Кожа долго оставалась моим козырем. Толкуем, препираемся с Махно, и чуть что — я непременно ввертываю:

— А кожа?

Это был убийственный аргумент при переговорах. Когда у нас опять пытались отобрать какие-нибудь запасы, мы неизменно отвечали:

— Ну, это опять — кожа. Лучше мы сами вас снабдим.

О том, куда девалась эта кожа, знали только два-три человека из укома.

Нам, коммунистам-организаторам, приходилось проделывать большую работу. Следовало заготовить и вывезти хлеб. В уезде было очень много хлеба. Но ревком не имел денег, чтобы расплачиваться за этот хлеб. Мы наложили на буржуазию города контрибуцию в пять миллионов рублей.

Скажу несколько слов о том, как мы взимали эти деньги. Махновцы тогда уже завели свою контрразведку. И первый попавшийся гражданин, который имел деньги, запросто оказывался узником этой контрразведки, где его пороли нагайкой. Сию операцию проделывали в номере девятнадцатом гостиницы, и весь город знал о мрачном номере девятнадцать. Мы боролись с такой практикой, сколько хватало сил, но в вооруженные столкновения не вступали. У Махно — армия, а у нас только один батальон для внутренней охраны. И мы не могли ввязаться в драку против махновцев, драку, которая заведомо кончилась бы не в нашу пользу. О махновских безобразиях, о вымогательствах, грабежах, избитии граждан мы не однажды говорили самому Махно, он кое в чем с нами соглашался, но был бессилен утихомирить своих молодцов. Он не мог регулировать их поступки, для этого ему надо было бы свернуть знамя анархии и перестать быть батькой Махно.

Итак, мы обложили буржуазию города на пять миллионов рублей. Технику этого дела мы провели следующим образом. В Бердянске, как и во всяком другом городе, была купеческая биржа. Когда мне поручили взыскать контрибуцию, я созвал биржевиков и заявил:

— Городу нужны деньги. Необходимо в город подвозить хлеб. У нас денег нет. Если сбором контрибуции займется Махно, то несколько человек будут расстреляны совершенно зря. В наши планы не входит расстреливать зря людей.

Я сказал, что сбор контрибуции надо провести в организованном порядке.

— Мне трудно знать, насколько состоятелен тот или иной гражданин, а вы, биржевики, всех знаете. Составьте мне списочек, с кого сколько можно взять. Я полагаюсь на ваше благоразумие. Если вы этой работы не проделаете, мы ее сделаем сами, но, конечно, с ошибками. А если передадим Махно, то вам совсем плохо придется.

Мои слова возымели действие. Биржевики представили мне через неделю хорошо проработанный список. Мы, насколько могли, постарались его тщательно проверить, утвердили и получили пять миллионов довольно безболезненно. Далее после длительной словесной перепалки со штабом Махно мы ему уступили три миллиона, два взяли себе. Армия тоже нуждалась в деньгах, хотя махновцы никогда не расплачивались, если что-либо забирали у крестьян или горожан.

Полученных денег нам хватило ненадолго. И заготовлять хлеб мы снова не смогли. Под конец приходилось брать у крестьян хлеб под какие-то расписки. Заготовленное зерно мы отправляли в Москву, однако вагонов постоянно не хватало.

Вскоре назрела необходимость созвать уездный съезд Советов и избрать уездный исполком. Агитацию за уездный съезд уже усиленно вели левые эсеры, блокировавшиеся с анархистами. Несколько раз в городе на митингах выступал Махно. Он не однажды давал волю языку и изрекал, что коммунистов надо вырезать. В связи с одной из таких его речей я имел с ним очень неприятное объяснение. Он выступил в совершенно пьяном виде. И может быть, искренне, а может быть, неискренне на следующий день сказал, что совсем не помнит, о чем говорил. Я заявил:

— Нам от этого не легче. Если ты будешь гравить большевиков, мы готовы уйти и предоставить тебе полную свободу действий. Пожалуйста, управляйте сами. Но ты уже убедился, на что вы способны как организаторы. Возьми случай с кожей. Такой сумбур будет у вас всюду. А без четко работающего тыла воевать нельзя. Так не мешайте нам организовать тыл. Давай по-серьезному подойдем к этому. Иначе мы, большевики, освободим для вас все наши посты, снимемся отсюда и уедем в Киев.

Когда мы этак ультимативно поставили вопрос, Махно понял, что дело действительно серьезное. Ему в то время не улыбалось разорвать с большевиками. Мы настаивали, чтобы махновцы не разъезжали по уезду, не грабили крестьян, не восстанавливали их против себя и против советской власти.

— Все заготовки,— говорил я,— мы будем вести в организованном порядке. И организовано же будем вас снабжать. Давайте установим нормы. Определим количество едоков. Введем порядок.

В этом споре принял участие весь штаб Махно и весь наш уком. Долго их уламывали, повторяли угрозу, что мы уйдем, оставим их и пусть хозяйничают, как хотят. Далее покрывать их грабежи мы не согласны, так дело не пойдет.

Эти словопрения закончились договоренностью. Был издан приказ за совместными подписями председателя ревкома Дыбеца и командующего батальоном Махно о том, что никто из командиров не имеет права что-либо забирать ни у крестьян, ни у горожан, что все требования командир направляют в свой штаб. Штаб в свою очередь предъявляет эти запросы уездному ревкому, который обязан, придерживаясь выработанных норм, удовлетворять требования. Этот исторический приказ сохранился до сих пор у одного из моих товарищей по Бердянскому ревкому.

Но приказ приказом, а грабежи не прекратились, ибо Махно не мог контролировать как следует свои отряды, не мог держать в руках своих командиров.

## 7

Тем временем продолжалась война. Наше наступление приостановилось. Кое-где белые продвинулись. Бердянск по-прежнему в опасности. Я еще раз ездил на фронт и снова видел разброд в махновской армии.

Случалось, какой-нибудь отряд вдруг уходит с фронта верст на семьдесят в тыл на отдых. И оставляет фронт открытым. Белые могут завтра же ворваться в город.

Такие отряды, срывающиеся со своих позиций, нередко отдыхали под Бердянском. Они облюбовали эти места потому, что тут было много вина. Разбивали бочки в винных подвалах, напивались до потери человеческого облика.

Это заставило меня собрать виновладельцев. Я сформулировал им такой ультиматум:

— Или вы в три дня все вино обращаете в уксус, или я выливаю вино в море.

Потом связался с Екатеринославом, предложил:

— Мы можем прислать вам два эшелона вина.

Ответ был такой:

— Ты с ума сошел. И у нас ведь будут пить, пока не выпьют все. Да и по пути начнут взламывать вагоны, вскрывать бочки. Хочешь, чтобы остановилась железная дорога? Никуда не вывози. Власть на местах. Распоряжайся.

Я заявил, что вылью в море.

— Выливай. Действуй в зависимости от обстановки.

И вот я вылил тысяч тридцать ведер хорошего дорогого вина в море. Люди пили из канав это вино. Жуткая картина.

Но дело кончено. Нет больше бердянского вина. Махновские отряды стали отдыхать где-то в других местах.

К этому времени нам пришлось все же отдать наш хорошо сколоченный рабочий батальон, потому что такой-то батько ушел с отрядом отдыхать в неизвестном направлении и на фронте образовалась брешь. Мы сформировали другой батальон для охраны города.

Тут кстати прибыли двадцать пять красных командиров. Зеленая молодежь, красная молодежь, окончившая какие-то курсы. В большинстве они были выпущены командирами взводов, некоторые годились в командиры рот. Их прислали для укрепления махновской армии. Однако Махно в этом усмотрел подкоп против него со стороны большевиков и не принял командиров. Мы забрали их себе.

Фронт оставался неустойчивым. Белые большими силами перешли в наступление от Мариуполя, махновские части отступали. Сейчас не вспомню всех событий.

Однако, так или иначе, мы имели собственные сведения о делах на фронте, ибо махновский штаб и даже Озеров не сообщали нам об изменениях военной обстановки. И вот однажды в четыре часа утра меня разбудил телефонный звонок. Мне названивал Озеров. Он объявил:

— Армия отступает. Оставляем город и переходим на новые позиции у Мелитополя. Предлагаем вам эвакуироваться.

Только благодаря тому, что мы располагали собственными сведениями, сообщение Озерова о сдаче города не застигло нас врасплох. Используя весь наш авторитет, мы сумели быстро мобилизовать сотни три-четыре крестьянских подвод и вывезти из Бердянска наши главные богатства — немалые все еще запасы кожи и другое имущество. Потянулся наш обоз на Мелитополь.

Здесь надо сделать вставку, иначе обрисовка времени будет неполной. Более богатой картины самодеятельности масс, чем мы имели в гражданскую войну, нельзя себе представить. Тома можно написать и не исчерпать всей инициативы, которую проявляли люди, творившие революцию. Они, как пчелы, несли и несли капли своего вклада. И так как уездный ревком, затем ставший исполкомом, пользовался исключительным авторитетом (в отличие от Махно, который ни у рабочих, ни у сельчан не завоевал авторитета), весь этот прибой инициативы устремлялся в уездный исполком.

Приходит, например, ко мне матрос. Несколько матросов достали трехдюймовую пушку и хотят установить ее на катерочке. А этот катерочек сам еле держится и в хорошую волну может просто развалиться. Вызываю инженеров. Те говорят, что на этом катере нельзя ставить пушку. Со второго-третьего выстрела он от сотрясения даст течь и пойдет ко дну.

Матросы утверждают: «Ничего подобного!» Настаивают. В конце концов они все же смонтировали на катерочке эту пушку и разъезжают, патрулируют.

Позднее эта пушка сыграла свою роль. Произошло следующее. В какой-то день на рейде Азовского моря появились миноносцы. Наши знатоки дела объявили: французские. Один, другой, третий. Не помню, кажется, никакого ультиматума мы от них не получали. Или, возможно, они просили разрешения войти в порт, а мы не разрешили. Так или иначе, но они довольно нахально подошли и стали обстреливать город. И вот тут пригодилась пушка наших моряков. С этого несчастного катера они ухитрились попасть двумя снарядами в миноносец. Наши наблюдатели зафиксировали эти попадания. Миноносцы отошли подаль-

ше и оттуда обстреливали город. Выпустили сотни две снарядов, убили нескольких человек. Чем был вызван обстрел? Вероятно, французский адмирал и сам этого не знал. Тем не менее Франция расписалась в том, что в нашей гражданской войне она помогает белым.

И еще вот о чем попрошу вас. Приходится в этом рассказе о своем пути слишком часто повторять: я, я. Но если вы подумаете, что Дыбец — гениальный человек, если в таком духе будете рисовать его портрет, выйдет чепуха. Моя жизнь — жизнь обыкновенного рабочего. Обыкновенный рабочий, кое-что прочитавший, думающий. Его увлекает революция. Она его лепит и лепит. Потом он закаляется и становится способен руководить десятками тысяч людей.

В чем моя сила? Революционный инстинкт внятно мне подсказывал, что большевики правы. И я шел в их рядах, шел вместе с массой. Мне верили, меня растили и всякий раз корректировали, выравнивали. И я имел влияние не как Дыбец, некая особенная личность, а как человек ленинской партии, как работник, обретающийся в гуще масс. Всего этого я не охвачу. Необходим такого рода корректив к моему рассказу.

## 8

Итак, мы покинули Бердянск. Эвакуацию провели организованно. Вытянулся наш обоз — больше трехсот подвод с разным добром. Мы полагали, что оставляем город не надолго — на неделю, на две, пока Москва даст подкрепления. Махно не может сдержать наступление белых. Это было ясно всем.

Значит, подойдут регулярные советские войска. И хотя мы верили, что вскоре вернемся, все же решили подчистую эвакуировать город. Ушли все пекаря, чтобы лишить белых печеного хлеба, ушли моряки, ушли рабочие. Город опустел. Остался только обыватель.

Рабочие и моряки организовали боевые отряды. Где-то раздобыли винтовки. Откуда винтовки, кто снабдил винтовками — ведь централизованного снабжения не было — понятия не имею. Но факт остается фактом: рабочие и моряки вооружены. И патроны у них есть. Таким образом сформировались два новых батальона. Они выступили с нами. Мы вынесли решение: подчиняться штабу Махно не будем, наши вооруженные силы нужно объединить в полк, а уездному исполкому взять командование.

Без каких-либо происшествий вся наша колонна прибыла в Ногайск. Тут мы развернули свои боевые силы, которые заняли береговую линию и окопались под Ногайском. У нас уже насчитывалось больше тысячи бойцов. Войска Махно расположились левей.

Так постояли два-три дня. Неожиданно ко мне является крестьянская делегация — с рыжей по пояс бородой крестьянин Голиков и другие представители ближайших сел. Поздоровались. Спрашиваю:

— В чем дело?

— Разрешите, товарищ Дыбец, от вашего имени сформировать полк.

— Гм... Надо обдумать.

— Да нет, нечего думать. Вы только дайте ваше согласие. Мы же ничего не просим. Винтовки есть.

— Откуда?

— В земле были схоронены. И кони есть. Все села дают коней. Даже по секрету скажу: найдутся пулеметы. Поняли?

— Хорошо. Соберем исполком, вы подождите.

— Да нет. Зачем собирать? Вы только дайте согласие. А уж остальное мы сделаем. Будет полк в шесть тысяч бойцов.

Это предложение мы обсудили на фракции. Не к чему, разумеется, называть полк именем Дыбца. Не станем подражать в этом Махно и другим батькам. Однако надо ли формировать полк? А почему нет? Обзаведемся серьезной военной силой. Тогда и Махно не очень нуждается. И белым по зубам дадим. Я предложил назвать полк Бердянским. Фракция поддержала. Собрание длилось недолго. Я вышел к крестьянским делегатам и объявил решение:

— Можете формировать от моего имени: вот Дыбец призывает крестьян организовать полк. Называться полк будет Бердянским. Красиво. Все будут знать наш Бердянский полк. Только, товарищи, я никогда не командовал.

— Если не скажем, кто командир, — ничего не выйдет. Тебя крестьяне знают. Ты только дай разрешение твоим именем пользоваться. Без тебя скомандуем.

— Ладно, пользуйтесь. Согласен.

Действительно, крестьяне сформировали полк: четыре батальона, по четыре роты в каждом, все как следует. И свою полковую конницу. Села дали отличных кавалерийских лошадей. И седла и сабли откуда-то взялись. Мы, уездный исполком и уком, принимали первый парад этого полка. Конечно, не очень стройными рядами он прошел походным маршем. Все шесть тысяч бойцов были вооружены винтовками и патронами.

Тут, правда, выявилась одна беда: винтовки были неоднородными. Попадались и французские, и австрийские, и японские, и старинные русские берданки, и обычные наши трехлинейки. Мы решили, что будем постепенно вооружать полк одинаковыми винтовками. Но, так или иначе, силенок стало у нас больше.

В эти же дни выяснилось, что новоспасовцы, отступившие с маховской армией — их батальон уже вырос в полк, — находятся близко от нас. Ко мне приехал командир Новоспасовского полка Куриленко и намекнул, что, зная нас как солидных людей, он охотнее бы работал с нами, чем с Махно.

Я, как председатель исполкома, объехал боевой участок, занятый нашими силами, то есть теми, которые мы сформировали, заглянул и в Новоспасовский полк, проинспектировал войска.

В этом мне помогал Озеров. Он после сдачи Бердянска был вызван телеграммой в штаб Дыбенко. Однако Озеров сообразил, что ему придется держать ответ за потерю города, за недисциплинированность, неразбериху, разложение в маховской армии и его, наверное, в два счета расстреляют. Он пришел к нам и сказал, что к Дыбенко не поедет, а хочет остаться с нами, берется быть, если мы не возражаем, начальником нашего штаба при исполкоме. Мы не возражали — взяли такой грех на душу. И Озеров прижился у нас.

— Я же сторонником Махно никогда не был, — объяснял он. — С какой же стати пойду отчитываться за всю маховщину, будь она проклята. Пусть Дыбенко приведет в христианский вид маховские войска. Их надо переформировать, перетереть с песочком, а самых отъявленных бандитов наградить пулей в лоб для примера прочим.

Мне пришлось стать командиром наших исполкомовских вооруженных сил. Никто меня командиром не назначал. Никаких приказов обо мне не было издано. Но как-то вышло само собой, что я сделался командующим боевого участка. Ординарцы являлись ко мне с донесениями, у меня спрашивали распоряжений. Причем все мои приказы исполнялись. Так волей-неволей я вышел в полководцы. Обстоятельства заставили. Никуда не денешься. Уйти нельзя. А тут еще нужно и кормить всю эту армию. Значит, баб надо сагигировать, чтобы пекли хлеб. Да и

молоко и мясо надо дать бойцам. А войск набралось до десяти тысяч: уже и Новоспасовский полк перешел под наше крылышко.

На подступах к Ногайску исполкомовские части выдержали стычку с белыми, стукнули им по зубам, заставили отскочить. Наши в азарте боя ударились преследовать. Я, посоветовавшись с Озеровым, отдал приказ вернуться на свои позиции, чтобы бойцы не зарвались, не угодили бы в ловушку. У нас все еще не было связи с командованием регулярных соединений Красной Армии. По-прежнему мы занимали свой участок. Главное, чего я добивался: не стрелять зря. Требовал, чтобы каждый патрон был на учете. Озеров ввел в крестьянских полках правило: кто выстрелит зря — двадцать пять нагаек. Приходилось закрывать глаза на это. Полк, сформированный из рабочих и моряков, конечно, в таких методах дисциплинарного воздействия не нуждался.

## 9

В какой-то день меня срочно вызвал к себе председатель Мелитопольского уездного исполкома Пахомов (теперь он народный комиссар водного транспорта). Уже началась осень. Дождь. На дорогах месиво. Автомобилем нельзя было проехать. Сел на тачанку. Крестьяне дали мне таких лошадей, что это змеи, а не лошади. Никогда еще таких хороших лошадей я не видал.

Приехал я в Мелитополь. Пахомов проинформировал меня, что делается на белом свете. Во-первых, Дыбенко скомандовал отступление и вывел свои войска из Крыма. По дополнительным сведениям, его армия займет фронт по берегу Днепра.

Далее Пахомов сказал:

— Дыбенко сообщил нам, что надо вывезти из уезда все имущество.

С Пахомовым мы обсудили, какую дорогу избрать для отступления. Наш общий обоз составит не меньше тысячи подвод. Да и племенной скот мы вовсе не собираемся оставлять белогвардейцам. Как будем гнать гурты? Как прикорм войсками отход всей этой махины? Наконец, нужно обеспечить переправу.

Кроме того, я узнал у Пахомова, что Махно объявлен вне закона и на его место назначен опытный, энергичный командир Корчагин, который должен покончить с махновщиной, привести к повиновению махновские полки, наново их реформировать. Мне по приказу Дыбенко следовало связаться с Корчагиным, доложить ему, на какие силы он может опереться, и действовать в дальнейшем согласованно.

На обратном пути я заехал к Корчагину. Его штаб находился на станции Федоровка. Корчагин произвел впечатление серьезного человека. Высокий, широкий в плечах, он отличался военной выправкой, был в свое время эскадронным командиром в старой армии.

Я подробно изложил ему фронтную обстановку. Здесь вот стоят такие-то части, на которые он может рассчитывать. Тут Новоспасовский полк, в котором усилилось наше влияние. А далее — левее — махновские отряды.

— Как хочешь, так и приводи их, товарищ Корчагин, в божеский вид.

Потолковали и о наших нуждах. Корчагин сказал:

— Насчет снабжения патронами сделаю все, что в моих силах. Но не очень-то полагайтесь на меня. Дать много не смогу. Что отобьете у белых, то и ваше.

Вернувшись в Ногайск, я сообщил своим товарищам о новостях, об указаниях. Мы стали готовиться к отходу, отправляли постепенно обозы с грузом.

Махновские войска, как уже я говорил, находились левее нас. Белые собрали около Большого Токмака сильный кулак и решили, видимо, расправиться с махновской армией. Махно чувствовал, что решается его судьба. Или он докажет советской власти, что он сила, и тогда найдет дорогу к примирению, останется в какой-то командной роли, или будет окончательно разбит, раздавлен. И он сконцентрировал все свои наиболее сильные отряды (за исключением Новопасовского полка, который уже не исполнял его приказы), сконцентрировал греческие части, которые, как я уже упоминал, славились и ненавистью к белым, и дисциплиной.

В течение целой недели шло сражение в районе Большого Токмака. Дольше Махно выдержать не мог. Он там положил все отряды греков, свой оплот. Белые расколошматили Махно, хотя и у них погибли лучшие полки. Но они одержали верх, потому что были лучше вооружены, да и воинская выучка сказалась.

Исход этого сражения заставил нас не медлить с отступлением. Я получил указание от Корчагина оттягивать свои части на Мелитополь и быть готовым отходить дальше.

В боевом порядке мы постепенно отступали, занимая все новые позиции. День отдохнем, потом покроем тридцать километров, снова дневка и опять — тридцать километров. У нас хватило времени для этой организованной эвакуации. Отступали мы вместе с мелитопольцами.

## 10

Предстояло переправляться через Днепр. Пахомов предложил мне: — Съездим посмотрим, что за переправа. Как бы там не застрять. А то не успеем переправиться, и белые нас сбросят в Днепр.

Поехали в обгон наших обозов. Переправа была слабенькой, еще более ненадежной, чем мы предполагали. Наши грузы уже двигались на другой берег — лошади, повозки. Но образовался изрядный затор. Грузились на ветхий паром. Дело поневоле шло медленно. Это было у села Малая Лепетиха. Мне сопутствовала Роза. Я выставил там караул из своих бойцов и поручил Розе поддерживать порядок и наладить связь. А сам вернулся к своим главным силам.

Я распорядился сбавить скорость нашего марша, потому что, если поторопимся, увеличим лишь толкотню у парома. Связался с Корчагиным. Он мне заявил:

— Ты поезжай, бери в свои руки переправу. А я тут покомандую и правым флангом. Ты нужней на переправе.

Переночевав, я опять помчал в Малую Лепетиху. Здесь я увидел нетрадную картину. К этому времени основная часть подвод с бердянскими грузами была уже у берега. Их начали теснить подводы мелитопольцев. Подошли к переправе и матросские броневые автомобили. Этих броневиков я насчитал у Днепра до тридцати штук. Братишечки-матросы требуют очистить им дорогу, кричат, что должны сохранить свои боевые машины и переправиться в первую очередь. На берегу я застал и кавалерийский полк. Эти конники тоже требовали для себя первоочередности. Появился и пехотный полк. Беспорядок отчаянный. Гурты скота. Волы, кони, коровы. Вопли. Рев. Повозки трещат, ломаются. Жуть, ужас на берегу. Нужно навести какой-то порядок, иначе все это может очутиться, несомненно, под водой.

Я убедился, что совершенно беспомощен в этом хаосе. Однако я знал, что неподалеку, в Никополе, находится Дыбенко. Решил пробраться к нему. Переправился с невероятными усилиями. Два раза меня чуть не сбросили в Днепр. Но все же добрался к Дыбенко. Это был высокий

здоровенный человек в кожаной куртке. Во взгляде, в повадке чувствовалась воля. Он спросил:

— Ну как твои бердянцы? На когтях?

«На когтях» — это значило бегом, то есть рвут когтями землю. Я ответил, что мы отходим в полном боевом порядке.

— Что же тебе нужно?

— Вы, видимо, не знаете, что тут у вас творится.

— А что такое?

Я обрисовал дела на переправе. Дыбенко внимательно слушал. Я сказал:

— Там нужна крепкая воля. Может быть, туда следует бросить батальон моряков, иначе все будет в Днепре, а имущество ценное.

— Гм... Котов, взять пулемет, взять двадцать бойцов. Сейчас поедем на ту сторону Днепра.

Я поехал вместе с Дыбенко. Интересно, как же он сумеет навести порядок? Уже в то время он был легендарной личностью. Словечко «храбрый» не подойдет для его характеристики. Храбрый — это каждый из нас. Ему была свойственна ошеломляющая храбрость.

Между прочим, именно он с тремя-четырьмя сопровождающими прискакал незадолго до этого в штаб Махно и объявил там Махно вне закона. И, не стесняясь в выражениях, облаял весь штаб Махно. Приказал ему явиться в ревтрибунал армии. Заявил:

— Я тебя, подлец, расстреляю, если не выполнишь моего приказа.

Отчитал, как только мог, приспешников Махно, повернулся и уехал. Когда Махно узнал, что Дыбенко приезжал чуть ли не в одиночку, тогда как около штаба находились две или три тысячи махновцев, то с досады кусал ногти. Не мог себе простить, как это он выпустил Дыбенко. И потом при встречах со мной всегда жалел, что не схватил Дыбенко.

Итак, еду с Дыбенко. Перебрались на ту сторону Днепра. Десятка два матросов, которых он взял с собой, проложили ему дорогу. Дыбенко, в бурке, строгий, высоченный. с нагайкой в руке, выходит на берег. У причала уже сгрудился кавалерийский полк на лошадях.

— Командир полка, ко мне! — Голос у Дыбенко такой, что перекрывает весь рев у переправы. — Смирно! Где командир кавалерийского полка?

Слышу, как по скопищу пошло:

— Дыбенко... Дыбенко...

Это имя всем было известно.

Появляется командир полка — смуглый, цыганского типа, подтянутый кавалерист. Дыбенко выпрямляется во весь свой мощный рост.

— Командир полка?

— Так точно.

— Ты зачем тут оказался?

— Переправляться, товарищ Дыбенко.

Дыбенко вытаскивает наган. Раз! На месте ухлопал командира. Водворилась мертвая тишина. Казалось, даже быки перестали реветь.

— Помощник полкового командира, ко мне!

Все застыли. Тишина. Слышен лишь зычный голос Дыбенко:

— Где помощник полкового командира? Прячься, гад!

К Дыбенко идет ни жив ни мертв помощник командира.

— Возьми свой полк, выстрой, как положено. И отсюда убирайтесь. Выступай на шестьдесят километров прикрывать отступление. Понятно?

— Понятно, товарищ Дыбенко.

— Кругом марш!

— Есть!

Заиграли трубачи. Кавалерийский полк тотчас выступил в полном порядке. Но тут еще и броневики. Опять Дыбенко вызывает командира. Появляется молодой матрос в черном бушлате, в бескозырке. Нелегко ему шагать. Встал перед Дыбенко.

— Командир броневиков?

— Так точно.

Вокруг замерли. Но Дыбенко ведь тоже матрос. Как-никак — братишки.

— Ты чего тут околачиваешься?

— Мы, товарищ Дыбенко...

— Какой я тебе товарищ? Тикаете! Позорите армию! Немедленно выступить отсюда на сто верст навстречу белым. Понятно?

— Понятно.

— Ступай, выполняй.

— Есть!

Броневые автомобили покатали в степь. Подводы заняли свои места в длинной обозной очереди.

Так удалось в порядке переправиться.

## 11

Еще будучи на левом берегу, мы созвали наш уездный исполком и поставили вопрос: как существовать дальше? Уезд потерял. Значит, и уездному исполкому приходится складывать полномочия. Поручили двум товарищам — один из них страдал костным туберкулезом, другой был стариком и очень износился в этой нервной обстановке, — поручили ехать в Киев и сдать там дела уездного исполкома, в том числе и денежный отчет. Далее решили, что все остальные члены исполкома пойдут в Красную Армию.

Все вместе мы отправились в политотдел армии. Начальником политотдела был уже Пахомов. Мне он предложил стать комиссаром боевого участка, которым командовал Корчагин. Я спросил:

— А инструкция? Я же не военный. Какие обязанности у меня будут?

— Голова на плечах у тебя есть. И, судя по твоей деятельности, она варит неплохо. Впрягайся в пару с Корчагиным. Работы там непочатый край. Сообразуйся с обстановкой. Ясно?

— Более или менее ясно.

— Все. Получай мандат. Езжай.

Я поехал в имение какого-то великого князя — не то Николая Николаевича, не то Михаила Александровича, — в Грушевку на Днепре, где отыскал штаб Корчагина. Его боевой участок протянулся от Грушевки до Херсона. Сюда я постарался перетащить Бердянский и Новоспасовский полки как наиболее дисциплинированные части. И перешел на военную службу.

Махно, как сказано, был объявлен вне закона, скрылся в неизвестном направлении. Командование потрепанными его войсками перешло к Корчагину.

Примерно неделю я присматривался к работе штаба и к самому Корчагину. Высокого роста. Широкий в плечах. Лихой рубака. Прекрасный наездник. Несколько раз он демонстрировал обученных им лично лошадей, которые при определенных понуканиях танцевали или становились на дыбы и ходили на задних ногах со всадником в седле. Это создавало ему определенный ореол.

Был он беспартийным. Командовал в царской армии взводом или эскадроном. Офицерский чин у него был там небольшой. Резолюцию

встретил где-то на румынском фронте и оттуда вернулся на Кубань, где стал командиром красного партизанского отряда. Участвовал в тяжелейшем отступлении красных войск через безводные астраханские пески, где, по моим сведениям, проявил уйму инициативы, мужества, энергии.

Через неделю я составил мнение, что как начальник боевого участка он недостаточно подготовлен к командованию таким количеством войск. Одно дело командовать лихим эскадромом, иное — когда у тебя тысяча пятнадцать войск. Эти выводы вслух я не высказывал, но начал донимать Корчагина вопросами.

Мои вопросы были таковы: правильно ли расположены у нас на боевом участке силы, правильно ли вооружены наши части, известно ли нам с тобой их вооружение? У меня уже имелся опыт: все виды винтовок в исполкомовской армии. Каков план снабжения наших войск оружием, боепитанием? Как это организовано? Ведаем мы этим или не ведаем?

На все эти вопросы Корчагин ничего не мог ответить.

Вскоре вместо Озерова нам прислали начальника штаба. Молодой красный командир, недавно окончивший высшую военную советскую школу, товарищ Седин. Этот молодец был потолковее. От него я впервые услышал некоторые военные термины, например «естественное препятствие». Такого рода естественным препятствием, которое могло прикрыть наши войска, служил в данном случае Днепр.

Прибыли и еще несколько человек с военным образованием. В общем, сформировался штаб боевого участка.

Штаб Дыбенко по-прежнему был расположен в Никополе. Однажды Корчагин, Седин и я были туда вызваны. С нами разговаривал Федько — начальник штаба. Это был молодой начинающий штабной работник, когда-то имевший профессию столяра, коммунист и, что называется, дельный мужик, умница. Он выдвинул перед нами требование: отобрать лучшие боевые части и направить под Екатеринослав. Группа белых, которая разгромила махновцев, теперь устремилась к Екатеринославу. Федько говорил:

— Под Екатеринославом надо дать генеральный бой. Поэтому все, что у вас имеется здоровое и лучшее, немедленно передайте нам. Мы заменим некоторые крестьянские необученные части. Иначе не сможем дать белым отпор у Екатеринослава.

Пришлось отдать несколько наших лучших полков — в том числе и тот, что был составлен из бердянских рабочих, и другой, сформированный, если вы помните, от моего имени. С грустью я расставался с ними. Дыбенко забрал эти полки и двинулся под Екатеринослав давать сражение.

В беседе с Федько, естественно, всплыл и вопрос, о котором я уже говорил Корчагину: надо знать, чем мы обладаем. Федько предложил нам такое решение: Седин и я должны объехать весь наш фронт, расположенный по берегу Днепра от Грушевки до Херсона, и произвести реформирование войск. Инструкций никаких. Действовать на месте в зависимости от обстоятельств. В виде напутствия Федько дал несколько советов. И наделил меня военной кожаной сумкой через плечо. В сумке я обнаружил так называемую полевую книгу, которой еще не касался карандаш, и копировальную бумагу. На бланках из этой книги можно было писать распоряжения и приказы.

Вернувшись в свой штаб, мы с Сединым взяли единственный в нашем боевом участке автомобиль и выехали на фронт.

Прибыли прежде всего в третью Крымскую бригаду, которая отошла сюда из Крыма. Командовал бригадой бывший поручик Маслов. Из двухчасового разговора с Масловым мне стал ясен его облик. К бе-

лым он не перейдет. Свою судьбу он связал с красными. Какой случай заставил его воевать на стороне красных против белых — господь веда-ет, но к белым ему дороги нет. Идеология, коммунисты — это у него по-стольку поскольку. Комиссар — неизбежное зло, а война — увлекатель-ный спорт. И он был спортсменом войны. Боевые действия, вооруже-ние — все это являлось для него предметом спорта. Он охотно рассказы-вал о всяких военных эпизодах, о том, как, имея шесть тысяч человек, гнал шестнадцать тысяч, как нажимал, выбрасывал конницу наперерез, не давал опомниться. Эти случаи он расписывал увлекательно, словно охотник, рассказывающий, как он настиг лису. Война для него была своего рода искусством для искусства.

За ним приглядывал спокойный, деловитый комиссар. Фамилию сей-час трудно вспомнить. Кажется, Губин. Очень дельный коммунист, умни-ца, расторопный. Он, как мы заметили, пользовался авторитетом серьез-ного политического руководителя, незаметно правил и Масловым, направлял Маслова на путь истинный.

Проконтролировали мы эту бригаду. Войска в порядке. Вооружены довольно бедно. Винтовки разнокалиберные. Посоветовали командова-нию провести некоторую реорганизацию: создать роту французских вин-товок, роту таких-то винтовок, чтобы знать, как эти роты снабжены патронами. Маслов и Губин приняли наши указания.

Пробыв дня два в этой бригаде, мы двинулись дальше в своем авто-мобиле. В дороге потек радиатор, мы его кое-как залатали.

Проинспектировали еще одну бригаду. Далее по фронту располага-лись так называемые крымские полки. Федько, напутствуя нас, сказал, что эти полки вызывают у него особенные опасения. Там надо потща-тельнее присмотреться. И поступать решительно. Расформировать и, если будет возможность, разоружить.

Крымские полки действительно не могли внушать доверия. Они точь-в-точь напоминали махновскую армию, мне достаточно знакомую. В полку можно было насчитать лишь четыреста—пятьсот бойцов. Нам сначала говорили: в нашем-де полку шесть тысяч человек. Мы требовали выстроить полк, и в наличии оказывалось лишь несколько сот. К тому же они отнюдь не были похожи на бойцов. Не умели подравняться. Команду «смирно» не признавали. Стояли в строю вразвалку, поплевы-вали, покуривали.

Но вооружены были богато. На четыреста—пятьсот бойцов приходи-лось двенадцать пулеметов, обильный запас патронов. Таким полкам всюду сопутствовали тысячи голов скота и бесконечное количество воз-ов. На возах располагались женщины. И полк больше беспокоился о безопасности своих женщин, своих овец и волов, чем о выполнении бое-вого задания. Распушенность тут заразила каждого. Мы пытались гово-рить о дисциплине. И выносили из таких разговоров самое отвратитель-ное впечатление.

От нас требовали еще пулеметов. И пушек-де у них нет. И боевые задания они не выполняли из-за того, что не имеют пушек. И патронов они от нас не получают.

Эти сетования заставили нас более тщательно проверить наличие вооружения. Обнаружили еще уйму патронов. И выявили арсеналы вин-товок. Подсчитали. На каждого бойца пришлось десять—двенадцать винтовок.

Спрашиваем командира:

— Зачем тебе столько? Почему не доносишь, что лежит мертвое имущество?

— Это трофеи. Мы их кровью добывали!

В общем, постепенно картина прояснилась. Однако мы решили так:

пока не закончим объезд, никаких мер не принимать. Все организационные мероприятия будем проводить на обратном пути.

Последним пунктом этого нашего объезда стал небольшой город Бреслав. В тот раз до Херсона мы не добрались. У нас была уверенность, что Херсон обладает сильными коммунистическими кадрами. По нашим сведениям, на участке, что прилегал к Херсону, был сосредоточен достаточно крепкий кулак. Там стояла бригада. Относительно нее и Корчагин и Федыко имели заверения из Херсона, что это проверенная бсевая единица и на нее можно положиться. Не доехав до нее, мы повернули обратно в крымские полки, чтобы начать их перестройку.

Это, как вы понимаете, оказалось делом не простым. Сразу же произошло столкновение с полковым командиром. Он стал горланить, развел демагогию насчет штабов. Мы вновь убедились, что эти полки нельзя даже свести в бригаду. Слишком уж озабочены они своей самостоятельностью. И я и Седич не сомневались, что от увещаний тут толку не будет. И мы начали действовать по-другому. Вызывали к себе батальонных и ротных командиров. Поговорили с каждым. Нашли время ознакомиться с их биографиями. Наметили лиц, которые, по нашему впечатлению, обещали быть сравнительно дисциплинированными. И я писал распоряжение: полковой командир сдает командование такому-то. Этому имяреку приказывается принять полк и выступить со всем вооружением в определенный пункт и там влиться в полк такой-то. Мы уже загодя продумали, какую сделать передвижку, чтобы расформировать, расшеять крымские полки.

Приказ встречали криком, руганью, угрозами. Грозилась нас тут же расстрелять: «Мы кровью завоевали...» — и так далее.

Атмосфера настолько накалялась, что всякий из отстраненных командиров мог действительно застрелить тебя на месте. Но оказалось, что власть есть власть, и если твердо и умело сию пользоваться, то можно и вдвоем быть сильнее толпы горлопанов.

Полевая книжка — подарок Федыко — мне тут пригодилась. Вынимаю ее. строчу — получается внушительно. Спокойно вывожу слова приказа, подписываем вдвоем: начальник штаба и комиссар боевого участка. В книжке остается кония.

Предлагаю отстраненному командиру выбор:

— Не выполнишь распоряжения — объявим вне закона. А подчинишься, сдашь командование и вооружение, то отправляйся потом в штаб боевого участка, там получишь новое назначение.

— Какое?

— Там будет видно. То ли тебе полк дадим, то ли батальон. Я сейчас этот вопрос не могу решить.

Вам я излагаю это в довольно милых тонах. Но человека, который обладает тысячной ватагой, пулеметами, обозами, скотом, нелегко уговорить. Впрочем, мы и не уговаривали:

— Мы приехали не спорить, а вами командовать. Понятно?

Неохотно откликается:

— Понятно.

— Не донесешь об исполнении — считай себя вне закона. Вышлю чрезвычайный отряд и разоружу. Понятно?

— Понятно.

— Вот думайте и обсуждайте. И вот тебе срок, чтобы прибыть в штаб боевого участка.

Так от полка к полку и двигались. Автомобиль наконец вовсе отказал. Добыли коней, пересели в седла. В очередном полку опять проделывали свою работу. Опять нами возмущались, обступали нас голпой, орали, что не будут подчиняться.

— Что же, не подчиняйтесь. Я приказ отдал. И неужели вы думаете, что я буду тратить время на разговоры с вами? Буду убеждать, что дисциплина в армии нужна? Если не знаете этого, сдайте оружие. Если знаете, исполняйте приказ высшего командования.

— Мы кровью доказали. Не позволим нас расформировывать!

— Не позволите — сдавайте оружие. Война — это значит слушаться приказа. Не нравится — уходите на ту сторону. Мы будем знать, кто с нами и кто против нас.

Аргументы убийственные. Тон спокойный, будто за мной отряд. И хотя никакого отряда не было, я иногда о нем упоминал.

— Не подчинитесь приказу — прибедет отряд и всех вас разоружит.

— На нашу голову комиссаров сволочей сюда нагнали!

— Сволочи или не сволочи, а комиссары. И им даны права, которые извольте признавать. Иначе не выйдет. Надо воевать. Надо быстро привести части в порядок, пока мы отделены от белых естественным препятствием — Днпром. Если бы этого естественного препятствия не было, то, пока вы на меня орете, белые бы уже сюда нагрянули. Нам предстоят серьезные сражения. Надо знать, какими силами мы располагаем. Не можем воевать — так нечего позориться. Можем — так нужен порядок, учет сил.

Спокойный тон производил чужь ли не гипнотическое действие.

Полки выступали в указанные им места, сдавали запасы оружия. Таким образом более здоровые части, но слабо вооруженные были подкреплены вооружением. Сразу появился авторитет нашего штаба. Штаб вооружает! Почувствовалась железная рука, которая прошла и начинает шерстить. Почувствовалось армейское строгое устройство. Что, собственно говоря, и требовалось доказать.

## 12

Мы вернулись в штаб из первой своей инспекционной поездки. Доложили обо всем, что нами проделано. Узнали, что наши лучшие полки, которые от нас потребовали под Екатеринослав, были там разбиты. Почти полностью в бою погиб и наш Бердянский полк. Белые заняли Екатеринослав. Фронтовая обстановка становилась все серьезней.

Вероятно, неделю мы еще спокойно просгояли, вели свою работу, устанавливали связь с бригадами и отдельными полками нашего участка, проверяли, как исполняются отданные нами распоряжения, и т. д.

В эти дни к нам прибыли на переформирование некоторые части, разбитые и потрепанные под Екатеринославом. Это были главным образом кавалеристы, совершенно деморализованные и разложившиеся. Уже по первому впечатлению было видно, что никакой боевой стойкостью они не обладали. Среди них распространились открыто бандитские настроения. Едва эти полки появились в нашем расположении, тотчас же крестьяне стали жаловаться: грабят, жгут огнем пятки и вымогают деньги.

Пришлось круто воздействовать, применить власть.

Как-то привели ко мне четырех грабителей. Три человека — явно уголовный элемент, переступивший последнюю черту морального падения. Лишь глянешь — это видно сразу. Четвертый — мальчишка лет шестнадцати. Он плачет.

Я их поочередно допросил. Из короткого допроса (на долгие нет времени) установил, что первые трое заведомо промышляют бандитизмом, и решил тут же их участь. Потом взялся за подростка.

— Как тебя звать?

— Шурка.

Стало его жаль просто как мальчишку. Я учинил ему самый жесткий допрос с пристрастием, выясняя обстоятельства, при которых он попал в компанию уголовников. От этого Шурки я узнал, что он вырос без отца, жил у матери, познакомился с тремя кавалеристами. Они научили его играть в карты и, конечно, обыграли так, что он задолжал им сотни тысяч. И поэтому занялся для них разведкой, указывал богатых крестьян. Он и разведывал, и участвовал в ограблении.

Их жертвой был крепкий мужик, хозяин, кулак. Схватили его, потребовали денег. Тот отдал деньги, где-то спрятанные. Тут же находился и Шурка. Это уже был не первый их налет. Когда мужик уперся и больше денег не давал, они его связали и принялись горячим железом калить пятки. За этим прекрасным делом их застала очередная облава нашей комендантской роты.

Пока я продолжал допрашивать Шурку, ворвалась его мать. Она рыдала, как рыдала бы и всякая другая мать. Пощадите ее ребенка. Пожалейте. И я еще сильнее ощутил жалость. Прочел мальчишке лекцию, что и его надо было расстрелять. Но так как тебе только шестнадцать лет и ты не совсем испорчен, то, если дашь слово искупить свои грехи, поверю тебе, прошу. Он с ревом обещал. Я еще добавил:

— Ты увидишь, как расстреляют этих твоих приятелей.

Действительно, мы расстреляли этих трех бандитов перед строем полка в присутствии Шурки. Полку я объявил, что и мальчишку следовало бы расстрелять, но этого не будем делать.

— Думаю,— говорил я,— что он еще может вырасти честным бойцом, если попадет под хорошее красноармейское влияние. Если же влияние будет вредным, он пропадет. Поэтому оставляю его у себя при штабе. Сам послезу за ним.

С тех пор Шурка очень привязался ко мне. Исполнял самые рискованные, самые отчаянные поручения. И не покидал меня в труднейшие моменты, о которых дальше расскажу.

Еще один эпизод можно отметить. Мне стало известно, что у командира одной из растрепанных частей, которые к нам были присланы, имеется сестра, которая разлагает и его, и весь комсостав полка, достает спирт, доставляет проституток и т. д. Я ее вызвал:

— Предупреждаю, если ты будешь спаивать командиров и заниматься прочими своими зловредными делами, не посчитаюсь, что ты женщина,— расстреляю перед строем.

Она редела, каялась. Я ее отпустил. Но потом довелось снова с ней столкнуться. Она была самым отъявленным моим врагом. Хотела выцарапать мне глаза, когда махновцы меня арестовали. К этому мы скоро подойдем.

### 13

Однажды меня разбудили среди ночи:

— Товарищ комиссар, срочно к телефону.

Беру трубку:

— В чем дело?

— Прорыв фронта.

Ушам не верю. Может быть, со сна померещилось? По телефону докладывают:

— С правого фланга полк такой-то и с левого фланга полк такой-то не могут установить связи с мелитопольским полком, который расположен между ними.

— Куда же он делся?

— Неизвестно

Ничего не пойму. Пытаюсь выяснить:

— Может быть, было сражение, противник ворвался, погнался?

— Никаких выстрелов никто не слышал.

По-прежнему ничего не понимаю. Приказываю выслать усиленную разведку в оголенный промежуток фронта. Разведке пройти всю эту местность до соединения с ближайшей воинской частью, донести к утру, что по фронту восстановлена живая связь. Разузнать в селах, куда делся исчезнувший полк.

Часов в восемь нам в штаб доносят: мелитопольский полк ушел на хутора. Отступил километров на пятнадцать в тыл — и вся недолга! Это был крестьянский полк с махновскими замашками. Зная, что в полку есть такой душок, мы вплоть до переформирования не давали туда пулеметов.

Обсудили в штабе происшествие. Приняли решение: Дыбецу и Седину выехать в мелитопольский полк, вернуть его на место, а в случае неповиновения разоружить.

Опять выехали с Сединым. К этому времени нам удалось отремонтировать свой автомобиль. Но бензина не было, двинулись на чистом спирте. Путь лежал к Херсону. Прикатали на нашем вдрызги разбитом, скрипучем автомобиле в городок Бреслав. Далее линия фронта прерывалась, тянулся покинутый, опустевший промежуток.

В Бреславе нам рапортовал начальник гарнизона Лунин, подтянутый волевой командир. От него мы узнали, что мелитопольский полк действительно отошел в тыл и расположился отдыхать.

Взяв с собой Лунина, мы втроем на конях поехали к командиру мелитопольского полка. Нашли его где-то на хуторе. Типично бандитская рожа. На бритой башке зуб. Сам здоровенный, откормленный, потянет, пожалуй, пудов на семь. При нем лихой начальник штаба.

— Кто разрешил отступить?

— Да вот народ эдак надумал. Нужно и переформироваться, и одеться, и помыться.

— Значит, помыться захотелось. Но вы же стояли на Днепре. Воды для вас там не хватило?

— Горячей воды надо.

— Что же, может быть, и надо. Но кто разрешил? Кто позволил уйти с фронта в баньки? Разрешение ты спросил?

— А у кого спрашивать? Никто о полке не заботится. Полк доведен до такого состояния, что патронов нет, пулеметов нет, обуви нет...

Он в повышенном тоне стал перечислять свои нехватки. Наконец выговорился.

— Дело серьезное. Ты же военный человек?

— Военный.

— В старой армии ты служил?

— Служил.

— Так чего же тебя учить? Командир взвода вместе с бойцами оставил фронт. Что с таким взводным сделает командир полка?

— Я же не сам. Теперь армия народная.

— А в народной армии, по-твоему, нет приказов? Ну, был бы ты на моем месте начальником или комиссаром боевого участка. И у тебя в боевой обстановке полк самовольно снялся и ушел. Что с таким полком и с таким командиром делать?

— Я же вам говорю: народ.

— А ты донес?

— Не донес.

— Что же ты думаешь? В солдатики мы тут играем? Это потешный полк или воинская часть? Если думаете играть, так и скажите. Оставьте оружие, а мы дадим тем, кто может носить оружие с честью.

Сидит, молчит, закурил трубку.

— Что замолчал?

— А что говорить? У меня народ.

— Так кто же ты? Сельский председатель? Или командуешь боевой единицей? Раз ты командир, для тебя обязателен приказ.

— А народ не слушает.

— Относительно народа мы еще рассудим. Но сначала с тобой. Ты что думаешь — награду тебе за это дать? Или как?

Потягивает трубку, молчит.

— С твоим полком мы поговорим. А тебе вот предписание: сдать командование заместителю, а самому направиться в распоряжение начальника боевого участка в штаб. Ясно?

Достаю из сумки полевую книжку. На чистой странице появляется из-под моего карандаша приказ. Отрываю лист. Вручаю. В книжке остается копия.

— Распишись.

Это всегда очень сильно действует. Он нехотя расписывается.

— Должен тебя предупредить: если не явишься, мы это расценим, что ты першел к белым. Понял? Командование сейчас же сдай. Пиши приказ. А полк пусть выстроится на митинг.

Отстраненный чубатый командир, прищурясь, обращается к своему начальнику штаба:

— Собери полк.

Тот, видимо, ловил какой-то знак.

— Есть. Слушаюсь.

В окно видим: начальник штаба вскочил на коня, помчался.

Мы тем временем еще нажали, заставили командира подписать приказ о том, что он сдает командование.

#### 14

Затем на конях отправились на митинг. Семипудовый исполин, которого мы сместили, тоже сел в седло и поехал с нами.

Полк уже был выстроен замкнутым квадратом. Пехотный полк. У всех винтовки. Такого приказания — построиться с оружием — мы не давали. Очевидно, главари полка пытались оказать психологическое воздействие на меня, Седина и Лунина. Мы переглянулись. Седин был горячим парнем. И в минуты опасности бесстрашным. Лунин — более спокойный, выдержанный, но тоже решительный. У нас — лишь по нагану, даже сабеля не было.

Переглянулись мы и, не сворачивая, не приостанавливаясь, врезались лошадьми в строй. Бойцы расступаются, дают дорогу. Но вслед за нами строй смыкается.

Въехали в центр. Всем мы видны. Приказываю полковому командиру:

— Открывай митинг, давай мне слово. Я объявлю, зачем приехал.

Со всех сторон — несусветный галдеж. Командир призывает к порядку — ни черта не выходит. Явно был умысел нас припугнуть: вот-де какая масса непокорная, как ею командовать? Я шепнул Седину:

— Бери председательствование и гаркни «смирно», чтобы все услышали.

Седин подождал минуты три и как гаркнет:

— Смирно! Слушать меня! Или вы полк и тогда стойте смирно, или вы попросту толпа и тогда с вами разговаривать нечего. Открываю митинг. Слово предоставляется комиссару боевого участка товарищу Дыбецу.

Все это он произнес громко, отчетливо, по-военному. Шум схлынул. Я начал свою речь:

— Полк самовольно ушел с фронта. Все другие полки боевого участка требуют разоружить вас. . . . .

В ответ:

— Долой! — И угрожающий рев: — А-а-а-а...

Седин опять зычно скомандовал:

— Смирно! Что это за выходки? Слушать начальника!

После нескольких «смирно» установилась тишина. Я продолжал:

— Можно ли воевать, если каждая воинская часть будет по собственному усмотрению оставлять фронт? Как командовать такой армией? Партизанские отряды могут передвигаться на свой риск, но вы же являетесь полком регулярной армии. И обязаны исполнять законы армии.

— Мы народ! Почему сместили командира? Он ни при чем.

— Если вы народ, а не полк, сдайте оружие. И мы будем знать, что вы не полк.

— Не сдадим!

— Кровью себе добыли оружие!

— Не посмеете забрать оружие!

И винтовки уже взяты наперевес, строй ошетинился штыками. Меня это мало смутило. Если эти парни набрались нахальства поднять винтовки, то озлился и я. И повел речь по-другому:

— Я думал, что вы красноармейцы, а вы просто пособники белогвардейцев.

Ух как зашумели! Винтовки еще грознее поднялись.

— А как же вас назвать, когда вы направляетесь винтовки против красных командиров? Вы себя позорите! Опустите винтовки! Иначе ни слова больше не скажу.

Гляжу, винтовки опустились.

— Что, испугать меня хотели? Думаете, я правду говорить не буду, если винтовки на меня уставлены? Дураки!

Стали меня слушать, не перебивая.

— Я имею решение командования, чтобы вы снова заняли свой фронт. Откровенно говоря, я не уверен, можно ли вас послать на фронт. Кто вы, если подняли винтовки на своих командиров? Можно ли на вас положиться как на боевую часть? Я лично в этом сомневаюсь. Но сомневаюсь или не сомневаюсь, приказ боевого участка я обязан выполнить. Предлагаю в трехсуточный срок занять прежние позиции. Полкового командира мы сменили. Вместо него назначен такой-то. Если приказание, которое вы от меня слышали, не будет в срок исполнено, мы вас разоружим. Имейте в виду, что у советской власти хватит сил на это. Клянусь — в случае неповиновения я вас разоружу!

И ничего больше не прибавил. Тронули мы своих коней. Строй перед нами раздвинулся, мы втроем выехали. Затем спокойно, легкой рысью двинулись по степной глади. Никакой погони ни одного выстрела во след. Вернулись без помех в Бреслав в штаб Лунина.

Стали мы судить-рядить, что же будет дальше. Так или иначе, какой бы оборот дело ни приняло, надо быть готовым применить силу.

Не возложить ли на полк Лунина эту задачу? Нет. Мелитопольцы там, мелитопольцы и здесь.

Надо где-то в другом месте отыскать надежную крепкую часть. Покатили мы с Сединым в Новоспасовский полк. Там по старому зна-

комству мне обрадовались. Мы приняли рапорт, расспросили про фронтовое житье-бытье, про дисциплину. Нас с гордостью заверили, что новоспасовцы исполняют приказы лучше всех, что дисциплина в полку строгая. Никто без разрешения командира не только лошадь, но и хотя бы полпуда овса не заберет у крестьянина. Действительно в полку был виден порядок.

Здесь следует сказать, что Куриленко уже не командовал новоспасовцами. Несколько ранее произошел инцидент, о котором я не упомянул. Изложу кратко эту историю.

Однажды, еще до отхода за Днепр, Дыбенко инспектировал наши войска. С ним ездили Корчагин и я.

В ту пору Дыбенко наведалься и к новоспасовцам. О полковом командире Куриленко он был наслышан, знал о его причастности к махновщине. И с места в карьер по своей горячности начал пушить командира новоспасовцев.

— У тебя полк не в порядке.

— Укажите, в чем же беспорядок.

— Сам об этом знаешь. Тебе была поставлена задача ударить по белым, когда они перли на Токмак. Ты ее не выполнил.

Куриленко заявил, что в тот момент, когда он получил задание, в полку было лишь по двенадцать патронов на бойца, о чем он немедленно донес, и в том же донесении просил дать патроны.

Я в то время не очень ясно разбирался в подобного рода делах. Возможно, Куриленко схитрил, не хотел идти туда, где дрались махновские отряды — он тогда, как уже говорилось, все решительней разрывал с махновщиной, — и, по-моему, не дал полка, рассудив так: ничего не выйдет, кроме того, что полк будет разбит.

Дыбенко в присутствии многих новоспасовцев продолжал честить их командира, не считаясь с его самолюбием. Не менее горячий Куриленко под конец довольно дерзко отвечал. В итоге, когда мы выехали из полка, Дыбенко отдал такой приказ: снять Куриленко с командования и направить к нему в Никополь.

Это распоряжение Корчагин не мог выполнить до отхода за Днепр. Да и потом не стал трогать Куриленко. Я тоже не ворошил этого дела. Полк очень крепкий, наша опора, так пусть Куриленко остается.

Однако Дыбенко не позабыл о своем приказе. Однажды он просматривал перечень полков, занявших линию фронта по Днепру, и увидел фамилию Куриленко. И вновь подтвердил прежнее распоряжение.

Эту операцию пришлось проводить мне. Такого рода неприятные вопросы Корчагин неизменно взваливал на мою комиссарскую спину. Я послал Куриленко телеграмму: сдать командование полком заместителю, а самому прибыть к нам в штаб.

И вот явился Куриленко с эскадром кавалерии. Я к эскадрону не вышел. Ведь был вызван Куриленко, а не эскадрон. Этак каждому захочется в разговоре с начальником иметь под рукой свой эскадрон. Хороши же мы тогда будем!

Требуя к себе Куриленко. Он входит с восемью делегатами. Говорю:

— Я звал одного Куриленко, а вас, товарищи, не приглашал.

— Товарищ Дыбец, с тобой хочет эскадрон поговорить.

— Эскадрону тут не место. И вам здесь делать нечего, можете идти.

Мне нужен только Куриленко. Поговорю с ним, а затем подумаю: может быть, буду разговаривать с эскадром, а может быть, не буду.

Новоспасовцы хорошо знали меня и не ожидали такого афронта. Всегда их хвалил, много раз выступал перед бойцами, и вдруг такая резкая перемена.

- Мы, товарищ Дыбец, конечно, выйдем. Но ты нас потом прими.
- Если найду время, может быть, приму.
- Нет, ты уж, пожалуйста, прими.
- Хорошо, приму. А пока что до свиданья.

Ушли, оставив меня с глазу на глаз с Куриленко. Я напустился на него:

— Как ты выполняешь распоряжение? Зачем привел сюда эскадрон? Если каждый полковой командир станет выкидывать такие номера, что же это будет? Армия или что?

Он выслушал, не потеряв внешнего спокойствия. Кажется, раньше я его уже обрисовал. Это был действительно красавец воин двадцати четырех лет, белокурый, лихой. Не знаю, скольких усилий ему стоила в ту минуту сдержанность. Но он собой владел.

— Товарищ Дыбец, не я вел эскадрон, а эскадрон привел меня как арестованного.

— Брось эти сказочки.

— Хотите верьте, хотите нет. Полк меня иначе не отпускал. Я готов, товарищ Дыбец, выполнить любое распоряжение. Но об одном тебя буду просить. К тебе я приехал, а дальше не поеду. К Дыбенко не явлюсь. Мне несдобровать. А ты знаешь, что я делал, всю мою боевую деятельность видел. И я смею думать, что в Красной Армии пригожусь. Я честно служил и честно дрался с белыми. Все боевые задания выполнял за исключением одного, которое выполнить не мог.

Он говорил стоя. Плечи были по-военному развернуты, руки держал по швам.

Обдумывал я, обдумывал: как тут поступить? Нет, не отдам этого воина. Он же действительно дисциплинированный хлопец.

— Ладно. Подумаем. Ты иди к своим ребятам, успокой их, скажи, что за эскадрон тебе влетело. А я тут в штабе посоветуюсь.

Пошел я к Корчагину, вызвали мы Седина и стали держать совет. Я предложил попросту спрятать Куриленко у нас в штабе. Оставить его во главе полка нельзя, ибо полковые командиры на учете у Федько и у Дыбенко. Снимем и, пока суд да дело, приютим у себя в штабе. Корчагин упирался. Седин хмыкал, не сразу высказал свое суждение. Но он сам горячий парень, сам может надерзить. А я рассказал всю историю, как она фактически произошла. Ведь разнос, который учинил Дыбенко, был не очень обоснованным. Ты, Корчагин, там присутствовал. И все знаешь. Если бы мы бросили на Токмак новоспасовцев, которые действительно нуждались в патронах, то сегодня мы не имели бы этого полка.

Седин принял мою сторону. Корчагин поколебался-поколебался и внял моим уговорам:

— Черт с тобой. Спрячь где-нибудь под свою ответственность.

Получив такое разрешение, я вышел к новоспасовцам. Позвал делегацию из восьми человек к себе.

— Вот что. Приказ штаба остается нерушимым. Куриленко должен сдать своего заместителю командование полком. Если вздумаете ослушаться своего нового полкового командира, расформируем полк, разбросаем роты по другим полкам. Вы уже нарушили дисциплину, явившись с эскадром. Это по закону военного времени строго карается, но так как я знаю ваши боевые заслуги, то из этого факта не делаю выводов, которые требовали бы предать вас суду.

Вот такую декларацию я им объявил, хотя все мои симпатии были на стороне этих уже закаленных воинов. В делегации были опытные, уважаемые новоспасовцы, некоторые с бородами. Принялись они меня услаивать:

— Мы помним, как ты приезжал к нам в Новоспасовку, как ты нам помогал. Хорошая молва о тебе идет. Тебе мы верим. Большевик и коммунист. Это знаем. И доверяем тебе нашего командира. Ты понимаешь, Дыбец, угроза тут неуместна, мы люди военные, но если что-нибудь с ним случится, с тебя будем спрашивать. Ты не обижайся. Но только таких, как Куриленко, у нас мало. Имей в виду, что твои приказы будут выполнены. Но не дай бог выйдет какой случай с Куриленко. Не дай бог его нам потерять.

Я сказал:

— Вы угрожаете? Думаете, что Дыбец трус и из трусости не решится поступить с Куриленко по закону? Или считаете, что вообще военного закона нет? И революционного закона нет?

— Ты не сердись. Ты подойди по-человечески. Ей-богу, жалко Куриленко.

— Не надо меня в этом убеждать. Мы знаем цену Куриленко и его побережем. Теперь забирайте свой эскадрон, чтобы этой демонстрацией и не пахло. Понятно? И не вздумайте еще когда-нибудь нас припугнуть. Так легко вам это не сойдет. Возвращайтесь в полк. А Куриленко останется в штабе.

На этом кончили. В дальнейшем я сообщил Федько, что Куриленко находится при штабе. Федько это санкционировал:

— Держи у себя. А там будет видно.

## 16

Итак, приехали мы с Сединым к новоспасовцам. Потолковали с командиром полка насчет разоружения мелитопольцев. Он покрутил головой:

— Не подниму этого дела. Мы бердянцы, они мелитопольцы. Соседи. Свои люди. Тут, товарищи, будет осечка.

— Но ты же командир!

— Не хватит моего авторитета. Вот ежели бы Куриленко...

— Что Куриленко?

— Если он встал бы во главе, за ним пошли бы... А без него лучше не лезть в такую кашу. Только смутим бойцов.

Вернуть Куриленко в полк мы, конечно, не могли. Что делать? Доводы командира были вескими. Побыли мы еще в полку и пришли к выводу: да, посылать новоспасовцев — это рискованный шаг. А рисковать нельзя! Переплет такой, что действовать следует наверняка.

Где же найти силу, которая без колебаний разоружит ушедший с фронта полк?

Стали мы прощупывать дальше по фронту — нет ли надежных частей, которым можно поручить разоружение. Добрались почти до Херсона, в бригаду, расположение которой захватывало и этот город. Командир бригады доложил, что имеется одна воинская часть, вполне пригодная для предстоящего нам дела. Она стоит в Херсоне, сколочена из моряков и спартаковцев-немцев. Херсонский ревком о ней заботится, держит ее под своим влиянием. Этот отряд сильно вооружен, отлично дисциплинирован, выделяется сознательностью.

Тем временем, пока мы ездили туда-сюда, истек трехдневный срок, что был дан мелитопольцам. Полк на фронт не вернулся. И смещенный командир не сдал командования. Что же, надобно применять силу.

Выехали в Херсон. В дороге, как назло, наш автомобиль вовсе отказал. Пришлось опять двигаться на лошадях. В Херсоне мы сначала явились в уком. Нас направили в ревком. Пришли к Кириченко, председателю ревкома. Он созвал заседание.

Я выступил с речью. Во-первых, предъявил членам ревкома свой мандат. Вот, товарищи, я комиссар боевого участка Грушевка — Херсон включительно. По закону военного времени все гражданские власти и все воинские части, независимо от их назначения, подчиняются командованию, несущему ответственность за боевой участок.

— Как, товарищи, правильно я понимаю свой мандат или неправильно?

— Правильно, но мы подчинены Одессе как укрепрайон.

— Без наших войск вашему укрепрайону грош цена. Если мы левым флангом начнем отступать и прикажем сдать Херсон, ничего другого вам не останется, как уходить. Сила ваша в том, что наш боевой участок имеет столько-то тысяч войск. А что у вас? Один отряд особого назначения и десяток пушек. Ненадолго этого хватит. Мы держим бригаду под Херсоном. Если придется вести бой за Херсон, мы бросим сюда еще одну бригаду. Или вы думаете защищаться этим отрядом? Чепуха, несерьезно. — Далее я сказал: — Я приехал осуществить здесь свои права. Отряд моряков и спартаковцев нужен нам для одной операции. Сообщу вам по секрету: у нас начинается разложение фронта. Если фронт разложится, то и вам здесь делать нечего. Мне нужно разоружить полк. И для этой операции я беру этот отряд как наиболее надежный. Понятно?

Херсонцы начали со мною спорить. Отряд — это их единственная вооруженная опора. Я понимал ревкомовцев, но говорил твердо:

— Я приехал не спорить, а объявить приказ штаба боевого участка. От этого приказа я не отступлю.

— Мы должны снестись с Одессой.

— Одесса нами не командует. Мы получаем распоряжения от Федыко. И все войска в пределах нашего боевого участка нам подчинены. Благоволите выполнить мое приказание добровольно. Не выполните — введу в город бригаду и заставлю выполнить.

Председатель ревкома заявил, что он еще посоветуется в укоме и потом даст ответ.

— Никаких ваших ответов ждать не станем. Вам приказ объявлен. И мы будем действовать.

Пока шло заседание, мы заметили, что по городу бегают несколько прекрасных автомобилей «пирс-эйлау». Сидин мне шепнул:

— Я буду не я, если один автомобиль не отниму, а то обратно не на чем ехать.

На другой день к нам прибежали наши шоферы:

— Тут шесть автомобилей, а мы мучаемся. Ей-богу, берите один автомобиль.

Грешным делом, и я склонился к тому, чтобы взять у херсонцев один автомобиль. Но пока послал шофера к командиру отряда особого назначения:

— Разущи его. И скажи, чтобы немедленно ко мне явился.

Пришел матрос — командир отряда. Я подал ему свой мандат. Парень долго и внимательно читал.

— Понял, — сказал он.

— Что же ты понял?

— Понял, что нахожусь в вашем распоряжении. Ваши приказы для меня обязательны.

Я вздохнул с облегчением. Порадовала дисциплинированность.

— Теперь ты мне вот скажи, брат. Предстоит такая-то операция. Как отнесется твой отряд? Пойдут твои ребята на это дело?

— Мои ребята пойдут в огонь и в воду.

— А спартаковцы?

— И они тоже.

— Сколько у вас пушек?

— Четыре трехдюймовки, две гаубицы и две шестидюймовых.

— Пулеметов?

— И пулеметов достаточно. Есть и «максимы», есть и «кольты».

— Хорошо.— Я вынул свою полевую книжку.— Так писать тебе предписание? Но писать я буду только в том случае, ежели ты выполнишь. А то зачем зря марать бумагу.

— Выполню.

— Вот тебе письменное приказание комиссара боевого участка и начальника штаба. На рассвете выступить в таком-то направлении. Боевое задание тебе устно передается, на бумаге не фиксируется, потому что это секретно. Собери командиров, объясни задачу. Бойцам объявишь лишь перед началом операции. Выступи со всем вооружением.

— И с пушками?

— И с пушками. Ясно?

— Ясно. Но вопрос в том, что надо бы отряд перебросить на подводах. А лошадей у меня нет.

— Скверно. Тогда мы вот что сделаем.

В городе был уездный военный комиссариат. Его возглавлял военком. Вызвали мы этого товарища.

— Военком?

— Да.

— Познакомься с моим мандатом. По уставу ты подчиняешься командованию боевого участка.

— Так точно.

— Вот тебе задание: мобилизовать до рассвета всех тяжеловесных лошадей у возчиков и передать командиру отряда.

— Времени осталось мало.

— Что значит времени мало? Действуй энергичней! Это боевое задание. Находимся в боевой обстановке.

— Я должен снестись с Одессой.

— С кем хочешь. Дело твое. Распишись, что получил предписание мобилизовать к утру столько лошадей, сколько требуется командиру отряда. Всё. Идите.

Военком и командир-матрос ушли. Конечно, ревком всполошился. Что же вы делаете? Забираете всех лошадей. Забираете все пушки. Опять я заявил:

— Всю ответственность за город беру на себя. Не будете выполнять моих распоряжений — займу город бригадой. Я же, товарищи, приехал сюда не дискусию разводить, а дело делать. Не дадите к утру лошадей — самые крутые меры утром примем.

Эти споры закончились часа в три ночи. Мы с Сединым легли на столах спать. Но и долго спать на столе неудобно, и времени в обрез. Проснулся я с рассветом. Разбудил Седина.

— Идем к военкому проверять, что он успел сделать.

В военкомате обнаружили только дежурного. По телефону вызываем военкома. Нет его, и только. Соединяемся с командиром отряда.

— Пришли мне шесть бойцов в мое распоряжение.

— Есть. Сейчас pošлю.

Приходят шесть матросов. Спрашиваю:

— Знаете, где живет военком?

— Знаем.

— Приведите его под конвоем сюда.

И вот через полчаса уездный военком под конвоем матросов явился в свое учреждение. Матросов мы отпустили.

— Где лошади?

— Не было времени. Мы же с вами до трех ночи заседали.

— Лошади где?

— Товарищи, что вы от меня хотите? Я же не мог исполнить.

Тут мой горячий Седин размахнулся и вlepил бы оплеуху, если бы я его не придержал. Посадили мы военкома рядом с нами и начали его руками управлять городом. Как и у каждого военкома, у него была какая-то воинская часть.

— Вызови командира.

Явившемуся командиру приказали:

— Мобилизуйте всех тяжеловесных лошадей города. Понятно?

— Понятно.

— Через час доложи, сколько собрал лошадей.

Через час нам доложили, что смогли мобилизовать только пятнадцать или двадцать лошадей. Все коновозчики узнали, что забирают лошадей, и сбежали из города.

— Значит, не можете дать больше двадцати? Хорошо же вы исполняете приказ боевого участка. Взять лошадей из всех пожарных частей города!

Прибегает председатель ревкома.

— Караул! Что делаете? Оставляете город без пожарных лошадей!

— Да. Чего же вы моргали, вместо того чтобы исполнять мое распоряжение? Садись, помогай раздобыть лошадей!

Тут мы, кстати, узнали, что военком располагает новым, очень хорошим «пирс-эйлау». Седин настроил записку: «Мой автомобиль передаю в полное распоряжение начальника штаба боевого участка Седина и комиссара Дыбеца. Военком такой-то». Пришлось военкому поставить свою подпись.

— Ваня!

Ваня, наш шофер, из-под земли явился.

— Получай записку, принимай автомобиль и подавай сюда!

Через полчаса Ваня на новом автомобильчике к нам катит и облизывается, как после сладкого. Запас горючего такой, что можно ехать хоть до Мелитополя, хоть до Бердянска. Все в полной исправности. И шины и камеры запасные — все Ваня прихватил.

Примерно к часу дня отряд особого назначения смог выступить. Сначала ряды бойцов прошли передо мной и Сединым. Моряки и спартаковцы. Хорошая боевая выправка. Вооружены единообразно трехлинейками. С ними пушки, пулеметы, двуколки, груженные боеприпасами.

Дали им подводы. Мы с Сединым уехали в наш новый автомобиль, обогнали отряд.

## 17

Приехали в Бреслав к Лунину. Он нам сообщил, что мелитопольский полк на фронт не вернулся, по-прежнему отдыхает и распевает украинские песни. Вместе с тем мелитопольцы что-то затевают, посылают свои делегации в ближайшие полки, агитируют, чтобы те их не разоружали. Две делегации Лунин перехватил и арестовал.

Обсудив положение, мы с Сединым решили объявить по фронту, что из Херсона идет чрезвычайный отряд, который разоружит неповинующийся полк. Штаб боевого участка шутить не будет.

Наш херсонский отряд двигался довольно медленно. Продав сутки, мы выехали ему навстречу. Взяли с собой в автомобиль матроса, который прекрасно владел ручным пулеметом. Выехав за город, мы увидели, что мелитопольцы цепь за цепью занимают позиции на холмах, готовятся дать бой нашему отряду. Значит, и до них уже дошла весть об отряде.

Никто не остановил нашего автомобиля. Примерно через десяток километров мы встретили отряд. Сообщили командиру обстановку. По моим расчетам и по расчетам Седина, можно было ехать полным ходом еще восемь километров, а потом следовало спешиться, идти боевым строем. Командир с нами согласился.

Часам к десяти утра мы подошли к мелитопольцам на расстояние ружейного выстрела. Залегшие на холмах цепи были ясно видны. Матросы уже знали, на что они идут. Спартаконцы-немцы тоже это знали.

По количеству бойцов преимущество было у мелитопольцев. Отряд насчитывал лишь шестьсот — семьсот человек, а в полку числилось несколько тысяч. Но нашу сторону усиливали сознательность, решительность, железная дисциплина, лучшее вооружение.

Командир отряда спросил нас: желаем ли мы командовать сами или это предоставляется ему? И я и Седин во избежание каких-либо недоразумений отказались от командования. И решили так: мы пойдём в цепи. И немцы и матросы шли прекрасно, без малейших колебаний. Было ясно: это твердо спаянный отряд.

Тут мне явилась мысль: подойдя ближе к мелитопольцам, залечь и применить психологическое воздействие, утратить. Для этого надо, чтобы захотела наша артиллерия. Проявим свою мощь. Седин одобрил. Командир наше предложение принял с великим удовольствием. Он даже поторопился схватиться за эту мысль. Мы его охладил, сказав, что психологическое воздействие следует обрушить перед самым столкновением, с чем он тоже согласился.

Дальше произошло следующее. Мелитопольцы выслали делегацию для переговоров. Делегатов принял командир отряда. Они повели такую речь: мы тоже красные бойцы, зачем же проливать братскую кровь, не идите против нас, вас натравили. Командир выслушал и заявил, что вы-де не бойцы, а гады, которые предали Красную Армию.

— Вам предлагали вернуться на позиции, которые вы бросили. Но вы не вернулись. Теперь вас нужно только разоружить!

Переговоры длились минут десять. Наши цепи двигались, не останавливаясь. Мы двигались еще без перебежек.

Минут через двадцать мелитопольцы выслали вторую делегацию. Ей было сказано:

— Никаких переговоров. Ни на какие уступки мы не идем. Сдавайте оружие.

Делегация обещала, что мелитопольцы немедленно выступят на фронт. Командир ответил:

— Не уполномочен принимать ваши обещания. Сдавайте оружие.

А наша цепь шагает. Затем, когда до противника осталось полкилометра, мы залегли и стали продвигаться перебежками. И вдруг ахнули наши орудия. Сначала шестидюймовые, потом гаубицы, потом трехдюймовки. И в заключение залп из всех этих пушек.

Далее случилось именно то, чего я ожидал. Полк был ошарашен, парализован нашей неожиданной пушечной пальбой. И раньше, чем кто-нибудь из мелитопольцев успел опомниться, матросы рванулись вперед, подбежали вплотную к цепям полка и заорали:

— Сдавайте, гады, оружие!

Мелитопольцы не приняли боя. Они бросали, отдавали винтовки. Мы складывали их оружие грудками. А обезоруженных погнало в город.

Надо отметить и такой эпизод. Когда белые на другом берегу Днепра услышали, что у нас началась артиллерийская стрельба, они в свою очередь стали обстреливать нас из пушек. Это вызвало азарт. Ко мне подлетел спартаконец-артиллерист:

— Разрешите выпустить по белым двадцать снарядов. Мы двадцатью снарядами остановим их огонь. Больше не надо.

В армии бывают такие случаи, когда вопреки вашему здравому смыслу нужно разрешить даже явную глупость, иначе это сделают без позволения. В данную минуту было глупо бухать двадцать снарядов, ибо каждым снарядом приходилось дорожить. Но если бы я запретил, мое приказание не было бы выполнено. Тут властвовал азарт, и поэтому ради сохранения дисциплины лучше разрешить. Это нужно улавливать чутьем. Я дал разрешение. И ровно на двадцатом снаряде наш огонь был прекращен.

Вся операция по разоружению была закончена к семи часам вечера. Полк как организованная сила перестал существовать. Мелитопольцев, как я уже сказал, приводили в город. Однако ввиду того, что белые довольно густо шлепнули шрапнелью, я приказал распустить обезоруженных, велел им спасаться кто как может, а утром вновь собраться.

Огромное количество винтовок, которые мы отняли, надо было как-то охранять и куда-то отвезти. Мобилизовали крестьянские подводы и под специальным конвоем отправили это оружие к нам в штаб в Грушевку.

На следующее утро мне пришлось терпеливо поджидать, пока наконец мелитопольский полк был выстроен поротно. Прежние бородатые командиры вместе со своим чубатым главарем побегали. Их замещали какие-то молодые командиры. Я понял, что на этих молодых командиров полагаться никак нельзя, и приказал их арестовать порядка ради. Арестованных тотчас увели.

Иду вдоль строя. Рота стоит, вытянулась. Выбираю наиболее подходящую физиономию, по которой можно угадать старого солдата. Подхожу к нему:

— В старой армии служил?

— Так точно.

— Сколько времени служил? В каком чине?

Если чин был невелик — скажем, ефрейтор или младший унтер-офицер, — то мне как раз это и требовалось.

— Фамилия?

Записываю фамилию.

— Имя, отчество? Село, деревня?

Опрашиваю других:

— Верно ли он говорит?

— Все верно.

— Так назначаю тебя командиром этой роты. Если хоть один человек убежит, спросим с тебя. Задача состоит в том, чтобы доставить в полном порядке всю роту в Грушевку.

— А подводы будут?

— Никаких подвод.

В те дни уже шла уборка урожая.

— О подводах и не думайте. Дай бог только ваше оружие довести.

Поведешь роту походной колонной. Понятно?

— Понятно.

И так от роты к роте. Они поочередно уходили в стодвадцатикилометровый марш на Грушевку. Требовалось загодя организовать кормежку и ночлег на их пути. Не уйдешь от такой заботы. Парни еще будут воевать. Следует только взять их в хорошие руки — и станут достойными бойцами Красной Армии.

Арестованных молодых командиров мы отправили под конвоем в штаб боевого участка. Они уже пустили слезу, плакали: зачем-де согласились занять места командиров. Мы решили: приедем — разберемся.

Таким образом операция по разоружению мелитопольского полка была закончена. Я составил приказ, оповещающий об этой операции все наши фронтовые части: «Политработникам проработать приказ в ротах с тем, чтобы положить решительный конец всякой недисциплинированности, всяким партизанским настроениям. Начальник штаба боевого участка Седин, военный комиссар боевого участка Дыбец».

Выехали в Грушевку. Останавливались по дороге в наших бригадах и полках и с удовлетворением констатировали, что разоружение мелитопольцев возымело превосходное оздоравливающее действие на весь наш фронт. В истину вплелись фантастические слухи: каждые десять бойцов чрезвычайного отряда имеют на вооружении пулемет, пушек видимо-невидимо, моряки и немцы-спартаковцы знают приемы психической атаки. Спортсмен войны Маслов мне сказал:

— Ну, кулачок нашелся. Дисциплинка теперь будет.

## 18

В Грушевке мы расквартировали около себя разоруженные мелитопольские роты. Укрепили эти роты командирами, которые, окончив военные школы или курсы, прибывали к нам. Дали и политработников. Задача была в том, чтобы расхлябанные роты превратить в боевую силу.

Недели через две мы выстроили всех мелитопольцев и объявили: полк расформируется, роты передаются таким-то полкам. Я держал речь:

— У вас имеется два выхода: или честно заслужить доверие советской власти и смыть позорное пятно, которое на себя вы наложили, или кто с этим не согласен, тот должен знать — он будет беспощадно раздавлен как дезорганизатор и враг Красной Армии.

После такой не очень-то приятной речи мелитопольцы все-таки кричали во всю глотку «ура». Мы отправили их маршевыми ротами на пополнение других наших частей.

Прошла еще неделя или дней десять. Наведался к нам Пахомов. Это было уже накануне отступления. Возник вопрос: что делать с арестованными командирами? Пахомов сказал мне:

— Решай сам.

Ну, раз «решай сам», мы в штабе обсудили это дело. Попались же не главари, а случайные люди, невинные ребята. Привели эту молодежь ко мне — их оказалось, помнится, двадцать шесть человек, — поставил я их перед собой и начал читать мораль. Опозорили Красную Армию, стали пособниками контрреволюции! Довел ребят до слез. Затем спрашиваю:

— Какое наказание вас должно постигнуть в любой армии?

Они с ревом отвечают:

— Расстрел.

— Верно, измена воинскому долгу, неповиновение в любой армии карается расстрелом. Но советская власть не кровожадна. Мы считаем, что расстреливать вас не нужно. Вы только подставные фигуры, темные люди. Вашей темнотой воспользовались враги. Не будем вас расстреливать. Слушайте наше решение. Идите, вы свободны. И те из вас, кто искренне захочет искупить свое преступление, пусть придут через три дня ко мне в кабинет. Я пошлю вас туда, где вы действительно сможете послужить революционному делу, и сам прослежу, чтобы из вас выработались настоящие, преданные воины Красной Армии. А теперь идите на все четыре стороны.

Ровно через три дня они все как один явились ко мне. Я оказал им доверие, они мне ответили доверием.

Надо сказать, что к тому времени у нас установились надежные связи с нашими людьми, которые находились по ту сторону Днепра, в расположении белых. Каждое утро к нам приходили пятнадцать—двадцать человек с той стороны, подробно информировали, как расставлены белые полки, какое вооружение. Отсюда получали задания, литературу и по ночам возвращались за Днепр.

Роза имела немалый опыт во всяких конспиративных делах, и по предложению Корчагина она возглавила разведывательное управление боевого участка.

Всех этих молодцов, явившихся ко мне, я ей целиком передал. Тут опасные поручения. Можно искупить свою вину. Роза прекрасно их использовала. Не было случая, чтобы кто-нибудь из ребят отказался выполнить самые отчаянные задания. Они приносили исчерпывающие сведения. У них за Днепром были большие связи. Там пролежала их родная степь. Им было достаточно перебраться на другой берег, чтобы сразу найти земляка. А Роза тщательно инструктировала каждого своего посланца. Она двадцать раз переспросит: как ты будешь вести себя, если попадешь в такой-то переплет, как сумеешь вывернуться? И человек чувствовал, что его не просто посылают, а о нем заботятся. И они все уцелили на этой работе.

Да, позабыл рассказать о Куриленко. Он мучался бездельем, умирал с тоски. Наконец он как-то пришел ко мне:

— Больше не могу. Или расстреливайте, или давайте дело.

Ну, если человек сам просит — «расстреливайте», значит, дошел до точки. Обсудили в штабе. Мы не имели ни одного дисциплинированного кавалерийского полка, а у Куриленко конники всегда были дисциплинированными. Снеслись с Федько и с Пахомовым: нам разрешили дать Куриленко командную должность. Я его вызвал:

— Вот тебе боевое задание. Формируй кавалерийский полк. Лошадей нет, седел нет, сабель нет, ничего нет. Но ты старый партизан, старый фронтовик. Выполнишь задание.

Куриленко со слезами сжал мою руку.

— Спасибо за доверие. Через неделю полк в конном строю пройдет перед тобой.

— Но имей в виду, Куриленко. Нам придется отступать, и память о себе мы должны оставить добрую. Если твои люди начнут отнимать лошадей у крестьян, не пощажу.

— Клянусь, Дыбец, ни одной жалобы не будет. Конечно, вначале соберу полк небольшой — человек четыреста—пятьсот. Потом постепенно вырастет.

И вот через неделю ко мне опять входит Куриленко и просит принять полк. Вышли мы к его полку. Всадники сидят верхом без седел. Вместо седел какие-то мешки. Стремен нет. Лошади далеко не первоклассные — захудалые одры. Вооружение разномастное: у кого пика, у кого сабля, у кого и вовсе лишь дубина. Одеты — кто во что горазд. Но все же полк в пятьсот бойцов уже существовал, был налицо. И настроение у хлопцев было бодрое.

Куриленко заявил:

— Вы видите, что полк наш, так сказать, не совсем довооружен. Лошади тоже не блистают качеством. Поэтому к вам просьба: дайте такой участок, где мы могли бы у белых достать лошадей, достать сабли. А мы клянемся, что все достанем. И не будет ни одного задания, которое мы не могли бы выполнить.— Затем Куриленко выложил мне еще одну свою просьбу:— Дай в полк такого комиссара, который мне в работе не вязал бы рук. И притом кавалериста.

— Кавалериста сейчас у меня нет. На первый случай пошлю такого, какой есть. Потом подменю.

И действительно, я потом нашел для него подходящего комиссара. Хороший партиец. Кавалерист. Послал я его к Куриленко. Мы уже отступали к Кривому Рогу. Примерно через неделю этот комиссар заехал ко мне и рапортовал, что принят и даже выдержал экзамен.

— Какой экзамен?

Комиссар рассказал следующее.

— Дело было так. Прибыл я к Куриленко с мандатом и с твоей запиской: это-де тот военком, о каком ты просил.

Куриленко прочел и сказал:

— Что же, товарищ, очень хорошо, что Дыбец тебя прислал. Мы тебе рады. Ну, а в войсках ты понимаешь? Поедем посмотрим, как расположен полк.

Поехали, побывали в эскадронах.

— Может быть, у тебя, комиссар, есть замечания?

— Нет, обойдусь без замечаний. Ты же опытный полковой командир. Поработаю, позабочусь о бойцах, чтобы они бодро жили.

— Правильные слова. Теперь еще одно к тебе дело. Прикинь-ка, какое тут расстояние до следующего села?

— Черт его знает. Пожалуй, верст пять-шесть.

— И это правильно. Глаз у тебя хороший. В бинокль на село хочешь посмотреть?

— Давай.

Он дал бинокль, я приложил к глазам. Рассмотрел на улице села конный разъезд белых.

— Казачий разъезд видишь?

— Вижу.

— И я видел. А теперь едем туда молоко пить.

Куриленко стегнул свою лошадь. Мне ничего не оставалось, как ехать за ним. Подъехали к ближайшей хате — а казачий разъезд был в другом конце села, — попросили у бабы молока. Куриленко сунул ей керенки — эти деньги тогда всюду еще ходили. Баба моментально притащила молоко. Подскакивает казак.

— Откуда вы? Какой части?

— А ты какой части? Вижу, что донец. — Разговаривая, Куриленко попивает молоко. — Много вас тут? Сотня где стоит?

— Там-то.

— А кто командир сотни?

— Такой-то.

— Ага, так я и думал. Поворачивай и доложи своему командиру, что приезжал в гости молоко пить красный полковой командир Куриленко. Понял, что я тебе говорю?

Казак с места не может двинуться, оцепенел. Это же нахальство... Покончив с молоком, Куриленко вытаскивает свой маузер.

— Если не поедешь докладывать, стреляю.

Казак -- вихрем от него. А мы хорошей рысцей возвращаемся к себе.

— Теперь вижу, — сказал Куриленко, — что ты настоящий военком. С таким работать можно.

Вот вам бывший махновец Куриленко во всей своей красоте. Смелый чак! Это создавало ему славу. И весь полк по нему равнялся в лихости. Самые дерзкие налеты удавались куриленковцам.

Новый военком еще доложил:

— Лошади в прекрасном состоянии. Отличные седла. И бойцов уже не пятьсот, а свыше тысячи.

Мы крепко опирались на полк Куриленко. Двадцатичетырехлетний командир, которого я как-то назвал старым партизаном, старым воином, ввел и примерную воинскую дисциплину. Если где-нибудь обнаруживалась неустойчивость, мы перебрасывали на подмогу этот полк. И не было случая, чтобы Куриленко не выполнил приказа.

Вспомнился сейчас один штришок нашей политпросветработы. К нам приехал целый поезд артистов. Там имелась и кинопередвижка. Впервые мы таким красочным способом просвещали бойцов. Артисты привезли и новую песенку: «Эй, ребята, не тужите по сторонужке родной, выше головы держите, за Советы идем в бой!» Неплохая песенка. Дня три-четыре прививали ее нашей комендантской роте. Так и не привилась. Но как-то артист московской оперетты выступил с одесской ерундовой песенкой: «Алеша, ша, возьми полтоном ниже и брось арапа заправлять». На другой день повсюду раздавалась эта песня. «Алеша, ша» вошла в обиход. Бывало, так и кричат на кого-нибудь: «Алеша, ша!»

Вскоре всех артистов и весь свой культотдел я направил в поездку по фронту. Выступления имели большой успех. И участились перебеги к нам из белой армии. У нас на правом берегу музыка, кино, а у них там ничего.

## 19

Моя работа в штабе протекала вот как. Не позже пяти часов утра кто-нибудь обязательно ко мне вламывался, поднимал с койки. До пяти караульный уговаривал:

— Недавно лег. Имейте совесть, дайте, черти, ему поспать.

Приходили командиры и комиссары полков, бригад. У каждого дело. Начинаю прием. С каждым поодиночке разговариваю. Принимал по пятьдесят—шестьдесят человек в день, до обалдения. Еле-еле выкроишь перерыв на обед, поешь борща и опять на место. Вечером сводку получаешь. Прочтешь, проанализируешь. Обсудим в штабе. Потом сам составляешь сводку для передачи в армию. Рабочий день кончается в два, в половине третьего ночи. И постоянно недосыпаешь при такой нервной, напряженной работе.

Мы уже с некоторого времени знали, что придется еще глубже отходить. Наконец получили приказ отступать левым флангом от Днепра. Правый фланг оставить в Херсоне, а левым отойти на Кривой Рог. Сзади нас белые войска стремились сомкнуть кольцо, вырисовалась опасность, что нас могут отрезать, и надо было отступать на соединение с главными силами. Штаб перенести в Кривой Рог, занять такие-то позиции, установить связь. На подготовку к отходу нам предоставлялось сорок восемь часов.

Приказ мы получили ночью. Собрали штаб и стали обсуждать, как быть. Тут проявилась инициаторская жилка Седина. Парень действительно был полностью предан нашему делу. И опыт у него имелся, и военный нюх. Он сказал, что если мы попросту скомандуем отход и начнем откатываться, то рискуем не остановиться. Может быть, задержимся у Кривого Рога, а может быть, белые на наших плечах ворвутся в город. Не исключено, что при отступлении нас рассеют. Тем более что на левом фланге у нас ненадежный полк — весьма схожий с тем, который мы разоружили. Седин предложил: нужно в двух-трех местах перейти в наступление. Переберемся на тот берег и сделаем демонстрацию наступления. Застигнем противника врасплох. Белые отступят. После этого мы сможем перегруппироваться и отступить в порядке.

— Поверьте моей практике. Я отступал. Я знаю, как это делается,— заключил Седин.

Долго спорили (долго — это часа полтора). Корчагин поддержал инициативу Седина. Связь с высшим командованием была уже прервана. Мы сами решили: лучше отсрочим начало отхода еще на сорок восемь часов, но отступим, будучи уверенными, что войска останутся в указанных им пунктах.

Наметили самые удобные участки для переправы. От наших разведчиков мы уже имели подробнейшие сведения о том, как расставлены белые полки, какова их боеспособность. В эту операцию мы послали свои самые боевые части. Темные ночи благоприятствовали такой диверсии. Задание было блестяще выполнено. На лодках, на парамах наши полки переправились и застали белых спящими. Заработок был приличным. Взяли пушки, пулеметы, патроны. Наша разведка потом доносила: надеялись мы переполоху. «Большими силами большевики перешли в наступление». А мы только налетели в трех местах и забрали, что под руку попало.

Лишь в расчете времени немного мы ошиблись. Думали, что уложимся в добавочные сорок восемь часов, а простояли еще четверо суток. Нас задержала перевозка трофеев. Пушки, знаете ли, жалко было бросать.

Объявили войскам приказ об отступлении на Кривой Рог. Для них это было как снег на голову. Тут у противника паника, а мы вдруг отступаем. Чего же мы будем отходить, когда надо наступать? Всюду пошел ропот.

Все же отступили в порядке. Полки уходили и на подводах и пешим маршем. Прибыли мы в Кривой Рог. Наладили связь. Получили распоряжение не располагаться на длительную стоянку и готовиться к дальнейшему отходу.

Уже в те дни, когда наши войска занимали новые позиции у Кривого Рога, стало ясно: армия поддается разложению. Несколько полков нам заявили: не будем закрепляться, хватит отступить, надо идти в наступление, надо родные дома отвоевать. Опять сказались всякие партизанские настроения. Пришлось помитинговать, а кое-где и пригрозить.

Так или иначе заняли фронт, выровняли. Дня три-четыре бойцам дали отдохнуть. Разослали приказ: всем вымыться, следить за чистотой, чтобы не было болезней. А болезни начинались. Жара. Арбузы.

Несколько дней спустя мы получили новый боевой приказ: отступить дальше на линию Долинская—Николаев. Теперь отступали со скандалами. Войска начали явно колебаться, митинговали, не хотели отходить. Самые надежные наши полки стали разлагаться, терять дисциплинированность. Белые это учуяли, кое-где нас потрепали.

Полков пять или шесть отказались отступить. Пришлось опять действовать и добрым словом и угрозами. Еле-еле заставили их выступить. Тавричане гянутся в Таврию, мелитопольцы — на Мелитопольщину. А тут все дальше уходим, шагаем по херсонским степям. Подводы, скот, крестьяне, женщины — нет конца отступающему множеству. Обоз несусветный и нельзя от него избавиться: семьи идут с полками.

И вот с этой армией мы отступили на рубеж Долинская—Николаев. Наш штаб обосновался в Новом Буге. Стали поступать сведения из частей. Слева расположилась бригада Маслова — довольно-таки крепкая. А как раз против штаба должен был заслоном стать 6-й Заднепровский полк. Проходит день, другой — не находим 6-го Заднепровского полка. Командовал им Калашников. Выслали туда-сюда конную разведку. Нет никаких признаков, что где-нибудь белые напали, истребили полк. Значит, где-то задержался. Наверное, отступая со скотом, с подводами, не управился вовремя прийти.

На третьи сутки установили телефонную связь с Николаевом, где находились Федько и Пахомов. Доносим о новых позициях, о состоянии

полков — состояние-де очень дрянное. Что мог мне сказать Пахомов? Только то, что я уже и делал.

— Вливай в полки всех своих политработников, чтобы противостоять деморализации.

На заре следующего дня, часа в четыре утра, в комнату, где я спал, стучат:

— Просят в штаб. Экстренная телеграмма.

Открываю дверь. Вваливаются человек восемь. У меня в углу стояла винтовка. Отрезают меня от винтовки.

— Пожалуйте в штаб.

Все это мне показалось подозрительным. Но рожи наши — не из белого офицера.

— Как Заднепровский полк? Пришел?

— Пришел.

Иду в штаб с этой гурьбой.

— Возьмите еще одного арестованного.

Вслед за мной привели и Розу. Выяснилось, что в ночь в Новом Буге появился 6-й Заднепровский полк и арестовал нас — весь штаб боевого участка. Калашников, принадлежавший к тому типу командиров, который был порожден махновщиной, решил на такое дело. Когда-то он командовал отрядом в махновской армии. Выходец из крестьянской семьи. Его полк вместе с другими махновскими частями, оставшимися без Махно, попал в наше подчинение. И дрался-таки против белых. Он дожидался своего часа. Этот час пробил, когда мы отступали от Кривого Рога. Калашников арестовал всех своих военкомов, всех политработников и объявил, что большевики изменяют. Доберемся до штаба и арестуем изменников. Это и было проделано.

Меня втолкнули в комнату, охраняемую караулом. Седина тут не было. Еще не сцапали и Корчагина. Но в числе арестованных уже находились политотдельцы, военкомы и некоторые работники штаба. Уже было известно, что штаб занят полком и Калашников взял на себя общее командование.

Вскоре привели, впахнули к нам раненого Корчагина. Оказалось, он отстреливался, когда за ним пришли. И нескольких человек ухлопал. Потом его рубанули саблей по руке. И приволокли в штаб.

Постепенно комнату набили арестованными. Коммунисты, которым удалось избежать ареста, постарались скрыться. В том числе и Седин как-то вырвался, но его поймали и, по сведениям, которые впоследствии мы получили, пристрелили.

Маслову стало известно, что началась заваруха в Новом Буге. Не будучи уверенным в своих полках, где тоже распространилась махновская зараза, он собрал все, что было здоровым, надежным, сколотил эти силы в батальон и на подводах, на тачанках перебросил к штабу Федько. Наш отряд моряков и спартаковцев не смог пробиться ни к нам, ни к Федько и был истреблен махновцами. Полк Куриленко, а также и новоспасовцы очутились в махновском окружении и объявили, что придерживаются самостоятельной политической линии.

Обо всем этом мы, разумеется, узнали позже. А в Новом Буге события развивались так. Калашников вместе с разными анархистами, которые вдруг выплыли, созвал митинг и во всеуслышание сообщил, что штаб боевого участка арестован за измену.

— Давно нам казалось непонятным, почему мы отступаем. Теперь ясно. При аресте Корчагина и Дыбеца мы нашли у них миллион рублей золотом. Они продали фронт за миллион рублей.

И ни одному умнику не пришло в голову спросить: где этот миллион золотом, покажите его нам.

Так или иначе, митинг подлил масла в огонь. Калашников подыгрался к массе, не желавшей отступить.

— Пойдем на соединение с Махно,— провозгласил Калашников.— Махно поведет нас в наступление.

Спустя день каким-то образом заработала связь с Федько. Оттуда вызвали Дыбеца по прямому проводу. Меня повели, чуть ли не тыча в бок револьверами.

— Говори, что мы тебе прикажем.

Выползает лента. Читаем:

— У аппарата Пахомов. Дыбец, ты?

— Я.

— А я не верю, что это ты. У нас сведения, что тебя убили.

— Нет, я жив.

— Если это ты, скажи, при каких обстоятельствах мы с тобой встретились.

Я произношу несколько слов, из которых он понимает, что с ним разговаривает действительно Дыбец.

— Теперь я уверен, что это ты. Расскажи, какая у тебя там обстановка.

Тут диктуют телеграфисту без моего участия. Пахомов отвечает:

— Это не твой язык и не твое построение доклада.

А вожаки заднепровцев от моего имени потребовали, чтобы сюда слали снаряды, пулеметы, лошадей. Я доволен. Пахомов, значит, уясняет, что тут происходит. Далее он спрашивает:

— Передай, каково состояние полков.

Эти архаровцы отвечают, что полки в полном порядке.

— Где Шестой Заднепровский?

— Шестой Заднепровский занял указанную ему линию.

Пахомов передает:

— Видимо, штаб захвачен Шестым Заднепровским. Тебя не расстреляли, а держат под арестом. Сводка о состоянии войск не твоя. Ты, должно быть, в плену.

Кричат мне:

— Отвечай, сукин сын, что ты болен!

Телеграфист выстукивает:

— Болен.

Пахомов заключает:

— Обстановка мне понятна. Кончаю разговор.

В руках Калашникова оказались различные наши части численностью до двенадцати тысяч бойцов. Он увидел, что снабжать такую армию нелегко, и двинул ее на соединение с Махно. Штаб Махно находился где-то близ Одессы.

Всем нам, рабам божьим, Калашников заявил, что пока расстреливать нас не будет, а довезет к Махно.

Нас везли на подводах под конвоем. В какой-то момент появилась женщина, сестра командира одного кавалерийского полка, которую когда-то я обещал расстрелять.

— Где Дыбец? Дайте мне Дыбеца, я его растерзаю. Дайте я ему глаза выцарапаю!

А к нам была приставлена рота мелитопольского полка, того самого, который мы разоружили и расформировали. Калашников рассчитывал, что на эту роту он вполне может полагаться, ибо мелитопольцы, как он понимал, числили за нами особенный должок. Между прочим, в эту роту

были направлены и молодые командиры, которых я не расстрелял, а передал Розе в качестве разведчиков. Им, пострадавшим, махновцы во главе с Калашниковым полностью доверяли. Однако разведка Калашникова тут проморгала. Эти ребята уже были нам преданны, признавали, что мы с ними справедливо обошлись. Рота никого к нам не подпускала. И эту озверелую бабу прогнали прикладами. Были и еще случаи, когда нас пытались растерзать, но рота никому не позволила тронуть арестованных. И оскорблять не разрешала. Должно быть, ребята рассуждали следующим образом: «Он нас держал под арестом, но с нами обращались правильно, не издевались. И наше обращение с теми, кого мы сейчас везем, будет таким же. Это же свой брат, не белогвардейцы».

Я получал немалое душевное удовлетворение, поглядывая на конвоиров. Как-никак, а мы уже сумели переиначить, переделать этих мелитопольцев. И не случись такая катастрофа, они были бы образцовыми красными воинами.

Калашникову пришлось считаться еще с тем, что некоторые полки, хотя и двигавшиеся с ним к Махно, оставались в той или иной мере нашими. Полк Куриленко был за нас, новоспасовцы тоже. Они открыто заявили Калашникову, что если на пути к Махно что-либо произойдет со штабом, то перестреляют весь 6-й Заднепровский. И, как я заметил, новоспасовцы даже выделили своих делегатов, которые наблюдали, чтобы ничего с нами не стряслось.

Кроме того, некоторые анархисты, сгруппировавшиеся вокруг Калашникова, тоже протипивились возможной расправе над пленными. Среди этих анархистов был Уралов, которого я знал еще по Бердянску. Он отличался постоянной взвинченностью, даже истеричностью, случалось, споря, хватался за револьвер, и все же запомнился мне как наиболее здравомыслящий из всех махновцев в Бердянске. Он пробирался к Махно по железной дороге Долинская—Николаев, узнал, что в Новом Буге учинен этакий переворот, и явился туда. Он был известен и Калашникову, поэтому сразу обрел его доверие. Облеченный теперь званием начальника гарнизона, он нам обещал, что никаких эксцессов по дороге к Махно не допустит, и тщательно следил, как нас охраняют.

На всем пути в ставку Махно меня сопровождал Шурка — парнишка, которого я спас. Он, как вы знаете, был моим ординарцем, но остался на свободе. Его заботой был продовольственный вопрос. Каждую остановку Шурка использовал для того, чтобы всех нас накормить. Он доставлял молоко, жарил яичницу, мясом нас кормил. И всегда, ночью и днем, старался быть около меня, как верный ординарец.

Итак, везут меня, Розу, Корчагина, еще некоторых работников штаба. Тут же на подводах — арестованные воскомы полков и батальонов.

В селе Добровельчка Махно на белом коне встретил эту армию, которую вел к нему Калашников. Расцеловался с Калашниковым. Тут же остановились и паша подводы. Калашников указал на нас:

— Вот доставил на твое усмотрение штаб боевого участка.

Махно в нашу сторону даже не взглянул.

— Что же, всех расстреляем.

В разговор вступил Уралов:

— Как же расстрелять, когда там Дыбцы? И он и она.

— А, Дыбцы... Пу-ка, дай его сюда!

Подвели меня к Махно.

— Здравствуй, Дыбец.

— Здравствуй, Махно.

— Как же Дыбец, ты сюда попал?

— Твоя дооблестная армия везла меня к тебе, как зверя в клетке.

Он ухмыльнулся:

— Известно ли тебе, что я теперь коммунистов расстреливаю, так как объявлен вне закона?

— Известно.

— Ну так вот что. Рука у меня не поднимается на этого старого ренегата. Может быть, это моя слабость, но я его не расстреляю. И приказываю, чтобы волос с его головы не упал в расположении моих войск. Кто на него руку поднимет, того лично расстреляю. Слыхали?

— Слушаемся.

— Отпустить Дыбеца с женой на волю, а остальных держать до моего распоряжения.

Так мы с Розой оказались на свободе среди скопища махновских войск. Уралов нашел нам комнату в Добровеличке.

Там, в этом селе и на железнодорожной станции, был отчаянный кавардак. Поезда остановились. Бродили пассажиры. Получилась каша. Здесь же обретался Щусь со всей своей кавалерией. Щусь — это правая рука Махно. Расквартировались в Добровеличке и другие махновские части. Все войска разложены. Горланят спяна песни. Не разберешь, где обыватель, где армия, какого полка бабы на возах.

## 21

Отсидевшаяся в нашей комнатенке, я постарался спокойно обдумать, что же теперь делать. И задался целью собрать партийцев, каких найду, и, если удастся, выйти из Добровелички, чтобы пробраться к частям Федько, которые находились где-то поблизости. Тут, кстати, я встретился с Андреем Могильным, большевиком из Бердянска, где мы вместе поработали в ревкоме. Могильный ехал из Одессы в Киев, но из-за того, что железную дорогу перерезали махновцы, застрял в Добровеличке. Меня с ним связал Уралов.

Значит, собрать партийцев и уходить к Федько. Однако мои товарищи, штаб и военкомы боевого участка оставались арестованными. Я не терял надежды, что смогу как-то им помочь, использовав свои старые связи с анархистами. Достаточно близко еще по Америке, а затем по Питеру мне был знаком Волин, пребывавший у Махно в роли литературно-идейного вдохновителя. В свое время я был, как вам известно, одним из основателей анархо-синдикалистской группы «Голос труда», сотрудничал в газете, которую издавала эта группа, и мое имя было известно анархистам. Роза тоже кое-кого знала по своим тюремным мытарствам в пятом, шестом и седьмом годах, даже и самого Махно.

Прошло, вероятно, дня два-три. Как-то я вышел на улицу и встретил Щуся. Он поздоровался очень любезно, радушно.

— Что, Дыбец, делаешь?

— Ничего не делаю.

— Тебя Махно хотел повидать.

— Если Махно хочет со мной увидеться, он мог бы мне это передать.

— Так он и просил передать, чтобы ты к нему зашел.

— Ладно, зайду.

— А то пойдем сейчас вместе к нему.

Приглашает меня с такой улыбкой, прямо вся рожа расплылась. Я подумал, подумал:

— Пойдем.

Зашагали рядом. Привел меня Щусь в какое-то помещение искомандовал:

— Примите арестованного.

И я вновь оказался под стражей.

Здесь, пожалуй, будет уместно вкратце обрисовать Щуся. Он мечтал быть народным героем. И я с ним познакомился еще в свою бытность председателем бердянского ревкома. Мы с ним ехали в автомобиле, когда я впервые выбрался на фронт. Щусю, видимо, порассказали обо мне: влиятельный, мол, деятель и даже литератором в «Голосе труда» работал. Щусь начал расписывать свою личность. Был когда-то матросом Балтийского флота и прославился там как непобедимый в спортивной борьбе. Знает приемы французской борьбы, бокса. Смыслит и в японском джиу-джитсу. Может собственными руками без напряжения удушить человека. Язык у того вываливается, а он давит на горло. Щусь с таким вкусом живописал, изображал эту операцию, что меня взял ужас. И омерзение.

Носил он, как и Махно, длинные волосы, но черные. Высокий, здоровый, статный детина. Одевался в какой-то фантастический костюм: шапочка с пером, бархатная курточка. Сабля, шпоры. На пирах у Махно Щусь сидел, как статуя, и молчал. Он всерьез мечтал, что будет увековечен в легендах и сказках. Однажды он показал мне стихи какого-то украинского поэта о том, что батько Щусь один уложил наповал десять полицейских. Я, по своей бестактности, высмеял и Щуся и стихи. Этого он, очевидно, не забыл. Отряд его был сугубо бандитский. Конники Щуся без зазрения грабили, могли тут же и прирезать, и пятки калили горячим железом.

Сдал меня Щусь своим подручным. Однако, как после я узнал, за мной в некотором отдалении следовал Шурка. Он побежал к Розе и затем к Уралову, дал знать, что я арестован Щусем.

Никаких обвинений сначала мне не предъявляли. Держали меня в одиночном заключении. Сижу день, другой. Потом приходит ко мне Белаш, анархист из штаба Махно, и говорит:

— Вас обвиняют в том, что на митингах вы заявляли: махновцы играют на руку белогвардейцам, открыли белым фронт и тому подобное.

— Что же, это для меня не новость. Я же выступал на митинге, а не шептал. Да и теперь скрывать свои взгляды не намерен. Я с махновщиной боролся, это верно. Так что я не собираюсь защищаться. Мою линию вы знаете. Кто я — тоже вам известно. Вот и все.

Парень замялся:

— Не знаю, что будет, но только твое дело плохо.

— А разве я ожидал от вас чего-нибудь хорошего? Я был даже удивлен, что Махно меня освободил. Плохо так плохо. Принимаю это к сведению.

Началась длинная музыка. Пошли допросы. После я узнал от Розы следующее. Она кинулась в штаб, а затем и в своего рода политотдел махновской армии. Там, как выяснилось, было два течения. Калашников требовал расстрела. Его поддерживала группа Щуся. Щусь, как было уже сказано, командовал всей кавалерией. А кавалеристы жаждали отмщения, помнили, как я за грабежи круто расправлялся. И было такое настроение, что пора Дыбеца убить. Но, с другой стороны, часть анархистов высказывалась за то, чтобы Дыбеца не убивать, а дать ему возможность мирно уйти. Старого революционера расстреливать неудобно. В анархическом движении его знают, организатор, не изменник. В чем дело, за что же убивать? Поэтому тянулась волынка следствия. Предстоял какой-то надо мной суд.

Неделю меня тягали на допросы. Как я потом узнал, это была тактика того крыла, которое хотело меня освободить. Идиотские допросы меня утомили, но я разговаривал.

— Выступал против Махно?

— Выступал.

— Говорил, что махновцы — пособники контрреволюции?

— Говорил.

— Так что ж, ты же против нас?

— Всегда был против вас. Я же не скрываю.

— Полк разоружил?

— Разоружил.

— Людей расстреливал?

— Расстреливал. Если освободите, опять буду расстреливать всех грабителей. Меня расстреляете — ваше дело.

Такие разговоры продолжались изо дня в день. Предъявляли мне свидетелей моих преступлений. И затем снова:

— Ты же враг наших идей.

— Ваши идеи — болтовня. Все равно, как ни верти, нужна организация. Весь вопрос в том, какова будет эта организация. На сей счет взгляды у меня определенные. Я коммунист. Если вам угодно, расстреливайте меня за это.

А обстановка в эти дни была такая. Махно со своими отборными частями куда-то выехал в разведку и где-то давал бой. И пока он не вернулся, допросами тянули время.

Наконец Махно опять появился в Добровеличке. И хотя его охраняли несколько барбосов, которые могли зарубить всякого, кто пытался подойти к Махно, Розе удалось пробиться сквозь эту братву.

— Нестор, выслушай меня.

— Здравствуй, Роза. Слушаю.

— Дыбеца арестовали. Собираются расстрелять. За что?

— Да, мне доложили, что он арестован. Говорят, он против меня выступал, заявлял на митингах, что я открыл белым фронт.

— Ты сам с ним говори. Ты знаешь, он врать не будет. Скажет, где выступал, о чем говорил.

— Да я наизусть все знаю, что он мне будет говорить. Ну ладно, обсудим.

И вот Махно созвал у себя своих присных. (Это я рассказываю по сведениям, которые к нам дошли поздней.) Он поставил на голосование вопрос о моей участи, и большинством я был приговорен к смерти. Когда проголосовали, Махно долго молчал, а потом сказал:

— Нет, не дам его расстрелять. Таких людей нельзя расстреливать.

Думаю, на Махно тут повлияло еще и следующее обстоятельство. Несколько ранее Федько соединился с ним по телефону и сказал:

— Если расстреляешь штаб боевого участка, пусть ни один махновец не ждет от нас пощады.

Потом Федько передал трубку Куриленко. Тот со своим конным полком сумел где-то оторваться от махновцев и примкнул к частям Федько.

— Махно, слышишь меня? Говорит Куриленко. — Он подтвердил предупреждение Федько и еще добавил несколько слов насчет меня. — И Дыбеца не тронь. Иначе, кого ни встретим из махновцев, будем резать беспощадно. До сих пор церемонились, а теперь всех вас предадим анафеме.

Это повлияло. Но и самому Махно, видимо, не хотелось меня расстреливать. Политически ему это было невыгодно. Многие анархисты высказывались против расстрела, протестовали и эсеры (существовала в махновском стане какая-то эсеровская фракция). Кроме того, некоторые полки из тех, что привел с собой Калашников, тоже вступались за нас. Вероятно, Махно все это учел.

А я в одиночестве сидел под арестом и ничего не знал о борьбе течений, не знал, кто за меня, кто против меня.

В один прекрасный вечер меня переправили в какую-то хату, которую сделали арестным домом. Народ в хате менялся: кого-то приводили, кого-то уводили. По ночам расстреливали. Я ждал своей очереди. Для меня это было уже решенным делом: отсюда я не вырвусь.

Однажды мой Шурка принес — он все время считал своей обязанностью меня обихаживать, оставался начальником моего «продовольственного отдела», — принес вареные яйца и молоко на ужин. Я поглядел на Шурку. Чем-то он сильно взволнован.

— Что с тобой, Шурка?

Он вдруг зарсвел.

— Чего ты?

— Уралов сегодня рассказывал, что весь штаб тебя приговорил. Нынче ночью тебя будут стрелять.

— Ну что же. Тут ничего, брат, не поделаешь. Не один революционер погиб. Бывает, что надо умереть революционеру. Чего ты ревешь?

— Жалко. Я не могу. Я соберу человек десять, мы придем с винтовками. Мы вас освободим.

— Бросьте, ребята. Не выйдет. Как ты освободишь, когда здесь двадцать тысяч вооруженных? Не надо твоей головой рисковать. Это просто глупо.

— Нет, я не могу. Давайте бежать.

В представлении Шурки побег из нашей кутузки — дело легкое.

— Иногда, Шурка, вредно убегать. Революционер должен уметь и расстаться с жизнью. Я никуда не убегу. А ты успокойся. Иди к Уралову и передай, чтобы он пришел ко мне часиков в десять. — (На расстрел выводили в полночь). — Я напоследок с ним поговорю.

Ревет мой Шурка. Я стараюсь быть собранным, владею собой. Весь разговор слышит и Роза. Я забыл сказать, что ее во избежание недоразумений тоже арестовали, и уже три-четыре дня мы сидим вместе.

Затем Шурка по своей наивности начал настаивать, чтобы я поужинал. Как же — он днем усердствовал, добывая эти яйца! Я пытался его уговорить, чтобы хоть горшок с молоком унес, потому что сегодня нет аппетита. Но он настаивал, что самое главное — поужинать. Действительно, во всякой трагедии проглянет что-то комическое. Я улыбнулся его наивности.

— Оставляй, поужинаю. А ты обязательно поймай Уралова. Это тебе боевое задание.

Шурка вытер слезы и отправился.

Потянулись часы ожидания. Мое настроение, как вы понимаете, было не сильно повышенным. Но твердым — ибо я заранее приготовил себя к тому, что не спасусь. Так что вопрос заключался только в том, когда, где и как выйдешь умереть. Смерть — это тоже политическое дело. Пусть и она послужит борьбе. Такой расстрел сорвет с Махно остатки его ореола. Вся его армия меня знает. Убереечь свою шкуру — нет, это меня не занимало. Вопрос о собственной шкуре передо мной не стоял. За все время революции я никогда не думал о том, что и мне угрожает пуля. Может быть, именно поэтому я и влиял на людей, что презирал смерть. Я давно понял: революция требует жертв.

В хате находились не только мы с Розой. Сидели там два-три спекулянта. Какой-то кулак был тоже ввергнут в это узилище за то, что сопротивлялся, когда его грабили. Кто-то шепотом молился.

Кажется, я уже упоминал о том, какой у меня характер: в самые критические моменты не люблю разговаривать. Надо дать самому себе стеч, привести себя в порядок. И я как бы остаюсь наедине с собой, наедине со своими мыслями.

Немного походил от стены к стене. Роза знала, что, пока я молчу, со мной лучше не заговаривать. Водворилось тягостное молчание на час или полтора.

Вдруг тишина прерывается звяканьем шпор, бряцанием сабель. Чей-то голос спрашивает:

— Дыбец здесь?

— Здесь.

Отворяется дверь, Махно со всем своим штабом входит в нашу темницу.

— Где же тут Дыбец? Спит?

Отвечаю:

— Не до сна. И ты бы на моем месте не заснул, ожидая участи.

— Это верно. Так вот, Дыбец, в чем дело. Мой штаб приговорил тебя к смерти.

— Что же, дело ваше.

Говорю совершенно спокойно, бровью не шевельнул. Глядит на меня Махно и продолжает:

— Звонил мне Куриленко по прямому проводу. Клянется, черт его не видал, что, если тебя казним, он будет расстреливать каждого из моих войск, кто ему попадется в руки. И Федько твой грозит. Но на это я плюю.

Пауза. Я не отвечаю. Махно спрашивает:

— Они еще дознавались про коммуниста такого-то. Ты не слыхал, где он?

— Не знаю.

— Вот и я ни черта о нем не знаю. Они считают, что он расстрелян. А я его не видел. Будь они прокляты, твои коммунисты! Десять раз объявляют меня вне закона и обещают расстрелять.

— Но не расстреляли же.

— Не расстреляли. Руки коротки.— Он выругался.— Мать-перемать, режут друг друга, а я за все должен отвечать.

Снова пауза. Молчим.

— Ну вот что, Дыбец. Я уже своему штабу объявил. Не поднимается у меня рука на такого старого революционера, как ты. Правда, ты ренегат, давно не анархист, и черт тебя знает, во что ты превратился. Но рука не поднимается. Я решил тебя освободить. Комендант!

— Я.

— Чтобы волос с его головы не упал, пока он находится на территории моих войск. Я тебя лично застрелю, если с ним что-нибудь случится. Повтори.

Комендант, запинаясь, повторяет:

— Лично вы меня застрелите, если с ним что-нибудь случится.

— Заруби это на носу. Ну, все. До свидания.

Подает мне руку. Что сделаешь? Протягиваю свою. Рукопожатие. Его штаб почтительно стоит, наблюдает эту сцену. Все они, кто с ним сюда вошел, обряжены в кавалерийскую форму с саблями, со шпорами. Махно тоже носил шпоры.

Спрашиваю:

— Что передать, если я выберусь к своим?

— Ничего не передавай. Десять раз вне закона объявляли. Не буду больше с большевиками работать.

— Что ж, тебе видней.

Этим встреча закончилась. Махно повернулся и вышел со своей свитой. Комендант остался в нашей горнице-тюрьге, едва освещенной канделяксом. Стоит бледный, чуть ли не полуживой. Не знает, как поступать дальше. Я говорю:

— Ты, парень, не журишь, а пошли ординарца к Уралову с моей запиской. Дай клочок бумаги.

Пишу записку Уралову: Махно меня освободил, приходи и заведи из арестного дома.

Не прошло и пятнадцати минут — явился Уралов. Я рассказал ему подробности. Комендант обрадовался, что может кому-то меня передать. Он, конечно, опасался, что сюда может ворваться какая-нибудь бесшабашная ватага и зарубит меня тут. А ответит он собственной головошкой.

Смотрю — Уралов не торопится. Мне хочется поскорей уйти, но он удерживает:

— Не спеши. Надо обождать.

И поглядывает на часы. Наконец говорит:

— Пойдем.

Вышли втроем — Роза, Уралов, я. Ночь темная. Уралов свистнул. Поблизости раздались ответные свистки. Оказывается, он расставил роту мелитопольцев, под охраной которых мы, арестованные, двигались к Махно. Теперь они вновь нас охраняли на случай, если нападут кавалеристы Щуся или другие мои знакомцы.

Мелитопольцы провели меня к себе. Я пока там приютился. Роза пошла к Могильным. Добралась она туда. Стучит. Те оба спали или, быть может, просто затаились. Ночной стук в Добровеличке — дело не из приятных. Роза настойчиво добивается. Наконец Могильный откликнулся:

— Кто там?

— Откройте. Это Роза.

Могильные узнали от Уралова, что я приговорен к смерти. Им подумалось: меня расстреляли, и Роза присутствовала при расстреле. Они близкие наши друзья. Тяжело пережить такое. Онемели, не шевелятся. Роза требует:

— Откройте же, черт вас поберет!

Наконец Андрей зажег лампу и открыл. Роза глянула на чету Могильных и расхохоталась. У них был такой трагический вид, что это ее рассмешило. А им показалось, что Роза сошла с ума. Степку расстреляли, и Роза лишилась рассудка. Она долго убеждала, что я освобожден, долго уговаривала прийти и проведать меня.

Наконец Андрей прибежал удостовериться, что Роза не сумасшедшая, что я действительно выпущен на волю. Обнялись. Затем он сразу обратил внимание на мои сапоги. Дело в том, что я привез из Америки красные сапоги. Они были очень приметны. В этих сапогах я ездил по фронту, выступал перед полками.

— Сапоги скинь, а то они тебя выдадут.

Нашлась для меня пара армейских сапог. Переобулся.

— И нужно тебе спастись.

Но загвоздка была в том, как же спастись. Уралов взялся наметить путь, по которому мы с Розой могли бы пройти к частям Красной Армии. Однако через два-три дня он выяснил, что нигде никакой связи с нашими частями нет. Кругом махновцы. Везде рыщет кавалерия Щуся. Эти молодчики при первой же встрече со мной меня зарубят. Мы посоветовались и решили: лучше идти в ту сторону, где местность занята белыми, и прорываться к своим сквозь белый стан.

Выработали нам маршрут. Уралов раздобыл для нас подводу. Роль возницы мне пришлось взять на себя. Переоделись мы с Розой в крестьянскую робу и на рассвете выехали. Нас снабдили и деньгами. В тех местах ходили и николаевские кредитки, и керенки, и украинские карбованцы, так что надо было запастись разными деньгами. Нам дали

тысячи две рублей. Но это и деньги и не деньги. Они дешевели со дня на день. За пятьдесят пшеничных рублей (какие-то ассигнации были выпущены под обеспечение пшеницей и звались пшеничными) нельзя было купить буханку хлеба.

Ехали до глубокой ночи. Наверное, уже километров шестьдесят осталось позади. Ночевали в какой-то школе. Я, конечно, добросовестно позаботился о лошадях: разжился для них сеном, подкормил. На следующий день опять ехали. Ночь провели у какого-то бедняка. А утром покинули наш выезд на его попечение и ушли пешком: подвода вызывает больше подозрений, чем пара пеших.

Надо сказать, что я получил от Уралова бумагу, которая гласила: такой-то (фамилия моя) был задержан махновскими войсками, снят с поезда и, по его заявлению, у него отобраны все документы. Следовала подпись: начальник караульных частей махновской армии Уралов. И прилепнута печать. А дальше я уже мог врать направо. Этот документ был нужен на случай столкновения с белыми.

Расставшись со своей подводой, мы шли пешком, делая приблизительно по тридцать километров в день. Научились шагать. Избрали путь на Киев, рассчитывая, что там застанем красных.

В каком-то городишке увидели наконец и беляков, местечко было только что занято разъездом белой армии. И сразу же стал восстанавливаться обыкновенный дореволюционный порядок. На улицах уже торчали полицейские. Мы разыскали базар. Потолкались на базаре. Узнали, где помещается полицейское управление. Евреи, конечно, ожидают погрома.

Мы с Розой твердо решили идти прямо в полицию и прописать свой вид на жительство.

Приходим. Полицейский надзиратель — очевидно, из прежних, недорезанный, — красуется в мятых погонах и изображает индюка. Я объяснил, что я такой-то и сякой-то, ездил с женой в Одессу лечиться на лимане, потом возвращались поездом в Киев, где работаю на заводе главным бухгалтером (это самое безобидное занятие). Поезд остановили махновцы, ограбили. Вот в каком виде уносим от них ноги. Вынуждены идти в Киев пешком.

Полицейский смотрел-смотрел на нас и отказался подписывать мой документ. Дал сопровождающего и велел нам обратиться к военной власти. Сопровождающему приказал сдать нас под расписку.

Добрались к военному начальству. Там нами занялся молодой офицерик. Я опять плел ту же историю: вот-де я главный бухгалтер, ездил на лиман, лечился от ревматизма и так далее.

— Ограбили махновцы. Обобрали дочиста. Единственно, что дали, — эту бумажку. Возвращаюсь на свою службу в Киев. Жить-то надо.

— А я при чем?

— Полицейский к вам направил. Я его просил, чтобы он подписал мой документ.

— Идите вы, куда хотите. Некогда мне с вами возиться.

— Но дайте записку, чтобы полицейский как-то узаконил наш документ.

— И записки не буду давать. Убирайтесь вон.

А рядом стоят два унтера. Рожи такие звероподобные, что хоть пиши картину. Один в казачьей фуражке, другой в жандармской.

Мы вернулись к надзирателю. И с нахальством, которое я могу проявить, когда это необходимо, говорю:

— Начальник войск отослал нас к вам обратно и приказал, чтобы вы обязательно прописали мой документ.

И мы выцарапали у этого полицейского чина надпись на обороте моего липового удостоверения. Он всего-навсего чиркнул: прошу содействовать в посадке на первый отходящий поезд. Но по всей форме приложил какой-то полицейский штампик и печать. Ну, теперь живем.

Потопали мы на железнодорожную станцию. Комендант станции проявил, конечно, подозрительность, но раз записка с печатью, позволил сесть в товарный поезд. Мы втиснулись в теплушку и отправились на Киев. В дороге узнали, что Киев — у белых. Черт возьми, вот незадача! В Киеве мы знали лишь единственного человека — сестру жены одного моего приятеля по Русско-Американскому инструментальному заводу. Девичью фамилию этой женщины я помнил. Но она вышла замуж, а фамилия мужа нам неведома. Припомнилось, что она живет на Кузнецкой улице, а номер дома, хоть убей, не знаю.

## 23

Часов в пять утра поезд прибыл в Киев.

Побрели мы на Кузнецкую улицу, прочесали дом за домом, называли девичью фамилию этой нашей знакомой. Не нашли.

И так устали, ничего не свши, что Роза уже едва шагала. Приплелись на Еврейский базар и сели. Дальше просто не можем двигаться.

На Еврейском базаре торгуют кто чем попадя. Воистину толкучка. Тут надо сказать, что эта знакомая, которую мы тщетно искали, приезжала в Бердянск со своим братишкой лет двенадцати—тринадцати. И вот мне показалось, будто промелькнул этот мальчишка. Кинулся я за ним, но ноги были ослабевшими, и догнать я его не смог.

Разочарованно вернулся, сел в изнеможении. Положение отчаянное. Можно было бы переночевать за городом, просто в степи. Но нет сил выбраться туда. Ну, безвыходное положение. Деньги, правда, есть, но нужна какая-то зацепка.

Просидели мы, вероятно, еще с полчаса. И бывает же такое: идет этот мальчишка с кувшином воды. Он торгует самой обыкновенной водой. Продает по десять копеек стакан. Я ринулся к мальчишке. Он меня узнал. Спрашиваю:

— Где вы живете?

— Да вот напротив.

То есть буквально в десяти шагах от нас — лишь пересечь улицу — находилась квартира единственного человека, к которому мы могли прийти.

Наша знакомая встретила нас гостеприимно. Мы сначала сказали ей немного: так и так, вырвались от Махно, теперь нужно здесь как-то прописаться. Посидели, поговорили. Потом мы с Розой взглянули друг на друга: почему мы должны скрытничать? Я сказал:

— Мы пробираемся к красным.

Женщина ответила:

— Надо обдумать, как это сделать.

Она повела нас к своей сестре. Та замужем за каким-то мастеровым-немцем, специалистом по настройке пианино. Он успевал и торговать. Продавал пианино. Весь Киев, казалось, жил только торговлей. Трудом в то время в Киеве не прокормиться.

Объяснили мы все начистоту. И выяснилось, что первым делом нужно добыть паспорт, а потом с паспортом можно уйти с территории белых, ибо до красных не очень далеко. Жена настройщика сказала, что у них дворник на все руки мастак и она с ним поговорит. Дворник объявил цену: столько-то керенок. Цена оказалась сходной: керенки у меня были.

На другой день мы пошли с дворником в полицейское управление к приставу. Дворник собрал подписи своих собратьев и сам удостоверил, что знает меня со дня моего рождения, что я никогда не был причастен к революции, что я действительно ездил в Одессу на лечение.

Мне и Розе выдали паспорта. Стали мы обдумывать, как быть дальше. Надо уметь выйти из Киева и уметь пройти деревнями. Но точных сведений не могли заполучить. Самые темные слухи. Вот красные в десяти километрах. Вот красные в ста километрах. Вот красные в Гомеле. Все, что хотите. А белая газета сообщает, что враг разбит, Москва окружена, Ленин улетел на аэроплане из Москвы, — такая белиберда, что уши вянут.

Миновало еще несколько дней. Ночуем, чтобы не вызывать подозрений, то у одной сестры, то у другой, которая обитала на Бибиковском бульваре.

Однажды просынаюсь там — на Бибиковском. Что такое? Идет стрельба по всему бульвару. Выбегаю, оказалось — красные ворвались в Киев, гонят белых.

Ну, тут наше спасение! Однако на улицах стреляют так, что ходить рискованно. Э, была не была, надо же связаться со своими. Красные бойцы! Но подступиться к ним не просто. Это же регулярная армия в бою. Я все-таки подошел.

— Здравствуйте, товарищи.

— Здравствуйте.

— Какая это часть?

— А тебе какое дело?

— Не Федько ли командир?

— А ты откуда знаешь?

— Полагается мне кое-что знать.

— Смотри, будешь много знать — голову не сносишь.

— Это ничего. Где же Федько-то?

Нет, не отвечают. Народ неразговорчивый. Я с удовольствием отметил, что красноармейцы начеку. И продолжал допытываться:

— Федько, видимо, не скоро приедет. А где у вас штаб полка? И какой это полк?

— Тебе зачем?

— Нужно для связи.

— Ты что, подпольный?

— Да вроде так.

— Ну, так полк наш Пятьдесят второй.

— Лунин у вас командир?

— Да.

— А где штаб Лунина?

Раз я назвал фамилию командира, красноармеец уже отнесся ко мне с доверием.

— Тут Федько должен проехать. Жди.

Гляжу — катит по улице автомобиль. Красноармеец подсказал:

— Ага. Это автомобиль Федько и есть.

Я вылетаю на середину улицы и вздымаю руки, чтобы остановить машину. Но, во-первых, я оброс бородой за это время. Во-вторых, на мне была довольно дрянная шинелька. Все же автомобиль остановился.

— Здравствуй, Федько.

Он на меня уставился.

— Черт побери! Дыбец?

— Дыбец.

— Как же ты сюда попал?

— Еле-еле вырвался из махновских лап.

— А жинка где? Жива?

— Жива. Мытарствуем вместе.

— Беги за ней. Тащи ее сюда. А я поеду на Крещатик, посмотрю, как мы там воюем. Буду проезжать обратно через полчаса. А ты с жинкой стой на этом же месте. Я вас подберу.

— Понятно. Бегу.

— погоди.— Федько сунул мне пачку николаевок.— Денег небось ни черта нет. Наверное, живешь у бедняков. Расплатись. И возвращайся сюда с жинкой.

Автомобиль тронулся. Я опрометью бросился на Кузнецкую улицу— минувшей ночью Роза спала там. Прибегаю. Розы нет. Куда-то отлучилась. Наконец отыскал ее. Спешим к назначенному месту. Но пока мы туда подоспели, белые уже оттеснили наших, захватили улицу. На всякий случай огрели и нас пулеметной очередью. Снова мы отрезаны. Разочарование такое, что только силой воли себя сдерживаешь.

## 24

Ну, что же делать? Еще терпеть уже немогуту. Единственное спасение — убираться по Днепру.

К этому времени мы уже знали, что из-под Гомеля, находившегося на территории красных, люди ездят в Киев на лодках, закупают в Киеве соль и везут обратно. И это занятие очень прибыльное. И таких лодок очень много.

Стали ходить на берег присматриваться. Действительно, именно так дело и обстоит. Подошли к одному дядьке:

— Пассажиров вверх будете брать?

— Каких пассажиров? С тобой хлопот не оберешься.

— Обыкновенных граждан. Паспорт в порядке.

— Тогда ничего. Можно.

— Сколько возьмешь?

— Николаевские есть?

— Есть.

— Хорошо. Цена такая: сотенную с носа.

Пришлось поторговаться. Он согласился за сто рублей перевезти двух человек. Потом вновь оглядел меня.

— Ты так не ездил. Во-первых, возьми пуда два картофеля. А то чем будешь кормиться? Ехать ведь десять дней по Днепру. Во-вторых, купи соли. А то спросят: зачем едешь?

— К родственникам.

— Не поверят. Ты скажи, что будешь торговать солью. А мы скажем, что ты наш крестьянин.

Внял я благому совету. Купили мы с Розой около пуда картофеля. Загнали ее последнее кольцо, которое она получила от матери. Загнали ее часы. Я не любитель обременяться большим грузом, но, кроме картофеля, приобрел и полпуда соли.

Однако дядьку, с которым я условился, мы упустили. Он уехал без нас. Договорились с другим. Тоже бородатый мужик. Тут я был уже умудрен опытом: еду-де с солью.

— Ладно, за сто рублей царскими двоих возьму.

И мы отчалили. Этих лодок было множество. Называются они дубы. Многие десятки таких дубов всякий день уходили вверх из Киева. Поднимает эта лодка пудов двадцать пять—тридцать. А условие такое: сел, бери весло, гребь. Грести против течения -- чертова работа. У меня ментально вздулись мозоли. Но все-таки гребу. Пльвем.

Двигаемся день, другой. На пути—пограничная охрана белых. Проверка паспортов. У меня все оказалось в порядке. Никаких подозрений.

— Зачем едете?

— Как зачем? Соль везем.

— Ишь ты, спекулянт.

— А чем жить? Надо же кормиться.

Офицер спрашивает:

— Где же твоя соль?

Я неопределенным жестом показываю на лодку. Она полна мешками с солью. Не разберешь: где моя, где не моя.

— Ну, ладно, иди.

Охрана у кого-то водку отняла, у другого продукты отобрала. У нас с Розой отнимать нечего. Словом, дуб был проверен. Мы отъехали.

Бородатый хозяин дуба долго на меня смотрел.

— А я хотел тебе сказать, что у тебя солишки маловато. Но ты сам сообразил, показал на лодку. Видать, парень с головой.

— Не бойся, твоя соль мне не нужна.

— Да я не к тому. Я к тому, что котелок у тебя работает.

Плывем дальше. Это была, как сказал наш бородач, последняя белая стража, особенно опасная, а дальше путь свободен. Но на дубе мы еле продвигались. Кое-где нужно было брать всервку, впрягаться по бурлацки и вытаскивать на себе этот проклятый дуб.

А уже шел октябрь. Ночи холодные. На ночь останавливаемся, зажигаем костер из тальника. От такого топлива больше дыма, чем огня. Около костра и спали. На мне шинелишка, на Розе синий больничный халат, который не спасал от холода. Брюки мои окончательно приняли неприличный вид, протерлись на задку от непрерывной гребли. Но днем я опять упорно греб.

Дня через два встретили бронепароход под красным флагом. Ох, наконец свои! С парохода дали команду: лодкам подъехать! Подъехали. Командир спрашивает:

— Что там в Киеве? Какие пароходы у белых?

Я в ответ кричу:

— У них три парохода.

— А пушки установлены?

— Устанавливаются.

— А, значит, додумались.

Я сообщил общие сведения о войсках в городе. Рассказал, что Федько врывался в Киев.

— Это знаем без тебя. Ну, отваливай. Чего ждете? Отчаливай, а то будем стрелять.

Мы отчалили. Гребем, удаляемся от парохода. Дядька на меня поглядывает:

— А глаз у тебя хороший.

— Что же, человеку глаз дан для того, чтоб видеть.

— Оно верно. Ну, ребята, навались, гребите.

Снова и снова работаю веслом. А по ночам все холодней. Злющая осень. Неожиданно выпал снег. Это уже была беда. В наши с Розой планы вовсе не входила такая ранняя зима. Мужики стали говорить, что утром, может быть, реку схватит лед. Всю ночь от холода не спали. Натянули крестьяне шатер. Внутри развели костер. Ну, мочи нет — один дым. Тальник сырой, кое-как тлеет. Выйдешь из палатки — холод, войдешь — дым. Промучились всю ночь.

Наутро мужики посоветовали:

— Лучше идите пешком. Часто бывает, что лодки вмерзают в лед среди Днепра, а потом мы сами на подводах выбираемся.

Мы с Розой подумали-подумали, решили идти пешком. Привязал я свои полпуда соли на спину, туда же взвалил и мешок с остатками картошки, и двинулись мы в путь. В первый день сделали около двадцати километров. Такие концы нам уже были не внове. У какого-то крестьянина переночевали. Ужинали картофелем. Поделились и с хозяином.

## 25

На следующий день прошли еще километров двадцать пять. Опять подал снег и тут же на земле таял. У нас целыми днями мокрые ноги. Но когда идешь, ничего, ноги не стынут. А ночью забираешься в крестьянскую избу и отогреваешься.

Утром мы увидели на реке другой бронепароход под красным флагом. Днепр все-таки не замерз. Вот он, пароход, рукой подать, но как к нему подойти? Он стоит на середине Днепра. Зашагали мы в ближайшую деревню. Прокрутились до вечера. День-то короткий. Искали, у какого мужика есть лодка. Вечером никто не решился ехать. Переночевали. А рано утром подрядили парня, чтобы он довез нас на лодке к бронепароходу. К нашему счастью, пароход подошел к берегу и набирал дрова. Значит, лодочник нам не понадобился.

Мимо часового я бежал на пароход. За мной проскочила Роза.

— Ведите к капитану! — потребовал я.

Однако капитан оказался не военным человеком. К нам вышел военный комиссар. Я представился:

— Так и так, я такой-сякой, бывший военком боевого участка Красной Армии.

— А документы?

— Какие же документы, когда я прошел пешком столько-то верст сквозь расположение белых? Вот паспорт, выданный белыми.

— Ничего не выйдет. У меня жесточайший приказ: никого не брать на борт. Я не могу послушаться.

— Как хочешь, но меня только силой снимешь.

— А нам недалеко ходить за силой. Сбросим, и точка. Приказ для меня не шутка.

Разговор идет на высоких нотах: я ругаюсь, он ругается. Подходят матросы. И вдруг возглас:

— Товарищ Дыбец! Здравствуй!

Кто-то меня обнимает. Я его не помню, а он меня узнал.

— Ты что, военком? На кого напал? Да ты знаешь, кто это такой! Он у нас богом был. Иди, товарищ Дыбец, с женой в кубрик. Никому тебя в обиду не дадим.

Комиссар сделал вид, что чем-то занят, и ушел. Нас провели в кубрик. Сидим, отогреваемся. Входит комиссар.

— Сейчас будем отчаливать. Вы лучше сойдите.

— Нет, не сойду, брат.

— Тогда договоримся по-хорошему. Мы через два часа должны остановиться около плавучей базы. И вас пересадим на базу. Дайте слово, что перейдете на базу, и я прикажу отчаливать.

— Ладно, даю слово. Но ты уговори, чтобы база нас взяла, а то, если и она откажет, придется нам голько прыгать в Днепр.

Пароход отчалил. Мы с Розой сидим среди матросов. С нами наша картошка и соль. Поделились с братишками. Кто-то вскипятил чаек, и за кружкой чая этот матрос, который меня знал, расписывал мои подвиги. В такой беседе время, как вы понимаете, для меня пролетело незаметно.

Действительно, часа через два пристали к плавучей базе. Я пошел к капитану базы. Тот говорит:

— Это не мое дело. Я тут по сути только лоцман.

— А с кем разговаривать?

— С военкомом.

— А где он?

Капитан показывает на человека, который стоит ко мне спиной. Я обращаюсь:

— Послушайте, товарищ. Я Дыбец, военком такого-то боевого участка.

И вновь повторяется прежняя сценка. Человек быстро оборачивается, обнимает, целует меня. Этого-то парня я узнал. Когда-то в Бердянске он был одним из тех, что с моего благословения устанавливали на катерке пушку. Я помнил его простым матросом, теперь встретил военным комиссаром плавучей базы. Тут подошли и еще наши бердянские матросы. Всё честь честью: обнимаемся, жмем руки.

— Несмеленно тащи сюда свою робу.

— Какая там роба? У меня остались единственные полпуда соли.

— Тащи. Пригодится и соль хорошим людям.

Я притащил Розу и соль. База должна была передать продовольствие двум бронепарходам и потом возвратиться в Гомель.

Тут в каюте на плавучей базе впервые за много-много дней я увидел наконец советскую газету. Это был небольшой листок, издаваемый политотделом. И к нашему восторгу, мы прочли оперативную сводку за 20 или, может быть, 21 октября 1919 года: Орел взят красными войсками, Красная Армия перешла в наступление на Южном фронте.

Не могу тут миновать одного характерного маленького эпизода. Надо вам сказать, что в последние две недели мы с Розой питались так скудно, что буквально готовы были волка съесть. Бердянец на пароходе было человек восемь. Они радушно нас устроили. Мы отогрелись. Испытываешь такое чувство, что в родную семью попал. Теплень. И возле тебя лежит газета с сообщением о победном ударе Красной Армии. Какого еще счастья желать после всех наших передрыг, всех переживаний?

И, вообразите, подают большой казанок супа с картофелем и мясом. Мы с Розой вооружились ложками, сели за этот казанок и пришли в себя только в ту минуту, когда он оказался пустым. Я посмотрел вокруг, увидел вытянувшиеся лица. Выяснилось, что мы съели паек всех восьми человек. Этого я никогда не забуду. Мне стало так неловко, что готов был провалиться на дно речное. Вслух я сказал:

— Ребята, мы увлеклись. Теперь опомнились, но поздно.

Бердянцы, однако, не обиделись, договорились с военкомом, чтобы позаимствовать от ужина толику мяса. И суп был восстановлен.

База снабдила два бронепархода продовольствием и повернула на Гомель. Все было бы хорошо, но погода злилась. Мы уже вошли в реку Сож. Пароход идет только днем. Ночью он стоит. Легли мы спать. Проснулись утром — пароходу нет дальше пути: реку сковал лед. До Гомеля осталось пятьдесят—шестьдесят километров. Сообразили мы с Розой, что на базе нам делать нечего, надо двигаться на Гомель. Попрощались с военкомом, с братишками-бердянцами и снова — в который уже раз — обратились в пешеходов.

Идешь по снегу. Проваливаешься. Ветер, холодно. Переночевали у одного кресьянина, переночевали у другого с таким расчетом, чтобы утром 7 ноября — в годовщину революции — прийти в Гомель.

И действительно, 7 ноября часов в десять утра мы оказались в Гомеле. Народ выстраивается на парад, а у нас ботинки разевают пасть,

одна видимость осталась от подметок. А тут еще и оттепель, под ногами вода и талый снег. Последние двенадцать километров вдобавок ко всем прелестям нас поливал дождь. Шагаем, ботинки чавкают. Но Роза мужественно выдерживала эти невзгоды. Удивительно выдержанный, спокойный человек. Я больше нервничал от всяких лишений.

Так или иначе, прибыли мы в Гомель, расспросили, где городской партийный комитет. Явились туда. Как и следовало ожидать, из членов партийного комитета никого не застали — все пошли на парад. Дождь дождем, а парад парадом.

Нам сказали:

— Вот талоны. Идите в столовую. А потом придут секретари, поговорите.

Отправились мы с Розой в столовую. Невредно было нам поесть. Затем перебрались к натопленной голландке. Стали сушиться. Тут тоже обнаружилась газета. Мы узнали, что на Южном фронте наше наступление развивается вовсю. Был взят Воронеж, белые отступали к Курску. А на Украине, на фронте 12-й армии, к которой в свое время принадлежал и наш боевой участок, красные войска тоже двинулись вперед и как раз к празднику завладели Черниговом. В сводке говорилось и о боях под Петроградом. Там совершился перелом в военных действиях, войска Юденича были отброшены. В наши руки перешли Красное Село и Гатчина. Упоминалось и Колпино. Там, у стен Ижорского завода, наши прорвали фронт Юденича.

Многое, наверное, в этот час промелькнуло в мыслях. Ровно два года назад в день Октябрьской революции колонна броневых автомобилей, изготовленных Ижорским заводом, вышла в Питер в распоряжение Военно-революционного комитета. Я, председатель завкома, тоже находился в одной из этих боевых машин. Кое-где пришлось столкнуться с юнкерами, пустить в дело пулеметы. К Смольному мы подошли ночью, когда уже открылся Второй съезд Советов. И не опоздали к той исторической минуте, когда на трибуну вышел Ленин, ранее скрывавшийся в подполье. Раскаты аплодисментов не давали ему говорить. Это, видимо, его смущало. Он обеими ладонями оглаживал свою лысую голову, будто на ней еще обретался парик, который он смог наконец сдернуть, придя в Смольный.

Да, было о чем вспомнить! Однако говорю Розе:

— Нам с тобой надо явиться в штаб Двенадцатой армии. Нас или там оставят, или пошлют в дивизию. Попросимся к Федько, к своим ребятам. И вообще уходить из армии я не собираюсь.

— Правильно, Степа.

Стали расспрашивать, где находится штаб 12-й армии. Выяснилось — в Новозыбкове.

— Далекое это отсюда?

— Три-четыре часа поездом.

— А поезда часто ходят?

— Не то два раза в неделю, не то один раз какой-то поезд ходит.

Погрелись-погрелись мы у печки, Роза предлагает:

— Знаешь что, Степа, идем на станцию. Поезда не ходят — это сказки. Наверное, товарные воинские ходят. Как-нибудь пристроимся.

— Пойдем.

Сказано — сделано. Пришли на станцию. Отыскали коменданта. Расспросили, ходят ли пассажирские поезда.

— Пассажирский — раз в неделю.

— А товарные?

— Вон стоит товарный. Но это товарный воинский. Там стреляют, если к ним полезешь.

— Все-таки попробуем.

Зашагали к поезду. Паровоз был уже прицеплен. Значит, действительно состав скоро отправится. Попытались влезть в теплушку. Нет, не пускают: «Отойди, будем стрелять». Тогда мы взобрались на тормозную площадку. Решили — три-четыре часа как-нибудь протерпим.

Поезд тронулся, и мы стали замечать, что оттепель сменяется морозом. Ноги у нас мокрые. Они сразу дали нам знать о морозе. Стоим, коченеем на открытой площадке. Ну, бывает такое состояние, что нет мочи. Зубы выбивают дробь. Я уже решил, что мы пропали. Но человек — такое существо, что все выдерживает. Поезд остановится — бегает около вагона.

Промучились несколько часов и прибыли наконец в Новозыбков. У семафора остановился проклятый поезд. От семафора добежали к станции, на бегу согрелись.

Дальше — политотдел армии. Там встретились с Пахомовым. Нас обмундировали, выдали ватные телогрейки и австрийские ботинки, такие, что Роза обе свои ноги в один могла засунуть. И отпустили на месяц отдыхать в Москву.

Ровно через месяц мы с Розой опять явились в свою 12-ю армию..

\* \* \*

...На этом обрывается сохранившаяся запись.



А. ВОЛКОВ

★

## САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ

«**П**роизводительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя»<sup>1</sup>. Ленинские слова о генеральной нашей задаче мы заучиваем если не с детских, то с юношеских лет, а потом время от времени, по тому или иному поводу, вспоминаем, повторяем их всю жизнь. Но всегда ли отдаем себе отчет в значимости и сложности проблемы?

Впрочем, значимость, пожалуй, даже житейски понятна, и сложность состоит не в осознании самой истины, что только более высокая общественная производительность труда дает социализму окончательное преимущество над капитализмом. Принципиальные пути развития производительных сил тоже ясны. Наибольшая же трудность заключается в сознательной организации производственных отношений, при которых рост производительности был бы максимальным. И тем более этот момент представляется важным, что в условиях общественной собственности на средства производства возможности для сознательного совершенствования производственных отношений несравненно богаче, чем в капиталистическом обществе. Блестящий пример использования этого преимущества и показал В. И. Ленин, который теоретически разработал принципы новой экономической политики и непосредственно руководил их применением в жизни.

Экономическая реформа, проводимая в стране по решению мартовского и сентябрьского (1965) Пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда партии, также представляет собой совершенствование производственных отношений применительно к современному уровню и задачам развития производительных сил. Здесь тесно переплетаются процессы практического осуществления уже обоснованных, проверенных мер и дальнейшей теоретической разработки проблем, поставленных жизнью, возникающих в ходе реформы, вызванных ею. Реформа, несомненно, служит средством повышения общественной производительности труда, а вместе с тем требует, нам кажется, более глубокого осмысления самой этой экономической категории с позиций марксистско-ленинского учения, применительно к нашему времени, к нашим задачам. Но, пожалуй, разговор об этом лучше начать с фактов.

Прошлым летом, совершая со своим коллегой экономистом поездку по Ростовской области, в каждом колхозе, совхозе — у входа в контору и на полевом стане — мы видели лозунги, призывающие повысить производительность труда. Но председатель колхоза или директор совхоза, который только что по памяти называл данные об урожайности, надоев за многие годы, как правило, не сразу мог сказать, растет ли в его хозяйстве производительность труда и какие показатели этот рост характеризуют. Дело тут не в забывчивости, не в быстроте реакции — эти сведения просто не в ходу.

Председатель колхоза не назовет цифр, однако непременно скажет: «Как же, боремся за производительность, вот еще одну ферму механизировали, а на пахоте, на севе люди минуты берегут». Все так, возражали мы, но разве экономия времени на

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 21.

отдельных операциях, даже уменьшение затрат труда на центнер зерна, молока, мяса — разве это говорит уже обо всем?

Здесь, в степи, мы видели, например, посадки картофеля. Можно довести до высшего предела механизацию, к нулю свести ручной труд на картофельных полях, но родится тут картошка плохо и, если, скажем, расширять ее посевы за счет зерновых культур, производительность труда по хозяйству в целом разве увеличится? Вспомнился и другой, давний, правда, эпизод, но тоже происшедший в здешних местах. Руководители совхоза, чтобы очистить пруд, решили купить земснаряд. Машина, доставленная в село на нескольких железнодорожных платформах, справилась с задачей в несколько часов. Производительность — по сравнению с работой ведрами и даже помпами — тут, конечно, резко возросла, затраты живого труда на центнер перекачанной воды оказались мизерными. Но потом агрегат, стоивший сотни тысяч рублей, ржавел в бездействии. Как же бездумное приобретение сказалось на производительности труда по хозяйству в целом?

Возникало еще одно недоумение. В тех ростовских колхозах и совхозах, где выращивают овощи и фрукты, сообщали как о неизбежности: «Опять будем часть урожая скармливать скоту, силосовать». Те же сетования, и не однажды, приходилось нам слышать на Кубани и в черноземных областях.

Вставал естественный вопрос: можно ли признать производительным труд, плоды которого не использованы, то есть оказались ненужными — либо из-за того, что выращены неходовые сорта яблок, либо просто потому, что продукции изготовлено больше, чем практически возможно реализовать? Тем более можно ли говорить о мере производительности труда, пошедшего прахом?

Мы обращались с этими вопросами к очень многим руководителям и специалистам колхозов и совхозов, к колхозникам и рабочим, но, к удивлению своему, не встречали сколько-нибудь значительного ответного интереса. Всех волновали проблемы планирования посевных площадей, поставок машин, нужных хозяйству, а не каких попало; особенно беспокоили досадные неурядицы в сбыте продукции, но все это само по себе, вне связи с производительностью труда. Нам, конечно, показывали данные годового отчета: вот валовая продукция в расчете на человека — тут рост производительности выглядит получше, а начни рассчитывать на человеко-день — выйдет похуже. Пользуйтесь, мол, каким хотите показателем, какой вам приглянется. И за этим чувствовалось: а нам все это как-то ни к чему!

Тогда мы пришли в производственное управление Целинского района и попросили старшего экономиста Лидию Сергеевну Жученко назвать нам несколько лучших колхозов. Она стала рассказывать, кто лучше выполняет планы продажи хлеба, а кто — молока, у кого выше урожайность зерновых, а у кого — продуктивность свиноводства. Это неудивительно, иной раз даже спрашивают: «Вам по какому вопросу лучший нужен?» Приходилось бывать и в таких районах, где любой колхоз хоть в чем-нибудь, да передовой, — в конторе у него стоит хоть за что-нибудь, да врученное переходящее красное знамя — не за свеклу, так за картошку, не за мясо, так за мед. Но мы просили просто назвать три лучших хозяйства района, втайне надеясь, что уж тут-то никак не уйдешь от оценки по важнейшему показателю — производительности труда.

Нам составили табличку: первое место — колхоз имени Карла Маркса, второе — имени 1 Мая, третье — имени Крупской и т. д. Почему же один на первом, другой — на втором? Жученко объяснила, что взяла за основу сравнение плановой прибыли и достигнутой, — по этому, мол, показателю лучше всего судить об успехах колхоза. Но когда мы обратились с тем же вопросом к начальнику производственного управления Ивану Федоровичу Крупинскому и секретарю райкома партии Петру Яковлевичу Маркову, они не согласились с порядком, в котором расположила хозяйства старший экономист. Правда, на первое место они тоже поставили колхоз имени Карла Маркса, но на второе — имени XXIII партсъезда, на третье — имени Ленина и т. д.

Что же при этом служило критерием?

«Общее состояние экономики, — ответили руководители района, — то есть рентабельность производства, состояние фондов, уровень оплаты труда».

А производительность труда?

К этому нашему вопросу отнеслись, ну, скажем, снисходительно. С улыбкой объяснили, что это, мол, конечно, очень важно, но все-таки любой председатель скажет, что главное — рентабельность. И с государственной точки зрения тоже... Экономически сильный колхоз, как правило, и продукции государству продает больше, поставки его стабильнее, потому что стабильнее и урожай и надои. Разумеется, ссылались при том на мартовский Пленум ЦК КПСС, который рекомендовал считать рентабельность основным критерием хозяйственной деятельности.

Я попытался доказывать, что, мол, наращивание производительности и есть, видимо, средство увеличения рентабельности, укрепления экономики хозяйства, повышения оплаты труда. От роста производительности должна быть, видимо, выгода и государству, и хозяйству, и каждому труженику, иначе зачем же повышать производительность?

Но мне на это обычно замечали, что такие рассуждения вроде бы и не лишены смысла, однако на практике показатели производительности труда и рентабельности хозяйства иной раз напоминают шутника, который тычет указательными пальцами в разные стороны и говорит: иди вон туда. Табличка, которую мы потом составили, подтвердила это. По рентабельности на первом месте в районе оказался колхоз имени Крупской — 26,1 процента, а имени Карла Маркса на втором — 22,4. Но в первом колхозе производят валовой продукции в расчете на человеко-день 10,48 рубля, во втором — 14,24. Таким образом, второй по рентабельности колхоз оказывается по производительности труда на первом месте, а первый — на шестом.

Может быть, здесь сказалось влияние какого-то случайного фактора? Не исключено. Ведь только изменения в оплате труда ведут к изменениям рентабельности, — прибыль можно искусственно повысить или понизить повышением или снижением оплаты труда, поэтому мы в дальнейшем и будем говорить о валовом доходе, а не о прибыли. Но вся наша таблица, богатые данные по колхозам и совхозам Ростовской области, с которыми я потом познакомился в областном статистическом управлении, свидетельствовали, что между производительностью и, скажем, доходностью существует некое противоречие. А уж коль так, говорят практики, то лучше держаться за доходность.

Чтобы подробнее разобраться в этом явлении, я попросил у бухгалтера и экономиста колхоза имени Крупской данные за несколько лет. Приведу не всю таблицу, а только некоторые показатели, рассчитанные с учетом сопоставимости в процентах к 1958 году.

Годы	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Валовая продукция . . . . .	100	103	121	97	157	124	105	91	122	108
Основные и оборотные фонды . . . . .	100	103	119	123	138	132	140	146	177	201
Валовая продукция на среднегодового работника . . . . .	100	103	110	117	195	169	146	129	184	131

О чем говорит таблица? Сопоставляем две первые горизонтальные графы: вооруженность хозяйства фондами увеличилась вдвое, а валовая продукция — незначительно. Получается, как если бы лесорубы обзавелись вместо каменного топора электропилами, а деревья валили бы столько же или чуть больше, чем прежде. Но взглянем на следующую графу: зря мы расстраивались, продукции-то в расчете на человека стало все-таки больше, производительность выросла! Вот тогда мой коллега экономист и обратил внимание еще на один показатель — на валовой доход. Почему именно на него? Валовая продукция за вычетом материальных издержек и амортизации и есть источник, из которого колхозники черпают средства и для расширения производства,

и для распределения по труду<sup>1</sup>. Так вот, валовой доход в последние годы в связи с повышением закупочных цен на колхозную продукцию, конечно, вырос, но если исчислить его за те же годы в сопоставимом виде и в расчете на человеко-день, то оказывается, что он имеет явную тенденцию к падению. Тут мы уже оказались в полном тупике, даже в каком-то заколдованном кругу. Чтобы увеличить доходы хозяйства, надо вроде бы повышать производительность труда. А для этого в свою очередь требуется лучше оснастить хозяйство производственными фондами. И вот получается, что производительность повышается, но доходность в расчете на затраченный живой труд (человеко-день) падает, то есть возможности для расширения производства и роста оплаты сокращаются.

Что за чепуха, неужели же это закономерность? И как же можно руководить хозяйством, если основные показатели его развития оказываются в противоречии?

Первым колхозам, созданным в нашей стране, было не так уж трудно ориентироваться в поисках пути к намеченной цели. Не возникало, например, такого вопроса — на чем пахать или сеять: само собой разумеется, на лошадах. Иное дело в нынешних условиях. Одно и то же поле можно сброботать на тракторе марки «ДТ-54», или «С-80», или «Беларусь», или «К-700». На каком лучше? Производственное помещение можно построить из самана или кирпича, из железобетонных конструкций или обычного леса. На чем остановить свой выбор? Структура посевов и стада определяется в значительной степени планом закупок, но все-таки в современном крупном хозяйстве возможности для маневра значительны, к тому же колхоз может внести свои предложения по специализации. Какое сочетание отраслей и культур избрать? Руководителей выручает опыт. Но не всегда. И чем дальше, тем больше может быть ошибок в интуитивном руководстве, тем дороже станут они обходиться.

Что порой получается при нынешнем положении, убедительно показывает пример, приведенный мне в Министерстве сельского хозяйства СССР. В 1967 году в колхозах Туркмении в сравнении с 1965 годом производительность труда, рассчитанная как валовая продукция на среднегодового работника, возросла на 32,3 процента. Оплата труда за то же время увеличилась на 30,5 процента, то есть вроде бы соответственно росту производительности, есть тут даже необходимое опережение. Однако валовой доход в расчете на одного работника увеличился за эти годы только на 16 процентов. Значит, соответствия между ростом личного потребления и его источником явно не получается, в некоторых хозяйствах происходит сокращение отчислений в недельные фонды, на расширение производства. Я не исследовал специально этот случай, может быть, существовала какая-то объективная необходимость — экономическая или социальная — именно такого повышения оплаты, но пример дает представление о вероятности и степени ошибок, возможных при использовании применяемых ныне показателей производительности труда.

Невольно приходишь в конце концов к выводу — надо «танцевать от печки»: а что же разумеют люди под производительностью труда, какое вкладывают содержание в этот термин?

Оказалось — очень разное. Понятие, как будто бы такое житейски близкое, определенное, имеет, как выяснилось, не одно значение, существует несколько различных по сути своей «производительностей».

Вот «Указания о расчетах показателей производительности труда в колхозах и совхозах», изданные в 1968 году управлением статистики сельского хозяйства ЦСУ СССР. Заглавные строки этого документа не оставляют возможности для разночтений: «Показателем уровня производительности труда всего сельского хозяйства или его отрасли... является объем валовой продукции в денежной оценке по сопоставимым ценам в расчете на единицу затраченного времени. Показателем производительности труда по каждому продукту является объем производства отдельных видов продукции в натуре в расчете на один час или человеко-день, затраченный непосредственно на производство данного продукта».

<sup>1</sup> Если валовая продукция есть  $c + v + m$ , где  $c$  — материальные издержки,  $v$  — оплата труда,  $m$  — прибыль, то валовой доход =  $v + m$ .

Все определено четко, только очень хочется два эти определения поменять местами: из сказанного следует, что в основе всего — количество центнеров, кубометров, штук, изготовленных в час, а показатель, который иногда по недоразумению называют «стоимостным», есть лишь зеркальное отражение натурального, результат «денежной оценки» продукта. Сторонники такого понимания производительности труда совершенно логично говорили мне: «При чем тут ваши рассуждения о картошке в степи, земснаряде, погибших яблоках, при чем соответствие или несоответствие рентабельности? Скажем, установили на ферме машину, которая позволила сократить число работников; на человеко-день продукции стало приходиться больше — значит, производительность возросла». Повторяю: здесь все логично, если исходные тезисы принять за истину.

Сторонники иной точки зрения, как правило, прежде всего ссылаются на Ф. Энгельса. На одной из страниц «Капитала» Энгельс делает такое примечание: «Стоимость товара определяется всем рабочим временем, прошлым (овеществленным в средствах производства.— *А. В.*) и живым трудом, который входит в этот товар. Повышение производительности труда заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, уменьшается; что, следовательно, количество живого труда уменьшается больше, чем увеличивается количество прошлого труда»<sup>1</sup>. Здесь, как видим, подход к производительности уже совсем иной: недостаточно, чтобы новая машина просто выдавала большее количество продукции в единицу времени; она должна экономить столько живого труда (упрощенно скажем — зарплаты), чтобы затраты на саму машину (амортизация и проч.) были с лихвой перекрыты.

Интересно и замечание К. Маркса по поводу несколько иной ситуации: «Если производство известной машины стоит такого же количества труда, которое сберегается ее применением, то происходит просто перемещение труда, т. е. общая сумма труда, необходимого для производства товара, не уменьшается, или производительная сила труда не возрастает»<sup>2</sup>.

Да, но не относится ли все сказанное лишь к производству капиталистическому? Продолжая уже приведенную мысль, Ф. Энгельс утверждал, что в обществе, в котором производители регулируют производство согласно заранее намеченному плану, производительность труда безусловно будет измеряться уменьшением общего количества труда, входящего в товар. «К сожалению,— писал в свое время академик С. Г. Струмилин,— это предвидение Энгельса еще не оправдано советской статистической практикой... Большинство статистиков вообще игнорирует это указание... теоретически вполне обоснованные определения Энгельса о производительности труда»<sup>3</sup>. Со времени выхода в свет книги академика С. Г. Струмилина прошло восемь лет, за это время состоялись мартовский и сентябрьский (1965) Пленумы ЦК КПСС, XXIII съезд партии. В соответствии с требованиями практики они очень большое внимание уделили повышению экономической эффективности производства, увеличению отдачи производственных фондов, то есть как раз лучшему использованию овеществленного труда (разумеется, вкупе с живым), и можно бы уже сделать вполне определенный вывод, какая из названных двух точек зрения на производительность для нас подходит.

При взгляде на производительность с позиций экономики совокупного труда понятие становится и причины парадоксов, подобных тем, что наблюдали мы в Ростове, и пути преодоления некоторых противоречий. Очевидно: в колхозе имени Крупской снижение сопоставимого валового дохода объясняется тем, что экономии живого труда, достигаемая за счет лучшей оснащенности колхозника, с лихвой перекрывается «перерасходом» труда прошлого. Процесс этот характерен, к сожалению, не для одного хозяйства. Порой говорят, что на каком-то этапе основательного технического перевоо-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. I, стр. 286. (Разрядка моя.— *А. В.*)

<sup>2</sup> Там же, т. 23, стр. 402.

<sup>3</sup> С. Г. Струмилин. Проблемы социализма и коммунизма в СССР. Издательство экономической литературы М. 1961, стр. 223, 224.

ружения деревни подобное явление может быть оправдано: отдача будет получена позднее. Не знаю, насколько правомерно такое суждение, но ясно, что тенденция опасна и показатель производительности труда вкупе с другими должен о ней постоянно сигнализировать, а не затушевывать ее. И это особенно важно как раз тогда, когда основным источником роста производства продукции становится не расширение площадей, а интенсификация земледелия и животноводства, когда в село по решению октябрьского (1968) Пленума ЦК КПСС направляются новые средства на механизацию, мелиорацию, химизацию.

Но разрешается ли полностью противоречие между доходностью и производительностью признанием оценки последней по экономии совокупного труда?

Вспомним картошку в Сальских степях, неходовые яблоки, заглянем на склады «Сельхозтехники», где иные машины, не пользующиеся спросом, стоят годами, а потом отправляются в переплавку... Составители «Указаний» ЦСУ, как мы уже видели, призывают за производительный и труд, пошедший прахом. И даже находят меру этой производительности. Я позволю себе еще раз обратиться к тому же документу статуправления, поскольку он, во-первых, является официальной инструкцией и многое определяет в практике колхозов и совхозов, а во-вторых, как добротная инструкция очень четко выражает определенную точку зрения и помогает просто многое лучше понять.

«Показатели уровней производительности труда всего сельского хозяйства в денежном выражении,— говорится в «Указаниях»,— не позволяют сопоставлять их при резко разнородном производстве продукции в хозяйствах и областях. Так, например, нельзя сопоставлять уровень производительности труда области с зерновым направлением с уровнем производительности труда области с производством технических культур; нельзя сопоставлять колхозы области с совхозами, если они резко разнородны по составу продукции; нельзя сопоставлять уровень производительности труда в земледелии с уровнем производительности труда в животноводстве».

Посмотрим на это замечание прежде всего практически: если показатель не дает возможности сопоставлять хозяйства с разной структурой производства (чтобы, скажем, отыскать наилучшую, решить, например, что целесообразнее выращивать в Сальских степях — зерно, картошку или свеклу), то для чего же он применим? Для изучения, говорят, развития одного хозяйства в течение ряда лет, то есть его динамики. Но много ли у нас теперь колхозов и совхозов, где за последние пять лет структура производства не изменилась бы? Ведь всюду развивается процесс специализации! Значит, сегодняшнее хозяйство с одной структурой нельзя сравнивать с тем же, но вчерашним хозяйством, поскольку у него была другая структура? Что же это тогда за показатель, если он вообще ничего не показывает?

Однако главный вопрос вот в чем: почему же вдруг у нас разнородный труд оказался несопоставимым? Ведь К. Маркс писал, что, «Приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд»<sup>1</sup>. Если авторы «Указаний» и другие специалисты, отстаивающие несравнимость производительности труда в денежном выражении, имеют в виду, что в сельском хозяйстве, несмотря на принятые уже меры, еще недостаточно отлажены цены, рентный механизм и т. д.,— они правы. Только тогда надо совершенствовать именно то, что несовершенно, а не уродовать, приспособляя к несовершенному, все остальное.

Но здесь возникает и другая мысль: не утратили ли сторонники «несравнимости» саму объективную основу сравнения, веру в ее существование? Об этом можно подумать, когда в письме одного статистика<sup>2</sup> читаешь такие строки: «Для сравнения уровней производительности труда одного хозяйства с другим можно использовать только натуральные показатели по каждому в отдельности продукту. Никто не сравнивает уровень производительности труда завода по выплавке чугуна с заводом по производ-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 23, стр. 84.

<sup>2</sup> Критикуя существующие инструкции ЦСУ и цитируя данное письмо статистика, я отнюдь не думаю, что и теперь заблуждается большинство статистиков, как утверждал в свое время С. Г. Струмилин.

ству сахара. Так же точно нельзя сравнивать уровень производительности труда овощного совхоза с совхозом, производящим хлопок». Мнение это довольно распространенное, и разобраться тут стоит поподробнее.

Распознавание двойственного характера труда, заключенного в товаре,— выдающееся открытие Маркса, которое он и сам наиболее высоко ставил,— это ключ к пониманию и товара, и товарного производства, и любой экономической категории в обществе, где труд выступает мерой экономических отношений. Очень часто цитируется такое высказывание К. Маркса: «Производительная сила, конечно, всегда есть производительная сила полезного, конкретного труда и фактически определяет собой только степень эффективности целесообразной производственной деятельности в течение данного промежутка времени»<sup>1</sup>. К сожалению, об этом зачастую говорят, стремясь как бы отгородить понятие производительности труда от стоимости, от абстрактного труда. Из этого, в частности, и следует предпочтение натуральным показателям и недоверие к стоимостным, отсюда — толки о невозможности сравнивать производительность труда на разнородных производствах. Однако сам Маркс, величайший из диалектиков, всегда рассматривал конкретный и абстрактный труд в единстве, во взаимосвязи. На тех же страницах «Капитала», откуда взята цитата, Маркс анализирует взаимосвязи между потребительной стоимостью и стоимостью в условиях роста производительности труда. И ясно, что это важно для него не само по себе, а для раскрытия истинных источников прибыли капиталиста, замаскированных «производительностью» капитала. В следующих главах Маркс устанавливает зависимости, которые говорят о многом: «Стоимость товаров обратно пропорциональна производительной силе труда... Напротив, относительная прибавочная стоимость прямо пропорциональна производительной силе труда»<sup>2</sup>. Уже из этого, думается, можно понять, насколько неправомерно акцент лишь на конкретном труде, когда речь идет об исследовании Марксом производительности труда, насколько неправильно вырывать из контекста приведенные выше строки да еще делать из них многозначительные выводы, словно позабыв о существовании всех остальных томов «Капитала».

Труд в своем качестве конкретного целесообразного труда (отношение: человек — природа, предметы и средства труда) всегда производительен в том смысле, что создает вещи, потребительные стоимости. Однако все выглядит иначе, как только он включается в систему определенных производственных отношений (человек — человек, человек — общество). Капиталиста, говорит Маркс, такая характеристика, такое определение производительного труда уже не устраивает. При товарном производстве потребительная стоимость не представляет собой вещи, «которую любят ради нее самой»<sup>3</sup>, сапоги производят не ради их самих, не для того, чтобы их носить, а для того, чтобы их продать. Капиталист хочет «...произвести не только потребительную стоимость... но и стоимость, и не только стоимость, но и прибавочную стоимость»<sup>4</sup>. И труд не был бы производительен в капиталистическом смысле, если «не производил бы никакой прибавочной стоимости»<sup>5</sup>. Значит, и заботясь об увеличении производительности труда, капиталист интересуется не всяким увеличением числа сапог в единицу времени, он непременно имеет в виду цель: увеличение прибавочной стоимости, капитала. И Маркс говорит: «Само существование класса капиталистов, а значит и капитала, основывается на производительности труда, но не на абсолютной, а на относительной его производительности»<sup>6</sup>.

Рассуждения Маркса представляются методологически чрезвычайно важными. Для нас интересна двойственная характеристика производительности труда, вытекающая из двойственного его характера, интересно само понятие относительной производительности, связанное с абстрактным трудом, определенной общественной формой труда. Естественно опять-таки возникают вопросы: во-первых, является ли труд и при социалистическом способе производства двойственным, если — да, то, видимо,

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 23, стр. 55.

<sup>2</sup> Там же, стр. 330.

<sup>3</sup> Там же, стр. 197.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же, т. 26, ч. I, стр. 134.

<sup>6</sup> Там же. (Разрядка моя.— А. В.)

и в наших условиях неправильно связывать производительность труда только с конкретной его формой, игнорируя стоимость? Во-вторых, если мы признаем двойственность труда, необходимость товарного производства при социализме и, следуя методологии и терминологии Маркса, должны ориентироваться не на абсолютную, а на относительную производительность труда, тогда что же составляет ее содержание, смысл, цель для непосредственного производителя, предприятия, государства? Можно, пожалуй, последний вопрос поставить так: если в условиях капитализма рост производительности труда прямо пропорционален прибавочной стоимости, то чему же он должен быть пропорционален у нас?

О двойственности труда и теперь идет спор, а история этого спора — это история нашей экономической науки и практики, всего социалистического производства от самого его зарождения.

Известно, что до и даже сразу после победы Октябрьской революции у большинства, если не у всех, теоретиков коммунизма существовало представление, будто с переходом средств производства в собственность трудящихся товарно-денежные отношения немедленно заменятся прямым продуктообменом, а деньги «отомрут», то есть труд в его конкретной форме станет непосредственно общественным. «Мы предполагали, — говорил по этому поводу В. И. Ленин, — что, создав государственное производство и государственное распределение, мы этим самым непосредственно вступили в другую, по сравнению с предыдущей, экономическую систему производства и распределения»<sup>1</sup>. Оказалось, что это не совсем так. «Мы знали, видели, говорили: нужен «урок» у «немца», организованность, дисциплина, повышение производительности труда.

Чего не знали? Общественно-экономическая почва этой работы? На почве рынка, торговли или *против* этой почвы?

...товарообмен предполагал (пусть *молча* предполагал, но все же предполагал) некий непосредственный переход *без* торговли, шаг к социалистическому продуктообмену.

Оказалось: жизнь *сорвала* товарообмен и поставила на его место *куплю-продажу*<sup>2</sup>.

Именно В. И. Ленину принадлежит величайшая заслуга в развитии марксистского учения применительно к конкретной практике социалистического строительства, именно он положил начало теоретической разработке и осуществлению новой экономической политики партии, суть которой составляло не свертывание, как ранее предполагалось, а развитие и использование товарно-денежных отношений в процессе движения к коммунизму. Не стоит, наверное, специально напоминать цитаты из сочинений В. И. Ленина, чтобы так или иначе, прямо или косвенно выяснить его взгляды на двойственность труда в условиях господства общественной собственности — практика того времени не оставляет места для двусмысленных толкований.

Позднее двойственность труда иными отрицается вовсе, иными признается формально, с оговоркой, что между двумя формами труда противоречия нет (думается, второе равносильно первому). Я не имею возможности углубиться в этот сложный вопрос, не буду ссылаться на отдельные работы и высказывания, но ведь всем известно, что в практике до последнего времени между продуктом произведенным и проданным ставился знак равенства (оценка работы предприятия по валу), известны попытки найти способы соизмерения различных видов труда не на базе его абстрактной формы — стоимости, — а, например, при помощи кормовых единиц или больших калорий, когда речь шла о продуктах сельского хозяйства. Как видим, предпринимались даже поиски в направлении замены золота иным натуральным эталоном, который позволял бы сопоставлять различные виды конкретного труда: ведь практика неизменно требовала соизмерения! Можно ли было в этих условиях ожидать от статистиков какого-то иного счета, кроме натурального, можно ли было поколебать позиции тех, кто не считал даже нужным учитывать соотношение овеществленного и живого труда в товаре? Ведь порой даже критики таких позиций понятие «совокупный труд» рассматривали механистически.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 199.

<sup>2</sup> Там же, стр. 470—471.

говорили об общественной трудоемкости изделия почти технологически, словно о металлоемкости, и сетовали лишь по поводу того, что, мол, затраты живого труда на центнер или штуку продукта высчитать нетрудно, а вот прошлый овеществленный труд, уже выраженный в рублях, перевести обратно в часы нелегко.

Принципиально иной подход к проблеме диктуют решения партии о новой системе планирования и экономического стимулирования, восстанавливающие применительно к новым условиям ленинские нормы хозяйствования. В этих документах, в частности, зафиксировано требование оценивать деятельность государственных предприятий не по валу («денежная оценка» штук за год), а по реализованной продукции. Решение это основывается на передовой теории, продиктовано опытом, практикой. Оно исходит из необходимости всякий конкретный труд рассматривать с позиций того, как он включается в общественные экономические отношения — полезен ли людям, обществу, какова степень его полезности в сравнении с другими видами труда. Это есть практическое применение учения о двойственном характере труда в условиях социалистического способа производства. Из этого непреложно следует вывод: более производителен тот труд, который выше ценится потребителем, совсем непроизводителен тот, который затрачен на изготовление предметов, продуктов, никому не нужных. Становится ясным, что «денежная оценка» произведенной природы в расчете на человека и стоимостной показатель — вещи совершенно различные. Так что же может служить стоимостным показателем, критерием, мерой производительности труда?

В Ростове, размышляя об этом вместе с экономистами, мы пришли к выводу: правы те ученые и практики, которые предлагают судить о производительности труда в хозяйстве по размерам вновь созданного продукта, вновь созданной стоимости, практически — валового дохода в расчете на человеко-день (человеко-час). Почему? Чтобы не вдаваться в детальные доказательства, скажем пока так: этот показатель дает реальное представление, сколько в данном колхозе произвели нужной обществу чистой продукции во всем ее многообразии за единицу рабочего времени, а вместе с тем какую сами получили от этого выгоду. Если сделали глупость вроде той покупки земснаряда, или избрали структуру производства, которая не лучшим образом отвечает местным условиям, или по каким-то иным причинам продукт обошелся дороже, чем того стоит, — все это сразу отразится на предлагаемом показателе, разумеется, противоположно тому, как скажутся на нем удачные хозяйственные решения. В том коренное отличие предлагаемого показателя от ныне применяемых «приборов», сигнализирующих о благополучии даже тогда, когда нужно бить тревогу.

Валовой доход в расчете на человеко-день — правильный ориентир для изменения в уровне оплаты труда; он сопоставим с достижениями других хозяйств... Но тут вдруг преходит мысль: а правы ли мы были, обвиняя руководителей хозяйств в беспечности по отношению к росту производительности труда? Разве не о росте валового дохода заботится любой председатель колхоза, правление, общее собрание артели, когда они пекутся об увеличении продажи продукции, накоплении средств для расширения производства и росте оплаты труда? Выходит, что они беспечны не по отношению к производительности, а только по отношению к показателю, который их дезориентирует, но думается, охотно пользовались бы таким показателем, который помогал бы им выбирать наилучшие пути к цели...

Тогда, в Ростове, мы рассуждали несколько эмпирически. Но и теперь, размышляя о необходимости ориентироваться на относительную производительность труда, невольно возвращаюсь к вновь созданной стоимости, к валовому доходу. Наверное, может быть изобретена более гибкая, более точная формула производительности, чем та, о которой мы говорили. Но если иметь в виду цель, если исходить из понимания труда не в техническом, а экономическом смысле (терминология Ф. Энгельса), то не обойдешь тут валового дохода предприятия и национального дохода страны. Самой сложной оказывается при этом проблема взаимоотношений интересов отдельного работника, предприятия, государства, проблема взаимосвязей во всей цепочке — от валового дохода предприятия до национального дохода страны.

Очевидно, что для повышения производительности на отдельном предприятии важнейшую роль играют макроструктурные изменения, которые планомерно осуществ-

ляются в масштабах государства, отрасли, области. Для примера достаточно сравнить хотя бы возможности колхоза, который сам ставит электростанцию на местной речке вместо бывшей мельницы, и хозяйства, подключенного к государственной электро-системе; артели, где топливом служат только дрова, и полностью газифицированного сельскохозяйственного предприятия. Я уже не сравниваю районы, области, где колхозу, совхозу дают план на десятки видов продукции, «от картошки до моркошки», и те, где плано-во концентрируют производство, создавая специализированные индустриального типа предприятия. Но не менее важна и обратная зависимость — общественной производительности труда от заинтересованности в ее росте каждого участника производства. И дело даже не только в его заинтересованности, а в положении на производстве; здесь тесно переплетаются экономические и социальные проблемы.

«Граница применения машин» при капитализме по Марксу — это, в сущности, уровень прибыли. При социализме эта граница может лежать в совершенно иной плоскости: социальный момент порой оказывается ограничителем экономически выгодных решений. Но социализм, тем более коммунизм, может и должен создать более высокую, чем при капитализме, производительность труда именно за счет заботы о ней каждого труженика, а не одного хозяина-предпринимателя, то есть за счет социального же момента. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал это генеральное преимущество новой общественной системы, обращал внимание на этот источник роста производительности как на важнейший. «Коммунизм, — писал он, — есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих»<sup>1</sup>. Однако всегда ли достаточно последовательно прослеживаем мы взаимосвязь — от деятельности индивидуального работника до производительности труда всего общества?

Ныне существует и часто употребляется классификация, которая различает три типа производительности: общественная (в масштабе народного хозяйства, общества), локальная (уровень предприятия, отрасли), индивидуальная (рабочего, колхозника). Спорить против такого деления немислимо, поскольку в действительности существуют разные масштабы, уровни производства, но ведь подчеркивается обычно не просто формальное различие между этими уровнями — три типа производительности труда начинают существовать в разных измерениях. Индивидуальную производительность можно, мол, характеризовать только штуками, центнерами, кубометрами в час, а вот уж локальная и общественная — нечто другое. Тут предлагается разное: оценивать ее по чистой продукции, по реализованной, по валовому доходу. По-моему, если перевести все это на житейский язык, «индивидуальная производительность» будет выглядеть так: ты, колхозник-огородник, выращивай помидоры, которые тебе поручено выращивать, ты, слесарь-механизатор, нарежь болты да гайки, которые поручено нарезать, — больше сделаешь — больше получишь, а до остального, скажем, до реализации, дохода, тебе и дела нет. Чуть раньше, до реформы, о локальной производительности можно было сказать буквально то же самое.

Я как-то спросил знакомого тракториста, показывая на лозунг, призывающий повышать производительность труда, как он его понимает. Парень усмехнулся: «Вкалывать, мол, надо!» Он правильно прочел то, что написано, такой же смысл нередко кроется за понятием индивидуальной производительности, точнее, происходит подмена: стимулировать предлагается не производительность, а интенсификацию труда, и только.

В последнее время в среде писателей и журналистов стали очень модными дискуссии о хозрасчетных звеньях, бригадах, которые представляют порой буквально панацеей от всех бед, хотя авторы непременно оговариваются, что это не панацея. Здесь есть попытка уйти от сделщины, сделать ставку на инициативу, творчество непосредственных производителей, но именно в этих дискуссиях ярко обнаруживается невозможность разрешения проблемы на каком-то одном уровне, вне связи с остальными, и некоторые авторы опять-таки все сводят к интенсификации труда, ограничивают сферу приложения ума колхозника одним полем, договариваясь даже до «прямого

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 22.

долевого участия колхозников в производимом продукте» и забывая, кто же хозяин всего-то продукта.

В связи с этим вспоминается, что еще в 1958 году группа английских экономистов выпустила книгу под названием «Производительность труда и экономические стимулы». Авторы ее в результате длительных исследований и экспериментов, связанных с внедрением сдельщины, рекомендовали, в частности, предпринимателям создавать группы (назовите их звеньями) в среднем не более пяти человек. Цель? Интенсификация труда во имя роста прибыли капиталиста. Да, звенья хозрасчетного, аккордного типа может создавать и капиталист, главный-то вопрос в том, в какой системе они будут действовать, в чьих интересах будет все сделано. В связи с этим мне хочется привести строки из письма Николая Александровича Батурина, председателя сельхозартели «Кушалино» Калининской области, депутата Верховного Совета СССР:

«Если присмотреться к жизни, то можно легко заметить, как много теряется в производстве от того, что слабо учитывается еще «человеческий фактор». Мы в последнее время пытаемся учесть его по возможности полнее. Поэтому при разработке схем организации труда и оплаты стремимся к тому, чтобы человек не был «задавлен» техникой, забюрократизированной организацией, чтобы сохранить и расширить границы, в которых каждый может проявить на работе свою индивидуальность, инициативу, ответственность, реализовать свои права хозяина производства.

В оплате труда мы придерживаемся того принципа, чтобы стимулировать колхозника как индивидуального работника, как члена данной бригады и как члена всего колхозного коллектива, ответственного за все его дела. То есть создана своеобразная трехступенчатая система поощрений. Как индивидуальный работник, колхозник получает премию за каждый килограмм сверхплановой продукции, созданной им. (План устанавливается на уровне среднеколхозных достижений.) Как член бригады, он получает премию, если бригада перевыполнит план производства валовой продукции по стоимости. На сколько процентов перевыполнен план, на столько же увеличивается и фонд оплаты. Наконец, все колхозники в равной мере получают на заработанный рубль часть прибыли хозяйства, поступающей в распределение. Таким образом, мы пытаемся гармонически увязать интересы отдельного работника, бригады, всего хозяйства».

Здесь тоже вроде бы просматривается три уровня производства, свои «три типа производительности», а с ними связана и «трехступенчатая» оплата, однако столь же очевидна и взаимосвязь их. Да, один колхозник выращивает зерно или помидоры, другой нарезает болты или гайки, но прежде они все вместе на общем собрании решали, чего и сколько выращивать, когда и что строить, сообразуясь и с заказом на продукцию, и с ценами, ориентируясь на расчеты своих специалистов, правления артели, которое опять-таки сами выбирали, которому доверяют. От их решений во многом зависит уровень производительности труда по хозяйству в целом, той производительности, которой прямо пропорционален валовой доход — источник общего богатства. Я далек от идеализации положения в колхозе, но все-таки здешние три типа производительности сливаются в нечто единое, как в одном человеке сливается работник и хозяин. Между ними нет непроницаемой стены. Явно просматривается и единство двух стимулов — материального и морального, последний, видимо, прежде всего в том и состоит, что человек создает себя хозяином производства. Эти стимулы побуждают не только к более интенсивному труду, но и к активной борьбе за повышение его производительности, причем то и другое тесно взаимосвязано.

Ленинские слова о значении производительности труда не только сохраняют свою силу, но становятся все более злободневными. Сейчас производительность труда в сельском хозяйстве, как и предвидел в свое время К. Маркс, должна расти быстрее, чем в промышленности. Чтобы активно и успешно содействовать этому, надобно разобраться до конца, о какой же производительности идет речь. Ускорять движение к цели можно, лишь наметив ее со всей необходимой точностью.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ

★

## ВСТРЕЧИ

*Из книги «Портреты словами»*

*Алексей Николаевич Толстой*

**В**первые я увидела Алексея Николаевича Толстого в 1906 году на вечере поэта Игоря Северянина в клубе «Свободная эстетика» в Москве, куда привел меня отец, неутомимо стремившийся в педагогических целях начинать меня с самого раннего детства большим количеством разнообразных впечатлений. И тот вечер четко врезался мне в память.

Комнаты «Эстетики» постепенно заполнялись представителями новейших течений литературного мира и интеллигенции Москвы. Отец называл мне главных: «Вот Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Бердяев, Степун, Максимиллиан Волошин, Осип Мандельштам, Константин Липскеров, Виктор Гофман, Гершензон, Нина Петровская...» К этим именам отец прибавлял непонятные мне в то время слова — символист, акмеист, декадент, философ.

Входили мужчины и женщины какого-то странного вида. Меня поражала и бледность их лиц (иногда за счет пудры), и преобладание черных сюртуков особого покроя, и какие-то длинные, балахоноподобные, из темных бархатов, платья на женщинах.

Они скорее проплывали, чем ходили, в каком-то замедленном темпе. В движениях была вялость и изнеможение. Говорили нараспев, слегка в нос. И я уверена была, что они условились быть «особенными».

Уже появился и сам Северянин. Все заняли места в комнате, где происходили выступления. Настала выжидательная тишина, и вдруг какой-то шум привлек внимание всех к входным дверям, в которые торопливо, но властно вошел молодой, красивый человек очень холеного вида, с живым, нормального цвета лицом и веселыми глазами. И мне показалось, что этот человек из другого, более жизне-радостного мира, чем большинство присутствовавших, хотя что-то особенное (но — другое) было и в нем. Это был Алексей Николаевич Толстой.

Мое первое полудетское впечатление, как выяснилось в дальнейшем, не обмануло меня. До последних дней его жизни ярко горело в Толстом чувство жизнеутверждения, и, конечно, «особенным» он был всегда.

Познакомилась я с Алексеем Николаевичем Толстым году в 1916-м. Толстой, увидев на одной из выставок мои работы, просил меня написать портрет его жены Наталии Васильевны Крандиевской. Жили они в одном из переулков Арбата. Я пришла к ним. Наталия Васильевна меня очаровала с первого взгляда. Мы долго обсуждали и позу, и платье, и фон будущего портрета. Толстой во всем этом принимал страстное участие — волновался, говорил о тоне, цвете, композиции портрета. По молодости лет я даже слегка струсилась перед таким взыскательным заказчиком, но одновременно очень вдохновилась будущей работой. Не помню, ка-

кие обстоятельства помешали осуществлению этого портрета, и он не был написан мною. Мое мимолетное знакомство с Толстым оборвалось.

Возобновилось оно в 1929 году, когда Толстые поселились в Детском Селе под Ленинградом, где Алексей Николаевич прожил до 1938 года. Мы вскоре сдружились и перешли «на ты», что для меня всегда было нелегко. Дом Алексея Николаевича был очень оживленным и гостеприимным: подрастали дети Толстых — Никита и Митя. В дом вливались их многочисленные друзья — веселая, талантливая молодежь, — и жизнь Толстого расширялась и обогащалась новыми заботами и интересами, новыми волнениями и забавами. Зимой в праздники устраивались маскарады, елки, танцы и ночные катания. Летом — далекие прогулки пешком и на велосипедах, игра в теннис и другие развлечения. Главным заводилой был, конечно, Алексей Николаевич.

Детское Село Алексей Николаевич очень любил. Изучил его парки, дворцы и окрестности в мельчайших подробностях и, неумоимо восхищаясь, водил и общался к этим красотам всех приезжавших к нему. Водил иногда очень далеко, чтобы показать особенной формы или цвета дерево, а иногда даже отдельную ветку.

Любил Алексей Николаевич свой сад вечерами и ночью, его тишину, летние запахи его цветов и земли, запах морозного воздуха зимой. Молчал, вздыхал, любовался, а если говорил, то каким-то благоговейным, тихим голосом.

Так же как впоследствии в Барвихе и везде, где бы он ни обосновывался, Толстой писал ежедневно по четыре — шесть часов. По воскресеньям к нему приезжали из Ленинграда в большом количестве разнообразные люди. А на неделе, к вечеру, собирались более близкие друзья: композиторы Юрий Шапорин, Гаврила Попов и писатель Вячеслав Шишков, жившие постоянно в Детском. Уже и тогда умел Алексей Николаевич объединить и столкнуть у себя людей самых разных характеров, профессий и возрастов, и к нему жадно тянулись люди. Всех привлекал талант Толстого, его энергия, оптимизм, ненасытное отношение к жизни, любовь и вера в людей и родину. Очень уж безнадежные пессимисты и бесцветные люди, естественно, и не бывали у Толстого. Слова и выражения — скука, лень, мелкая душонка, паршивый склочник, подхалим, трус, бездарный дурак — произносил он как-то гнусава, в нос, с подчеркнутой брезгливостью. Не помню, чтобы он употреблял выражение «мне кажется»: он четко видел, чувствовал, знал.

Часто ездил Толстой в Ленинград по литературным делам, не пропускал и интересных спектаклей и концертов. Любил ездить в гости и иногда, поддавшись своему вечно молодому задору, прихватить с собой нескольких своих друзей, которых он настолько упорно убеждал, что поехать неприглашенными и есть самое привлекательное, что они сдавались и подчинялись. Хозяева дома, не подготовленные к такому нашествию, бывали, естественно, удивлены и растеряны, а приехавшие смущены. Но Алексей Николаевич умел в таких лестных выражениях представить друг другу хозяев и привезенных, что всем не оставалось ничего другого, как чувствовать себя польщенными.

Тут Алексей Николаевич брал инициативу в свои руки, вел себя столь уютно и непринужденно, что неловкость быстро рассеивалась, и обычно «пострадавшие» хозяева потом говорили, что такого интересно проведенного обеда или вечера они у себя не помнят. Я несколько раз бывала жертвой этих его чудачеств.

Также и домой, в Детское Село, из Ленинграда он вваливался часто в сопровождении изрядного количества неожиданных гостей. А бывали и такие случаи, когда он, войдя в дом, говорил: «Через час поездом приедут человек двадцать — двадцать пять, уговорились, что к обеду». И если Алексея Николаевича спрашивали: «Кто же приедет?», — он говорил: «Не приставайте! Мотался по городу, приглашал не помню кого, но все безусловно чудные люди! Вот сами увидите!» Лица домашних, особенно ведавших хозяйством, естественно, выражали легкий ужас, но всегда все улаживалось к общему удовольствию.

Нередко читал Толстой собравшимся у него отдельные главы и куски тех произведений, над которыми в данное время работал, и внимательно следил за

произведенным впечатлением и высказанными суждениями. Иногда, в очень узком кругу людей, любил он импровизировать устные рассказы; желание это, тема и ее воплощение возникали внезапно. Называл он это — «враньем».

Чувствовал он иногда необходимость поговорить «по душам» о сугубо личных, подчас сложных и важных домашних делах и в таких случаях бывал слегка смущенным. Для таких бесед чаще всего выбирал он странную обстановку — внутреннюю деревянную, с уютными пузатыми балясинами перил, лестницу, ведущую во второй этаж, где расположены были спальни. Расставив на ступенях несколько пар обуви и разнообразнейшие предметы для чистки ее (Толстой любил сам чистить обувь), он усаживался на край одной из ступенек, приглашая меня расположиться так же. Осмотрев внимательно башмак или туфель, подлежащий чистке, он приступал к делу, а одновременно и к разговору. К концу разговора обувь была доведена до изумительной чистоты и блеска. Иногда он говорил: «Хоть бы привезла свои особо грязные, паршивые туфли, а то дома я уже все перечистил!»

Весной 1940 года мы с мужем пригласили Алексея Николаевича с женой, Людмилой Ильиничной, приехать к нам летом в деревню Дубово на озеро Селигер, где у нас был забавный и довольно большой дом. В то лето у нас гостило уже несколько друзей — балерина Татьяна Вечеслова, писатель Александр Николаевич Тихонов (Серебров), композитор Александр Александрович Голубенцев, наш совладелец художник Виктор Семенович Басов и другие, а вокруг на Селигере жило много знакомых. Некоторые из них были также друзьями и Толстого. Бывало у нас весело и шумно. К услугам приезжавших имелось две яхты и несколько байдарок. Дом был расположен на самом берегу озера, на Березовском плесе. Купаться обычно мы переправлялись на байдарках на противоположный берег, где был дивный песчаный пляж.

В начале августа получаем телеграмму-молнию: «Выехали. Встречайте. Толстой». Художник Виктор Басов отправился рано утром на пароходе встречать Толстых в город Осташков — «столицу» Селигера, а часам к одиннадцати утра они обратным пароходом были уже в Дубове.

Хотелось достойно и парадно встретить желанных гостей. Со стороны озера к дому была пристроена огромная, открытая, без крыши терраса с широкой лестницей в центре. По углам террасы и внизу, по обеим сторонам лестницы, были врыты толстенные рубленые бревна. Эти бревна, несколько возвышавшиеся над перилами, образовывали невысокие тумбы. Мы решили украсить их для торжественного шествия приехавших. На двух нижних тумбах лестницы посадили прирученных и выдрессированных мною двух ястребов, уже почти взрослых, а на верхних двух — в последний момент — должны были стать «на арабск» две балерины, одна из них — Татьяна Вечеслова, неугомонная, под стать Толстому, другая — Галина Уланова, на остальных столбах террасы в огромных глиняных макитрах для теста поставили невероятной величины букеты полевых цветов. Не выпавшийся в поезде и досыпавший на пароходе Толстой был ошеломлен увиденным и окончательно проснулся. Вскоре привезенные Толстым чемоданы были распакованы. Самый большой был наполнен коробками с ампулами бактериофага, только что выпущенного тогда, а Алексей Николаевич обожал всякие медицинские новинки и страшно возмущился, когда я сказала, что все у нас здоровы. Он заявил: «Все равно принимать будут, это дивное средство!»

Алексей Николаевич торопился начать немедленно наслаждаться всеми благами, которыми изобилует Селигер и его разнообразная природа.

Мы были слегка смущены негостеприимным поведением погоды — почти непрерывно лили дожди, — но Алексей Николаевич уверял, что мы ничего не понимаем, погода дивная, нечего обращать внимание на какой-то дождь. Он нас убедил, и мы решили считать, что дождя нет. Во всяком случае дождь не препятствовал нам совершать далекие походы на яхтах и байдарках, иногда с ночевкой, купаться, ловить рыбу, бродить по лесам за грибами, а также навещать знако-

мых, живших на других плесах. Вечерами, иногда промокшие и продрогшие за день, мы растапливали наш огромный камин; Алексей Николаевич занимал место на чучеле большой тихоокеанской черепахи, служившей сиденьем перед камином, остальные располагались вокруг, кто на ковре, кто на тахте, и начинались увлекательные беседы. А наутро — опять исследование новых плесов, островов, заводей озера Селигер. Так, в окружении красот природы и в ощущении непрерывного отдыха и праздника, незаметно прошли три недели, и срочные дела ждали уже Алексея Николаевича в Москве. Он так влюбился в Селигер — это случилось почти с каждым, кто бывал там, — что решил на все будущее лето приехать к нам и писать третью часть «Петра». Перед его отъездом мы отправились на туристскую базу в деревню Бараново, где была маленькая верфь, и Толстой заказал себе для будущего лета какую-то особую байдарку с медными шурупам. (Его прельщало все, что сделано из меди.)

Всему этому не суждено было сбыться: 22 июня 1941 года началась война и сразу же дорога на Селигер для нас была закрыта — по ней шли только воинские поезда.

В октябре 1941 года мы с мужем ехали поездом из Молотова в Ташкент. С трудом устроились в эшелон Академии наук, эвакуированный из Москвы 16-го числа.

Едут мрачные, бледные, растерянные люди. Мало кто соображает, куда и зачем едут; настроение подавленное. Стараются преимущественно спать — чтобы не думать, очевидно. В вагонах не прибрано. Почти не разговаривают. Часто стоим на путях, забитых военными эшелонами, идущими на фронт, и эвакуируемыми в глубь страны на восток. Остановка в Свердловске. Начальник нашего эшелона каким-то образом сумел получить на вокзале газеты. По вагонам переходит из рук в руки только что вышедший номер, в котором помещена статья А. Толстого «Кровь народа». Читают статью вслух. Впечатление незабываемое.

В дни войны Алексей Николаевич почувствовал себя мобилизованным воином и сумел найти самые необходимые мысли и слова, чтобы помочь завоевать победу родине.

В Ташкент Толстой приехал из Горького в декабре. Внимательно следил он за всем, что происходило на фронте и по всей стране, но, так же как и всегда, выполнял свой писательский план. И, конечно, как и везде, он быстро «обрастал» людьми. В самые тяжелые дни, каковы бы ни были известия с фронта, его ни на минуту не покидала уверенность в победе.

О литературном мастерстве он, видимо, не забывал ни при каких обстоятельствах и однажды, когда мы проходили с ним по мрачным в то время улицам Ташкента, вне связи с предыдущим разговором он, вдруг остановившись, сказал мне: «Понимаешь, какое дело... свое первое «А» — мое, толстовское, — я сказал впервые, когда мне было уже сорок шесть лет». (Сорок шесть Алексею Николаевичу было в 1929 году. Он тогда кончил вторую часть «Хождения по мукам» и пьесу «На дыбе», являвшуюся как бы подступом к «Петру Первому».)

Театр Толстой всегда очень любил. Ему удавалось иногда даже «дорваться» до участия в профессиональных спектаклях в качестве актера. Помню, как он очень давно в Москве играл в своей пьесе «Касатка», играл очень хорошо, наряду с первоклассными актерами, ничуть не нарушая ансамбля. Было очень забавно, как он однажды «рвался» даже в балет. Когда в 1935 году мы работали над постановкой балета «Эсмеральда» в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (я была художником этого спектакля), он говорил Татьяне Вечесловой — исполнительнице роли Эсмеральды: «Татьяна, будет невероятным свинством, если мне не дадут возможности участвовать в этом спектакле! Возьмите меня хоть на роль козы». — «Какой козы?» — спросила Вечеслова. «Ну, а как же, неужели ты будешь Эсмеральдой без козы? Никакого успеха у тебя не будет и не может быть! Гельцер-Эсмеральда в Большом театре в Москве всегда выходила с

козой!» Конечно, просьба его была шуткой, но стремление участвовать в спектакле было искренним.

Летом 1942 года в Ташкенте «Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям» устроила концерт в помещении Театра оперы и балета. Толстой написал для этого вечера очень смешной политической одноактный скетч. Основные роли в нем играли: Раневская, Михоэлс, Абдулов и сам А. Н. Толстой. Концерт прошел с огромным художественным и материальным успехом. К концу скетча, по ходу действия, Михоэлс и Толстой (они изображали плотников) должны были последними уходить со сцены, но, как рассказал Михоэлс, Толстой подошел к нему и шепнул умоляюще: «Давай поиграем еще: не уйду со сцены — тебе, может быть, уже надоело, ты актер, а я вот дорвался». Михоэлс не мог отказать Толстому, и они еще какое-то время что-то импровизировали и очень смешили зрителей.

В 1942 году в Ташкенте же, в Театре оперы и балета, прозвучала Седьмая симфония Д. Шостаковича, которую слушал и Алексей Николаевич и много говорил о ней, ошеломленный мощью и своевременностью этого произведения.

Лето 1943 года. Барвиха. Цветы Алексей Николаевич очень любил и сам сеял, сажал и растил их. В связи с этим помню забавный случай, участницей которого была я.

Алексей Николаевич вызывает меня в сад, где под окнами его рабочего кабинета он решил посеять маки. Лицо у него озабоченное, а глаза веселые, хитрые. Он говорит: «Нужно подбавить под маки хорошей земли — хорошая земля на грядках у Паши в огороде. Просил — не дает. Пока Паша ходит в сельпо, возьмем ведра, лопату и наворуюем у нее земли». (Паша ведала огородом, курами и прочим хозяйством, а также стряпала. Нрава она была строгого в своих делах, характера бурного, и Алексею Николаевичу нравилось ее побаиваться.) Крадучись и поглядывая на ворота, не возвращается ли Паша, мы направились к огороду, наполнили ведра землей «с дивным вонючим перегноем», как смачно сказал Алексей Николаевич, благополучно донесли и разбросали землю на подготовленном месте. Мак был посеян, семена были, конечно, «совершенно необыкновенные», и маки должны были вырасти «невиданной красоты». Так оно и было в дальнейшем. А пока что вернулась Паша, ее зоркий хозяйственный глаз обнаружил убывшую землю на грядках, и она, не на шутку рассердившись, разыскала Алексея Николаевича и стала его срамить и обвинять в воровстве. Он очень серьезно и упорно отводил обвинение и не сознался. А Паша загадочно и пророчески говорила: «Все равно от правды как ни отпирайтесь, а вам не уйти — она вылезет наружу!» Алексей Николаевич так вошел в игру, что даже не на шутку рассердился на Пашу. Но действительно — «правда вылезла». Когда выросли и зацвели маки, среди них выросли также и могучие плети огурцов. Как выяснилось, в землю, которую мы воровали, были уже посажены семена огурцов. Паша торжествовала, а Алексей Николаевич был посрамлен.

Вспоминаю еще: тем же летом приезжаем среди дня с женой Алексея Николаевича из Москвы в Барвиху. Около дома в саду идет подготовка к кино съемке. Тут и режиссер Михаил Константинович Калатозов с помощниками, и прожекторы, и съемочная аппаратура. Предстоит заснять Алексея Николаевича, произносящего речь, написанную им для съезда прогрессивных деятелей кино, который должен был вскоре состояться в Америке. Тут же в саду Алексей Николаевич в рабочем костюме, мало подходящем для съезда, но удобном для садовника, возится с цветами: «Текст готов, я готов, все продумал, начинайте съемку!» Включают прожекторы — съемка началась. Стоя около цветущих пионов, Алексей Николаевич вынимает из кармана какую-то коробочку, открывает ее и неторопливо, деловито посыпает пионы каким-то порошком. Режиссер задает вопрос (с этого начинался текст сценария): «Что вы делаете, Алексей Николаевич?» Толстой отвечает, не отрываясь от дела: «Как всякий порядочный человек, я уничтожаю вредителей». После чего он осматривает, подпирает палочками, подвязывает мочалкой

цветы и вдруг, задумавшись, распрямляется и очень естественно и просто начинает произносить текст речи, обращенной к съезду. Постепенно он весь преобразается, голос его крепнет, иногда делается гневным, он стоит вытянувшись, почти неподвижно, лицо его серьезно, дикция безукоризненна. И даже начинает казаться, что он переделался в другой, более подходящий для трибуна костюм. Речь была необыкновенно убедительной и очень взволнованной. Так талантливо и неожиданно все было задумано и выполнено Толстым.

До самой смерти, незадолго до полной победы, все интересы и дела Алексея Николаевича Толстого подчинены были войне. Он был человеком поистине богатырского духа, здоровья и большого сердца. Вспоминая, не перестаешь удивляться тому, как успевал он так много написать и выполнить в тяжелые дни войны. Удивительно многообразные и увлекательные проекты строил Алексей Николаевич на ближайшие послевоенные годы. Тут были замыслы и новых произведений, и больших общественных дел, в связи с осуществлением которых собирался он совершать грандиозные поездки по Союзу и в зарубежные страны. И как несправедливо болезнь и смерть оборвали эту великолепную жизнь.

### *Маяковский в Париже*

Я боялась его огромного таланта. Я боялась и сознавала разницу наших возможностей в искусстве. Если бы не это, я бы чувствовала себя менее скованной и вместе с тем меня неудержимо притягивала его необыкновенность, его революционность, его целеустремленность.

Вот моя запись 1957 года: «Маяковский уже давно стал общепризнанным гениальным поэтом — опять хочу и не решаюсь написать о нем. Неловко и как-то почти стыдно вспоминать что-то пустяковое, житейское».

Но правильно ли, что эти «пустяки» должны «отшелушиться» и быть забытыми, раз стало понятным, что человек был гениальным? Трудно рассказывать о знакомстве, еще труднее о дружбе с гениями. Наши отношения с Маяковским были между знакомством и дружбой. Период дружбы был коротким.

С первого раза, как я увидела Маяковского, я уже никогда не «теряла его из вида» — не забываю и после смерти. Да иначе и быть не могло: он всегда Современность, он всегда был и есть «сегодня» и «завтра». «Вчера» он оставлял другим, хотя он его прекрасно знал.

Значимость и огромность его я чувствовала, но не всегда осознавала. Ведь если бы он сразу и всегда был для меня «памятником» — не было бы у нас с ним тех забавных встреч и не могла бы я быть свидетельницей того, о чем я вспоминаю и хочу рассказать.

Мне всегда трудно было понять, когда он «памятник», а когда просто человек.

С ним бывало утомительно трудно и увлекательно легко, и невозможно было предвидеть, в какой момент он перейдет от почти детской ласковости к жестоким насмешкам, беспощадному гневу и резкости. Всегда страшно было не разобраться во всем этом.

Я замечала, что ему самому очень неприятно быть раздраженным, и мне в таких случаях бывало его жалко и хотелось оградить от этого.

В 1924 году мы с мужем были командированы в Лондон и Париж. В Париж мы приехали в конце октября. Я разыскала Эльзу Триоле, с которой познакомилась в Берлине еще в 1922 году. В Париже она жила в отеле «Истрия». Это маленькая гостиница в одной из улиц, выходящих на бульвар Монпарнас. Мы обрадовались друг другу. Она мне сказала, что вскоре придет из Москвы Маяковский. Жить будет тоже в «Истрии». Он уже был в Париже в 1922 году, многое видел, общался с людьми искусства, и по возвращении в Москву результатом

его наблюдений и размышлений были стихи, статьи и доклады. Он умел «вгрызаться» целеустремленно и глубоко во все, что видел и слышал. И на этот раз, конечно, он ехал не для туристских развлечений. Из Парижа он собирался в Мексику и Нью-Йорк. Еще до его приезда мы с Эльзой почти ежедневно видались и окончательно сдружились. Второго ноября приехал Маяковский и был удивлен, увидав меня в Париже.

Маяковский и Эльза мрачные. Мрак оттого, что сразу же по приезде Маяковский получил из главной префектуры (полиции) предложение покинуть Францию в двадцать четыре часа, несмотря на то, что у него была виза на месяц. Они с Эльзой отправились в префектуру узнать, в чем дело. После хождения по длинным коридорам попали в кабинет к важному чиновнику. Маяковский не говорит по-французски, и Эльза выясняет обстоятельства дела. Чиновник заявляет: «Мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые, покинув Францию, грубо нас критикуют, издеваются над избранниками народа и все это опубликовывают у себя на родине». Эльза переводит сказанное Маяковскому — он утверждает, что это недоразумение или ошибка. «Значит, вы не писали?» — «Нет». Чиновник нажимает какую-то кнопку на столе, и в комнате возникает молодой человек, которому он что-то тихо говорит. Молодой человек удаляется и вскоре возвращается, в руках у него газета «Известия». «Вы, вероятно, узнаете это?» — спрашивает чиновник.

Не узнать напечатанного в «Известиях» стихотворения «Телеграмма месье Пуанкаре и Мильерану» было невозможно. Стихотворение высмеивало французских «миротворцев».

...Словом —  
мир сплошной:  
некуда деться,  
от Мосула  
до Рура  
благоволение в человецех.  
Одно меня настраивает хмурф.  
Чтоб выяснить это,  
шлю телеграмму  
с оплаченным ответом:  
«Париж  
(точка,  
две тире)  
Пуанкаре — Мильерану.  
Обоим  
(точка).  
Сообщите —  
если это называется миры,  
то что  
у вас  
называется мордобоем?»

Деваться было некуда. Маяковский говорит, что ведь французы, очевидно, согласились с его мнением, сняли Пуанкаре с его высокого поста и заменили другим. Эльза пытается убедить чиновника, что Маяковский не представляет большой опасности для Франции, так как не говорит ни слова по-французски. Вдруг Маяковский, узнав, что она сказала, произносит: «Jambo»<sup>1</sup>. Чиновник мрачно повторил, что Маяковский должен быть через двадцать четыре часа за пределами Франции.

Но... литературная общественность Парижа, особенно молодые поэты, узнав, что Маяковского лишили визы, стали срочно собирать подписи протеста. На следующий день я с утра примчалась к Эльзе узнать, как обстоят дела с Маяковским. Угроза выселения еще оставалась в силе. Кто-то из поэтов по телефону просил Эльзу и Маяковского быть в двенадцать часов дня в кафе — там должны собраться поэты и привезти петицию с подписями, которых было уже более трехсот. За

<sup>1</sup> Ветчина (франц.).

Маяковским должен был заехать один из поэтов. Владимир Владимирович сказал мне: «Едем с нами — может, будет интересно». Поехали. Не помню названия кафе. Помню, что оно выходило скошенным углом дома на площадь (то ли площадь Бастилии, то ли площадь Нации). Мы подъехали на такси и, предводительствуемые молодым поэтом, вошли. Это было кафе, где часто собирались рабочие. Внутри стояли большие столы из толстых деревянных досок, скамьи и табуреты. В одном из отсеков помещения, у окна на улицу, за столом и вокруг собрались желавшие помочь Маяковскому — их было много. Раздались аплодисменты, кричали «Vive Маяковский!». Он приветствовал всех поднятой рукой. Сел. Все шумели и толпились вокруг. Эльза была переводческой инстанцией между Маяковским и собравшимися. Продолжали входить опоздавшие. Кто-то сказал: «Может, лучше не делать много шума?..» — «Нет, наоборот!» Выяснилось, что собрались для демонстрации преданности Маяковскому и возмущения префектурой. Кто-то подошел и показал большие листы с подписями. «Мы добьемся, вы останетесь у нас в Париже! Надо сейчас же продолжать сбор подписей! Выбраны делегаты, которые поедут разговаривать с полицией...» Маяковский был растроган, нежно улыбался и вдруг опять мрачнел. Его очень раздражало незнание языка. Часть поэтов, прощавшись, уже отправилась действовать дальше. Кто-то предложил читать стихи. Желторотый поэт влез на стол и читал с руладами очень благозвучные стихи. Маяковский достал из кармана монетку — вопрошал и проверял судьбу: выходило «решка». Он раздражился, встал, оперся на палку, поднял руку — все затихли, и он, прочитав стихи, быстро направился на улицу. Что-то поэтам удалось сделать и получить небольшую отсрочку отъезда Маяковского из Франции.

В ближайшие дни, придя к Эльзе, я застала у нее незнакомого мужчину. Оказалось, что это Андрэ Триоле — француз-парижанин, бывший муж Эльзы. Мне он отрекомендовался: «Андрэ Петровитч Триоле» (так он произносил) — и сразу же пригласил меня с мужем завтра провести с Эльзой, Маяковским и с ним вечер. «Вечер этот мы проведем, где захочется», — сказал он. Я приняла приглашение. Завтра в десять вечера мы с мужем были у Эльзы. Андрей Петрович показался мне человеком легким и симпатичным. Он возил и водил нас по разным улицам и площадям, кафе и мюзик-холлам. Наконец, проголодавшись, мы осели в каком-то ресторане. Во время ужина Эльза танцевала, я преимущественно хохотала и рисковала даже острить. Эта моя веселость удивила и прельстила Владимира Владимировича. Он тут же стал переделывать мое имя — Валентина, Валя, Валетка, Валеточка, Вуалеточка — и, остановившись на Вуалеточке, сказал, что он подозревал во мне «приличного товарища», но не знал, что я такая веселая (я думаю, что тут действовала в большей мере Эльзина агитация в мою пользу). «Ну, давайте дружить», — сказал Маяковский. Мне это предложение очень понравилось, конечно. Так и началась наша «парижская дружба».

Владимир Владимирович маялся, не находил себе места, был мрачен, зол. Вопрос о визе для дальнейшего пребывания в Париже все еще не был улажен окончательно. Визы в Мексику и в США тоже задерживались. Он не мог ничего планировать даже на ближайшие дни. И все-таки, как всегда, он бормотал какие-нибудь стихи, пробовал рифмы впрок...

Девятого ноября в письме из Парижа к Л. Ю. Брик он писал: «Я уже неделю в Париже, но не писал потому, что ничего о себе не знаю — в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что мне разрешили обосноваться на две недели (хлопочу о дальнейшем), а ехать ли мне в Мексику — не знаю, так как это, кажется, бесполезно. Пробую опять снести с Америкой для поездки в Нью-Йорк...

Ужасно хочется в Москву. Если б не было стыдно перед тобой и перед редакциями, сегодня же б выехал...»

Когда мы ходим с Владимиром Владимировичем по Парижу, я замечаю, что многие, взглянув на него, останавливаются и смотрят ему вслед. Весь он сразу вызывал интерес. И лицо, и манера носить одежду (эксгравантантностей в форме и

цвете одежды ему уже тогда было не нужно), и размашистый, уверенный шаг, и слегка вызывающая манера держаться вольным «гражданином мира» — все оставляло на нем внимание. На улице у него в руках всегда палка.

Сидим в комнате Маяковского в отеле «Истрия». Владимир Владимирович говорит: «Эльза, сведи нас к «Максиму» сегодня вечером. Надо же и мне знать, что это такое. Может, «пойду к Максиму я, там ждут меня друзья», как поется в оперетте. Тебе найдем танцора, он тебя обтанцует, а мы с Вуалеточкой просветимся». Перечить насчет «Максима» не стоило, тем более что я там тоже не была. Я отправилась домой, чтобы одеться по-вечернему. В одиннадцатом часу вечера Маяковский и Эльза заехали за мной. Эльза была хорошенькой, с светло-рыжеватыми волосами, огромными строгими серо-голубыми глазами и удивительно красивыми и легкими ножками. Танцевать она очень любила и танцевала все новые танцы, под любую музыку, с упоением. Я совсем не танцевала, так же, как и Маяковский. И так, мы едем «просветаться». По дороге молчим.

На площади Concorde (Согласия) Владимир Владимирович остановил такси и сказал: «Я влюблен в эту площадь и хотел бы на ней жениться. Пока хоть постойм и полюбуемся». Он отпустил такси. Оглядев площадь, рассказал, что пытался приходить сюда один, но его немедленно осаждали какие-то мелкие французики и предлагали купить открытки с изображением площади. В первый раз он наивно протянул руку, чтобы выбрать фото. Сразу же французик, как фокусник, развернул веером пачку открыток и... там оказалась такая коллекция похабщины, что сразу стало противно. «Может, сейчас постесняются?» Мы постояли без помех, спокойно любуясь фонтанами и всей композицией площади, действительно чрезвычайно красивой.

Площадь  
красивей  
и тысяч  
дам-болонок,  
Эта площадь  
оправдала б  
каждый город.  
Если б был я  
Вандомская колонна,  
я б женился  
на Place de la Concorde.  
(«Город»)

Наконец Владимир Владимирович начал бормотать: «Пойду к Максиму я...» И мы пошли на улицу Руаяль, втекающую на площадь Согласия, где находится знаменитый ресторан «У Максима».

Когда мы сняли пальто и проходили мимо серых столиков первого зала, гарсон шикарно, как эквилибрист, маневрировал между столиками подносом с фарфоровыми чашками и двумя чайниками, из носиков которых висели металлические ситечки. Маяковский спросил гарсона: «Кэс кё сэ?» Тот ответил: «Tilleul et saumonille».

Эльза перевела: «Это настои из липы и из ромашки, их многие французы пьют перед сном». Маяковский как-то огрызнулся: «Вот это мы и будем пить! Всю жизнь мечтал попасть к «Максиму» и пить отвар из липы и ромашек!..» И он несколько раз повторил слова: «Тийёль э камогий».

Так как настроение у Маяковского еще не улучшилось, то он нарочито долго водит нас выбирать столик. На нас уже обращают внимание ужинающие. Наконец столик выбран так, чтобы видеть небольшую площадку для танцев с безукоризненно натертым паркетом. Фоном для танцующих служит немногочленный джаз-оркестр. Мы садимся. Официанты так ловко подпихнули под меня и Эльзу стулья, что мы как-то рухнули на них, а Владимир Владимирович стоит очень парадный и красивый опершись о спинку стула, озирая окрестности... Мы с Эльзой чувствуем, что что-то должно произойти, добром это не кончится.

Когда один из лакеев преподнес Маяковскому карточку еды и вин, он небрежно отстранил черный с золотом преискурант и сказал четко, холодно, но довольно громко: «Тийёль э камомий силь ву плэ». Лакей, не веря своим ушам, отшатнулся и, наведя на всего себя улыбку, изогнулся к Маяковскому и прошептал, приставив руку к уху (как бы не расслышав): «Pardon, Monsieur?» Мы с Эльзой онемели. «Ну, помогите же мне сделать заказ! Этот идиот чего-то не понимает?» — и злые чертики запрыгали у Маяковского в глазах. Официант опрометью бросился в складки плюшевой портьеры и вновь возник в сопровождении солидного мужчины, имевшего вид по крайней мере министра. Он подошел к нам неторопливо, с достоинством и сказал: «Отвары подают в первом зале. Вероятно, мясо не знал этого? А здесь — минимум, что можно заказать, это две бутылки шампанского любой марки на столик». Эльза перевела. Маяковский небрежно, с видом лорда бросил через плечо взгляд на метрдотеля и сказал нам: «Деточки, ну, закажите две бутылки шампанского и шесть отваров, для начала». Эльза, более привыкшая к Владимиру Владимировичу, спокойно сказала: «Ну, конечно, Володя», — и с полной выдержкой заказала метрдотелю то, что просил Маяковский.

Музыка, как на грех, не играла. К нам прислушивались, на нас с любопытством и удивлением смотрела вокруг сидящая публика. Мне как-то было жаль Владимира Владимировича, но это была необходимая для него разрядка. Окончательно он успокоился только после того, как вслед за шампанским нам принесли два подноса с чайничками ромашкового и липового отвара. Он попробовал очень методично то и другое, скорчил ужасную гримасу и подал знак рукой, чтобы очистили стол от этой «дряни».

Дальше все было хорошо — Маяковский добрел с каждой минутой. «Ну, а теперь будем ужинать!» — сказал он весело и попросил выбрать по карточке что-нибудь очень вкусное. Пока мы выбирали, он стал окончательно милым. Вскоре официант был послан за танцором для Эльзы. Появился роскошный молодой человек во фраке, и мы любовались, как Эльза хорошо танцует. Еда была вкусная, Маяковский много острил.

Оплату танцора приписывали к счету. Почти во всех больших ресторанах Парижа имеется штат платных танцоров — мужчин и женщин — главным образом для туристов, у которых нет танцующих спутников.

В Париже таких танцоров было много из русских молодых эмигрантов. Они обладали приличными манерами, не позволяли себе никаких вольностей во время танцев и умели хорошо носить фрак или смокинг. Танцевали прекрасно все модные салонные танцы...

Эльза танцевала с ресторанным танцором несколько танцев, разговорилась; выяснилось, что он молодой русский офицер, эмигрант, попавший в Париж и вскоре женившийся на русской, тоже эмигрантке. Она работает в этом же ресторане и «обтанцовывает» «бездамных» мужчин.

Маяковский загорелся желанием познакомиться с ними и сказал Эльзе, чтобы она во время следующего танца пригласила бы их поужинать с нами, если это разрешается администрацией. Вскоре танцор подошел с женой к нашему столику, представил нам ее и сказал, что им разрешено посидеть с нами, но если на них будет танцевальный спрос, то им придется отлучаться. «Ну, это мы уладим», — сказал Маяковский. Жена танцора оказалась тонюсенькая, щупленькая, с запуганными огромными глазами — почти девочка. Судя по тому, как она смотрела на пищу, они были голодны. Она была в простеньком, но декольтированном платье. У нее было прелестное лицо застенчивой русской девушки. Маяковский предложил им выбрать по карточке кушанья. Они смутились, переглянулись, и он, покраснев, сказал: «Мы предпочитаем, пусть вы сделаете это сами». Говорили они по-русски, но употребляли какие-то особые обороты речи, а интонационно все было совсем не по-русски. Они задавали нам робкие вопросы вроде: «Надолго ли вы будете в Париже?», «Нравится ли вам Париж?», «Что вы любите?»... Маяковский пытался острить, но, видно, к таким, а может быть, и вообще остротам они

не привыкли и даже их не понимали и лишь вежливо улыбались. Конечно, они не подозревали, с кем имеют дело, а может, никогда и не слышали о Маяковском.

Пужинав и просидев с нами (спроса на них не было) час — полтора, они робко сказали, что часы их работы уже кончились, им можно ехать домой, а это далеко... Мы распрощались, и они ушли какие-то смущенные, а мы поехали по домам.

Вечером к нам в гостиницу заезжает Владимир Владимирович, сообщает, что Эльза плохо себя чувствует, и он просит меня поехать с ним поужинать туда, где мы ужинали накануне, — ему необходимо увидеть танцоров и с ними поговорить.

Мы поехали. Маяковский очень делово сбросил пальто у вешалки, помог мне сделать то же самое, быстро ворвался в зал. Сели за первый попавшийся столик, было часов десять вечера. Он попросил меня вызвать танцоров (мы уже знали их фамилию). Заказал две бутылки шампанского. Танцор был занят, подошла к нам его жена. Любопытство, страх, ласковость — все перемешалось у нее на лице. Ей сразу же был наполнен бокал, и Маяковский сказал: «Деточка, нам необходимо завтра утром до вашего ухода на работу заехать к вам домой, ненадолго. И пожалуйста, не отказывайте, нам очень и очень хочется узнать, как живут вот такие русские, как вы. Вы нам очень понравились — обижать вас не будем. Эльза, вероятно, тоже приедет. Вуалеточка, записывайте адрес, ведь я по-французски неграмотный». Наша танцорка сказала, что все же надо сначала поговорить с мужем, и, дождавшись окончания танца, привела его к нам. Маяковский, не давая им опомниться, требовал адрес. Адрес я записала. Это был новый, очень далекий квартал Парижа, около каких-то больших заводов. Условились, что я заеду завтра к Эльзе в десять утра.

Я приехала в «Истрию» в самом начале одиннадцатого. «Эльза с нами не едет: плохо себя чувствует, ушла к врачу... А вы могли бы и не опаздывать!» — говорит Маяковский. «А я вообще могла бы не приехать!» — парировала я. И сразу же Маяковский сказал: «Вуалеточка, давайте играть в «не злиться».

Наша поездка была нужна Маяковскому, вероятно, по соображениям познавательно-творческим. Мы ехали на такси долго — сначала по малознакомым местам, а потом и совсем попали на какую-то окраину. Долго искали дом и квартиру. Дом оказался с коридорно-комнатной системой, но очень чистый. У наших знакомых была комната с альковом. Нам понравилось, что они встретили нас радушно, с достоинством и мало стесняясь. Через комнату протянут был шнур, и на нем сушилась мелкая постирушка.

Я забыла сказать, что по дороге мы заехали в парфюмерный магазинчик и купили духи, пудру, пудреницу, коробку туалетного мыла, несколько коробок мыльной стружки. Второй заезд был в гастрономический магазин. Купили понемногу всяких закусок, фруктов и вина. Передавая пакеты, Владимир Владимирович сказал: «Ну, давайте, быстро устраивайте завтрак. Я голоден, а вы скоро нас выгонять будете: вам ведь к двум часам на работу. Хочешь не хочешь, а танцевать надо!»

Парфюмерные подарки имели большой успех: «Как вы угадали? Как раз у меня кончилась сегодня мыльная стружка. А какая чудесная пудра! Тоже очень нужна!» Мы расспрашивали наших танцоров об условиях их работы, об отношении к ним администрации, сколько зарабатывают и многое другое. Они сначала сдержанно, а потом все более оживляясь, перебивая друг друга, рассказывали много такого, что было интересно Маяковскому. Посидели мы у них часа два, закусили, выпили вина и кофе.

Танцор убежал за такси. Она сказала нам, что они совсем недавно поженились, любят друг друга и что все у них хорошо: «А знаете, как ужасно плохо бывает?» Такси нас уже ждало, мы предложили отвезти их на работу.

Дальше события развивались так: переговоры о продлении визы где-то шли, а Маяковский пока продолжал жить в «Истрии». Мы втроем, Эльза, Маяковский и я, бродили по Парижу. Маяковский уже привык ко мне, как к чему-то домашнему, да и я — почти. Но все равно я его подсознательно побаивалась, но бодрилась.

Иногда Эльза (у нее свои дела, и уставала она тоже) перепоручала мне функции гида и переводчика при Владимире Владимировиче. Так вот и было, когда он вспомнил, что нужно получить раньше срока заказанные им рубашки на случай, если ему все же придется внезапно покидать Париж. Эльза протелефонировала в мастерскую рубашек, и ей сказали, что месье должен немедленно приехать на примерку. «Что за чушь? — сказал Маяковский. — Я никогда еще не был на примерке рубашек, но рубашки мне нужны, и я уже заплатил за них кучу денег. Вуалеточка, поедем!»

Рубашечное учреждение помещалось в самом изысканном месте Парижа — на площади Вандом, в третьем этаже роскошного дома. Нас поднял туда лифт — ввез прямо в холл мастерской. Ноги утонули в мягчайшем ковре. Пахло изысканными духами. Нас встретили двое раскачивающих бедрами молодых людей-красавцев. Они делали какие-то рыбки улыбки и движения. Глаза были до того нагримированы, что казались сделанными из эмали, как у египетских мумий. Они провели нас через две комнаты в третью, где, как и в пройденных, были небрежно расставлены круглые столики и очень удобные кресла. Цвета ковров, стен, обивка кресел были мягких тонов — серовато-бежевые. Каждая комната имела свой запах, и в каждой на столиках стояли какие-то экзотические цветы. В третьей комнате один из молодых людей сказал: «Здесь мы будем делать примерку, месье. Вот тройное зеркало, в котором месье сможет осмотреть себя со всех сторон. Мадам прошу расположиться в кресле у столика».

Около зеркала стояла сложенная ширма из китайского лака. Ее растянули, и Маяковский оказался отгороженным от меня этой ширмой. И все наши разговоры шли уже через преграду.

Отделенный от меня Маяковский проверял: «Вуалеточка, вы еще здесь? Не оставляйте меня в руках этих идиотов!» Дальше заговорил один из красавцев: «Может, месье соблаговолит раздеться?» Маяковский: «Догола?» Красавец: «Что месье говорит?» — «Месье спрашивает, что нужно снять», — перевожу я. «Ну, если месье будет так любезен... Пиджак...» Маяковский (резким тоном): «Спросите, почему он не хочет видеть меня голым. Красивое зрелище!» Я молчу. Маяковский: «Почему вы его не спрашиваете?» Я давлюсь от хохота. Удалившийся куда-то незаметно второй красавец вдруг появляется из портьеры и на вытянутых руках изящно наманикюренными пальцами несет два прямоугольных куса светлого шелка и говорит: «Ну вот — все к примерке подготовлено. Сейчас начнем примерку». Маяковский все более злым тоном говорит: «Пусть уберут эту дурацкую ширму, идиоты, я же снял только пиджак, а в таком виде вы меня уже видели». Слыша длинную фразу, красавцы спрашивают: «Месье желает что-нибудь?» Я перевожу о ширме. Они ее складывают к стенке, и я вижу Маяковского. Он уже почти кричит: «Скажите им, что месье желает визу, и бе-с-сроч-ну-ю!» Говорю, что я не могу переводить все изрекаемые им глупости, да и красавцы не оценят их. Я советую Маяковскому успокоиться и посмотреть, что будет дальше. А дальше... оба красавца вертятся вокруг Маяковского — один спереди, другой сзади. На запястье одного из них на ремешке подушечка с булавками. Он скальвает на плечах Маяковского два полотнища шелка, подходящие Маяковскому до колен. Я с радостью вижу в зеркале, что у Маяковского подергиваются губы и наконец-то он улыбается. Красавцы просят поднять руки, скальвают булавками бока будущей рубашки и подобострастно, с утомленным видом спрашивают: «Как месье себя чувствует? Месье все удобно?» Я перевожу. Маяковский: «Я прошу вас перевести точно — рубашка мне жмет в шагу, и нечего смеяться, переводите! Сейчас я пошлю ко всем чертям всю эту ерунду!» Я уже смеюсь до слез. Маяковский срывает рубашку прямо с булавками, бросает в руки растерянных красавцев и просит сказать, чтобы к завтрашнему утру все шесть рубашек были готовы — позднее они ему не нужны. Маяковский быстро надевает пиджак, и мы уходим.

Оказалось, что бывший муж Эльзы Андрей Петрович Триоле, изысканный парижанин, из уважения к Маяковскому рекомендовал ему это роскошное учрежде-

ние. Владимир Владимирович сказал: «Вуалеточка, заключим мир, не сердитесь — ну, где бы вы еще такое увидели?»

Не помню, каков был результат сбора подписей поэтов и писателей, ратовавших за разрешение Маяковскому оставаться в Париже, но, насколько мне не изменяет память, на каком-то этапе выяснилось, что Дягилев (не имевший уже балета, но не растерявший влиятельных знакомств) может, вероятно, уладить это дело. Эльзе сказали, что с ним переговорили и он попытается все сделать. Отказ в визе Маяковскому был уже сенсацией в художественных кругах Парижа, а Дягилев был любителем сенсаций. Советовали Маяковскому поведаться с Дягилевым, пригласив его пообедать в каком-нибудь очень хорошем ресторане. Владимиру Владимировичу это показалось забавным, да и зол он был на префектуру, хотелось настоять на своем — получить право остаться в Париже подольше.

Организовать обед надо было быстро. Выбрано для этой цели знаменитое «Cafe des Anglais», около «Орега», где были отдельные залы для банкетов. Обед был заказан.

Мы с Эльзой распределили между собой роли: Эльза, знавшая многих приглашенных французов (всего было человек двадцать пять) и в совершенстве владевшая французским языком, должна была изображать хозяйку вечера, а моей обязанностью было, сидя рядом с Владимиром Владимировичем, следить за происходящим и переводить ему разговоры. Маяковский блистал красотой, смокингом и накрахмаленной рубашкой. Он тихо сказал мне: «А все же здорово в меру накрахмалена рубашка — ничуть не мешает и в шаг не жмет... не зря деньги брали!»

Из гостей я знала Андрея Петровича Триоле, чету художников Делонэ и Ивана Голля с женой, он — немецкий поэт-коммунист, жена — поэтесса. Все уже были в сборе. Эльза удачно обихаживала всех, любезно переходя от одних к другим. Стол удивлял роскошью сервировки. Несколько франных лакеев с салфетками, переброшенными через руку, стоя вдоль стен, перебирали нетерпеливо ногами на месте, как в цирке лошади, готовые в любую минуту приступить к исполнению своих номеров, но для этого время не настало: Дягилев еще не прибыл. Маяковский уже начал раздражаться и процедил басовым шепотом: «Пусть вообще не приходит...» Ждать Дягилева долго — значило обижать остальных. Эльза предложила всем садиться за стол. Места, кроме наших трех и дягилевского (напротив Маяковского в центре узкой части стола), не были персонально отмечены. Все распределились, как хотели. Вскоре неслышными шагами около стола возник Дягилев.

Я наблюдала и думала, что хорошо изучивший эффекты Дягилев, вероятно, опоздал нарочно, чтобы произвести большее впечатление величественным спокойствием движений, чуть откинутой назад красивой, с серебряными волосами головой, слегка прищуренными, рассеянно смотрящими из-под темных утомленных век, неизвестно на кого и куда, глазами. Он как бы говорил: «То ли я видел в жизни... Ну, посмотрим еще!» Маяковский подошел к нему размашистым шагом, пожал ему руку, довел до предназначенного ему места и вернулся на свое. Стол был неширокий, и ему легко было переговариваться с Дягилевым. Французы пили за Маяковского и произносили всяческие восторженные слова, читали стихи. Владимир Владимирович повеселел и время от времени тихо бросал мне какие-то невероятно смешные замечания, каламбуры и остроты.

Я рассматривала Дягилева, который мне был известен как знаток искусства и организатор русского балета за границей. Когда в 1912 году я училась в Париже живописи, то дважды была в Гранд Опера на спектаклях русского балета Дягилева и видела великолепие Павловой, Карсавиной, Нижинского, Фокина, Слесивцевой и других. Поэтому любопытство мое к Дягилеву было понятным и законным. Он не был еще «все в прошлом», но видно было, что жизнь его все-таки утомила. Меня поразили кисти его рук, какие-то бескровные, кончавшиеся почти голубыми ногтями, руки небольшие и вялые, как бы бескостные. С Владимиром

Владимировичем Дягилев обменивался незначительными фразами. Вскоре к нему подошел метрдотель и, изогнувшись, припал к его уху. Дягилев мягкой рукой отстранил его, встал, вынул на ходу засунутую за жилет салфетку и величественно-медленно вышел из зала.

Когда Дягилев вышел, Владимир Владимирович сказал мне: «Ну, Вуалеточка, сейчас решается моя парижская судьба», — и я услышала, как он забренчал монетками в кармане... (опять «орел или решка!»). Я схватила его за руку и сказала: «Не надо — все будет хорошо!» «Вы думаете?» — по-детски наивно и доверчиво сказал он.

Прошло минут десять, пока вернулся Дягилев. Все взоры были устремлены на него. Маяковский выжидательно замер, следя за тем, как, не торопясь, Дягилев возвращался на свое место. Он прежде всего дал знак лакею, чтобы долили ему вина, а потом с великолепно светской улыбкой как ни в чем не бывало обратился к Маяковскому и стал рассказывать о своих планах вновь организовать балетную труппу с новыми людьми и новыми задачами. Говорил он долго и обстоятельно, но неубедительно, как бы сам не доверяя себе. Нам было известно, что никто из финансировавших его раньше людей уже не верит в его новые антрепризы. Весь этот разговор был зряшным. О деле Маяковского он ни одним словом не обмолвился.

Уже подавали дичь с разными приправами и салатами, когда метрдотель вторично подошел к Дягилеву, и все было как и в первый раз... только он вернулся быстрее и, усевшись на свое место, сразу нагнулся через стол к Маяковскому и оживленно сказал: «Мне звонили. Есть шансы, что ваше дело уладится. Немного погодя обещали позвонить еще раз, и я думаю, что все будет в порядке. А вот и у меня к вам есть дело: я обдумываю еще одно предприятие, кроме балета, — «Обозрение», автором которого вижу только вас!» И тут он оживился необычайно, рассказывая, что это «Обозрение» должно быть таким, что его можно и нужно будет возить по всем странам мира и везде оно должно иметь ошеломляющий успех. Лучшие артисты всех специальностей будут участниками этого грандиозного спектакля. Все должно быть первоклассным. Основа: музыка, стихи, зрелище. Это не должно быть искусством только ради красоты — те времена уже прошли. Надо найти что-то совсем, совсем новое, и я верю, что только вы, Маяковский, это найдете! А деньги под это дело найду я!»

Конечно, идея такого «Всемирного обозрения», как бы она ни была неправдоподобна, очень захватила Владимира Владимировича, и чувствовалось, как в его воображении уже зарождаются мысли и образы будущего «Обозрения». А Дягилев так увлекся своей идеей, что появилось в нем даже что-то хлестаковское.

Обед заканчивался, пили уже кофе. Дягилева вызвали в третий раз. Вернулся он вскоре, подошел к Маяковскому и сказал, что, к сожалению, человека, от которого зависит все, не удалось поймать, но, наверное, все будет сделано завтра утром. «Вы меня простите, я немолод и устал, а потому — до завтра. Ваш телефон у меня есть». Сделав общий поклон, он барственно вышел. Не помню, что и кто окончательно заставил полицию продлить Маяковскому визу. Он уехал из Парижа только в конце декабря 1924 года.

Маяковский и Эльза были знакомы с художниками Делонэ и пригласили меня поехать вместе к ним и посмотреть их работы. Они в то время были в зените своей славы. Мы подъехали к солидному дому на одной из улиц близ церкви Мадлен. У подъезда висела скромная, загадочная вывеска «Делонэ - ателье». Мы поднялись в бельэтаж. Маяковский энергично нажал кнопку звонка, нам открыл и шумно и весело встретил нас сам Делонэ. За ним стояла интересная молодая женщина, одетая в «живопись», — его жена. Познакомились. Нас повели через несколько гостиных комнат в меньшую комнату, более уютную, обставленную разнообразно, но удобно. Было много цветов в разных вазах, в плоских чашках и блюдах, стоявших на столах, столиках, тумбах и на полу. Нам предложили

выбрать себе места поудобнее. В этой комнате стояла высокая арабская ажурная курильница, и из нее медленно вытекал и вился голубоватый дымок. Запах был душный и сладостный. Все вместе — театр для себя. Началась долгая демонстрация совместных произведений семейства Делонэ. Из внутренних помещений выходили две скромные девушки и выносили все новые и новые, большие и поменьше, прямоугольные белые картонки. Внутри все было упаковано в шуршащую папиросную бумагу, из которой мадам Делонэ извлекала неправдоподобно красивые, мягкие куски «живописи». Это были разные ткани, расшитые то шерстью, то безумно блестящими шелками, иногда смесь гладких стежков перемежалась с шероховатыми поверхностями, то появлялась живопись красками на материалах разных фактур. Все переливалось тончайшими оттенками, переходя иногда в растушевку, напоминавшую растушевку небес на японских гравюрах. Каждый кусок, включая в себя бесчисленные оттенки, имел все же свой индивидуальный общий цвет или замысел, был основан на дерзких контрастах. Мы пили коктейли, дышали благовониями из курильницы, папиросная бумага таинственно шуршала, включался разных оттенков и силы свет — то рассеянный, то центрирующий внимание на демонстрируемые вещи. От всего этого кружилась голова, и мне казалось, что я «объелась» этой прикладной живописью.

Маяковский сначала оживленно и метко реагировал на отдельные вещи, но постепенно стал отвлекаться, уходил в собственные мысли, бормотал стихи, упреждался в рифмах.

Иногда мадам Делонэ набрасывала на себя уже готовые вещи — то шарф, то пальто, то надевала перчатки и брала в руки сумочку из демонстрируемых красот, а девушки все приносили и приносили новые коробки. Уже вся комната была насыщена этими произведениями искусства. Делонэ рассказывал, что главные заказчицы — американки. Вещи обходятся очень дорого, так как мастерицы-исполнительницы — художники-прикладники, а мадам Делонэ — художественный руководитель и глава фирмы. «Я уже много лет связан с этой «фирмой», мной довольны, и я не жалею. Нам нравится, что наши живописные упражнения и поиски входят в быт, то есть находят жизнь в жизни». Он просил главу фирмы Сою Делонэ показать нам фото, иллюстрирующие эти его слова. Мы увидели, что и гаражи, и автомобили, и женщины, стоящие около них или сидящие за рулем, и чемоданы, и всякие мелочи — все едино, и не очень понятно, где кончается одно и начинается другое. Все это было похоже на городские пейзажи — дневные или ночные; или виделись куски природы в разные времена года, как видишь их, когда при большой скорости движения все ступшевывается и смешивается, переходит одно в другое и остается абстрактное ощущение видимого глазами и почувствованного эмоционально. Это было похоже и на музыку. Цвета и формы очень талантливо и умело организовывали в симфонии, фуги, романсы, песни — трагедийные, лирические и комедийные — художники Делонэ.

Маяковский довольно быстро окончательно охладел к показу и все больше задумывался о чем-то своем, что вызвало настороженность Делонэ, и демонстрация закончилась.

К сожалению, все эти выдумки быстро были вульгаризованы, они прошли в быт в таком упрощенном виде и в таком количестве, что я уже в конце 25-го года и в Париже и в Берлине покупала трусики, шарфики и прочее этого рода для подарков по дешевке в универмагах.

Когда мы, переполненные «изысками», уходили от Делонэ, он предложил показать нам особый ночной Париж, который он обожает, а туристы не знают. Назначили эту экскурсию через несколько дней — встреча в отеле «Истрия» у Маяковского в одиннадцать вечера.

Не так давно в парижской еженедельной газете «Les Lettres françaises» была напечатана статья о том, что часть произведений Делонэ и его жены пополнила отдел живописи XX века в Лувре. Приятно было это узнать — семейство талантливое.

Несмотря на декабрь, не холодно. Тихая лунная ночь. Идем пешком по бульвару Монпарнас, потом по бульвару Сен-Мишель (или Бульмиш, как его сокращенно называют) по направлению к Сене. Пройдя музей Клюни, сворачиваем направо и попадаем в путаницу узких, как щели, улочек и маленьких площадей. Узкие, высокие, трех-четырёхэтажные домики XVI—XVII веков. Закрытые деревянными наружными ставнями окна. В первых этажах кое-где магазинчики. Все очень миниатюрное и старопровинциальное. Людей почти не встречаем — очевидно, они уже спят, напившись липового чая. Все же кое-где видим бедно одетых парней с подругами. Свет луны попадает только на крыши и на целый лес труб на них — так узки улицы. Когда мы увидели по пути оранжевый фонарь, висящий над како-то дверью, Делонэ говорит: «Сюда рекомендую зайти — очень милый «Баль-Мюзетт» (танцулька).

Входим. Все очень маленькое, и все помещение без окон, оно идет, как тоннель, в глубь дома и разделено толстыми стенами и арками на два или три помещения. В первом — деревянный глухой прилавок, обитый сверху оцинкованными листами. За прилавком — хозяин без пиджака, в клетчатой рубашке с засученными рукавами, в жилетке и в клеенчатом фартуке. Выйдя из-за прилавка, он нацеживает из больших бочек, лежащих тут же на полу, в графины (пол-литровые и однолитровые) белые и красные легкие вина. А какой-то более молодой мужчина разносит графины на подносах в следующие помещения, где за длинными деревянными столами на скамьях и табуретах сидят посетители, скорее всего рабочие. Стены расписаны гирляндами виноградных листьев и гроздьями винограда. Самое дальнее помещение разгорожено деревянной балюстрадой, за которой танцплощадка. Пол ее паркетный. На стене, завершающей помещение, пристроен небольшой балкончик, очень узенький — для трех музыкантов. С одной стороны на него ведет с пола деревянная лесенка. Оркестр состоит из концертного скрипки и гитары или банджо.

Маяковский очень всем заинтересован и замечает малейшие детали. Садимся за один из общих столов. Делонэ заводит разговор с сидящими и знакомит нас. Маяковский сразу приковывает их внимание, так как Делонэ сказал, что это замечательный поэт. И опять Маяковский страдает: он связан незнанием языка. Но, в общем, завязывается взаимная симпатия, начинается взаимное угощение.

Вокруг по стенам танцплощадки развешаны объемные гирлянды из елок или каких-то зеленых листьев, цветов из бумаги и кое-где цветных электрических лампочек, зажигающихся только во время танцев и «со значением»: вальсы идут под голубые лампочки, а танго — под красные. Музыка очень типичная парижская, вроде как в фильме «Под крышами Парижа» или из репертуара Ива Монтана (в те годы ни того, ни другого еще не было), но те и другие — все это типичные народные парижские напевы, задорные, лирические, душераздирающие. Мы заходили в несколько таких кабачков и «танцулек», более или менее однотипных. Публика, видно, состояла из завсегдатаев.

На улицах Делонэ обращал наше внимание на мостовые (не асфальтированные, а мощенные камнями). Некоторые улочки были сплошь мощеными, другие — с тротуарами, выложенными крупными каменными плитами. Мы ходили долго. Около «танцулек» и в очень темных улицах тихо и бесстрастно, на всякий случай, ходили по двое, в пелеринках и каскетках, французские полицейские, такие знакомые нам по французским фильмам. Окончательно уставшие, мы стали просить Делонэ вывести нас к такси. Он сказал: «Как?! Вы же еще не видели самых главных достопримечательностей этих мест! Идемте. Сейчас как раз самое лучшее время для одной из них». Трудно было отказать нашему любезному гиду, мы пошли за ним. Опять прелестные узкие улочки, но мы уже слишком устали, чтобы впитывать в себя новые детали.

Наконец Делонэ, вырвавшись вперед, стал как-то странно приседать на месте и, задрав голову вверх, говорить громким шепотом: «Идите, идите, вот она — красота!» Подходим, смотрим по направлению указующего перста Делонэ, а он направлен куда-то вперед и **ввысь**; мы тоже приседаем и видим высящуюся над кры-

шами и трубами домов старинную колоколенку, светлым силуэтом выделяющуюся на черном небе. В пролете верхней арки колокольни видим колокол и луну. На первом плане обрамляет все это черный ствол и голые черные ветви дерева. Типичный, хорошо скомпонованный кусочек городского пейзажа. Я до сих пор так и не понимаю, почему Делонэ сказал: «Я часто прихожу сюда в лунные ночи в этот час и наслаждаюсь. Ну, а теперь последняя достопримечательность — надеюсь, ее-то вы оцените! Оттуда и такси близко, пошли!» Пропетляв еще немного, мы вышли на очень маленькую площадь. Посередине был скверик, обсаженный деревьями и несколькими кустами, и... как ни мала была площадь, на ней помещались три мужских уборных (писсуары старинного образца — ширмы на ножках, не доходящие до земли, сделанные из рифленого железа). На площади были две «танцующие» и одно кафе. Вокруг площади, по тротуару, ходили медленно две пары полицейских.

Приехавший в Париж немецкий поэт-коммунист Иван Голль с женой (Маяковский их знал раньше) встретились нам где-то на улице, и решено было вечер провести вместе с ними. Думали, думали — куда? что? И Эльза предложила пойти на ярмарку. Насколько я помню, ярмарка функционировала в Париже круглый год, но она кочевала из района в район. Какие-то мелочи, конечно, изменялись. В данное время ярмарка была в районе знаменитого мюзик-холла Мулен Руж. Мы туда поехали.

Уже издалека, до начала ярмарки, мы слышали, как зазывалы надрывали голоса, заманивая посетителей, каждый рекламировал свой аттракцион. Гул, треск, стрельба, трубные отчаянные возгласы, взрывались в небо цветные ракеты, возникали обрывки песен, вальсов, фокстротов, хохот, визг, крик... Одним словом — веселье на все вкусы. По мере того как мы приближались к ярмарке, запахи усиливались. Жарили вафли, подгорали орехи и каштаны, наши легкие с трудом вмещали сладостный запах ванилина, глаза не знали, куда смотреть, голова все время была в движении, и приходилось то подниматься на цыпочки, то полуприсяживать, чтобы что-нибудь увидеть. Утомительно очень. Аттракционы: цирковые номера — акробаты и канатоходцы. Паноптикумы, «чудесные домики», «волшебные обманы», короткие представления, пантомимы... Были и «сирены» с хвостами рыб вместо ног, и современная «Юлия Пострана», уже вся заросшая волосами.

Во всем этом было что-то общее с нашими российскими народными гуляньями, но многое было типично национальное — французское: и цвет, и остроты, и песни, и музыка. Тут и там на маленьких помостах мелькали Арлекины, Пьеро, Коломбины в масках и без, борцы, тяжеловесы и просто «потертые» персонажи типа «апашей». И тут вспоминались альбомы рисунков и литографий Гаварни, Девериа, Домье и других, изображавших парижские карнавалы. Маяковский успевал замечать мельчайшие забавности и остро комментировать.

Вся эта ярмарка располагалась на бульваре, среди деревьев, растекалась по площади, когда таковая встречалась ей на пути. Мы быстро устали от слуховых, зрительных и обонятельных впечатлений. Уже не помню, какие аттракционы мы испробовали. Снимались на фоне пестрого изображенного на холсте ночного Парижа как бы летящими в аэроплане и — второе фото — все на одной лошади. Устали. Первым не выдержал Маяковский. Он предложил послать ко всем чертям ярмарку и отправиться что-нибудь выпить в «Рай» и «Ад» — два кафе, стяжавшие славу в прошлом веке. Оказалось, что это поблизости. Первым на нашем пути был «Рай». Мы вошли... Даже не знаю, как рассказать про эту гадость и безвкусицу, которая не подвергалась влиянию времени, стиля, моды. Все это, очевидно, когда-то было придумано и оформлено как оригинальная новинка исключительно бездарным воображением. Теперь все было тусклое и пыльное... Много белых ангелов, нарисованных, полуобъемных и объемных, стояли вдоль стен, свисали с потолков. На них были какие-то тюлевые грязно-белые рубашки-пеньюары,

крылья из перьев и пуха. Это было совершенно невыносимо глупое зрелище. Мы сразу же вышли. То же было и в «Аду», но ангелов заменяли черти.

Однажды Эльза куда-то должна была уйти по своим делам, а Владимир Владимирович предложил пойти в музей Грэвен, где ни я, ни он никогда не были. Находился этот музей восковых фигур на бульваре, недалеко от Оперы. Был день. Поехали в метро.

Ну вот и знаменитый музей Грэвен. Мы, как-то слегка стесняясь, входим, берем билеты, идем на второй этаж. Весь зал, мебель, люстры, ковры — все середины XIX века. По стенам витрины для одиночек-знаменитостей и огромные витрины с массовыми сценами. Фон характеризует место действия, решение — панорамное (объем, пол-объема и т. д. до плоскостного изображения). Темы исторические и современные. Одна из огромных витрин изображала Красную площадь, Кремль и пр. Все до ужаса похожее.

Мы походили, поглядели, устали... Посреди зала — длинные банкетки черного дерева, обитые красным бархатом. Владимир Владимирович говорит: «Вуалеточка, давайте посидим». Подхожу, прошу какую-то нежную парочку подвинуться — молчат, садимся, и только вдруг я соображаю, что эта парочка — тоже подсаженные куклы. Маяковский зачертыхался. Довольно быстро нам надоели эти «обманы». Хотим уйти, видим стрелку с надписью «Выход», стрелка указывает на портьеру, входим в складки, попадаем в полутьму, видим перед собой в зеркале свои отражения, хотим обойти слева, упираемся в такое же зеркало — направо то же, шарим руками — пустое пространство, опять идем в полутьму, опять какие-то преграды в виде зеркал, пустых гладких стен, дверей. Свет все время меняется, и мы из полной тьмы попадаем в мигание яркого света. Потолок то низкий, то высокий — чертовщина какая-то! Очень неприятно. Глупо себя чувствуешь. Но выбраться-то надо! Начинаем следить по стыку стен с полом, куда податься, — и это не помогает... Начались какие-то шумы, то близкие, то далекие, музыка, и все начало вокруг двигаться, — мы как в ловушке. Маяковский злится, я тоже. Я попрекаю его: «Ведь вы захотели Грэвен!» И вдруг все движение останавливается и перед нами нормальный небольшой грязный коридорчик, в конце которого надпись: «Выход».

Выходим из Грэвена на бульвар и оказываемся около кафе. У нас от усталости и злости пересохло в горле. Мы садимся в кафе за столик на улице. Подкрепляемся свежим воздухом, кофе и коньяком. Отдохнули. Повеселели. В Маяковском возродилась ненасытная жажда впечатлений и познаний. Идем дальше по бульвару — на стене огромная вывеска из электрических лампочек «Танцы живота!» то зажигается, то меркнет, хотя совсем еще светло. Владимир Владимирович бодро предлагает зайти. Можно не раздеваться. Берем билеты. Тесный зал в первом этаже. Народу полно. Места не нумерованы — скамейки. Сеансов нет: показывают непрерывный танец живота — входи, когда хочешь. Люди входят и выходят. Пахнет потом. Маленькая сценка приподнята. На ней по бокам чудовищные золотые рога изобилия с пыльными грязными розами, на сцене задник, изображающий всяческий Восток, от танцев он все время колеблется волнами, помост поскрипывает и ходит ходуном.

Мы вошли, когда танцевали три «восточные» потрепанные женщины явно европейского происхождения. На грудях — традиционные восточные золотые чаши на лямках-цепях, но груди или малы, или велики по чашам. Тела обвисшие и несвежие, но техника танца живота сильно развита, и иногда кажется, что животы носятся самостоятельно в воздухе в отрыве от тела. Лица, сильно загримированные под Восток, потеют сквозь краску и пудру, так же как вялые тела. Все идет под переменные ритмы барабанчиков. Трио сменилось одной «красавицей» с чудовищным полудохлым удавом, которой она с трудом обкручивала вокруг себя: удав хотел спать или умереть. Танцовщица тоже. Она без туфель, пальцы ног в кльцах с цветными камнями, в сплошных мозолях. Нам стало

противно и плохо. Расталкивая «ценителей прекрасного», мы выбрались на свежий воздух из этой грязной забегаловки. Маяковский сказал: «Так нам и надо!» Трудно было прийти в себя и было совсем не смешно. Даже музей Грæвен вспоминали с умилением, до того нас доконала «восточная нега».

Иногда у Эльзы мы разговаривали «ни о чем» или вспоминали забавные случаи нашей жизни.

Один мой рассказ насмешил и Эльзу и Маяковского... Мне лет десять. Еду с родителями в поезде из Италии в Швейцарию. Только что открыт новый Симплонский тоннель, самый длинный в Европе. Вагон второго класса, купе восьмиместные. За несколько остановок до тоннеля в вагон грузится молодой, очень длинный и худой священник в черной сутане. Ему помогает носильщик — вещей много. Решают их оставить в тамбуре, так как священнику надо сходить с поезда сразу же после тоннеля, а поезд там стоит всего одну минуту. Я была ребенком любопытным и непоседой — бегала по вагону, а уж тем более хотела все видеть на остановках. Родители то и дело говорили: «Уймись, посиди, угомонись!»

Я гордилась умением говорить по-французски, и когда священник сел рядом со мной в нашем купе, я затеяла с ним вполне светский разговор и выяснила, что он едет к больной сестре, везет ей много вещей и волнуется, успеет ли он выгрузить их благополучно на платформу. Во мне почему-то разыгралась несвойственная мне отзывчивость, и я обещала помочь ему.

И вот: поезд наконец вырывается из тоннеля в безумный, ослепительный свет, священник встает, желает всем дальнейшего счастливого пути и идет в тамбур. Я, конечно, за ним. Он подтаскивает, пока поезд замедляет ход, вещи поближе к двери, открывает дверь, поезд останавливается, на платформе никого, он на ступеньке, лицом к вагону, сбрасывает вещи на платформу, я тороплюсь их ему пододвигать, но вот поезд шипит, дергает и набирает ход. Священник падает навзничь на платформу. Я быстро сбрасываю еще две небольшие вещи; оставшиеся два чемодана и картонка слишком тяжелы. В это время через тамбур проходят два молодых человека, я преграждаю им путь и умоляю довыбросить оставшееся. Один, отзывчивый, хватая чемодан, картонку и бросает в открытую дверь. Второй говорит: «Ну, пошли, брось эти глупости!» Платформа кончилась, выброшенные вещи катятся под откос. Я, огорченная, иду в купе на свое место, на душе беспокойно: ведь еще остались вещи... Один из пассажиров в нашем купе оказался русским врачом, и я застаю родителей беседующими с ним. Папа говорит: «А вот наша непоседа-дочь». Я обдумываю, как бы сообщить священнику о полетевших под откос двух вещах.

Придумала! Надо на ближайшей станции оставшийся самый большой чемодан выгрузить, сказать начальнику о происшедшем и просить его сообщить обо всем на злополучный полустанок, а там уж разберутся. Все это сложно, и я решаю завербовать себе в помощь нового знакомого русского. Что же делать — придется сейчас же рассказать о моем доблестном поступке. Вижу испуганные глаза мамы и слышу укоризненные слова отца — оказывается, мне еще рано проявлять инициативу! Поезд замедляет ход — остановка на большой станции пять минут. Я умоляю нового знакомого скорее найти начальника — он в красной фуражке стоит близко от нашего вагона. Выходит, конечно, и мой отец. Пока наш милый новый знакомый объясняется с начальником станции, к нам подбегает толстый старик, потрясающий яростно кулаками, и разъяренно что-то орет — вероятно, по-английски (а мне кажется, что у него во рту и горле ворочается горячая картошка). Оказывается, что выброшенные вещи принадлежат ему, и пока мы пытаемся лишить его и последнего чемодана, он требует вернуть ему выброшенные. Я испытываю очень сложные чувства. А американец, проходя мимо нашего купе, яростно вращает глазами, поднимает кулаки и произносит какие-то, вероятно нехорошие, слова. Ни я, ни мои родители их не понимаем.

Как выяснилось впоследствии, Маяковский записал в своей записной книжке за № 29 в 1924 году: «Как выкинула Ходасевич чемодан американца».

Мы часто втроем, а иногда к нам присоединялся мой муж, очень занятый своими командировочными делами, бывали на Монпарнасе, в очень посещаемом тогда кафе «Ротонда». Сидели мы, независимо от погоды, обычно на улице под тентом. Внутри кто-то или что-то играло модные песенки: фокстроты, слоутроты, уанстепы, и Эльза, сидя за столиком, перебирала ножками под музыку. Маяковский играл сам с собой в «корел или решка» или бубнил какие-то слова в поисках рифм или словосочетаний; остроты, афоризмы, меткие замечания так и сыпались из него. Жалко, что никто из нас не «подбирал» их. Вот только помню, как однажды, когда заиграли очень модный уанстеп с пением, он насторожился и спросил: «Это про что?» «Про любовь, конечно», — сказала Эльза, и он, мгновенно вступив в музыку, почти пропел: «Люблю я вас ночью, люблю я вас днем, люблю я вас до, между тем и потом». И весь вечер каждый из нас мурлыкал себе под нос эту неожиданную, но очень верно отвечающую музыке импровизацию.

Иногда Владимир Владимирович говорил: «Идемте есть макароны», — и мы шли в маленький итальянский ресторанчик около Пантеона — там были очень дешевые цены, по карману студентам, их и бывало там полно. Они ели, пили, вели горячие политические споры, высмеивали и изображали в лицах отдельных профессоров Сорбонны. Маяковский просил нас с Эльзой слушать и переводить ему, что они говорят. Студенты приводили с собой веселых подружек, с которыми танцевали на улице, так как в ресторанчике было слишком тесно. Маяковский говорил, что ему нравится этот ресторанчик — в нем вкусные макароны и симпатичные парни.

Завтракать иногда мы ездили «на ту сторону» (Сены) — на Большие бульвары или на Монмартр. Маяковский возлюбил там два тихих небольших ресторанчика. Один — «У Марианны», в котором все было времен французской революции. Был там кирпичный камин-очаг, по стенам висели народные картинки, высмеивающие короля и королеву. Кое-где красные фригийские колпаки, тарелки с революционными сценками. Из вазочек на столах торчали трехцветные флажки. Посуда была толстая — фаянсовая. Кормили вкусно и «национально». Второй ресторанчик не помню как назывался. По стенам висело много черно-белой графики Пикассо. Там бывало совсем мало народу — было очень тихо и дорого. Маяковский говорил: «Надо же хоть изредка прилично поесть и отдохнуть от музыки».

Как-то были в музее Клюни, где Маяковский восторгался средневековыми экспонатами, но довольно быстро охладел и сказал, что ему сейчас это не необходимо, и мы ушли.

Были в Зоологическом саду, где очень развлекали нас и смешили медведи и медвежата. Они были помещены «на воле», не в клетках, а в очень большой, довольно глубокой яме. Тогда такой способ содержания диких животных был новинкой.

Появился в Париже писатель-очеркист Борис Анисимович Кушнер, только что приехавший из Советского Союза; бывал у Владимира Владимировича, но с нами «бродил» редко.

Четвертого декабря приехал в Париж первый посол СССР во Франции — Леонид Борисович Красин. На нашем посольстве подняли флаг. Маяковский ходил в посольство и общался с сотрудниками, приехавшими из СССР, среди которых у него были знакомые.

Виза была получена, тяжелое изнывание его и бродяжничество по Парижу кончились. Он начал работать и даже питаться стал часто дома, в отеле «Истрия». Но тянуло в Москву. В Париже стало тоскливо...

Я стучаюсь  
о стол,  
о шкафа острия —  
четыре метра ежедневно мерь.  
Мне тесно здесь  
в отеле Istria —



Не знаю, как теперь живут (да и живы ли) герцогини, а в те годы жилось им трудно. Получаемая арендная плата шла в уплату долгов и неустоек, продать они ничего не могли, так как все было давно заложено и перезаложено, и они круглый год судились с кем-нибудь. В «Il Sorito» они оставили себе три небольшие полутемные комнаты в нижнем этаже: две сестрам и одну — отцу, герцогу. В Неаполе они ютились так же некомфортабельно в своем дворце, но зато под гербами. Может, от нелепости и бедности — они все трое забавные, очень милые и наивные люди. Герцог (ему за шестьдесят) — эксцентрик под стать сыну Алексея Максимова Максима. Они очень дружат, и герцог говорит, что любит Макса больше, чем своих детей, и вообще, с тех пор как у них поселился Signor Gorki с семьей, он впервые понял, как прекрасна бывает жизнь.

Вспомнив виллу «Масса», о которой мне писал в Лондон Алексей Максимович, сообщая, что она скоро должна будет свалиться в море, я спросила Максима: «Она уже свалилась?» — «Нет еще», — сказал Максим и предложил немедленно поехать на мотоцикле ее осмотреть.

Въезжаем в ворота. Аллея пальм ведет к вилле. Из каких-то мне неведомых кустов и цветов появляется садовник, бросается в объятия Макса, хлопает его по плечу, знакомится со мной, спрашивает: «Signora anche russa? Benissimo! E come sta il padre e tutii guanti?» (Синьора тоже русская? Как поживает отец и остальные?) Максим отвечает и просит его показать мне виллу. Он говорит: «Aspetta» (Подождите) — и уходит за ключами. Пока мы его ждем, Максим рассказывает мне о дурацкой истории, случившейся на этой вилле. Рано утром — еще не пили кофе — Макса вызывает садовник и говорит, что его просит выйти в сад приехавший градоначальник Неаполя и трое сопровождающих — важных синьоров.

Максим, как был в пижаме и босиком, выходит из дома и видит странную картину: поодаль в аллее стоят навтыжку трое мужчин — сюртуки, цилиндры, перчатки, все черное, держат большие венки из белых роз с черными муаровыми лентами, на которых золотом написано: «All illustrissimo scrittore Massimo Gorki» (знаменитому писателю Максиму Горькому) от такого-то и таких-то.

Выражение лиц сочувствующее и соболезнующее. Il padesta (градоначальник) говорит, что они соболезнуют Максиму в его горе по поводу смерти великого писателя Максима Горького, в знак чего просят принять привезенные венки и предлагают свои услуги и помощь в дальнейшем... Максим стоял ошеломленный и растерянный: боялся, что вот-вот может выйти в сад отец. Потом спохватился, сказал стоявшим перед ним черным столбам, что все это ошибка и он просит синьоров поскорее уйти, забрав венки, так как отец может появиться и ему будет неприятно узнать, что он уже умер. Они удалились — ветер вздымал черные ленты.

Алексею Максимовичу об этом посещении решили не говорить, да и не выясняли, как это все получилось...

Вот и садовник с ключами говорит, что долго искал — ведь никто здесь не бывает. Очень, очень скучно: вилла стоит пустая. Мне вилла не понравилась. Все запущено, мрачно, неуютно, а когда поглядела из окна столовой вниз на море — голова закружилась: дом стоит на самой кромке очень высокого соррентийского скалистого берега, срезанного, как ножом, до самого моря. Единственно, что хорошо — это продолбленная в скале узенькая лестница. Она начинается в доме и выходит на отдельный пляж. Купаться удобно.

У меня есть фото: Алексей Максимович и Максим в купальных костюмах, с ними фокстерьер Кузька на этом пляже.

От виллы и рассказа Максима мне стало грустно, и я рада была вернуться к живому Алексею Максимовичу на виллу «Il Sorito» — что значит «Улыбка».

Однажды я собиралась поехать к зубному врачу в Неаполь, а Алексей Максимович говорит: «Если у вас останется до возвращения время, зайдите обязательно в такую-то церковь (названия сейчас уже не помню) и поглядите там изу-

мительные фрески художника XVII века Луки Джордано, которыми он с огромным мастерством украсил всю церковь и особенно купол, и, как говорят, сделал это с какой-то поразительной быстротой — таким он был виртуозом, — не зря его называли Лука Джордано «*fa presto*» (делающий быстро). Я сказала, что обязательно зайду в эту церковь.

Был очень жаркий день, на мне было простое белое платье без рукавов, волосы я незадолго до того коротко остригла, шляпу я не носила, губы мои, как всегда, были накрашены. По понятиям тогдашней моды, я была одета и выглядела весьма скромно и прилично. В таком вот виде я приехала в Неаполь, побывала у дантиста и, осведомившись, где находится интересующая меня церковь, добралась до нее.

На входных дверях в рамках под стеклом висело много печатных и рукописных объявлений. Я их не прочитала. Толкнула дверь, вошла. Полная тишина — никого. Ну, думаю, как повезло, могу хорошенько рассмотреть фрески. Начала с купола. Вдруг слышу и вижу: открывается боковая дверь алтаря и появляется средних лет, отнюдь не аскетического вида монах, грозно направляется ко мне и требует, чтобы я немедленно покинула церковь. Я возмутилась и сказала по-итальянски, что хочу посмотреть фрески и не понимаю, почему должна уйти. Монах, стараясь на меня не смотреть, стал меня теснить к выходу, причем кричал, что я оскверняю храм божий, мадонна покарает меня и не будет мне прощения в грехах. Все эти тирады гулко грохотали под сводами пустого храма, мне стало страшно, и я, уже не протестуя, быстро пошла к выходу. Монах с проклятьями открыл передо мной выходную дверь и выставил меня на улицу. Я была ошеломлена и растеряна от происшедшего, обидно было, что фресок я почти и не видела. Может, дело в том, что я пришла в неположенные часы? И вот я стала читать объявления, висевшие в рамках на выходных дверях, и тут-то все выяснилось: в этой церкви в определенные дни и часы отправляют церковную службу, в которой замаливают грехи моды, испрашивая для кающихся женщин прощения у господ бога. Я же имела наглость прийти непокаявшаяся и полностью погрязшая в грехах моды, чему явным доказательством были коротко остриженные волосы, накрашенные губы и — что самое страшное — обнаженные руки.

Когда я, вернувшись в Сорренто, рассказала приключившуюся со мной историю, все очень смеялись, долго называли меня «непокаявшейся грешницей», а Алексей Максимович сказал: «Вот черти! Так вам и не придется увидеть эти фрески, пока не отрастут у вас волосы по крайней мере до колен, как полагается всякой уважающей себя кающейся Магдалине».

Алексей Максимович рассказывал мне о том, как однажды появился у них маленький пожилой лысый человек. Представился: Рамша. Оказалось, что он гармонист и аккордеонист. После революции добрался до Италии. Заказал в Милане очень известному мастеру аккордеон собственной конструкции. Он получился небывало красивого звучания. Давал концерты у папы римского. Кто-то о нем рассказал итальянской королеве, и она пригласила его во дворец. Игра его имела ошеломляющий успех, и королева часто устраивала его концерты.

«Вот получил сегодня от него письмо, скоро приедет опять в Сорренто, и вы его услышите». Действительно, вскоре появился Рамша со своим инструментом. Играл нам целый вечер, хотя сказал, что перетрудил руки и приехал в Сорренто отдохнуть и подлечиться. Бывал он довольно часто. Милый, очень скромный человек. Не без хитрецы.

Был очередной прекрасный день, когда, вернувшись после купания к обеду домой, мы узнали от горничной Марии, что у Алексея Максимовича какие-то «*Signor et Signora russi*» и будут обедать. Мы были приятно удивлены, увидав Всеволода Эмильевича Мейерхольда и его жену артистку Зинаиду Николаевну Райх. Не знаю, были ли они раньше знакомы, но на чужбине радуешься встречам с соотечественниками — не со всякими, конечно. Алексей Максимович охотно расспрашивал, а Мейерхольд охотно рассказывал о театральных новостях, о сво-

ем театре и последней постановке — «Мандата» Н. Эрдмана с Эрастом Гариным в главной роли.

Обед был на славу — лангусты, морская дивная рыба, прекрасное местное вино и фрукты. К концу обеда пришел Рамша. Познакомились с Мейерхольдом. Конечно, Алексей Максимович очень лестно охарактеризовал Рамшу и попросил его поиграть. Инструмент из гостиницы «Минерва» притащил Максим. И началось... Так великолепно Рамша еще не играл — хотел козырнуть перед Мейерхольдом, а тот слушал не отрываясь с очень озабоченным лицом, иногда только перебрасываясь взглядами с Райх. Рамша играл Баха, Шопена, Грига, Чайковского, Глинку и песни — русские, неаполитанские, испанские... Техника у него была блестящая, да и инструмент звучал то как орган, то как скрипка, то как флейта, то как гитара, и казалось, что Рамша и его инструмент могут заменить целый оркестр. Все разблаженствовались и расчувствовались, а Всеволод Эмильевич, пораженный игрой и мастерством Рамши, вдруг стал очень деловитым. «У меня к вам серьезное предложение, — сказал он Рамше, — я ношусь с мыслью поставить драматический спектакль «Кармен» с музыкой Бизе, исполняемой на тридцати шести гармониях. Предлагаю вам ехать с нами в Москву (визу на въезд я вам достану) и организовать музыкальную сторону этого спектакля. У меня есть соображения, каким должен быть спектакль, и имеются уже четыре гармониста... Ну как? Согласны? Едем?» Рамша так растерялся, что даже как бы уменьшился в размерах и стал что-то шептать невнятное... В конце концов Мейерхольд сказал: «Через три дня мы будем в Риме, вот адрес гостиницы, телеграфируйте туда ваше решение. Уверен, что наш спектакль «Кармен» мы привезем и в Италию». Чокнулись, распрощались, благодарили. Мейерхольды торопились в Неаполь и дальше.

«Вот это хватка! Но вы не пугайтесь и к предложенному относитесь серьезно. Мейерхольд — талант незаурядный!» — сказал Алексей Максимович. Рамша все же отказался, довольно долго еще пробыл в Сорренто, и мы часто слушали его.

Во втором этаже виллы «Улыбка» на Капо ди Сорренто очень большой, широкий, открытый балкон комнаты Алексея Максимовича. Выйдешь — захлебнешься воздухом, глаза — светом. И привыкнуть нельзя — всегда перехватит дыхание и, хоть слегка, zakружится голова.

Балкон служит ложей в театре, носящем название «Неаполитанский залив». Спектакли в нем идут круглогодично.

Утром и днем из этой ложи можно рассматривать сквозь голубую дымку, лирическую декорацию, — панораму всего залива, и если Везувий действует и даже выдыхает огонь и дым — не страшно, так как это далеко, на противоположном берегу, а выглядит, как с детства знакомая открытка.

Мысли спокойны и радостны. Тишина... Алексей Максимович, прервав работу, выходит из накуренной комнаты подышать, передохнуть, стоит неподвижно и вскоре скрывается обратно. Это можно видеть из сада и с некоторых точек зигзагообразных поворотов дороги, ведущей в Сорренто. Он стоит выпрямившись, худой, еще моложавый, но кажется маленьким-маленьким в огромном пространстве голубого пейзажа. Однако все его знают и, проезжая или проходя, всматриваются, а вдруг повезет и увидят Горького?

Конечно, владельцы многочисленных роскошных гостиниц Сорренто делают на этом дела — повышают плату за «вид на Горького».

Вечереет...

Алексей Максимович кончил работать и приглашает живущих с ним и гостей на балкон — смотреть спектакли, которые устраивает природа и народ, живущий в Неаполе, в маленьких городках и рыбацких поселках, расположенных на грандиозном полукружии природного амфитеатра, спускающегося от подножия Везувия до кромки залива.

Балкон постепенно заполняется. Каждый тащит на чем сидеть — стулья, табуретки, шезлонги, а любящие устроиться поудобнее — кресла.

Алексей Максимович — хозяин внимательный — выносит пепельницы (чтобы не сорили окурками) и «дальнобойный» морской бинокль, рекомендую его на случай надобности. Максим приносит из недр своих владений в первом этаже таковой же.

Мы смотрим спектакли долго — сколько у кого хватит сил, любознательности и воображения. Бывало, и до рассвета. При мне дольше всех засиживались: Алексей Максимович, Максим, художник И. Н. Ракицкий и я.

Для подкрепления убывавших сил и полного наслаждения появлялись в руках бокалы с местным сухим вином. Мы чокаемся и пьем друг за друга и за «Signora Vesuvio», а если он энергично действует, прибавляем «Браво! Брависсимо!», а я вспоминаю раскопки Помпеи: там тоже до поры до времени любовались...

Начинает темнеть... Поворотом головы направо можно переменить декорацию, — меняем: вдали за Сорренто из-за горы, имеющей форму огромной лежащей египетской мумии, появляется полная луна. И вот теперь обязательно нужно смотреть в бинокль, чтобы увидеть, как фантастически быстро луна катится по контуру мумии, а крошечные (из-за расстояния) пинии резко видны черными силуэтиками на фоне постепенно раскаляющегося добела шара, который, поднимаясь все выше, отрывается от горы... И только теперь смущенно «догадываешься», что это не луна катится так быстро, а мы — земля — вращаемся.

Вдруг я замечаю все увеличивающееся количество ползущих по горе «светляков». «Это фонари крестьян. Охотятся на перепелок», — говорит Алексей Максимович. Они обожрались на тучных нивах пшеницей, не в силах лететь, падают и спят. Люди тихо сворачивают им головки, собирают в корзины и продают на рынках. Жареные перепелки очень вкусны.

Когда окончательно темнеет, начинаются фейерверки... Редко кто так любит фейерверки и сосредоточенно может наблюдать, как Алексей Максимович, да и я ненамного от него в этом отстаю, а что и говорить про итальянцев — у них даже фейерверочные состязания происходят между городками и рыбацкими коммунами! Круглый год, но особенно летом по всяческим поводам взлетают в небо разнообразнейшие фейерверки, рассыпаясь многоцветными огнями, и когда безветрие — множатся, отражаясь в воде. Треск и взрывы волнами перекачиваются по всему заливу, перебивая музыку и пение.

В дни больших праздников — в честь ли святых, или урожая, или удачного улова (а он зависит от святого Петра — покровителя рыбаков) — фейерверк длится много часов, и я успеваю вспомнить другие фейерверки...

1920 год. Ленинград. Квартира Алексея Максимовича на Кронверкской проспекте. Мы с мужем живем там же; в нашей комнате балкон. В саду Народного дома — а он близко, наискосок от нас — вечером будут фейерверки, и я уже сижу на балконе в ожидании... Вдруг появляется взволнованный Алексей Максимович: «Я вас разыскиваю — скоро начнутся фейерверки, стучал в дверь — не ответили, вошел, а вы уже на балконе — не честной!» Он садится на скамейку и заряжает мундштук папирсой. Вскоре взлетает первая ракета, и начинается... Сначала даже не разговариваем. Взлетают ракеты залпом, и когда рассыпаются малиново-красными шарами, звездами и фонтанами, небо вокруг становится ярко-розовым.

Алексей Максимович, глухо кашлянув, спрашивает застоявшимся от молчания голосом: «Хотели бы вы, чтобы небо всегда было розовым — и днем и ночью? Вы, кажется, розовый цвет любите?» Я даже слегка теряюсь, но быстро представив себе этакий ужас, говорю: «Нет, это было бы непереносимо!» — «А вот я хотел бы пожить хоть недельку под розовым небом — может, и книжки писал бы лучше и более веселые...»

В конце концов, обсудив небеса всех фейерверочных цветов, приходим к выводу, что лучше всего быть небу вечно голубым, даже и ночью. Звезды хоть и красивы, но вызывают беспокойные мысли и отвлекают от дел земных. А вот фейерверки почаще устраивать было бы полезно.

Рассуждения наши были прерваны приходом Бориса Пильняка, и он сразу повел «умные» разговоры; Алексей Максимович не без колкости сказал: «А мы тут без вас с Купчихой (такое прозвище мне дали на Кронвернском) увлеклись весьма несерьезными разговорами». Фейерверки закончились. «Пойдемте ко мне», — говорит Алексей Максимович и... тут я замечаю, что мы на другом балконе, на Капо ди Сорренто, в другое время — 1925 год, и Алексей Максимович изрекает восторженно: «Хороший народ итальянцы! Сжигают, не жалея, десятки, сотни тысяч лир! Я их понимаю, одобряю и люблю!»

#### По Волге

По правде сказать, мне тяжело вспоминать о поездке Алексея Максимовича по Волге от Горького до Астрахани и обратно летом 1935 года. Она была организована в качестве необходимого, приятного и веселого отдыха. Меня пригласил принять в ней участие Алексей Максимович, и я очень обрадовалась.

Вместе с Алексеем Максимовичем ехали вдова его сына Надежда Алексеевна, ее дети Марфа и Дарья, их воспитательница Магда, приятельница Надежды Алексеевны левица Настя, Липочка<sup>1</sup>, я, старый знакомый Горького доктор Левин, секретарь Горького Крючков и — до Сталинграда — Ягода и Погребинский.

В Горький мы приехали поездом. На автомобилях нас доставили на берег Волги, где у одной из отдаленных пристаней стоял небольшой, только что построенный пароход «Максим Горький». Увидев свое имя на носу парохода, Алексей Максимович поежилась и сказал: «Можно бы и без этого».

На вокзале его встречали местные власти. Алексей Максимович не мог отказать посетить Сормовский завод, где его ждал весь коллектив. Распределив вещи по каютам, наскоро выпили кофе, перекусили и поехали на завод. Жара была трудно переносимая, Алексей Максимович плохо дышал, но бодрился. На заводе мы были недолго, осмотрели цеха и поехали в музей. Алексей Максимович остался на заводе, так как там был организован в его честь митинг.

К обеду мы все вернулись на пароход. Духота и жара усиливались, и бедный Алексей Максимович прошел к себе в каюту бледный и задыхающийся. Раздобыли вентиляторы в его каюту и в столовую. Мы пошли помыться и переодеться: в городе было очень пыльно. Когда я переодевалась, почувствовала толчок — пароход вздрогнул. Это мы отчалили, и началось наше путешествие.

Я все время ощущала какую-то неловкость, а главное, я видела, как плохо все переносил Алексей Максимович и как с каждым днем ему становилось все хуже. Часто он уходил к себе в каюту, и Липочка то и дело таскала туда кислородные подушки (баллон с кислородом стоял в трюме, и Крючков или Липа наполняли подушки в запас). Надо сказать, что над нами часто висело свинцовое покрывало туч, дождь не проливался, и казалось, что это серое покрывало нас придавит. Пароход трясло от работы машин с шумом и без передышки (за исключением наших редких остановок у пристаней). Мне казалось, что из нас сбивают гоголь-моголь. Ягода мне объяснил, что при постройке, добываясь быстроты хода, поставили слишком мощные машины. «Зато ход-то какой — двадцать пять узлов в час делаем, а самые быстроходные пароходы десять—двенадцать узлов!» — гордился Ягода, а когда видел идущий большой пассажирский пароход, говорил Погребинскому: «Сходи распорядись, чтобы поднажали». В таких случаях уже и посуда прыгала на столе. Алексей Максимович, побарабанив пальцами по столу, уходил к себе.

Когда вдали показались Жигули, предложено было сделать стоянку, выгрузиться, походить по зелени, выкупаться. Алексей Максимович сказал, что он останется на пароходе, а другие мужчины взяли ружья: им хотелось изобразить

<sup>1</sup> Черткова Олимпиада Дмитриевна — медицинская сестра, друг А. М. Горького, ухаживавшая за ним во время болезни.

бывалых охотников. Стреляли много, но ничего не убили. Разожгли костер, чтобы им полюбовался Алексей Максимович.

Когда наш пароход приближался к большим городам, к нему подходили моторные катера и по спущенному трапу входили к Алексею Максимовичу гости — партийные и советские руководители тамошних мест. Алексей Максимович принимал их с радостью, угощал вином и чаем, расспрашивая о работе и людях тех районов. Обычно он потом с восторгом рассказывал нам об этих товарищах. Это были чаще всего молодые энтузиасты. У них с Алексеем Максимовичем шло взаимное «оканье» — он расцветал на глазах, влюбленно смотрел на них, говорил им хорошие, бодрящие слова и задавал вопросы, вгрызаясь в самые актуальные стороны волжской жизни.

Ягода при них не показывался. Он ехал инкогнито. Почти ежедневно, чтобы развлечься, он предлагал нам играть в «козла». Играли: Ягода, Крючков, Настя и я, но часто меня заменял Погребинский. Я не всегда могла вынести жару, духоту, «козла» и шла к себе в каюту, лежала с книжкой или смотрела в открытое окно на волжские пейзажи.

Алексей Максимович еще в Москве сказал, что он хотел бы последний раз в жизни полюбоваться Волгой. Но, кроме него и меня, мало было сочувствующих этому зрелищу, и это его злило. Ему было дорого все, и старое и новое, что он видел на Волге. Я чувствовала, что он с этим всем прощается.

Часто собирались в столовой-гостиной, чтобы послушать взятые из Горок любимые пластинки Алексея Максимовича. Среди них было довольно много последних записей Шаляпина, недавно привезенных Екатериной Павловной Пешковой из Парижа от Федора Ивановича. Много раз вечерами Алексей Максимович просил проиграть те или другие вещи. Когда он в первый раз прослушал новую запись «Элегии» Массне, которую Шаляпин пел очень мелодраматично и почти с рыданиями, то глухо и сердито сказал, что Федор (так он называл Шаляпина) раньше великолепно пел эту вещь, а за такое, вероятно, больше долларов платят. «Как ему не стыдно — это же безвкусица!» И он просил подальше спрятать эту пластинку. Но «Сомнение» Глинки и из церковных песнопений «Сугубую ектению» Гречанинова, «Ныне отпускаеши» и «Верую» Алексей Максимович слушал много раз с наслаждением и не скупился на похвалы.

Когда пароход подходил к Сталинграду, была уже почти ночь. Картина открылась феерическая — на протяжении более двадцати километров весь берег был усыпан огнями: это шла работа в цехах новых заводов. Алексей Максимович был ошеломлен и стоял на палубе не шелохнувшись еще долго после того, как мы миновали последние, уже редкие огоньки. Ночь была нежаркая, и я заметила, что он легче дышал.

После Сталинграда стало тише, уютнее и веселее. Да и небо прояснилось, стало не так душно. Алексей Максимович чаще появлялся на большой палубе и общался с детьми.

При приближении к Астрахани сильно запахло рыбой. Когда мы стояли у пристани, к корме подплыли лодки с мальчишками — они предлагали купить у них арбузы; Алексей Максимович сказал, чтобы я взяла у Липы веревку и денег. Когда я вернулась, он быстро бросил мальчишкам в лодку конец веревки и завернутые в бумажку деньги, крикнул им, чтобы привязывали арбуз, а он потащит его наверх. Вдруг один из мальчишек, всмотревшись в Алексея Максимовича, тянувшего его арбуз, завопил: «Да ты кто будешь — уж не Максим ли Горький?» — «Да нет, — отвечал Алексей Максимович, — я даже на него и не смахиваю, это пароход так называется». — «Врешь, — кричали в лодке, — мы-то тебя знаем, небось на картинках видели!» — «Ну, может, я его брат, да и то вряд ли». Тут поднялся такой визг и шум и набралось столько людей на берегу, что Алексей Максимович с арбузом под мышкой быстро скрылся. Потом он много рассказывал нам об Астрахани, о рыбных промыслах, о Каспийском море и многое вспоминал о своей молодой жизни на Волге. Рассказывая, он сразу помолодел, и глаза стали веселыми.

На обратном пути Алексей Максимович был великолепным гидом: он то и дело говорил, чтобы мы не пропустили то одно, то другое, то на правом, то на левом берегу.

Где-то недалеко от Астрахани мы увидели у воды какую-то странную каменную постройку, похожую на средневековый замок. Алексей Максимович сказал, что это буддийский храм, рассказал его историю и неожиданно вспомнил стишок: «Едет рыцарь на коне, приблизительно ко мне». Я пришла в восторг и спросила, не он ли это сочинил? «Да что вы — я ведь писатель весьма серьезный», — и ушел, ухмыляясь. Все же я думаю, что это был его экспромт.

В Казани решено было сделать остановку — опять небо свинцовое, духота. Алексей Максимович хотел отдохнуть от тряски и шума машин. Он посоветовал нам показать Казань внучкам, а сам остался на пароходе и, чтобы его не осаждали на пристани, попросил капитана отойти от берега и стать на якорь.

Когда мы закончили осмотр города и, измученные, оказались на пароходе, Алексей Максимович сказал, что он мечтал, чтобы мы подольше не возвращались: уж очень хорошо было без тряски — и мысли и сердце немного пришли в порядок. Предложили ему еще отдыхать, а он ответил: «Хорошенького понемножку» — и попросил капитана поскорее идти в Горький.

Несколько раз за поездку Алексей Максимович спускался вниз, к команде парохода. Беседовал с ними, расспрашивал, смешил их. Капитан был очень приятным, сдержанным человеком, да и всю команду хорошо подобрал, было много молодежи. Повар изощрялся в приготовлении разных блюд и раздобывании на пристанях свежих и копченых стерлядей, осетров и раков: в икре свежей недостатка тоже не было. Мы, конечно, уплетали всю эту вкусноту, а Алексей Максимович хвалил, но, как всегда, ел мало.

Грустно, конечно, но даже мы, молодые, вернулись в Москву очень усталыми, а что же говорить про больного Алексея Максимовича!

### *Исаак Эммануилович Бабель*

Всё в Бабеле было неповторимым при его на первый взгляд непримечательной внешности. В нем не было ничего яркого, цветного. И волосы, и цвет глаз, и кожа — все было приглушенных тонов. Никогда не видела в его одежде ни кусочка яркого цвета. Моду он игнорировал — важно, чтобы было удобно.

Если бы не глаза его, то можно бы было пройти мимо, не оглянувшись.

Он небольшого роста. Голова сидит на короткой шее, плечи и грудь широкие. Спину держит прямо — по-балетному, отчего грудь очень вперед. Небольшие подвижные, все время меняющие выражение глаза. Нижние веки подернуты вверх, как при улыбке, а у него — и без. Рот большой. Уголки губ приподняты и насмешливо и презрительно. Нижняя губа слегка выпячивается вперед и пухлая.

Кажется, что ему всегда любопытно жить и поглядывать на окружающее (часто только одним нацеленным глазом, а в глазу веселая точка, другой — прищурен).

Мне не приходилось видеть его глаза злыми. Они бывали веселые, лукавые, хитрые, добрые, насмешливые.

Иногда он казался таинственным, загадочным, малопонятным, отсутствующим и «себе на уме».

Был нетороплив и скуп в движениях и жестикеуляции. Умел внимательно выслушивать людей — не перебивал, вникал. Говорил негромко.

Читая его произведения, я, как художник, испытываю чувства, подобные тем, которые возникают, когда рассматриваю произведения могучего, ни на кого не похожего гениального испанского художника Франческо Гойи.

Предельно скупые, обобщающие мазки его живописи (особенно последнего периода), линии его рисунков и штрихи его гравюр выражают только самое глав-

ное, что он считает нужным поведать и разъяснить людям. Тема и мысль ничем не заслонены, не засорены и действуют безотказно. Бабель работал, как мне кажется, сходным методом в литературе.

Я воспринимаю их творения, как образцы высочайшего, подлинного реализма.

И все это у них, как я думаю, от любви и благожелательства к людям, от желания помочь им разобраться в добре, зле и красоте.

Нежданно-негаданно был арестован мой муж. Мы жили в Ленинграде. Это был 1926 год. Я наивно мечтала лишь об одном — о предъявлении любого обвинения мужу, чтобы начать «действовать».

В те дни зашел меня навестить режиссер Сергей Эрнестович Радлов, с которым мы очень дружили и часто работали вместе в театрах. Он сказал, что приехал в Ленинград Бабель и будет завтра у него. У Бабеля есть друзья в приехавшей в Ленинград правительственной комиссии. Сергей Эрнестович пригласил меня прийти завтра к нему, познакомиться с Бабелем и рассказать ему о моем горе и недоумении — не сможет ли он попросить ускорить рассмотрение дела моего мужа.

Я пришла к Радлову. Бабель был уже там.

Я дрожала, заикалась, волновалась в начале разговора, но вскоре, увидав полное доброжелательство в глазах Бабеля, устремленных в мои глаза, какую-то горькую полуулыбку, услышав неторопливые, подробные расспросы о всех обстоятельствах, я обрела покой.

Мне стало легко говорить с ним. Я поверила в его человечность, в то, что он не бежит от чужого горя и искренне хочет прийти на помощь.

Уже через день после нашего свидания с Исааком Эммануиловичем он сообщил мне, что «дело» моего мужа будет вскоре рассмотрено и что мне надо набраться ненадолго терпения. «Посмотрим! Посмотрим!» — сказал он мне и очень ласково улыбнулся.

Конечно, не с сегодня на завтра, но все же вскоре муж мой был освобожден без предъявления какого-либо обвинения, так как «дела» вообще не было.

Мы с мужем написали Исааку Эммануиловичу письмо в Москву и благодарили за вмешательство. Это первое знакомство, естественно, наложило отпечаток на все последующие наши встречи и сделало Бабеля для меня не чужим человеком.

1936 год. «Одесская мудрость гласит: если с тобой получилась знакомая дама — ты обязан угощать ее гренадином», — сказал мне Бабель, почти насильно усаживая за стол в кафе гостиницы «Красной» в Одессе и ставя передо мной бокал «гренадина». Затем, исчезнув на секунду, он вернулся и галантно вручил мне соломинку, упакованную в папиросную бумагу. Он сказал: «Это вообще невкусно, но через соломинку все же легче...»

Мы неожиданно встретились в вестибюле гостиницы. В тот день я должна была уезжать в Москву, мои вещи с утра вынесли из занимаемой мной комнаты в вестибюль, хотя поезд уходил вечером, чтобы сразу же вселить кого-либо из давно ждущих комнату.

Оставалось уже немного времени до отхода поезда, и я ждала человека, обещавшего достать мне билет в Москву и транспорт от гостиницы до вокзала.

В Одессу я попала впервые, провела там дня четыре, полных необычайных приключений и неожиданностей, включая и встречу с Бабелем, которая, к большому сожалению, произошла только за несколько часов до моего отъезда. Но и то хорошо! Я и так была очарована Одессой, а тут еще и Бабель! И как ни было коротко наше свидание, оно очень многое мне раскрыло и в Бабеле и в Одессе. Одним словом — мне повезло!

Бабель в Одессе чем-то отличался от московского Бабеля. У него была и другая манера держаться, и не насмешливые, а просто очень веселые глаза, и

какие-то быстрые, танцующие движения. Его «величие» все равно наличествовало, даже усугубилось — просто сбежавший с Олимпа небожитель, которому захотелось поерундить среди людей.

Бабель сказал мне, когда я его спросила, что за таинственные, странные и, пожалуй, малопочтенные люди окружали его за столиком, когда я вошла в кафе гостиницы: «Я покупаю дачу и все капризничаю, а эти люди ищут дачу и волнуются, а я в это время их изучаю. Я уже осмотрел кучу домов, которые вскоре сползут в море, и другие, которые временно не сползают... Пейте grenadin! Иначе вы меня скомпрометируете в глазах одесситов».

В апреле 1937 года вышел № 4 журнала «СССР на стройке», когда-то организованного Горьким. Большинство номеров этого журнала бывало посвящено какой-нибудь одной теме. Этот номер был посвящен Горькому — всей его жизни вплоть до смерти — и задуман был вскоре после того, как Алексея Максимовича не стало.

Для разработки темы и написания текста для журнала редакция обычно приглашала кого-нибудь из значительных писателей. В данном случае приглашен был Исаак Эммануилович Бабель — человек острой выдумки, хорошо знавший и любивший Алексея Максимовича. Художником выбрана была я. Конечно, я была очень обрадована этим, но и боялась, что впервые буду работать в журнале, имевшем особую специфику, и впервые с Бабелем. Да еще и номер такой ответственный!

Принцип журнала был таков: максимум фотоматериалов и минимум текста. Тем труднее было писателям. Писатель должен был сочинить на заданную тему подобие фотосценария. Композицию и формат кадров на страницах разрабатывал художник к еще не существовавшим фото и заказывал их фотографам.

Бабель решил, что лучше всего будет, если в этом номере в основном будет говорить о себе сам Горький, а Бабель будет режиссером — составит драматургический план и подыщет цитаты из высказываний Алексея Максимовича в разные периоды его жизни.

Это была очень интересная и правильная выдумка.

Надо сказать, что если вначале Бабель относился к работе как к моральному обязательству по отношению к покойному Горькому, то в конце концов он увлекся, вложил в работу много выдумки, и этот номер, посвященный Горькому, получился очень насыщенным, интересным и ценным по материалу.

Вспоминаю, что, кроме встреч и разговоров в редакции, Бабель просил меня однажды приехать к нему домой, чтобы спокойно, не в обстановке шумной редакции поговорить о порученной нам работе.

Приехала я к нему в Большой Николоворобинский переулок — это близко от Покровских ворот.

Дальнейшее вспоминается импрессионистически, но встающие в памяти детали характерны для Бабеля, и поэтому я их записываю.

Дом двухэтажный, деревянный. Звоню. Мне открывает дверь старушка, повязанная платком. Попадаю в переднюю. Из передней ведет деревянная, ступенек на двадцать, неширокая внутриквартирная лестница.

Слышу голос сверху, поднимаю голову — вижу Бабеля, стоящего во втором этаже. Предлагает подняться наверх — к нему. Поднялась. Не совсем поняла, что это за помещение, да и не очень светло, хотя день. Одно окно в узкой стене длинного помещения дает мало света. Вдоль перил, огораживающих лестничный проем, стоят сундуки. Один с горбатой крышкой, другой с плоской и корзина. Один из сундуков обит медью — вероятно, старинный. У противоположной стены шкаф. Неуютно. Тут же, между шкафом и сундуками, — небольшой стол, не больше разложенного ломберного. Стол покрыт скатертью или клеенкой. На нем металлическая высокая квадратная коробка — в таких держали в старину чай. Бабель предлагает сесть за стол, говорит, что будет угощать чаем, а потом поговорим о

деле. Я села. Бабель кричит вниз: «Ну, что же кипяток?» Внизу слышны шаги, Бабель спускается по лестнице и возникает обратно с подносом, на котором стоит, все еще плюющийся паром, большой металлический чайник с кипятком и другой, тоже не маленький, фарфоровый, — для заварки чая, чашка, стакан с подстаканником, полоскательница, сахарница. Начинается очень деловой, серьезный и неторопливый ритуал заварки и приготовления чая. Я думаю — игра это или всерьез? Или оттяжка времени, чтобы переключиться на будущий разговор о журнале?

Не буду описывать подробно, как заваривался и настаивался чай, — очень сложно! Одно хорошо запомнила — это поразившее количество чая на одну чашку: три или четыре ложки с верхом. А пить надо, чуть не обжигаясь — иначе аромат улетучится. Чтобы приготовить чай себе, Бабель проделал все сначала, начиная с того, что снизу, по его зову, был принесен старушкой новый кипящий чайник. Когда процедура была закончена, он очень серьезно сказал: «Только так есть смысл пить чай! Не хотите ли повторить?» Нет, я не хотела, я мечтала поскорее начать разговор, связанный с работой, и надо было уже торопиться в редакцию.

У меня осталось впечатление чего-то чудаковатого от ритуального чая, от странного обиталища и по старинке и уютного и неуютного быта.

Но Бабель все равно был хорош и абсолютно «на месте» и в этой обстановке. Да как и везде, я думаю.

### ***Всеволод Вячеславович Иванов***

Яркий цветной ковер из колокольчиков, ромашек, маков, клевера, lupinусов и многих других дикорастущих или когда-то посаженных и одичавших цветов расстилается от самого забора, отделяющего дачный участок Всеволода Иванова от дороги, по всем полянам и вьется цветными дорожками между деревьями и кустами. Осенью кажется, что ковер переменяли — произошла полная смена цветов и цвета.

Плодовые деревья, ягодные кусты, цветы чувствовали, что Всеволод Вячеславович понимает их, любит и хочет, чтобы им хорошо жилось, хотя бы в пределах «его владений».

Он внимательно присматривался и примечал, когда кому из них плохо, и старался понять причину. Когда нужно было, он их расселял, пересаживал, подстригал и не уставал любоваться ими. Если долго не было дождя, подтягивал длиннейший шланг, клал его к корням особо жаждущих, открывал воду и строго по часам поил их.

Все растения тянулись к нему и как-то феерически быстро продвигались к дому, и казалось, что скоро они наберутся храбрости и сил, прорастут сквозь ступени лестницы, войдут в дом и соединятся с избранными и привилегированными — те круглый год жили в кадках и горшках по всему дому, защищенные от зимы и непогоды.

Дикий виноград ползет вверх по стенам и, достигнув второго этажа, уже завоевывает крышу.

Летом мало видно дом. Во всяком случае трудно понять его архитектуру.

Из цветов Всеволод Вячеславович особо любил мальвы и сам сажал их. Зимой не переставал он любоваться и удивляться великолепию кистей ярко-красных ягод калины, висящих на тонких оголенных ветках на фоне белого снежного покрывала, — за зиму их постепенно склевывали птицы.

Нравилась ему незабудки, если их много. Когда-то дикие, принесенные им из леса, самостоятелно разбежались они по всему саду, а специально изготовленная по инициативе жены Всеволода Вячеславовича, Тамары Владимировны, незабудочная грядка таилась где-то за домом, где все заросло большими деревьями, и их низкие ветви и высоченная трава скрывали ее от непосвященных. Грядка так

густо заросла незабудками, что казалась плоскостью, ровно покрашенной ярко-голубой краской. Когда я впервые нечаянно набрела на это чудо красоты, Тамара Владимировна объяснила: «Это специально Всеволодова грядка — он незабудки очень любит».

Ни прополка, ни расчистка дорожек и площадки перед домом не помогали — все зарастало. Тамара Владимировна долго боролась с этим, но сдалась в конце концов.

Вскоре после войны Всеволод Вячеславович посадил вдоль дороги, ведущей от ворот к дому, маленькие березки, и вот они выросли в большие деревья и летом сплетают свои ветви над дорогой, образуя тоннель, в котором в солнечные дни держится зеленая тень и прохлада.

Если так сложилось, что Всеволод Вячеславович «угомонился» и стал «оседлым», то пусть хоть в природе здесь, под Москвой, все, что хочет и может, вольничает и буйствует, как в молодости он сам. Да и красиво это удивительно!

Конечно, Всеволод Вячеславович был добрым сказочным волшебником. Я часто ощущала, что вокруг него создается «зона волшебства». Вот он что-то скажет или расскажет такое, что все вдруг преображается в «не так, как в будни».

Иногда он мог казаться странным. Когда я чем-нибудь возмущалась, он как-то загадочно начинал улыбаться и говорил: «Ничего! Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Однажды я была даже раздосадована, не находя в нем сочувствия и соболезнования, я спросила: «Уж не буддийского ли вы вероисповедания?» На что он, хитровато прищурившись, сказал: «Как хотите — возможно!» — и прервал разговор. Обсуждать с ним и решать душевные или мировые проблемы, по крайней мере мне, не удавалось. Душевных — он как-то боялся или не хотел обсуждать, а «мировые» умел перевести в план столь мудрого юмора, что вопрос разлетался в прах. Может, я не умела к этим вопросам подойти, и они казались ему наивными? Беру вину на себя — хоть и обидно! (Не вину брать, а то, что такие разговоры не состоялись.)

Он часто подолгу молчал, но мог быть и блестящим рассказчиком, да и оратором — какой найдет «стих». А его рассказы о виденном и думанном в его путешествиях и странствиях — заслушаешься! За дружеским праздничным столом кто произносил самые мудрые и интересные тосты и здравицы? Конечно, Всеволод Вячеславович! Хороши они были и по содержанию и по форме.

Вообще всегда было в нем много нежданного, и отображал он все по-особенному.

К животным он относился примерно так же, как к растениям, и они льнули к нему.

Помню, был у него довольно большой, но очень трусливый щенок. Надо было видеть, как щенок умилительно бросался к Всеволоду Вячеславовичу искать защиты — визжал, просился «на руки», встав на задние лапы. Когда мы в зимние вечера ходили гулять по проспектам Переделкина, и вдруг раздастся неожиданный шорох за чьим-нибудь забором, или залает собака, или вдали покажется человек — конечно, страшно! Всеволод Вячеславович расстегивал куртку, брал щенка за пазуху и, что-то нежно приговаривая, успокаивал песика, а тот благодарно старался облизнуть ему все лицо и блаженно попискивал от наслаждения, одновременно все еще слегка вздрагивая от пережитого ужаса.

Будучи в последний раз в Нижней Ореанде под Ялтой, он полюбил разгуливающих там по парку павлинов. Однажды к его балкону подошли два, и за неимением другого угощения им предложены были финики. Очевидно, это лакомство им понравилось, и на завтра павлинов пришло много. Конечно, они получили щедрое угощение. Но вскоре это вызвало протест администрации дома отдыха — павлины после фиников так сильно загрязняли балкон и всю площадку вокруг, что пришлось прекратить эти павлиньи пиры.

Делая передышку в работе, бродил он по Москве один. Заходил в магазины, покупал непредвиденные вещи. Иногда это были произведения искусства, часто старые и старинные книги (все литературные новинки он выписывал для себя и для членов семьи, учитывая интересы каждого). Не будучи чревоугодником, он соблазнялся иногда какими-нибудь экзотическими яствами, а то и просто солеными огурцами, если они в интересной упаковке. Чай он как-то особо тщательно выбирал, — ему нравились зеленые и плиточные. Домой он приносил большие «доски» или «кирпичи» прессованных чаев с выдавленными на них барельефными изображениями китайских башен, городских ворот, пагод и красивых иероглифов. Часто это бывали чаи, которые, кроме него, никто не соглашался пить — очень уж было противно. Он обзавелся и особыми чайниками, и кофейниками новейших конструкций и причудливых форм. Приходилось, чтобы ими пользоваться, прочитывать длиннейшие наставления, прилагаемые к этим новинкам. На террасе столовой стояла его «неприкасаемая» белая электроплитка, на которой он варил свои «зелья».

И какой тихий уют разводил он и сообщал всему дому!

Некоторым своим привычкам он неожиданно и по непонятным причинам вдруг изменял, а потом также внезапно возвращался к ним. То курил трубку, то сигареты, то бросал — с абсолютной легкостью и на долгий срок — курение. То пил вино, то месяцами — не уговоришь! То выходил утром с четками в руках и целыми днями перебирал их, что-то обдумывая — наверное, важно! Четок было много, разнообразных, преимущественно из восточных стран, сделанных из разных камней, янтаря, слоновой кости, из кипариса и вечно благоухающие — из сандалового дерева. Зерна четок были гладкими и с причудливыми резными узорами. А то вдруг надевал на пальцы рук древние перстни, а к вечеру менял их на другие.

Он бывал легок на подъем и перекочевывал без труда из одной комнаты в другую и даже из этажа в этаж.

Для путешествий, без которых он не мог долго работать и к которым очень тщательно готовился, накапливал он очень обдуманно свое снаряжение: какие-то складные ножи, ложки, фляги, коробочки, баночки с лекарствами и без — и все это компактно упаковывалось в специальные футляры.

Вспоминаю: в 1943 году летом я и художник Виктор Семенович Басов поехали вместе с Всеволодом Вячеславовичем и Тamarой Владимировной на пепелище сгоревшей в войну дачи Ивановых в Переделкине. Мы увидели там опустошенный участок. Чуть намечался фундамент бывшего дома. Мы улеглись на полувымершую траву, и Всеволод Вячеславович грустно вспоминал свою огромную сгоревшую библиотеку. «Да и карандашей пропало и тут, и в московской квартире несколько тысяч — я люблю, чтобы под рукой их было много», — прибавил он.

В 1946 году Литфонд построил новый дом для Ивановых на месте старого, и они в него перебрались.

Очень интересно было обживать этот дом. Тамара Владимировна еще терпеливо продолжала добиваться мелких доделок по линии комфорта и удобств, а Всеволод Вячеславович уже нетерпеливо громоздил вновь накопившиеся книги на полки и в шкафы. С веселым, как всегда, чуть загадочным лицом нацеливал он глаз на стены, вбивал гвозди и быстрой, легкой походкой шел за стоявшими у стен или сложенными в разных углах картинами, гравюрами, литографиями, находил то, что хотел, и вешал на вбитые гвозди на выбранных им местах. В результате тут мирно и красиво уживались живопись Кончаловского и Уфимцева с литографиями Пикассо, акварель Айвазовского с картиной Тышлера, плакаты Маяковского (окна РОСТА) с гравюрами XVIII века и русские лубочные картинки с рисунками Леже. И все это разнообразие, развешанное Всеволодом Вячеславовичем, не только не мешало друг другу, а даже выгодно подчеркивало своеобразие каждого.

Правда, все вешалось не «навек» — много раз в этом доме происходили не только смены вещей на стенах, но и обитатели дома менялись комнатами. Была в этом какая-то прелестная подвижность молодости, и легкость, и бесшабашность.

Всеволод Вячеславович очень любил свою семью, но никогда не «воздействовал» — даже на своих маленьких внуков.

Бывало, я думала: если бы эта дивная семья Ивановых оказалась на необитаемом острове, они бы не растерялись и не соскучились без людей — до того все они были и едины и разнообразны. Мысли, знания, интересы были у каждого свои, но каждый сообщал их остальным. А вкусы были едины.

До чего же бывало уютно за утренним завтраком!

Сзади места хозяина, за длиннейшим обеденным столом, рассчитанным на «сколько бы ни было гостей», произрастает в огромном деревянном ящике фикус, образующий своими ветвями почти беседку. Фикус благоденствует и быстро разрастается, ежегодно разворачивая много молодых отростков и листьев. Поговаривали о том, что вскоре придется проделать дыру в потолке в верхний этаж, в комнату сына Всеволода Вячеславовича — Комы, чтобы фикус мог и дальше не стесняться. А пока некоторые ветви расчалили веревками к стенам и потолку — вероятно, фикус доволен.

Вот очень ясно вижу Всеволода Вячеславовича сидящим под сенью фикуса, углубленным в окружающие его какие-то тома старых книг, которые он прочитывает, готовясь и составляя мало изведенные маршруты вновь задуманного им путешествия.

На первый взгляд странно расставлены мебель и вещи в комнате Всеволода Вячеславовича в Переделкине. Но это было не случайностью. Да и подбор мебели был необычный. Комната служила и рабочим кабинетом и спальней. Угол спальни отделен был от остальной части комнаты тяжелой ширмой, привезенной с Урала.

Вдоль стены с окнами стоят два совершенно одинаковых письменных стола из темного полированного дерева. Они завалены пачками бумаги, папками, книгами. На них стоят всякие посудины с несметным количеством карандашей, очень тщательно отточенных, преимущественно так называемых «итальянских», но есть и графитные разной мягкости. А писал Всеволод Вячеславович, сидя или лежа на большом, сколоченном из досок помосте (как у узбеков в чайхане), покрытом шерстяным покрывалом-ковром ядовитого малиново-лилового цвета с висящими на лицевую сторону прядями нитей длиной сантиметров в десять. Такую штуку я видела впервые в жизни — она из Болгарии. Под помостом, скрытые спущенным до полу покрывалом, лежат большие камни, привезенные из Коктебеля. Есть среди них весом больше пуда. Эти глыбы откалывал сам Всеволод Вячеславович на Кара-Даге.

Рядом с рабочим ложем-помостом в больших деревянных кадках два очень больших растения: китайская роза и алоэ, изгибающееся причудливо и похожее на фантастическое китайское чудовище вроде дракона. Около них на табуретах глиняные кувшины с водой для поливки. В воде разведены разные питательные и лечебные снадобья. Поливать эти растения — привилегия хозяина, и поэтому, конечно, китайская роза так широко распырила свои ветви и дарит ежегодно Всеволода Вячеславовича сотнями ярко-красных цветов.

Друзьям и хорошим людям охотно раздаются «отводки».

Халцедоны, сердолики, нефрит, кристаллы аметиста, бирюза, а то вдруг диковины океана — причудливые раковины и похожий на большой окаменевший букет мельчайших цветов белый коралл — привезены из далеких путешествий и красуются в разных местах комнаты.

Тесно населяют комнату изощренные произведения древнего искусства Востока. Будды и другие боги и богини, просто фигуры мужчин, женщин, зверей, сделанные из бронзы, дерева или слоновой кости. Курильницы, кинжалы, риту-

альные ножи, ковры... Некоторые из вещей стоят на шкафах, подоконниках, столах, а для некоторых на стенах приделаны полки разной величины, а есть и одно-местные — индивидуальные. Все это вьется и громоздится вверх по стенам.

Стоит в комнате еще подобие комода с многими неглубокими ящичками. Он был куплен, когда внезапно у Всеволода Вячеславовича появилась страсть коллекционировать галстуки. Он их покупал в Москве, в пригородах, в других городах и странах. Они были однотонные и в рисунок и разнофактурные — от толстых вязаных шерстяных до очень тонких из шелков. Некоторые друзья хотели помочь пополнить эту коллекцию, но принесенные галстуки оказывались двойниками уже имевшихся. Настало время (увлечение длилось, насколько помню, год или полтора), когда уже и сам коллекционер не находил новинок.

Всеволод Вячеславович любил преимущественно яркие краски, и эту любовь он привил всей своей семье. Его влекло и он умел живописно и красиво по цвету одеть героев своих произведений, особенно женщин, и создать им выгодный по тону фон, что редко удается писателям.

Я имела когда-то наглость сказать Горькому, что он плохо «одевает» женщин, а когда особенно старается, то делает их похожими на кресла или портьеры времен Александра III. Алексей Максимович не обиделся, смеялся — ему нравилась моя откровенность. Но все же однажды он слегка колюче сказал мне: «Вот жаль, сударыня, с вами не посоветовался!»

В комнате стоят еще книжные шкафы — в них любимые книги Всеволода Вячеславовича: стихи, проза, путешествия, наука. Книги выбраны им по влечению ума и сердца (а то и другое очень вместительны и ненасытно всю жизнь впитывали многотысячелетние результаты поисков разума человеческого).

Пол этой довольно фантастической комнаты, где сам воздух пропитан восточными травами и тайнами, застлан коврами разных народов.

Всегда комнаты Всеволода Вячеславовича были похожи на него и выражали самого хозяина. Потому, наверное, в них бывало особенно интересно и уютно слушать его произведения, когда он их читал сам.

Четко помню, как незадолго до своей трагической смерти Александр Александрович Фадеев зашел к Ивановым (а я в это время гостила у них) и попросил Всеволода Вячеславовича прочитать главы из его нового романа «Мы идем в Индию». Всеволод Вячеславович читал эпически просто. Слушая, мы с Фадеевым волновались и блаженствовали. Александр Александрович часто вынимал платок из кармана и вытирал слезы, которые катились у него из глаз от смеха и умиления. Смеялся он громко, неудержимо и, что не вязалось с ним, как-то по-детски... Ему очень понравилось прочитанное, и он долго восхищался и обсуждал отдельные куски.

Как-то мы приехали к Ивановым с Анной Алексеевной и Петром Леонидовичем Капицами. Всеволод Вячеславович и Капица по-особому любили и нравились друг другу — может, «чудак чудака видит издалека»? И вот Всеволод Вячеславович читал нам несколько своих заветных рассказов, которые он называл «фантастическими». Особенно поразил и восхитил нас рассказ «Сизиф». Но и другие рассказы были с волшебством.

Я любила делать подарки Всеволоду Вячеславовичу — он так душевно радовался новым «игрушкам».

В один из приездов из Ленинграда я привезла ему бронзовую китайскую, покрытую эмалью фигурку XVI века — бога литературы. Он изображается сидящим верхом на большой рыбе — карпе. Вернувшись в 1943 году из эвакуации в свою квартиру в Ленинграде, я обнаружила, что карп пропал, а бедный китайский писатель валялся беспомощной раскорякой на полу. Я его бережно сохранила — это была редкая вещь. Всеволоду Вячеславовичу очень понравился китайский бронзовый коллега, и он долго подыскивал, на что его посадить вместо карпа. Решил найти подходящий по форме камень из своей коллекции. Уже сидящим на камне, бог литературы был удостоен личной подставки и занял место на стене комнаты своего собрата по перу.

Прошло несколько лет. Однажды в Ленинграде получаю письмо от Тамары Владимировны с приглашением приехать к ним в Москву на Лаврушинский встречать Новый год или на рождение Всеволода Вячеславовича — не помню. Я решила сделать сюрприз, послала телеграмму с благодарностью и сообщила, что, к сожалению, приехать не смогу. На самом же деле поехать решила и с поезда в Москве приехала не к Ивановым, а к Пешковым. Я везла в подарок Всеволоду Вячеславовичу два английских канделябра на две свечи каждый. Захватив чемодан с вещами и канделябры, мы поехали с Надеждой Алексеевной Пешковой (с Тимошей, как звали ее родные) вечером к Ивановым. На площадке перед дверью их квартиры я зажгла свечи в канделябрах и вместе с чемоданом прижалась так к стене, чтобы открывающему дверь из квартиры меня не было видно. Позвонили. Дверь открылась, и я услышала поцелуи и возглас Тамары Владимировны: «Вы знаете, Тимоша, такая обида — Валентина Михайловна не могла приехать!» Дверь еще не успели закрыть, как появилась я с зажженными канделябрами, а порядочных размеров чемодан, подтащенный к дверям, свидетельствовал о том, что я приехала «на погостить». Эффект был рассчитан правильно. Лицо Всеволода Иванова было на редкость довольное и веселое, а это было очень приятным подарком мне.

Когда Горький зачинал Городок писателей под Москвой, то «гонцы» нашли и выбрали Переделкино. Делая доклад Горькому, сообщили, что место замечательное и даже имеется речка Сетунь. Горький сказал: «Сетунь — река судоходная, это хорошо!» В дальнейшем поселившиеся в Переделкине в выстроенных для них домах-дачах писатели увидели речушку, которая весной разливается метром до трех в ширину, а летом совсем пересыхает.

Потом выяснили, что река Сетунь была судоходной при царе Алексее Михайловиче, но с той поры — сколько воды утекло!

...Я знаю, что талантливейший писатель Всеволод Иванов — один из первых зачинателей советской литературы. Он принес в нее с собой из Сибири вольный могучий ветер своего родного края, мелодой пафос и энергию создателя. В нем текла бурлящая, кипящая кровь революции. В его сознании формировались новые помыслы и чувства новых форм, нового языка, новой этики и новой морали. Конечно, он, попав в Москву и Ленинград, заинтересовал и удивил сразу же многих, кто в литературе стремился выразить новое мироощущение. Этого требовали задачи новой жизни. Многие старое было уже разрушено, и нужно было неотложно созидать свое — новое. Он этим и занялся...

С годами Городок писателей разросся, и все сильно изменилось в окрестностях. Многого не узнаешь. Даже и звуки, доносящиеся до Городка, изменились. Звук громающих поездов и гудки паровозов заменили гудки электрички. Изменились и звуки «небесные» с появлением реактивных самолетов. И только звуки колоколов переделкинской древней церквушки доносятся такими, как и были раньше — то безразличные, то веселые (свадьбы, крещения и праздники), то грустные, похоронные...

Всеволод Вячеславович любил сидеть на открытой террасе. Годами не надоедал ему далекий пейзаж, что открывался глазам: за забором — дорога, за ней — большое колхозное поле, полуокруженное Сетунию, за полем — холмы. На холмах внизу — кладбище, выше — церковь, сады и рощи, сквозь которые кое-где виднеются дома.

На участке Ивановых так все разрастается, что видимый с террасы пейзаж все больше суживается. А на террасе уже нет Всеволода Вячеславовича. Ушел навсегда Добрый волшебник.

То, что он «наворожил» в жизни, осталось в его книгах, в его рукописях, в памяти людей, в его саду и доме в поселке писателей на берегу несудоходной реки Сетуни.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАРДИН

★

## ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

**Б**орис Андреевич Лавренев умер десять лет назад, в 1959 году. Незадолго до этого мне случилось с ним встретиться в редакции «Нового мира» (он был членом редколлегии журнала). Б. Лавренев только что беседовал с начинающим прозаиком и, по естественной ассоциации, вспомнил собственную писательскую молодость. Но в воспоминаниях присутствовала и неожиданная горячность, даже запальчивость, тревога.

Со школьной еще поры для моего поколения Борис Лавренев — прославленный автор «Разлома», я помнил послевоенный успех «За тех, кто в море!». Но в тот день Б. Лавренев возвращался к своим давним рассказам и повестям. Ему казалось: они не поняты, истолкованы вкрявь и вкось, вокруг них завалы предвзятости.

Я видел Бориса Андреевича впервые. И я знал: писатели редко довольны критиками. Лишь позже, перечитывая раннюю прозу Лавренева, натываясь в газетах, журналах и книгах разных лет на всевозможные суждения о ней, я убедился: Борису Андреевичу было от чего огорчаться. Мне стало понятно его желание видеть в первых своих рассказах и повестях нечто большее, чем просто ошибки молодости, чудовищно преодоленные «Разломом»...

«Литература должна быть короткой, четкой и неправдоподобной до такой степени, чтобы ей можно было поверить. Для правды есть дневник происшествий и хроника. Литература должна взвинчивать и захватывать. Читаться запоем».

Это не очередное литературное воззвание группы молодых, каких немало было

в первые годы советской литературы. На этом настаивал в 1930 году уже признанный мастер Борис Лавренев, издавший не только сборники первых рассказов, но и автор строго правдоподобного «Разлома». Разумеется, парадоксальная форма этого утверждения несет на себе печать времени. Но мысль ясна: «неправдоподобность» литературы означает здесь выявление «неправдоподобности» самой жизни. Такая жизнь всего сильнее увлекала Лавренева, рождая лучшее в его книгах.

Многое достойно в них удивления. Быстрота, с какой появлялись рассказы и повести. Только в 1924 году: «Происшествие», «Ветер», «Рассказ о простой вещи», «Лидочкино лихо», «Сорок первый», «Зб. 213. 437»... Будто безудержный ветер разметал героев — Б. Лавренев находил их в самых непредвиденных местах: на безвестном островке Аральского моря, в коридорах белогвардейской контрразведки, в шелястых теплушках, перед вскинутыми наизготовку винтовками, а то и в монастыре, наспех переоборудованном в трудовую коммуны, или в камере ленинградского угрозыска.

И встречи и рассказы не похожи друг на друга: трагические повороты судьбы, безобидный на первый взгляд курьез, лирические признания, философские притчи, фривольные историйки, безразличная к книжным ухищрениям исповедь, выверенный сюжет с точно рассчитанным механизмом воздействия...

Начало же Лавренева, истинный Лавренев, — это прежде всего «Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи», «Седьмой спутник». Их — опять-таки — достой-

ная удивления история известна со слов самого писателя:

«Я задумал «Ветер» как развернутую эпопею, включающую все мои наблюдения за годы революции и гражданской войны. В 1923 году я привез из Ташкента в Москву рукопись романа 1600 страниц, собственноручно напечатанных на машинке!!! В Москве, в редакции, когда посмотрели на эту рукопись, занявшую целый чемодан, ахнули: «Да это же материал на полдюжины книг». Действительно, из этой рукописи получились и «Ветер», и «Рассказ о простой вещи», и «Сорок первый», и «Седьмой спутник».

«Литературный небоскреб» (определение Б. Лавренева) возводился с фантастической быстротой, одновременно с работой в газете и написанием других вещей. Такое возможно, видимо, при великом душевном подъеме и художественной неискушенности.

Эпопея не состоялась, «роман полетел в корзину». Однако вещи, родившиеся из него, убеждали в творческих данных Б. Лавренева, в их созвучии духу времени. Б. Лавренев писал о гуманизме революции, понимая его как первейшую справедливость.

«Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи», «Седьмой спутник» разнятся выбором ситуаций, героев, манерой письма. В огромной эпопее они могли сосуществовать в далеких друг от друга зонах. Но они связаны подспудной зависимостью, духовным, идейным единством.

Человек в черном бушлате и развевающимся клеше, переkreщенный пулеметными лентами, с маузером в руке так и просился в романтическое повествование о безудержном ветре и огненных маршах.

«Всякому человеку свое.

Кто любит огонь, кто воду.

Ветер любит Гулявина».

«Ветер» — цветистая, патетическая, орнаментальная, как нередко бывало в прозе тех лет, повесть — принес Б. Лавреневу первое признание и вместе с тем дал иным критикам на десятилетия — до нынешних дней — материал для разного рода обвинений. Издавна в статьях и монографиях утвердилась репутация Василия Гулявина: воплощение необузданного, стихийного порыва. И репутация Б. Лавренева — воспевателя подобной необузданности. Левая критика двадцатых — тридцатых годов

стояла на том, что «писателю-попутчику» не дано верно понять революцию.

Нет слов, постичь революцию было не просто. Но, во-первых, многие критики, монополизируя право на ясность, и сами были еще очень далеки от нее. А во-вторых, слишком уж однообразно трактовали творчество совершенно разных художников, шли не от этого творчества, а от социального происхождения автора, от социала «попутчик», которое непременно предполагало какой-нибудь криминал или по крайней мере ненадежность.

В начале тридцатых годов автору «Ветра» и «Сорок первого» многие критики ставили в вину «деклассированность» его героев, идеализацию стихии. Впрочем, и через двадцать лет можно было прочесть:

«Гулявин олицетворяет собою не передового, сознательного героя, а стихийно вовлеченного в события бунтаря; присущая ему сила внутреннего порыва, безрассудной удали, воображения подчиняет себе его волю; вследствие этого герой совершает действия рискованные, авантюрные, лишенные целесообразности и смысла.

Ошибка автора явилось то, что все эти свойства героя-бунтаря были опозитированы в Гулявине, в символике окружающих его революционных «ветров». Самый образ «ветра» осмысливался в связи с этим уже как символ революционной стихии. Характерно, что образы «могучих ветров» и «метелей», которых придавался высокий обобщающий смысл, встречаем мы и в произведениях других... писателей, воспевавших революцию как стихию».

В начале шестидесятых годов один из критиков попытался осторожно реабилитировать Лавренева. Писатель, дескать, не идеализировал стихию, а изображал, как оно все было. И вообще «это не Лавренев отождествлял революцию с бушующим ветром, а матрос Василий Гулявин».

Не к чему заблуждаться — не Гулявин, а Лавренев отождествлял революцию с ветром. И не он один, и не только писатели-попутчики. «Революция — вихрь, сметающий все, что ему сопротивляется». Эти слова красовались на кумачовых полотнищах, которые проносили по Красной площади, на фасадах празднично расцвеченных домов.

Само по себе уподобление революции ветру не содержит чего-либо ошибочного,

вредоносного. В это сравнение художник может вложить свой смысл, по-своему развить его.

Разумеется, в статьях двадцатых—тридцатых годов, а также в более поздних монографиях, посвященных Б. Лавреневу, немало дельных суждений, верных оценок, которые не приходится оспаривать. Однако работы эти зачастую не свободны от тенденций, огрубляющих литературный процесс, от распространенной привычки рассматривать путь писателя по принципу «неукоснительного творческого роста»: «второе рождение писателя», «новый глубокий и полный расцвет его таланта», «он завоевывал все более прочные идейные позиции, все более высокий уровень мастерства» и т. п.

Между тем художнический подъем еще не гарантируется накоплением мастерства, всяческого опыта, даже прочностью позиций. Процесс этот сложен, тонок, подвластен неожиданностям, подчас нелегко объясним и отнюдь не всегда соответствует той схеме «неукоснительного творческого роста», которая предполагает непрерывный триумф писателя в последние его годы и — соответственно — непреходящую неполноценность, несовершенство его ранних произведений. Реальная «кривая» творческого пути писателя бывает иной раз и совсем не такой победно и неуклонно стремящейся высь.

Б. Лавренев восторгался ураганным натиском, вырвавшейся из-под спуда силой, что крушила все препоны. И его проза, особенно в «Ветре», экспансивна, напориста. Даже пейзаж динамичен, его аллегоричность открыта.

Повесть начинается описанием осенней Балтики: лохматая проседа туманов, черные шеренги тяжелых валов... Нечистовый, беснующийся, пахнувший кровью ветер войны. Вместе с ветром мечется обреченный флот. «В наглухо запертых броневых мышеловках мечутся в трехлетней тоске обезумевшие люди». От бушующего моря — к кораблям, от кораблей — к людям, к манере первой статьи Василию Гулявину. Он — продолжение рассказа с моря и кораблях.

«Скулы каменные торчат желваками и глаза с дерзиной. На затылке двумя хвостами бьются черные ленты и спереди через лоб золотом: «Петропавловск». Грудь волосами в вырез голландки, и на ней, в мирное еще время, заезжим японцем наколоты красной и синей тушью две обезьяны,

в позе такой — не для дамского деликатного обозрения».

Сила бродит в Василии Гулявине, дерзостью сверкает в глазах. Грянет час, когда она вырвется наружу, сольется с силой тысяч, гневной людской лавиной покатится по петроградским улицам, растечется по российским полям.

Наступят «дни Василия Гулявина» (выразителен подзаголовок «Ветра» — «Повесть о днях Василия Гулявина»). А сам Василий останется по-прежнему слепым в ярости, подвластным все тем же первозданным порывам?

Не совсем так. И «Ветер» — повесть не только о стихии, но и о ее преодолении, преодолении медленном, мучительном. Однако неизбежном. Иначе не быть Гулявину революционным моряком, красным командиром, а одна ему дорога — в бандиты.

Стихийность — необходимый элемент каждой массовой революции. Революционная стихия несомненно раскрепощает человека. Но не только. Оставаясь целиком во власти стихии, человек может сделаться ее игрушкой...

Еще в госпитале от безногого матроса Гулявин получил первые уроки революции и первые книжки о ней. В июне Василий узнал «много слов политических», он читал, «внимательно учился революции», вскоре умел сам «дела разбирать, агитацию разводить». И в большевики вступил, разделяя их намерения («самое главное, что люди не с кондачка работают, а на твердой ноге»). В июльские дни «видел Василий, носясь на грузовике, что со всем гневом, со всей яростью ничего не сделать, потому что не видать командира».

Все та же дерзость в его глазах. Так же темнеет он от мгновенной злости и скор на кулачную расправу. Гулявин готов ввериться своим порывам, в его руках наган и неограниченная власть командира «Международного смертельного летучего матросского отряда пролетарского гнева». Но он вынужден себя смирять и прислушиваться к указаниям и советам начальника штаба Строева.

Вместо того чтобы «шлепнуть» бывшего офицера, который к тому же перечит командиру, Гулявин соглашается со Строевым, учреждает в полку строевские порядки. Не с первого, правда, часа, но с первого боя, когда удостоверился в смелости и

умении Михаила Строева, когда понял: Строев выражает то, что он, Гулявин, сам чувствует, считает необходимым, к чему тянется, преодолевая себя.

Б. Лавренев свободен от предвзятости. Оба нужны революции — Гулявин и Строев, оба ее творят.

Идейное назначение Строева в повести, однако, больше, нежели чисто практическая его полезность. Он выправляет и оттеняет Гулявина, сам оставаясь в тени. Ведь Строев для Б. Лавренева не загадка, а вот Гулявина надо всякий раз «решать».

Повесть — о Василии Гулявине. Но ему не быть бы ее героем, героем Б. Лавренева, не укрепить его верный союз со Строевым. Когда союз нарушается, льется неоправданная кровь, страдает дело. Потому среди других включена в повесть история Василия и разудалой красавицы атаманши Лельки

Союз со Строевым — сила Гулявина, связь с Лелькой — слабость, горькое прихоти и похоти. Гулявин пренебрегает мнением Строева, а тот не отступил. Он видел: Лелька — муть, поднимающаяся со дна. Ею движет желание утолить свою зависть, жажда наживы.

Гулявин не согласен с этим, он еще не уразумел, что стихия в самых низменных, реваншистских своих позовах — не поддержка, а угроза революции. Он придет к этому. Но уже после кровавой драмы. Не по одним книжкам да разговорам учится Гулявин, не только ими смиряет себя.

Он не был сентиментален, не испугался крови. Не чувствовал предельной жестокости, ненавидел изуверство. Мог забыться в гневе, разбушеваться, но революция для него — справедливость, человечность, доброта. Пусть не всегда осознанные, но определяемые чутьем.

А Лелька кровожадно, с легкой душой переступила предел, зверски измывалась над пленными. Даже если бы она не убила Строева, Гулявин не простил бы ей изуверства. Но Строев убит выстрелом в упор из Лелькиного нагана, и Гулявину нет больше жизни. Он казнит себя за смерть Строева, за волю, какую дал Лельке, считая себя виноватым перед революцией и товарищами...

После обморожения и лазарета Василия Гулявина назначают председателем совнархоза. Но «не пером на бумаге — кровью го-

рячей и душевной на полях писать революцию Гулявину».

Уход из совнархоза, вернее, бегство на фронт, как полагают иные критики, должен убедить: Гулявин — человек только для боя, способен применить себя лишь там, где раззудится рука, разгуляется лихая душа.

Но так ли уж это безусловно? Что стоит за этим?

Несильному в грамоте, в канцелярской премудрости Гулявину не обрести себя в совнархозе. Он слишком честен, чтобы заниматься не своей работой. Ночью в дальнем углу парка он «думал о революции, о буре, ветре, пламени, грохоте пушек, топоте несущихся вперед армий и яростно сжимал кулаки». Пока шла война, Гулявин не видел себе иного места, как в строю...

Василию надлежит иначе выказать свою силу и свою незаурядность. Всего ярче — в последних главах.

Не кому-нибудь — ему доверяет командующий опаснейшее задание, когда необходима холодная отвага, стальная выдержка и нетерпимы какие-либо завихрения.

С документами офицера Василий Гулявин направляется в штаб генерала Алексева. Он ловко берет свою роль. Несмотря на мимолетные оплошности — не без них, конечно, — он остается какое-то время вне подозрений, получает необходимые сведения.

Однако разоблачение неизбежно. Командующий не предвидел, что генерал Алексеев лично знает поручика Вольнского. Алексеев выздоравливает, и Гулявину конец. Правда, еще есть время бежать. Но Василий отвергает такой план. Он еще кое-что выведает. Им движет не азарт, а расчет. Он полагается на свою ловкость, удачу. Но срывается. Не выдерживает кровавой мерзкой похвальбы щеголеватого князя, подлой обиды, нанесенной женщине.

Бывают минуты, когда человек — если он человек — не властен над собой, когда отключается рассудок, изменяет самодисциплина и глохнет инстинкт самосохранения. Воплощение железной воли — старый подпольщик Орлов из «Рассказа о простой вещи» тоже ведь сорвался в сходных обстоятельствах.

В сравнительно недавней книге о творчестве Б. Лавренева по поводу героического финала Василия Гулявина сказано следующее:

«Да, если подходить к этой истории со строгими психологическими мерками — она не выдержит логических упреков, рассыплется, окажется игрушечной, несерьезной. Но это уже с позиций сегодняшних, когда выросли у нас отличные и крепкие кадры разведчиков».

«Позиции сегодняшнего дня» несколько не дискредитируют последний рывок Гулявина, не превращают его в игрушку. Тем более что у самых «отличных и крепких» разведчиков тоже случаются срывы, не все и не всегда удается предусмотреть — такая уж профессия. И во времена Гулявина, и в наши.

Б. Лавреневу по душе натуры цельные, крепкие, страстные, рожденные ветром и морем. Его не смущала их суровость, замкнутость. Он верил в их светлые побуждения, чистую страсть и бескорыстие.

«Ветер» продолжается «Сорок первым». Снова буранный пошвист, снова сабельный звон. Вместо степи — барханы азиатской пустыни без конца и без края. Комиссар Евсюков, как и Гулявин, не речист. Фразы даются ему натужно. Падают по одной тяжелые, категоричные, не терпящие противоречий и сомнений: «Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем, — шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос, — а идти нужно. потому, говариши... революция вить... За трудящихся всего мира!»

Однако «Сорок первый» — повесть не о Евсюкове. Она о любви, побеждающей вопреки миру и времени убитой миром и временем.

Любовь вспыхивает в условиях почти фантастических, зыбких, пока ненадолго отключена действительность и исключено привычное окружение.

Замысел взывал к искусному сюжетному построению — молодому прозаику это оказалось по плечу. Он настолько умело подвел к необычной коллизии, будто иначе и случиться не могло. В боях, снегах и песке Каракумов, на голом такыре тает отряд Евсюкова, и Марютка в конце концов попадает с гвардии поручиком Говорухой-Отроком на необитаемый остров.

Сам Б. Лавренев отлично сознавал: его робинзонада отдает книжностью (такое нередко случается с очень уж искусной фабурлой). Но, не пытаясь замаскировать ее, снабдил главы повести развернутыми ироническими названиями, пародируя приклю-

ченческий жанр. Предупреждая читателя, сообщил: одна из глав целиком украдена у Даниэля Дефо — «за исключением того, что Робинзону не приходится долго ожидать Пятницу».

Без знаменитых «кожаных курток», введенных в литературу Б. Пильняком (считается, что он влиял на Б. Лавренева), не обходились комиссары из тогдашних рассказов и повестей. И Лавренев не обошелся. Но поступил с ними по-своему. Расцветил их всеми отливами радуги, найдя тому вполне прозаическое объяснение: в Туркестане не оказалось черной краски, пришлось реквизировать у населения запасы анилиновых порошков, которыми расцветивались шелковые шали ферганских узбечек и мохнатые текинские ковры.

Писатель как бы отделял сюжет от содержания. Над первым допустимо иронизировать, над вторым — ни в коем случае.

Постепенно битвы и схватки отступают, оставляя пространство непредусмотренному, неожиданному — любви. А потом, как бы мстят, сметают, уничтожают ее. Противоречие социальное доводится до рокового противоречия чувства и долга.

Истинно трагическая любовь вряд ли возможна при духовной слабости любящих или одного из них. Она все же предполагает силу, незаурядность души.

Марюткина незаурядность безусловна. Хотя биография у нее самая обычная:

«С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряноскользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы».

С великой настойчивостью добилась Марютка своего, оплатив вступление в Красную гвардию подписанием «об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения, до окончательной победы труда над капиталом».

В Марютке — лиризм и решимость, неуступчивость и мягкость, грубость и целомудрие.

«Главное в жизни Марюткиной — мечта. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном

клоке, где ни попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи».

Мечтательная Марютка сочиняет отнюдь не лирические стихи. Она пишет о Ленине, революции, сражениях. Изредка читает, понизив голос до баса, свирепю вращая глазами. Стихи воинственны и безграмотны.

Повесть и героиня парадоксальны. Парадоксален главный узел, завязанный полным неожиданностей Марюткиным характером и — случайным боевым происшествием.

Однажды Марютке изменил ее верный глаз. Сорок врагов уничтожила. А тут вдруг промахнулась.

«Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ».

«Неправдоподобность», почитаемая Б. Лаврениным среди условий литературы, явилась от вполне вероятной и понятной Марюткиной оплошности. Вполне вероятное постепенно подводится к почти невероятному: пустынный остров среди Аральского моря, на нем Марютка и Говоруха-Отрок, их любовь.

В Марютке многое необычно для ее среды, в Говорухе-Отроке — для его. Каждый из них — лучшее, пожалуй, на что способна его среда. Тем показательнее их соревнование.

В поручике, отъявленном враге, Б. Лавренин видел по-своему достойную, чем-то привлекательную личность.

Многие критики с этим не соглашались. Как только не поносили они поручика, какие только пороки не обнаруживали у этого «ничтожества»! Даже «карьеризм», намекая, видимо, на то, что Говоруха-Отрок считал себя Робинзоном, а Марютку — Пятницей...

Едва обьявившись, поручик вызывает к себе уважение и интерес. Захваченный в плен, он «стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара... И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене шарики первосортной французской синьки».

Мыльная пена и французская синька не самые подходящие категории при описании мужской крассты. Ирония не оставляет Б. Лавренина. Такой авторский способ разделить себя, скрыть свою заинтересованность: робинзонада — эксперимент. Поставивший его должен сохранять невозмутимость исследователя. Но у мыльной пены и синьки имеются и дополнительные мотивировки. Это — взгляд женщины, ряд ассоциаций, наиболее ей близкий. Это — предвесье Марюткиной любви.

Говоруха-Отрок ведет себя не совсем обычно и для условий, и для уже распространенной литературной тенденции. Он не пасует перед красноармейцами, сохраняет насмешливую независимость и мужество.

Говорухе-Отроку надлежит быть изнеженным маменькиным сыночком. Где уж ему снести голодный марш по барханам! А он шагает тверже других, прямо, спокойно, без жалоб.

И Марютка постепенно меняется к офицеру. Даже отваживается прочитать ему стихи. Правда, не надеясь, что поймет. «Отчего же не понять?» — ответил поручик. — Может быть, они для меня чужды сдержанием, но понять человеку человека всегда можно». Однако не всегда. Такое произойдет при условиях особых, экстраординарных, не вяжущихся с общим правилом.

Это отклонение придется оплатить с лихвой.

Неуклюжие стихи заставили Говоруху-Отрока, подавляя высокомерие, по-иному взглянуть на «амазонку», обнаружить в ней не подозреваемую прежде духовную жизнь. Ее питала социальная страсть.

На острове Марютка не сочиняла стихов. А исписанные клочки бумаги отдала Говорухе-Отроку на курево.

На острове совершается естественное разделение труда и обязанностей. Самоуверенный Робинзон беспомощнее Пятницы. Марютка более практична, умела, цепка, чем ее невольный спутник. Но и он не белоручка, не размазня. А сверх того обладает дорогим для Марютки даром — умеет пересказывать прочитанные когда-то книги.

Марютка полюбила офицера, перестав видеть в нем врага.

«Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счете гвардии поручик Говоруха-Отрок».

А стал первым на счету девичьей радости».

Но и Говоруха-Отрок не меньше Марютки потрясен любовью, перевернувшей аккуратно уложенные представления, открывшей мир, о котором он не догадывался и куда вряд ли попал бы, если б не стечение «неправдоподобных» обстоятельств.

Однако глава, начинавшаяся словами о первой девичьей радости, предостерегает еще с заголовка: в ней «доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием».

Говоруха-Отрок разочаровался в войне, в революции, в родине. Цеплялся за одно — надежду на укромное пристанище, книги. «...А человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать». Забиться с Марюткой в тихий угол, а там хоть трава не расти.

У Марютки к поручиковым планам — сжигающее душу отвращение. «...«Машенька, уедем, на постельке валяться, жить тихонько», — передразнила она. — Другие горбом землю под ночь распаживают, а ты? Ах, и сукин же сын!»

Верила в свою правоту, но не умела убедить в ней. Вместо доводов с губ срывалась коробившая Говоруху-Отрока ругань. В запале подняла на него руку.

Марюткина оплеуха излечила Говоруху-Отрока от апатии и голубых надежд. Только совсем не та активность пробудилась, о какой мечтала Марютка. Проснувшись убаюканная любовью, уединением, морем классовая ярость.

«Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...»

Мелькнувший на горизонте парус оборвал гневную речь. Идиллия кончилась, рай в шалаше развалился прежде, чем баркас с золотопогонниками причалил к острову. Вернул себе силу евсюковский приказ: на белых нарветесь — офицера живым не отпустить.

Марютка продолжила прерванный счет. Сорок первый с раздробленным черепом упал в воду. Но точку ставил не выстрел, — вслед за ним — низкий гнетущий вой Ма-

рютки: «Родненький мой! Что ж я надела-ла? Очнись, болезный мой! Синеглазенький!»

...«Сорок первому» повезло в критике больше, чем другим ранним рассказам и повестям Б. Лавренева. Но разбор обычно кончался на выстреле. Отчаянный выкрик Марютки часто пропускался мимо ушей. Так, вероятно, удобнее. Можно закончить исследование подобным, например, выводом: «И в этот момент чувство классовой ненависти овладевает всем существом Марютки, превозмогая все случайные чувства, владевшие ею в эти странные, тяжелые, непонятные дни».

Сознание, определяемое бытием, торжествовало в «Сорок первом». Его торжество — смерть Говорухи-Отрока, отчаяние Марютки.

Украденное у судьбы счастье родилось из беды и бедой завершалось. Погибало лучшее в человеке, погибал человек — сильный, мужественный, красивый. И его гибель от руки любимой — это предвестие и ее гибели...

Любовь, от века слышавшая победительницей смерти, терпела кровавое поражение.

Исход зависел не от писателя — от нити, которую он самозабвенно разматывал, не помышляя оборвать прежде, чем наступит конец. А в конце — иступленный крик Марютки; Василий Гулявин, прыгающий на вытянутые штывки; ключ, как взведенный курок, шелкнувший в замке смертной камеры Орлова; залп, оборвавший последнее прощание Адамова...

Сцепление эпизодов — в «Сорок первом» из ряда вон выходящих, но достоверных, в «Рассказе о простой вещи» фантастических, но вероятных — подвело к трагической развязке. Однако трагедия не заливала мраком отчаяния завершающую страницу. Она сулила продолжение судьбы в новых судьбах, в революции.

Писатель волен был, отбирая события. Однако он сам подчинялся их логике, предначертанности характеров «Неправдоподобное» убеждал, волновало, тревожило, как убеждает, волнует, тревожит сама правда.

Но зависимость от реального становилась часто у Б. Лавренева подчиняющей писателя зависимостью от сюжета. Такова по преимуществу ранняя проза Б. Лавренева.

Власть жанра в ней не меньше власти жизни. Счастливое согласие их увенчивалось наиболее совершенно в «Сорок первом».

Но так случалось не всегда. Начала могли не совпадать, даже соперничать. Как в «Рассказе о простой вещи» — едва ли не самом читаемом из созданного Лавреневым.

Своей популярностью — не будем заблуждаться — рассказ обязан прежде всего кинематографической увлекательности. Набранное черным шрифтом слово «кинематограф» встречает читателя прежде, чем он примется за текст.

Кинематограф еще толком не вышел тогда из стадии искусства развлекательного, аттракционного. Он прежде всего забавлял. В бешеном ритме, с торопливо семенящими фигурами, мелькающими эпизодами, он недалеко ушел от уровня, некогда определенного Блоком:

В кинематографе вечером  
Знатный барон целовался под пальмой  
С барышней низкого звания,  
Ее до себя возвышая...

Темп и тон рассказа задавались первыми же строками, отрывисто, через отточие брошенными словами, экстремным сообщением, косо, наспех наклеенным на стену, его тревожно-телеграфной краткостью: «Красные покидают город. Части Лоброармии вступили в предместье. Население призывается к спокойствию».

Спокойствие отрицалось на корню. Задыхающиеся фразы, интригующая таинственность сцен, реплики вместо развернутого диалога, укрупненные детали, выхваченные из потока и брошенные в глаза читателю.

Содержание как нельзя более отвечало киноеврейскому: в белом гилу под видом француза-коммерсанта Леона Кутюрье оставлен председатель губчека Орлов.

Все посулы детективной интриги будут выполнены: переодевания, внезапные встречи, неугаданная любовь, ресторанные кутежи, ужасы контрразведки, побег...

Сбрав бороду и покрасив волосы, Орлов неузнаваемо изменил личину. Метаморфоза совершена с помощью бритвы, краски для волос и волевого напряжения.

Но едва Орлов остается один или со своей напарницей Бэлой, изображающей верную жену-певицу, легкомысленное и глуповатое выражение сходит с резко очертив-

шегося и побледневшего лица, углы рта опускаются злой и старящей складкой.

Для него существует только задание, только манжета, на которую едва заметными значками наносятся разведывательные данные. Он настолько романтичен, что может позволить себе не признавать романтику, потешаться над романтикой Бэлы. Им движет прямая практическая цель. Все остальное отбрасывается. Так он предполагает. И так предполагает сюжет. Отклонения ни к чему. Они могут помешать заданию, могут сбить ритм, разрядить напряжение. Рассказ «выпадет» из жанра.

Однако в «Рассказ о простой вещи» врывается нечто не совсем предусмотренное. С точки зрения динамики, композиции даже не обязательное, с точки зрения жанра — чуждое. Б. Лавренев это обостренно чувствует, старается — и небезуспешно — преодолеть, сберечь сюжетное единство. Но все же нарушает его, подчинившись более неотвратимым побуждениям.

Железный Орлов отклоняется от заданного курса, допускает колебания, какие ему, судя по начальным страницам, допускать не надлежит. В том, что не надлежит, сходятся все: и товарищ из подполья Семенухин, и Бэла, влюбленная в Орлова, и, наконец, многие критики.

Белогвардейцы случайно аресговали какого-то крестьянина из Юзовки, уверились, будто это Орлов, и хвастливо раструбили в газете. Настоящему Орлову надо бы радоваться: бдительность контрразведки усилена, угроза разоблачить Леона Кутюрье уменьшилась. Но радуется Семенухин («Они п-прикиончат этого олуха<sup>1</sup> и т-тты ум-мер. Н-ник-кому не п-придет в гол-лову н-п-предвиденность!»). А Орлов, оправившись от шока, приходит в отчаяние. У него появляется мрачная мысль: пойти в контрразведку и объявиться. Спор с Семенухиным приобретает далеко не дружеские формы. Семенухин достает револьвер. Он готов пристрелить Орлова, если тот не откажется от своего намерения: лишь подлец или предатель способен рассуждать, как Орлов. А рассуждает он так:

<sup>1</sup> В позднейших изданиях Б. Лавренев заменил слово «олух» словом «кулачок» — замена, смысл которой состоял, очевидно, в том, чтобы оттенить демагогическую позицию Семенухина: ведь у Семенухина нет никаких оснований считать мужика из Юзовки, о котором он ничего не знает, «кулачком».

«...Вместо меня, дурацкой ошибкой, роковым сродством, приведен к смерти человек. Не враг — не офицер, п-эл, фабрикант, помещик, а мужичонка. Один из тех, для кого я же работаю. Может ли партия избавить меня от опасности ценой его смерти? Могу ли я спокойно перевесить чашку весов на свою сторону?»

Семенукин решительно квалифицирует: интеллигентская постановочка вопроса, достоевщина и т. д.

Иным критикам этого показалось мало, и за более чем четыре десятилетия своего существования Орлов получил по первое число. Автору тоже доставалось. На склонах лет он узнавал от критика, выносившего вердикт именем народа: повесть «Ветер» «не могла полностью удовлетворить требованиям, которые народ предъявлял к литературе о гражданской войне. Еще менее удовлетворял этому авантюро-приключенческий «Рассказ о простой вьши».

Сравнительно недавно в одной критической монографии было обнаружено, что председатель губчека Орлов заражен «абстрактным гуманизмом».

В правильности реакции Семенукина и неправильности Орлова также, кажется, не сомневались. Хотя иные при этом сострадали Орлову: можно понять человека... нервы...

Но понять надо прежде всего Б. Лавренева.

Он писал о партийце, интеллигенте, чекисте. Во взаимосвязанные рассказом понятия вкладывал свой смысл. Интеллигентность не равнозначна хорошим манерам и совершенному французскому языку; партийность — не фанатизм и не только выдержка; для настоящего чекиста цель не безразлична к средствам. Прежде всего, превыше всего для Б. Лавренева в этих категориях — нравственная взыскательность.

Но не чистоплюй ли Орлов, не свяжет ли его нравственная шепетильность? Вопросы эти для Б. Лавренева никак не отвлеченные. Размышляя над ними, отвечая на них, он не парил в небесах.

Белогвардейская «Наша Родина» пишет о председателе губчека: «Известный садист, истязатель и палач» Мысли Орлова о крестьянине из Юзовки опровергают белогвардейскую газету. Именно они. Мужества и воли Орлова для этого было бы недостаточно.

Однако опровержение — задача попутная.

На первом плане у Лавренева — утвердить моральный уровень коммуниста, которому революция даровала право казнить и милловать. Эта деятельность — за сюжетными рамками рассказа. Но она подспудно, отраженно присутствует в нем. В последних записках, прежде чем погасла спичка, Орлов вывел: «...займитесь, чтобы при нас тюрьму почистили... здесь страшное свинство...»

Семенукин напирает на ответственность Орлова, на серьезность задания. А перед мужиком из Юзовки Орлов не ответствен? Не во имя ли его и тысяч подобных ему он вчера возглавлял губернский ЧК, а сегодня «танцует на острие бритвы»?

Речь ведется об исходном отношении к человеческой жизни, к человеку труда. Кто он — «олух»? Тогда грош ему цена. В текущих и грядущих перипетиях его не обязательно принимать в расчет. Одним «олухом» больше, одним меньше. «Революция от этого не пострадает...»

А Орлов вслед за Лавреневым считает. пострадает. Орлов не смеет отмахнуться от гибели одного из тех, ради кого сам идет на смерть, пусть эта гибель ослабляет смертельную угрозу, нависшую над ним. Орлову не дано с сознанием собственной выдающейся роли принять в жертву неповинного человека, перешагнуть через него. Объективные обстоятельства сильнее внутренних терзаний. Они вынуждают Орлова принять эту жертву. Он ее примет как неизбежную потерю в бою. В отличие от Семенукина, испытывая горечь, а не радость и энтузиазм.

В прямом противопоставлении Семенукин — Орлов справедливо ли безоговорочно и безоглядно отдавать предпочтение первому, ставить первого в назидательный пример второму? Впрямь ли — процитируем опять монографию шестидесятых годов — «мучительный и сложный самоанализ Орлова звучит особенно контрастно и особенно архаично рядом с цельным, крепким внутренним миром Семенукина»? (Несколькими строками выше сказано буквально следующее: «И быть может, не меньший вред, чем анархизирующие Гулявины, могли нанести революции рефлексизирующие Орловы, хотя и те и другие больше всего на свете любили именно революцию».)

Остается напомнить: в споре с Орловым Семенукин не слишком полагается на доводы, больше на угрозы и в сердцах выхваченный револьвер.

Но не семенухинские угрозы убедили Орлова. Сработала годами подполья воспитанная дисциплина, кругая логика революционной целесообразности. Не один Гулявин должен подавлять свои порывы, но и Орлов. И тот и другой во имя одной цели должны смирять себя.

Революционная нравственность Орлова — в тревожных колебаниях и в преодолении их.

И все же победа деловито-рациональных соображений в «Рассказе о простой вещи» оставалась неполной. Мысль о юзовском мужичонке не покидала Орлова. Едва обозначилась возможность проникнуть в контрразведку, спасти «двойника», Орлов воспользовался ею. И — попался.

Он видел трагическую нелепость происшедшего, его тяготило сознание, что товарищи из-за неосведомленности вдруг да истолкуют это как предательство. В поспешных заметках на блокнотных листках он старался объяснить, рассказывал о палаче-контрразведчике, которого надеялся переиграть, жаловался на нервы. Орлов ни на секунду не отказывался от борьбы и принял отчаянную, но неудачно кончившуюся попытку бежать.

Колебания не расслабили Орлова, его намерение пробраться в тайное тайных врага — не блажь и не безумие. До последнего часа он оставался железным.

Не всякие колебания от лукавого, настаивал Б. Лавренев, не всякие во вред. Они могут быть и проявлением мужества, убежденности, силы.

Б. Лавренев считал, что и железный Орлов не лишен нервов, не избавлен от размышлений, не гарантирован от неудачи. Быть может, он намеревался приглушить металлический звон, сопровождавший шаги Орлова. Но надо согласиться с господствующим в критике мнением — нераздельность характера не была достигнута.

Причины назывались разные: сомнения не типичны для подпольщика, писатель слабо знал таких людей и т. д.

Б. Лавренев отвергал слободные предположения и стоял на своем: Орлов взят из жизни, — поименно называл прототипов.

Но жизненность происхождения не избавляет образ от литературной уязвимости. Объяснение ее в случае с Орловым надо искать внутри рассказа, в противоречии материала и сюжета.

Орлов рожден на стыке двух тенденций

Приключенческо-детективная интрига торопит действие, не мирится со снижением темпа, ей не до душевных переливов. А они, напротив, предполагают обстоятельный — до корней — анализ. Заманчивого «вдруг» недостаточно. Разнородность начал подтачивает образ.

Гулявин раз за разом преодолевает стихию. Повторение дает определенно направленный процесс.

Марютка подавляет любовь собственным выстрелом. Но выстрел подготовлен, в конце концов «Сорок первый» — повесть об издалеке тянущейся неотвратимости Марюткиного выстрела.

Вспышка Орлова — в цепи приключенческих непредвиденностей. Но она много свойства, иного порядка, отвергнутого в «Рассказе о простой вещи».

Орлов — не единственный пример, когда в приключенческом рассказе мудрые мысли, одухотворенные порывы, пронизательные прозрения приносятся в жертву пожирающему их сюжету.

За много лет до Гитлера поручик Соболевский — георетик массового истребления — говорит в повести Б. Лавренева: «О, мсье! У меня своя теория. Все дотла! Вы понимаете? Превратить эту сволочную страну в пустыню... Никаких суперфосфатов, азотистых солей, селитры! Удобрить поля миллионами! Мужичье, хамы, взбунтовавшаяся сволочь. Все в машину!..»

Но, как и многое другое, этот бред осатанелого контрразведчика шел «между прочим»: детективный антураж, подсобный двигатель сюжета. Леон Кутурье не выдержал излишней Соболевского. У него задрожала нога, женщина, сидевшая на коленях, встрепенулась, у Соболевского зародилось подозрение...

Бэла тоже едва-едва выходит за рамки своей служебной роли. Но выход сам по себе любопытен.

Девушка из буржуазной семьи приняла революцию как цепь увлекательных и благородных приключений. Орлов дорожит ее верностью, мужеством, но не обольщается перспективами. В тюремном блокноте имеется запись: «...Хорошая девочка, но экспансивна, не станет подлинной партией...»

Нравственная непорочность Бэлы выявляется раньше, чем мог предположить Орлов. Услышав о Семенухине, будто Орлов — предатель, будто он сам отдал себя в руки врага, Бэла со слезами и уму непостижи-

мой быстротой — темп, темп! — отрекается от него: «Если это правда!.. я отказываюсь!.. Я презираю свою любовь!»

Автор упоминавшейся нами монографии, выявившей вредоносность Орлова, приходит в восторг от этого молниеносного от- речения: «Люди' становятся выше личного, сливаясь с массами, творя необычайное как повседневное, потому что так приказала революция».

Слова в названии — «Рассказ о простой вещи» — взяты из разговора Орлова со следователем капитаном Тумановичем. Проникшись уважением к Орлову, капитан хочет облегчить его смерть и сует ему пу- зырек с ядом. Отчего же Орлов возвращает пузырек?

«А между тем это такая простая вещь», — замечает Орлов.

Слова о «простой вещи» повторены дважды на протяжении двух абзацев и в первом случае выделены авторской разрядкой. Им придан расширительный смысл.

Орлов отвергает самоубийство. Он погубил доверенное дело и должен смертью исправить, искупить ошибку. Смертью, которая обернется еще одним ударом по врагу. Самоубийство им не обернется. Вот и все.

Впрочем, не все. Непроизнесенные слова о «простой вещи» подразумеваются на многих страницах. Им надлежит снимать споры и противоречия: простая вещь!

Удивляйтесь стремительной чередой явлений, каскаду непредвиденностей. Но не мыслям, чувствам, речам. Они — само собой разумеющееся. Нет ничего особенного в реакции Орлова на поимку мужика из Юзовки: простая вещь. Такая же, правда, простая вещь и гнев Семенухина, и его примирение с Орловым. А потом уверенность, будто Орлов — предатель...

Не заслуживает ни удивления, ни объяснения поручик Соболевский — предвозвестник лагерей тотального истребления. Человеческая ненависть обреченных не знает границ. Однако в среде обреченных может затесаться и капитан Туманович — тут тоже нет ничего достойного комментирования.

Идет борьба, решает сиюсекундное действие, объясняет неостывший факт. Максимум возможного — сомкнуть этот факт с предыдущим. Анализ, размышления — недоступная роскошь.

В убежденной и долженствующей убеждать простоте — наивная мудрость, ясность

взгляда, не отягощенного жизненными осложнениями, оптимизмом романтика, верящего в быстроту и историческую справедливость свершений. Все будет правильно. И из записок Орлова товарищи узнают: он не предатель, он до конца оставался железным.

А цена свершений? Да, она может быть высока. Но смерть за идею не напрасна. Она торопит торжество идеи. Это тоже простая вещь...

Сюжетная слаженность ранней прозы Б. Лавренева и от незамутненной уверенности: все идет к лучшему. Ее динамизм от желания поспеть за торопливой сменой дней, передать их «неправдоподобную» подлинность. Психологическая недогруженность должна была восполняться убедительностью, последовательностью, стремительностью общего хода «простых вещей».

Но всегда ли у них простое наполнение? Как посмотреть. Можно списать на чистую «приключенщину» сцену Орлова и Семенухина, выстрел Марютки, роковую связь Гулявина с атаманшей. А можно увидеть здесь нравственные дуэли, внутренний драматизм, услышать отзвуки неулегшихся социальных бурь.

Можно принять на веру писательские анафемы «психологической размазне», а можно вопреки им обнаружить эту «размазну» в крутых — куда уж круче — сюжетных извивах.

Приятны легкие ответы, отрадны доверие к авторским декларациям, но они способны завести в тупик.

Откуда же взялся тогда последний этаж «литературного небоскреба» — «Седьмой спутник», откуда созданный в том же 1927 году «Разлом»?

Значит, «вдруг», как полагали иные критики: был писатель, слабо смысливший, что к чему в революции, любитель авантюрных завихрений, мелодрам, — и вдруг... Значит, «случайно», как писал сам Б. Лавренив: «...кажется, толчком к этой теме («Разлома». — В. К.) была абсолютная случайность».

И все же не «вдруг», не по «абсолютной случайности».

К «Разлому» Б. Лавренив шел еще от «Ветра». И к «Седьмому спутнику» тоже. Шел, вольно, а еще чаще невольно преодолевая собственные литературные пристрастия и представления. Хотя и легко дава-

лись ему первые повести, рождены они в борении с самим собой. Они предполагали внутреннюю мотивированность шага, действия. Б. Лавренев мог именовать это «копанием в собственном пупе» и того хлестче, но должен был — пусть с оговорками, не полностью — следовать принципам реалистического повествования. Его пленяла интригующая невероятность факта в парадоксальном сочетании с другими. Но, покаясь ей, преклоняясь перед ней, он не изменял своей художнической трезвости, которая все более явно выказывала себя.

Чем? Прежде всего реалистичностью подхода. Б. Лавренев понимал: Строеву быть спутником Гулявина; Говоруха-Отрок — не подлец, любовь к нему Марютки — не пикантный пустячок; Орлов — не сумасброд, не рефлектирующий интеллигент.

Хотел того Б. Лавренев или нет, но «психологическая размазня» заявляла на него свои права со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые, заметим между прочим, не всегда согласовывались с запоздалыми авторскими декларациями.

Лавренев должен был, не мог не прийти к психологической прозе «Седьмого спутника», к психологической драме «Разлом» — произведениям, близким идеей, духом, направлением.

Здраво принимая происходящее, Лавренев не заблуждался по поводу назначения интеллигенции в обновляемом революцией обществе. Он полагал принципиально обязательным сочетание Гулявин — Строев. И свою идею еще более доказательно развернул в «Разломе».

Да, Гулявин — вихрь, матросская вольница и т. п. Но председатель судового комитета крейсера «Заря» Аргем Годун из «Разлома» — сама сознательность, собранная в кулак революционная воля. Не братишка — зрелый политический вожак. Однако он обеими руками держится за командира крейсера капитана 1-го ранга Евгения Ивановича Берсенева. Ценит его знания, опыт, благородство, честность. Понимает: они дороги не только сами по себе и даже не только на капиганском мостике и в кубриках «Зари». Они нужны делу — революции.

А революция лишь началась. Позади — февраль, в перекатах июльского расстрела, в разногласии лозунгов, платформ, партий приближается Октябрь. Линия «Разлома» проходит через все и всех. Через

крейсер, через дом Берсеневых, через матросскую толпу. Рушится устоявшееся, трещит прогнившее. Одни клянут завтрашний день, другие упоенно торопят его приход. Дочь Берсенева Татьяна чует «живое и освежающее дыхание бури», ее муж, контрреволюционный заговорщик Штубе, пытается взорвать «Зарю»...

Тайный заговор, разбитая любовь, неудавшийся взрыв — какие необозримые просторы для приключенческих разворотов, драматических эффектов, то есть всего, что вроде бы Лавреневу на роду было написано! Но он стоически отвергает увлекательные перспективы, не допуская малейшей уступки бравурному, внешнему, броскому. Пьеса аскетична, прямо-таки классически строга. Вспоминая о ее создании, Б. Лавренев тридцать лет спустя писал: «Меня смущало, что воспроизведение штурма Зимнего дворца потребует пальбы на сцене. Я же хотел написать октябрьскую пьесу без единого выстрела».

Автор самозабвенно верен людям, избранным героями драмы, и с готовностью идет на жертвы, каких требует верность. Логика исторического движения, подспудная последовательность, меняя действие, приближают развязку. Но финальный занавес — не более как перекинутый листок календаря.

Это и о героях «Разлома»: «...нас еще судьбы безвестные ждут».

Люди не признают безвестность. Подчиняясь законам времени, велениям разума, совести, неосознанного чувства, они занимают свои každодневные места, не всегда догадываясь: таковы их места в истории. Разделенные тысячько преград, Годун и Берсенева стоят рядом. И преграды, еще недавно напоминавшие каменную стену, кажутся чем-то относительным.

Для Б. Лавренева революция — это и проблема наследования культуры победившим классом, передачи ее Гулявину, Марютке, Годуну, а значит, и проблема передающих. Революция не может не быть терпима к передающим, способным на это, стремящимся к этому. Евгений Иванович, Татьяна для Годуна не просто люди, готовые по доброте поделиться своими знаниями (Годун берет у Тани уроки английского языка, усматривая в том свой революционный долг). Они — из тех, которым предстоит сделать культуру достоянием миллионов,

то есть осуществить то, ради чего осуществляется революция.

Лавренева порицали за романтизацию «низов», люмпенов, обнаруживали пристрастие к бульварным и мещанским жанрам. Но редко замечали тревожную заинтересованность в судьбах мировой и русской культуры. Неизменно при изменчивости тем, фабул, лиц. Разнородные пары Гулявин — Строев, Марюжка — «синеглазый», Орлов — Соболевский, Годун — Берсенева вытягиваются прихотливой, но не лишённой закономерности чередой. Каждая из них — поворот все той же проблемы.

«Седьмым спутником» Лавренев убеждал в совместимости революции и культуры, мало того — взаимной нужности. Несмотря на рафинированность, кабинетность культуры в данном случае. Ее носитель — Адамов — далек от революции, дальше искуда: военный юрист, профессор, царский генерал...

Время, лихим посвистом врывавшееся в рассказы и повести Б. Лавренева, сейчас ползает монотонным перечислением угловатых на барахолку бантиков, прошивочек, кружевниц, бабушкиных и прабабушкиных шалей, тончайшего батиста — всей этой домашней уютной мелочи, красншей благополучие, обреченное отныне на слом.

Гулявин, Марюжка, Годун приходили в революцию как были, налегке. Они избавлены от всего, чем обрастает человек, привязанный материальными узами к напряженному месту. Ничто им не мешало, ничто не цеплялось за ноги. Эта свобода — стимул к социальному вызованию.

Адамов обретает ее в ходе революции. Он избавляется от вещей. Отнодь не по доброй воле, а по горькой нужде. Такое избавление не благоприятствует приходу в революцию. Скорее наоборот. Но оно лишь начало. За ним — тюрьма, где Адамову уготована соломенная подстилка и участь заложника.

Освободив старого генерала от обжитого бытового окружения, писатель освобождает его и от окружения духовного, интеллигентного, которое дискредитирует себя. Адамов обречен на шемящее одиночество.

Политические споры в повести редки. Поводов достаточно — спонентов мало. Адамова должна убедить история. У него к ней живой интерес. Ему всего более хотелось бы знать, чем все кончится.

Адамовская любознательность могла дольствоваться наблюдением. Но люди, ко-

торых он заново узнавал, разочаровываясь в одних, проникаясь симпатией к другим, разрушали его позицию нейтралитета.

Напрашивается сопоставление, в котором трудно себе отказать. Почему неглупый, мужественный, интеллигентный Говоруха-Отрок остается врагом, а старик Адамов переходит на другую сторону? Не забудем к тому же, что подле Говорухи-Отрока его любовь — Марюжка, а генерал одинок как перст.

Поместив поручика и Марюжку в вакуум, писатель предельно ослабил идущие извне силы воздействия. Едва изоляция нарушена, каждый возвращается в исконное состояние.

Адамов — в самом центре. Вокруг него «время носилось над городом впергонки с морским ветром». Он открыт этому ветру.

Говоруха-Отрок разочаровался в родине и революции. Остались разве что книги да вот Пятница — Марюжка.

Но ведь и Адамов разочаровался во многом, казавшемся святым. Только иначе.

Говоруха-Отрок готов уехать к черту, к дьяволу. Пусть бы его не грогали, дали жить, как хочется. А Адамов никуда не уедет. «Подумал: вот уседу и никогда больше не увижу этого покосившегося русского заборчика, хилой избенки, березок, разбитого проселка, а будет кругом чистенькие холощенные оградки, на них таблички: «тут можно», «тут нельзя». И не мог уехать. Лучше грязное кровянос, да свое, нелепое, косолапое, причиняющее муки другим и само страдающее...»

История своеобразна. Отвергающий родину поручик готов снова биться за «единую, неделимую». Адамов, стариковский влюбленный в покосившийся заборчик, будет служить под знаменем с интернациональным девизом.

Но почему же все-таки общая культура, знания (у Адамова они, конечно, глубже) способны двух людей одного уклада развернуть в противоположные направления? Как видно, из общей культуры каждый делал свои выводы. Кроме ветров, косящихся над городом, есть еще ветры, дующие в душе.

Все, что знал, увидел, пережил Говоруха-Отрок, укрепило его в эгоцентризме, в уверенности на право иметь недоступное другим. Даже фантастическая участь, даже любовь Марюжки. А еще раньше — собственная твердость духа, стойкость в походе,

физическое превосходство над красноармейцами.

У Адамова иной опыт, иное восприятие опыта — личного и общественного. И от того, каков человек, тоже зависит конечный политический выбор.

«Душа в тебе человечья», — говорит Адамову комендант Кухтин. А в другой раз: «Ты — проникновенный старичок».

Порывы, душевные склонности — это хорошо, считал Б. Лавренев, но мало. Нужна проверка делом. Не обязательно великим, осеняющим славой, а самым неказистым. Надо, как говаривали когда-то, вывариться в пролетарском котле.

Расхожая метафора материализуется напрямую; слабравается дозой юмора.

Освобожденному из тюрьмы Адамову некуда деваться, некуда приклонить голову. И он устраивается прачкой при арестном доме. У профессора военно-юридической

академии прорезается визгливый голос, навыки бабы-постирушки...

Никогда прежде не испытанное сознание своей нужности приходит к Адамову, когда начинается его служба в Красной Армии.

Позже, в белом плену, перед выбором — служить в золотопогонных полках или принять пулю в лоб, — Адамов нашел объяснение всему с ним происшедшему: «Когда огромное тело пролетает в мировом пространстве, в его орбиту втягиваются малые тела, даже против их воли. Так появляется какой-нибудь седьмой спутник...»

Но старый профессор прервал популярное разъяснение. Все равно белому офицеру его не понять.

Почему же? Так уж непостижимо, несмотря на наглядный пример? Ведь простая, казалось бы — проще некуда, вещь.

Однако Борис Лавренев уже знал: не так-то просты «простые вещи»...



---

В. ШЕСТАКОВ

★

## СОЦИАЛЬНАЯ АНТИУТОПИЯ ОЛДОСА ХАКСЛИ — МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

**И**мя Олдоса Хаксли знакомо широкому советскому читателю разве лишь по упоминаниям в литературно-критических статьях, посвященных проблемам западной литературы XX века, да еще, может быть, по двум его романам — «Контрапункт» и «Шутовской хоровод», — переведенным у нас в тридцатых годах, но давно уже ставшим библиографической редкостью. Между тем Олдос Хаксли — это, несомненно, одно из самых знаменитых литературных имен XX века на Западе, а творчество этого писателя, необычайно плодотворного, насчитывает более десятка романов, переведенных едва ли не на все языки мира, огромное количество публицистических, философских и литературно-критических работ. Знаменитого английского литератора не без оснований относят к числу наиболее образованных писателей современности, в сложном и противоречивом творчестве которого уживаются самые разнообразные аспекты знания, гуманитарной мысли и литературной деятельности. В своих произведениях он предстает перед читателями то как острый и наблюдательный сатирик, то как созерцательный философ, то как эссеист и публицист, то вдруг как мистик, постигший сокровенные тайны древнеиндийской философии, то как трезвый, остро анализирующий социолог. Порой кажется, что все эти идеи, концепции, образы, взявшись за руки, безостановочно кружатся в «шутовском хороводе» его творчества, и для того, чтобы получить сколько-нибудь реальное представление о Хаксли, разомкнуть этот круг и из мелькающей пестроты идей и образов выделить то, что действительно существенно для его творчества, нужно про-

делать немалую работу. Тем более что в течение своей жизни (Хаксли умер в 1963 году) английский писатель проделал весьма значительную эволюцию и к концу своего творческого пути, отказавшись от всякой критики и сатиры, стал проповедовать мистицизм и искать «путь жизни» в личном нравственном самоусовершенствовании. Впрочем, хотя результатом этой эволюции Олдоса Хаксли было явное оскудение его литературного таланта, последние его произведения тоже пользовались вниманием у публики и печати. Вообще Хаксли никогда не был обойден славой, и даже такой магистый философ, как Бертран Рассел, оценил его творчество так: «...о том, о чем думает Хаксли сегодня, англичане начинают думать завтра».

И все же известность всех произведений Олдоса Хаксли, вместе взятых, не может идти ни в какое сравнение со славой его романа «Прекрасный новый мир», который был закончен писателем в 1932 году и в котором он представил читателю одно из самых едких и глубоких в литературе XX века сатирических изображений современной буржуазной цивилизации, предугадав некоторые весьма характерные и зловещие тенденции ее последующего развития. Недаром то, о чем пишут сейчас многие западные социологи, анализируя превращение современного буржуазного общества в «больное общество», «общество одного измерения», в «тотальное общество», управляемое системой средств массовой манипуляции, представляет собою очень часто простой перевод на язык социологии тех сатирических картин, которые были нарисованы Олдосом Хаксли в «Прекрасном новом

мире». Именно это произведение обеспечило Хаксли настоящую известность, принесло ему мировую славу. И именно оно прежде всего сделало его творчество объектом ожесточенной политической и литературной полемики, острого столкновения самых различных социальных, политических, эстетических и нравственных концепций и идеалов.

Да, вокруг творчества Олдоса Хаксли — и прежде всего вокруг его романа «Прекрасный новый мир» — и по сей день идет все более разгорающаяся борьба идей и мнений.

Буржуазная критика пытается создать вокруг творчества и жизни Хаксли мрачно-вещный, но обманчивый миф. Писателя принято изображать современным «пророком», «ясновидцем», предсказавшим не только многие трагические события нашей современной истории, но и будущее человечества. При этом «Прекрасный новый мир» интерпретируется, конечно же, вовсе не как сатира на реально существующее буржуазное общество, а именно как произведение, рисующее то будущее, которое ожидает человечество. Хаксли объявляют «пророком катастрофы», родоначальником так называемой «негативной утопии», пионером «антиутопии». Пытаясь заглушить сатирическую антибуржуазную направленность произведений Хаксли, исследователи его творчества стремятся вместе с тем выдвинуть на первый план его деятельность последних лет — деятельность религиозного искателя, открывающего пути духовного спасения человечества. Переход Хаксли на позиции религиозной проповеди и проповеди морального обновления буржуазные критики пытаются истолковать как отказ от индивидуализма, как восхождение от «анализа к синтезу», от «критики» к «созиданию». «Современный пророк», «циничный спаситель» — вот типичные заголовки монографий, которые пишутся в последнее время о Хаксли.

Все это — мифогворческая литература. Она создает воображаемый, нарочито фантастический образ Хаксли, для обоснования которого используются буквально все средства, вплоть до рекламы. Так, в частности, одно из наиболее популярных, расхожих изображений Хаксли — изображение его в виде некоего «человека-амфибии», живущего одновременно в двух мирах: мире строгой науки и воображаемом мире искусства.

Хаксли провозглашается чудом универсальности: он и писатель, и ученый, и публицист, и художественный критик, и философ — все в одном лице.

Нельзя сбросить, наконец, со счетов и тот факт, что со стороны особенно рьяной, откровенно реакционной части буржуазных критиков не раз предпринимались попытки представить творчество Хаксли, в частности его роман «Прекрасный новый мир», как антикоммунистическую утопию, как изображение неизбежного будущего коммунизма. Всеми силами стараясь отвести ядовитые сатирические стрелы Хаксли от их реальной цели, буржуазные идеологи жаждут переадресовать их социализму и коммунизму — жалкие потуги, несостоятельность которых обнаруживается сразу же при рассмотрении романа и подтверждается рядом высказываний и признаний самого Хаксли.

Словом, миф вокруг Хаксли растет и продолжает расти, как снежный ком. В его создании участвует не только литературная критика, но и буржуазные социологи, политики, публицисты, философы. И становится все более очевидно, что сегодня творчество Хаксли представляет собою весьма поучительный эпизод в борьбе идей XX столетия, дающий немало для понимания тех процессов, которые происходят в современном мире. Думается, что нашему читателю тоже есть резон познакомиться с этим творчеством — и прежде всего с «Прекрасным новым миром» — поближе.

\* \* \*

Олдос Хаксли вступил на литературную арену в начале двадцатых годов. Только что окончилась первая империалистическая война, обнаружившая непрочность и шаткость устоев буржуазной цивилизации. Большая часть ценностей, которые только что казались «вечными» и «разумными», была девальвирована. Передняя интеллигенция Запада, молодые писатели и художники, представители так называемого «потерянного поколения» — Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон, — каждый по-своему, отобразили этот послевоенный кризис, выступив в защиту человеческого достоинства, обличая фальшивость и лицемерие буржуазного мира. В их числе был и Олдос Хаксли.

Его первый роман — «Желтый Крэм» — появился в 1921 году и сразу завоевал признание читателей. Казалось, в романе не происходило ничего особенного. Просто мо-

лодой человек Дэнис Стоун приезжал навещать своих друзей где-то в пригороде Лондона. Перед читателем проходила вереница героев, иногда наивных и смешных, иногда страшных и гротескно-шаржированных. Была здесь по-детски серьезная Мэри, наивно верящая в психоанализ, была здесь эксцентричная сестра хозяина Присилла, увлеченно занимающаяся составлением гороскопов и игрой в лотерею, был здесь и модный писатель — эссеист м-р Барбикью-Смит, проповедовавший мистическое общение со вселенной («Воображение, — учит он Дэниса, — это трубопровод в вечность»).

Хаксли не щадит своих героев. У каждого он находит какую-нибудь странность, какую-нибудь смешную черточку, которая превращает их в карикатуру. И главное — все они постоянно разговаривают, разговаривают о чем угодно — о любви, психологии, религии, искусстве. Так внешняя неприятельность действия, бессюжетность романа обнаруживали свой скрытый иронический смысл: посмотрите на этих людей, как бы говорил Хаксли, они способны только разговаривать, только обсуждать и комментировать чужие теории и идеи — действовать самостоятельно и активно они не в состоянии. Они пустоцветы. Характерен в этом отношении финал романа: Дэнис Стоун, так долго и безнадежно добивавшийся любви Анны, в тот момент, когда между ними вдруг начинает возникать какое-то чувство, посылает сам себе телеграмму, которой вызывает себя в Лондон.

В романе есть один эпизод, который на первый взгляд кажется второстепенным и случайным, но которому суждено было в дальнейшем развиться в самостоятельный образ. Вдохновенный болтун м-р Скоугенс пафосом проповедника говорит о том, какое замечательное будущее ожидает человечество. Это будет, по его словам, «рациональное государство»: «На место ужасного естественного зарождения придет система внеличного размножения. Необходимое количество населения будет разводиться в огромных государственных инкубаторах, в осемененных бутылках, стоящих ряд за рядом. Семейные отношения исчезнут: общество, омоложенное в самой своей основе, будет развиваться на новом фундаменте, и эрос, так прекрасно освобожденный от ответственности, будет, подобно веселой бабочке, порхать от цветка к цветку по заливному солнцем миру».

Пройдет каких-нибудь десять лет, и это пророчество реализуется в романе-сатире «Прекрасный новый мир». Пока же Хаксли всего лишь подсмеивается над героями и их сумасбродными идеями — скорее весело, чем зло. Его сатирический талант еще только просыпается.

Гораздо острее он даст себя знать в следующем его романе — «Шутовской хоровод» (1923). Здесь Хаксли снова, как и в первом романе, создает целую галерею сатирических портретов, включая в этот «шутовской хоровод» всех своих героев: молодого бакалавра искусств Теодора Гамбрила, бросившего свои гуманигарные занятия и избравшего надувные резиновые штаны (иронический символ отчуждения человека от природы), «гениального художника» Линниата, картины которого даже его друзьям напоминают рекламу вермута; болтливого шута и садиста Колмэна, бесстрастную красавицу Майру Вивиш и многих других, им подобных. Действия по-прежнему здесь почти нет — по-прежнему страницы романа заполняют нескончаемый треск бесконечных разговоров, фейерверк парадоксов, иронических афоризмов, неожиданных формул и определений. Но социальный масштаб и острота иронии Хаксли здесь уже много значительнее, серьезнее. Здесь уже все подвергается сатирическому осмеянию: мораль, любовь, религия, все обнаруживает свою внутреннюю фальшь и пустоту. Лицемерие, ханжество, обман показаны здесь как повседневный закон жизни, норма поведения (так, герой романа, неуверенный в себе интеллигент, приклеивает бороду и только после этого способен чувствовать себя «цельным человеком», настоящим мужчиной). Хаксли показывает, как фальшь проникает во все поры общественного организма, разъедает его, образуя вокруг людей провалы и пустоты. Не случайно одна из героинь романа, миссис Вивиш, говорит: «Мы живем в безвоздушном пространстве».

В своем романе Хаксли не обошел стороной и основу основ буржуазной морали — религию. Во время церковной службы его герой занимается такими, к примеру, далеко не благочестивыми рассуждениями: «Если есть теология и теософия, то почему бы не быть географии и геометрии или теогномии, теотропии, теотомии, теогамии. Почему нет теофизики и теохимии? Почему не избрести остроумную игрушку теотроп или

колесо богав? Почему бы не построить монументальный театром?»

В конце романа, когда читатель уже порядком уставал от нескончаемых разговоров и интеллектуальных пассажей, он вдруг совершенно неожиданно попадал из светских гостиных в биологическую лабораторию. Здесь перед ним представляли результаты научных экспериментов: «Пегух с привитыми яичниками, который не знал, кукарекать ему или кудахтать, жуки с отрезанными и замененными головами, одни повинувались своим головам, другие половым органам; омоложенный пятнадцатилетний павиан ломал прутья своей клетки, дорываясь до голозадой, бородатой и юной красавицы с зеленой шерстью в соседней клетке».

Здесь впервые сатира Олдоса Хаксли перерастала в символически обобщенный, зловеющий гротеск.

Но самым зрелым произведением молодого Хаксли был его следующий роман — «Контрапункт» (1928). По замыслу Хаксли, это должен был быть «интеллектуальный» роман, построенный как музыкальное произведение, с целым рядом параллельных и пересекающихся действий. Главным мотивом романа стала тема враждебности современной цивилизации человеку и человеческим ценностям. И не случайно, что именно в этом романе впервые, хотя и на один момент, промелькнул начинавший уже зарождаться замысел его будущей антиутопии. Хаксли выводит здесь среди прочих некоего художника Рэмпиона (его прообразом послужил английский писатель Д. Лоуренс), который постоянно высмеивает и пародирует ценности буржуазной эстетики и морали. И вот этот герой, один из немногих у Хаксли положительных персонажей, рисует однажды два варианта всемирной истории — один по Герберту Уэллсу, другой — свой собственный.

«Рисунок слева изображал восходящую кривую. За очень маленькой обезьянкой следовал чутью более крупный питекантроп, за которым в свою очередь следовал немного более крупный неандертальский человек. Палеолитический человек, неолитический человек, египтянин и вавилонянин бронзового века, эллин и римлянин железного века — фигурки становились все более рослыми. Ко времени появления Галилея и Ньютона представители человеческой расы достигли вполне приличных размеров. Уати

и Стефенсон, Фарадей и Дарвин, Бессемер и Эдисон, Рокфеллер и Уонамэкер — все выше и выше делались люди, пока не достигли роста современного человека в лице самого м-ра Герберта Уэллса и сэра Альфреда Монда. Не было позабыто и будущее. В сияющем пророческом тумане фигуры Уэллса и Монда, все вырастая при каждом повторении, взвивались триумфальной спиралью за пределы листа. В утопическую бесконечность. Рисунок справа представлял менее оптимистическую кривую, состоящую из вершин и падений. Маленькая обезьяна очень быстро превращалась в цветущего высокого представителя бронзового века, который уступал место очень крупному эллину и немногим меньшему этруску. Римляне снова становились мельче. Монахов Фиваиды было трудно отличить от первобытных маленьких обезьян. Далее следовало несколько рослых флорентинцев, англичан и французов. Их сменяли отвратительные чудовища, снабженные этикетками: «Кальвин», «Нокс», «Бакстер», «Уэсли». Рост представителей человеческой расы все уменьшался. Викторянцы были изображены карликами и уродами, люди XX века — недоносками. В тумане будущего виднелись все мельчавшие уродцы и зародыши с головами, слишком крупными для их расслабленных тел, с обезьяньими хвостами и лицами наших наиболее уважаемых современников».

Это место весьма знаменательное. В нем уже проглядывает замысел будущей антиутопии. Хаксли забавляется тем, что смотрит на историю как бы через перевернутый бинокль: далекое он делает крупным, значительным, а сегодняшний день истории — уменьшенным до ничтожных размеров. Как мы увидим, этот иронический прием был вскоре использован и развит Хаксли.

Сразу же после «Контрапункта» Хаксли пишет небольшой сборник эссе «Делай, что хочешь» (1929). Он представляет особый интерес тем, что в нем мы находим целую серию образов и набросков, которые затем ожили и заговорили на страницах его романа-антиутопии. Здесь мы находим созвучное с «Прекрасным новым миром» отношение писателя к будущему — Хаксли высказывает свое резко критическое неприятие всякого рода социального прожектерства. «Когда я вижу книгу о будущем, — пишет Хаксли, — я чувствую скуку и раздражение. Зачем забивать себе голову рассуждениями

о том, чем может быть человек — и чем он, конечно, не будет — в двухтысячном году? Давайте думать о настоящем. Если мы не будем этого делать, то вскоре не будет и будущего...»

Это высказывание не было случайным. Аналогичные мысли мы находим и в других сочинениях Хаксли того периода. Так, в сборнике эссе 1927 года он пишет: «Все пророчества интересны главным образом тем, что они проливают свет на эпоху, в которую они родились. Апокалипсис, например, рассказывает нам, как понимали христиане свой мир в конце I века. Явно нелепый как предсказание, «2240 год» Мерсье вполне пригоден для чтения, поскольку он показывает нам, что было идеалом для важного и туповатого француза 1770 года. А идеалы серьезного и весьма интеллигентного англичанина начала XX столетия могут быть изучены во всем процессе их развития по огромной серии пророческих романов Уэллса. Наши представления о будущем обладают тем же значением, которое Фрейд приписывал нашим желаниям... они выражают наши современные страхи и надежды».

Эти наблюдения и мысли Хаксли, его негативное отношение к утопистам, выражавшееся в характерных и нередких у Хаксли этого периода критических отзывах об Уэллсе и других создателях «пророческих» романов, тем более показательны, что они шли явно вразрез с общей тенденцией развития социальной мысли на Западе.

Действительно, в двадцатые годы Европа переживала повышенный интерес к утопизму. В свое время О. Уайльд писал: «На карту земли, на которой не обозначена Утопия, не стоит глядеть, так как карта эта игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество. Прогресс — это реализация Утопий». Это суждение стало позднее своего рода лозунгом эпохи. Не случайно в двадцатые же годы получила распространение и элитарная концепция небезызвестного Жоржа Сореля, согласно которому утопия представляет собою антитезу социальному мифу. Массы, по мнению Сореля, обращаются в своей деятельности к «популярным» мифам, утопии же — принадлежность духовной элиты.

Всему этому Хаксли противопоставляет требование не мечтать о будущем, а критически осознать и понять современность. Отсюда негативное отношение к утопии, ко-

торое и подготовило появление его знаменитого антиутопического романа.

В очерках «Делай, что хочешь» совершенно отчетливо проявился и тот социальный адрес, по которому была направлена сатира Хаксли. Это — обездушенный, технизированный мир капитализма, убивающий, как это остро чувствовал Хаксли, всякую гуманистическую культуру, всякую человечность. «Это,— писал он о духовной культуре капиталистического общества,— растление столь же новое, как и режим, в котором мы живем, столь же новое, как и протестанство и капитализм, как урбанизация, демократия и апофеоз «среднего человека», как бенджамен-франклинизм, как экономиящие труд машины, как газеты, экономиящие мысль и убивающие время, как тейлоризм и механизированные удовольствия. В нашем духовном климате вряд ли смогут процветать бессмертные традиции культуры. Следующее поколение, несомненно, увидит их мертвыми. И кто знает, воскреснут ли они?»

Судя по отдельным наброскам и высказываниям, которые мы находим в сборнике «Делай, что хочешь», уже в это время у Хаксли вызревал образ «прекрасного нового мира»,— общества, которое ведет свое летоисчисление с Форда. «Мы живем в век Генри Форда»,— утверждает Хаксли и без усталости повторяет эту мысль, варьируя ее на все лады. «Плутократия побеждает аристократию и, наконец, совсем вытесняет ее. На свет появляется новый тип общества, с новой цивилизацией. Мир Перикла и Лоренцо Великолепного становится миром Гувера и Форда».

Этот тип общества и становится предметом яркого и социологически точного изображения в сатирической антиутопии Хаксли «Прекрасный новый мир»<sup>1</sup>, которая появилась в печати в 1932 году.

\* \* \*

Итак, «Прекрасный новый мир» первоначально был задуман как критика позитивной утопии. По признанию самого Хаксли, он начал писать роман как пародию на

<sup>1</sup> На русский язык название романа переводится до странности пестро: «смелый», «отважный», «бравый», «храбрый новый мир». Мы пользуемся эпитетом «прекрасный», который, как нам кажется, более всего соответствует контексту шекспировских строк, из которых Хаксли заимствует название своего романа.

научную фантастику Г. Уэллса. Однако со временем замысел романа изменился, стал шире и значительнее.

В «Прекрасном новом мире» описывается будущее человеческого общества, каким оно будет в 632 году «эры Форда» (так теперь ведется летоисчисление). Дело здесь, как мы увидим позднее, путешествуя вместе с Хаксли в будущее, не в простом созвучии: «Лорд» (англ.— господь) — «Форд». Общество, описываемое Хаксли,— триумф капиталистического техницизма, основание которому было положено фордизмом. Поэтому в «прекрасном новом мире» Форд — нечто вроде бога, и фразы «мой Форд», «спаси, Форд» вошли в обиходный язык.

Эпоха до «эры Форда» отнесена в «Прекрасном новом мире» Хаксли ко времени «дикости» — временам нестабилизированной общественной жизни и низкого технического развития. Прекрасный же новый мир находится на высшей стадии технического прогресса, широко использующего достижения наук, в особенности химии и биологии. Систематический научно-технический прогресс и служит здесь решающим орудием создания того социально-стабильного общества, которое рисует Хаксли в романе и к которому с издевательской иронией он и относит слова Миранды из «Бури» Шекспира:

О, чудо!

Какое множество прекрасных лиц!  
Как род людской красот! И как хорош  
Тот новый мир, где есть такие люди!

Как же выглядит социальный прогресс в «прекрасном новом мире»?

Девиз этого мира: «Общность. Идентичность. Стабильность». Материальная база и одновременно средство формирования стабильной социальной психологии — массовое стандартное производство. Все продукты производства (не только машины, но и одежда, и предметы потребления) производятся массовыми стандартными сериями. Старые вещи не ремонтируются (это может привести к нарушению стереотипа), а тотчас же выбрасываются и заменяются новыми. «Лучше выбросить, чем вычистить». «Я люблю новое платье, я люблю новое платье, я люблю новое платье...» — без конца нашептывают бесчисленные репродукторы.

Массовое стандартное производство создает стандартные потребности. Общество, которое описывает Хаксли в своем рома-

не,— это потребительское общество. Потребление не только носит здесь императивный характер, оно возведено в культ. «Каждый мужчина, женщина и ребенок должны потреблять в год как можно больше. В интересах производства...»

Идентичные, стандартные потребности создают в свою очередь основу социальной стабильности. Но каким образом?

«Не существует цивилизация без стабильности. Не существует социальной стабильности без индивидуальной» — такова одна из главных заповедей устроителей прекрасного нового мира. Отсюда и главная цель: все формы индивидуальной жизни, включая сферу наслаждений, должны быть строго регламентированы. Мысли, поступки и чувства людей должны быть идентичны, даже самые сокровенные желания одного должны совпадать с желаниями миллионов других. Всякое нарушение идентичности ведет к нарушению стабильности и, следовательно, угрожает всему обществу.

Проблема создания стандартного, «одномерного» человека, который во всем был бы идентичен со всеми другими людьми, решается в «прекрасном новом мире» в соответствии с новейшими достижениями науки. На первом этапе — биологическим путем. Благодаря успехам биологии «прекрасный новый мир» давно уже сумел избавиться от такого анахронизма, как естественное рождение человека. Человек выводится здесь искусственно, как гомункул. С описания этого процесса и начинается роман, его экспозиционные главы. Они посвящены экскурсии студентов, в процессе которой читатель знакомится с «прекрасным новым миром», с его историей и общественным устройством.

Вот экскурсовод ведет студентов по гигантским подземным помещениям. Это — Лондонский Центр разведения и выращивания детей. Здесь, в условиях тропической температуры, при бликах таинственно мерцающего красного цвета, искусственно разводятся люди. Медленно движется конвейер. На нем бесчисленные ряды огромных колб, в которых развиваются человеческие зародыши. Экскурсовод рассказывает: благодаря искусственному расщеплению яйца из одного зародыша можно вывести 96 совершенно одинаковых близнецов. Зачем так много? Наивный вопрос. 96 одноликих близнецов — это 96 одинаковых голов, это 96 абсолютно одинаковых операций на 96 со-

вершенно одинаковых машинах. Никаких индивидуальных отклонений, все в высшей степени экономично и эффективно. Принцип разумного разделения труда становится биологическим законом. Разве это не прекрасно?

«Важнейший инструмент социальной стабильности,— поясняет экскурсовод.— Целые фабрики наполнены людьми, произведенными из одного расщепленного яйца... Стандартные гаммы, неварьированные дельты, однообразные эпсилонны. Миллионы одноликих близнецов. Принцип массового производства решен с помощью биологии».

Студентам предлагают ответить на вопрос: знают ли они, что такое мать? Большинство даже не слышало этого слова — понятия «мать», «отец», «семья», «нравственность», «любовь» давно уже изгнаны из «прекрасного нового мира». Еще бы! Ведь все они представляют опасность государственной стабильности. «Наш Форд» — или «наш Фрейд» (так говорят о Форде, когда речь идет о психологических проблемах) «первым понял опасность семейной жизни. Мир был полон отцов и поэтому был переполнен несчастьями, полон матерей — и поэтому всеми видами психозов между садизмом и целомудрием, полон братьями, сестрами, дядями, тетями — и поэтому сумасшестввами и самоубийствами». В обществе, построенном по идеальной схеме «прекрасного нового мира», всему этому уже нет места.

Экскурсия продолжается — мы следуем за студентами и знакомимся с системой воспитания и образования. Разумеется, люди, поскольку они будут выполнять разную работу, разбиты на различные касты. Всего их пять: альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон<sup>1</sup>. Каждая каста получает соответствующее воспитание, которое начинается еще на стадии зародышевого, так сказать, «внутриколбового» развития. Низшие касты готовятся для исполнения тяжелой, черной работы, поэтому они с самого начала должны быть отучены от всяких лишних, «добавочных» рассуждений. С этой целью в их колбы добавляется алкоголь, и мозг их сжимается до крохотного рудимента --- необхо-

димое условие того, чтобы все эти бесчисленные, одноликие, одетые в одинаковое серое платье дельта и эпсилон не отвлекались от своей работы.

Но этого мало. Перед семи-восьмимесячными младенцами ставятся огромные вазы с роскошными цветами, раскладываются книжки с веселыми картинками — зайчиками, птичками, рыбками. Малыши тянутся к ним ручонками. Но в этот момент воспитатель нажимает кнопку — в комнате раздается страшный шум, по предметам, к которым прикасаются дети, пробегает резкий разряд электрического тока. Маленькие тела сотрясаются от электрошока. Детишки плачут. Так повторяется много раз, пока у младенцев не выработается устойчивый «рефлекс отвращения» к книгам и цветам. «Мы воспитываем у масс ненависть к природе», — спокойно поясняет экскурсовод. Зачем? В интересах общества. Ведь любовь к чтению или к природе может нарушить нормальный процесс производства, а это прямая угроза стабильности.

Дальнейшее воспитание также осуществляется новейшими научными средствами — с помощью гипнопедии, например. Именно так усваивается, скажем, курс «элементарной морали» или «элементарного классового сознания». Представителям каждой касты внушаются — пока они спят — основные правила их морали. Вкрадчивый, монотонный голос бесчисленное количество раз повторяет в наушники один и тот же «урок»: «Как хорошо, что я бета. Мы гораздо лучше, чем гамма и дельта. Все гаммы глупы. Они носят зеленое. А дельты носят хаки. О, я так рад, что я бета». И так — сто двадцать раз в день, три раза в неделю, в течение тридцати месяцев. В результате моральные догмы приобретают значение подсознательных истин. «Истину создает 62 400 повторений», — самодовольно поясняет один из десяти «мировых контролеров» — Мустафа Мوند. — В этом заключается секрет счастья и благополучия. В этом состоит цель воспитания: заставить людей полюбить их неизбежное социальное предназначение».

Так достигается в «прекрасном новом мире» всеобщая иллюзия абсолютного счастья и безоблачного благополучия. Каждый доволен, каждый счастлив. Альфа гордо твердит: как я счастлив, что я не бета; бета в свою очередь переполнен тем же чувством в отношении гаммы и т. д. Впрочем, предусмотрены и возможные отклонения: если

<sup>1</sup> Каксли пародировал касты Г. Уэллса, введенные им в его «Современной утопии». Но конкретным прообразом этой классификации послужила тестовая система, принятая в двадцатых годах в американской армии.

что-либо нарушает эту атмосферу незамутненного спокойствия, за помощь приходят новейшие наркотики. Это только в ужасном прошлом люди искали утешения в религии и алкоголе. Теперь есть универсальный заменитель счастья — сома. Он содержит в себе все достоинства и алкоголя и христианства, но уже без их вредных последствий — никакой головной боли, никаких мифологических кошмаров. Полграмма сомы достаточно, чтобы забыть все несчастья, ну а целый грамм обеспечивает уже и просто-таки райское блаженство.

Кроме того, и помимо сомы существует бесчисленное количество развлечений, которые действуют не хуже наркотиков. Над их созданием трудится целая армия специалистов, так называемых «эмоциональных инженеров», их производством занята целая индустрия. Среди этих развлечений мы находим и нечто напоминающее традиционные виды искусства, но только, конечно, более совершенные, изолированные. Это, во-первых, — особая «синтетическая» музыка, «пахучие органы», при игре на которых производятся не звуки, а запахи. Вы можете прослушать, точнее пронюхать, целую симфонию или симфонию самых разнообразных ароматов — замечательный вид искусства: ведь при этом не нужно совершенно ни о чем думать («Пахучий орган» играл очаровательное освежающее капрично на травяные темы. Пульсирующие арпеджио тимьяна и лаванды, розмарина, баллика, мирта и таррагона, серия смелых модуляций в ключе специй и серой амбры. Затем медленный возврат от запахов сандалового дерева, камфары, кедрового и свежего сена (с легким привкусом поросычьего навоза) к простым ароматам, с которых начиналась пьеса. И в финале — легкий порыв запаха тмина»<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> «Пахучий орган» Хаксли напоминает обонятельный инструмент, описанный еще в конце XIX века Курдом Лассвицем в его утопическом романе «Картины будущего». Здесь практикуются концерты знаменитых артистов на рояле, издающем не звуки, а запахи. Кстати, у Лассвица и процесс воспитания, так же как у Хаксли, совершается на «научной» основе. В специальных «мозговых школах» дети ежедневно в течение двух-трех часов подвергаются воздействию гальванического тока, пропускаемого через те участки головного мозга, которые нуждаются в развитии. В результате решена проблема изолированного развития отдельных мозговых функций и воспитания замкнутых каст людей: «думающих», «чувствующих», «работающих» и т. д.

Но еще более популярны и действенны так называемые «фильмы» — нечто вроде нашего кино, но только с добавлением полнейшего эффекта присутствия, вплоть до осязательных ощущений. К подлокотникам вашего кресла подводятся специальные провода, и вы можете реально, «на деле», воспринимать то, что происходит на экране. Например, любовную сцену на медвежьей шкуре. «Это изумительно. Виден каждый волосок на шкуре. Замечательный тактильный эффект».

Цель и назначение этих паллиативов искусства, как нетрудно понять, — конечно, не познание действительности. Их действие подобно гипнозу — они призваны заставить зрителя забыть о реальности, наслаждаясь иллюзией выдуманного мира.

Наконец по ходу дела, из лекции экскурсовода и пояснений Мустафы, мы узнаем кое-что и о политической истории «прекрасного нового мира». Перед нами общество, представляющее собой по своей политической структуре ничем не ограниченную диктатуру технократии. Весь мир подчинен власти десяти Мировых Контролеров, что же касается таких понятий, как «свобода» или «демократия», то о них в «прекрасном новом мире» давно уже не вспоминают.

Студентам-экскурсантам, заинтересовавшимся непонятными словами, терпеливо объясняют, что все это пустые, давно отжившие анахронизмы. «Свобода — это круглая пробка в квадратной дыре», разговоры о демократии тоже бессмысленны: ведь «все люди физически и химически равны». Мы не имеем свободы и демократии, но зато, говорит Мустафа Монд, «мы стали теперь мировым государством. И у нас есть День Форда, песни Общности и Служба Солидарности».

С первого же момента возникновения «прекрасного нового мира» после разрушительной девятилетней войны, закончившейся в 150 году эры Форда, началась интенсивная кампания против прошлого: были закрыты все исторические музеи, взорваны все исторические памятники (к счастью, большинство из них было разрушено уже в течение девятилетней войны), было запрещено книгопечатание и вообще чтение книг.

В «прекрасном новом мире» дети не изучают истории. Зачем? История учит о том, что мир преходящ, а это не согласуется с идеей социальной стабильности.

«— Все вы, наверное, помните,— сказал Контролер своим сильным низким голосом, обращаясь к студентам,— вдохновенное и прекрасное высказывание нашего Форда: «История — это вздор». История,— повторил он,— это вздор<sup>1</sup>.— Он взмахнул рукой. Как будто невидимой щеточкой из перьев он стряхнул немного пыли, и этой пылью был Ур Халдеев. Он стряхнул немного паутины, и это были Фивы и Вавилон, Микены и Кнос. Взмах — где Одиссей, где Иов, где Юпитер, Готама и Иисус Христос? Взмах — и все эти комочки древней грязи, называемые Афинами, Римом, Иерусалимом, средними веками, вдруг пропали. Взмах — и место, где была Италия, стало пусто. Взмах — и пропали соборы, взмах — и исчезли король Лир и мысли Паскаля, страсти, реквиемы, симфонии...»

Таким предстает перед нами «прекрасный новый мир» уже в первых экспозиционных главах романа. И вот в это «чудо» социальной стабильности, в этот сияющий мир технического прогресса и всеобщего благополучия и счастья попадает молодой человек, названный в романе Дикарем (история его и составляет сюжет романа). Он попадает в «прекрасный новый мир» случайно: он родился и воспитывался вне цивилизации, которой пока не удалось еще освоить всю Землю, и поэтому на ней, в разных ее районах, существуют еще пока резервации, население которых строго изолировано от цивилизованного мира и оставлено жить до поры до времени по «дофордовским» порядкам. Дикарь и вырос в одной из таких резерваций, занимающей огромную территорию мексиканской пустыни.

Вначале Дикарь поражен «прекрасным новым миром», его комфортом, техническим прогрессом. Но затем, познакомившись с этим миром теснее, он постепенно приходит с ним в столкновение. Он никак не может понять всех очевидных как будто бы преимуществ технического рая и с отвращением отказывается от всех наслаждений, которые в изобилии предлагает ему «прекрасный новый мир». Ему в руки случайно попадает томик Шекспира, и, открыв для себя мир бурных страстей шекспировских героев, Дикарь восстает против цивилизации. Центральным эпизодом романа

является встреча Дикаря с Мировым Контролером Мустафой Мондом, во время которой между ними происходит знаменательный разговор.

Дикарь наивно и возмущенно спрашивает Контролера, почему вместо трагедий Шекспира народу предлагаются суррогаты искусства вроде «музыки запахов» или «филов». Контролер отвечает:

«— Потому, что наш мир не тот, что мир Отелло. Вы не сможете создать трагедию в условиях социальной стабильности. Сегодня мир стабилен. Люди счастливы, они хотят то, чего они хотят, и они никогда не хотят того, чего они не могут получить. Они обладают благополучием, они никогда не болеют, не боятся смерти, они не знают страстей старого мира; они не имеют отцов или матерей, жен, детей или любовников, к которым бы могли питать сильные чувства. Их поведение так обусловлено, что практически они не могут вести себя иначе, чем должны себя вести. А если что-нибудь не так, то ведь существуют наркотики.

Дикарь немного помолчал.

— Все равно,— сказал он упрямо,— «Отелло» прекрасней, «Отелло» лучше, чем эти «фильмы».

— Конечно, лучше,— согласился Контролер.— Но это цена, которую мы вынуждены платить за социальную стабильность. Нужно выбирать между счастьем и тем, что люди называли когда-то высоким искусством. Вместо этого у нас есть «фильмы» и «пахучие органы».

Дикарь никак не может понять, зачем нужна эта иерархическая, кастовая структура общества, все эти бесчисленные одноликие гамма и эпсилон? Почему, раз уж разрешена проблема искусственного размножения людей, не сделать всех поголовно альфами, одинаково одаренными и совершенными людьми?

В ответ Мустафа Монд рассмеялся.

— Это абсурдно. Альфа сойдут с ума, если их заставить выполнять работу эпсилон. Они либо станут сумасшедшими, либо изменят существующий порядок вещей. Альфа созданы таким образом, что они могут делать только альфа-работу». Кроме того, рассказывает Мировой Контролер, подобный эксперимент был проведен на практике. В 473 году после Форда остров Кипр был заселен двадцатью двумя тысячами альфа. Им было предоставлено все

<sup>1</sup> Здесь Хаксли использует действительное высказывание американского автомобильного магната Генри Форда.

индустриальное и сельскохозяйственное обуродование и дана возможность самим управлять собственными делами. И что же — результат превзошел все теоретические предположения. «Население по существу не трудилось, на всех предприятиях происходили стачки, законами пренебрегали, порядку не повиновались. Все люди, которые выполняли низшую работу, требовали более высокую, а те, кто выполнял более высокую работу, стремились сохранить существующий порядок. Не прошло и шести лет, как на острове вспыхнула первоклассная гражданская война. Когда 19 из 22 тысяч было уничтожено, оставшиеся в живых единодушно просили Мировых Контролеров вернуть острову прежнее правительство. Что и было сделано. Так закончилось свое существование единственное в истории общество альфа». Отсюда вывод:

«— Оптимальный вариант общества,— продолжал Мустафа Монд,— должен строиться по модели айсберга — восемь девярых под водой и одна девятая над поверхностью.

— А будут ли счастливы те, кто находится под водой? — спросил Дикарь.

— Они гораздо более счастливы, чем те, кто находится над водой...

— Несмотря на их ужасный труд?

— Ужасный? Они не считают его таким. Напротив, он им нравится. Он легкий и по-детски прост. Никакого напряжения мыслей или мышц. Семь с половиной часов умеренной, неизнурительной работы, а затем — сома, игры и филы. Чего они могут еще желать? Правда,— прибавил Контролер,— они могут желать более короткого рабочего дня. Конечно, мы в состоянии его дать. Технически довольно просто уменьшить рабочий день до трех или четырех часов в день. Но станут ли они от этого более счастливы? Нет! Полтора века назад мы проводили подобный эксперимент. Ирландия перешла на четырехчасовой рабочий день. И каков был результат? Беспокойство и увеличение потребления сомы, только и всего».

Но как же быть, спрашивает Дикарь, с моральными ценностями, с благородством, героизмом? Мустафу Монда смешит наивность Дикаря. «Мой дорогой друг,— отвечает он,— цивилизация абсолютно не нуждается в благородстве и героизме. Все это — симптомы политической несостоятель-

ности. В хорошо организованном обществе, подобном нашему, никто не имеет возможности стать благородным или героичным... Конечно, когда возникают войны, благородство и героизм приобретают некоторый смысл... Но теперь не существует никаких войн».

Как видно из предыдущего изложения, в своем романе Олдос Хаксли исследовал несколько сатирических целей — ниже мы еще скажем об этом. Но, может быть, одна из самых больших и несомненных удач Хаксли-сатирика — это, безусловно, образ Мирового Контролера Мустафы Монда. В Мустафе Монде, этом своеобразном «потомке» Великого Инквизитора из романа Достоевского, Олдос Хаксли сумел ухватить, несомненно, новый социально-психологический тип, характерный для буржуазной действительности XX века,— тип циничного и умелого реал-политика, который, не задумываясь, жертвует любыми человеческими ценностями ради «нормального» функционирования охраняемой им общественной системы. Хаксли в лице своего Мустафы Монда показал, что современная буржуазная цивилизация требует появления людей, которые в своих действиях руководствовались бы не чувством, а лишь механической логикой требований, заложенных в природе самого аппарата власти. Хаксли предсказал действительное появление такого типа — типа нового «сверхчеловека», стоящего над человеческим добром и злом,— он предупредил нас о его опасности, указав нам своим Мустафой Мондом на некоторые характернейшие, зловещие его черты.

Присмотримся внимательнее к портрету этого героя. Вот Мустафа Монд сидит в своем кабинете. Перед ним книга — «Новая теория биологии», которую он только что кончил читать. «Некоторое время он сидел, сосредоточенно нахмурившись. Затем вынул ручку и написал поперек заглавной страницы: «Авторская концепция цели нова и в высшей степени талантлива, но еретична, и поскольку она затрагивает существующий порядок, опасна и разрушительна. Не печатать». Он подчеркнул последнюю фразу. Очень жаль, подумал он, подписываясь. Такое талантливое произведение. Но если однажды допустить идею целесообразности, то неизвестно, что из этого выйдет. Этот тип идей может деморализовать мышление высших каст,

заставить их потерять веру в благополучие, поверить, что цель жизни — это не повышение благосостояния, но усиление и очищение сознания, увеличение знания. Вполне возможно, подумал Контролер, что это действительно так. Но в наших обстоятельствах это недопустимо. Он снова вытащил ручку и под словами «не печатать» провел вторую черту, еще более жирную и четкую, чем первая».

Особую убедительность образу этого диктатора-технократа, придают неожиданные, хотя и слабые проблески человечности, на которые он, оказывается, способен, но которые ничуть не мешают ему исполнять его функции.

Любопытна в этом отношении биография Мустафы Монда, которую он рассказывает Дикарю и нескольким появившимся у Дикаря друзьям и сторонникам из представителей высших каст.

«— В свое время я был довольно хорошим физиком. Слишком хорошим, достаточно хорошим, чтобы понять, что вся наша наука — поваренная книга, содержащая ортодоксальную теорию приготовления и список рецептов, к которым нельзя ничего добавить без специального разрешения шеф-повара. Теперь я — шеф-повар. Но в то время я был молодым и любознательным поваренком. Я начал приготавливать пищу собственного изобретения. Неортодоксальную, недозволенную пищу. Настоящую науку.— Он замолчал.

— И что же случилось потом? — спросил Гельмгольц Уотсон.

— Примерно то же, что случилось с вами, молодые люди. Меня чуть было не отправили на остров.

— Так почему же вы не оказались там?

— Потому что в конце концов я предпочел это, — ответил Контролер. — Мне предложили выбор: отправиться на остров и заниматься своей наукой или же пройти подготовку, чтобы стать Контролером. Я выбрал последнее и оставил науку. — После некоторого молчания он добавил: — Иногда мне жалко науку. Но долг есть долг...»

Итак, этому «сверхчеловеку», «его фордшейству», одному из десяти великих диктаторов «прекрасного нового мира» тоже не чужды человеческие слабости! Он любит Шекспира — но запрещает его во имя социальной стабильности, ему нравится новая книга — но в интересах общества он запрещает ее публикацию, он любит науку — но,

считая ее социально опасной, отказывается от нее. Наконец, ему нравятся эти оказавшиеся нестандартными люди, которые окружают Дикаря, — и тем не менее он ссылает их на остров. Он даже не прочь подчеркнуть гуманность этого наказания.

«Вы думаете, вас отправляют на эшафот. Если бы вы обладали хоть крупицей здравого смысла, вы бы поняли, что это наказание в действительности — благоденствие. Вас пошлют на остров, иначе говоря, туда, где вы встретите самых интересных людей, какие только есть в мире. Всех, кто не удовлетворен ортодоксальностью, кто имеет свои собственные независимые идеи. Я даже завидую вам...»

Поистине, остаеся только преклониться перед этим Добровольным Невольником Долга, принужденным отказываться от лучших радостей жизни во имя стабильного счастья ближних!.. Какая самоотверженность, какое горение ради других! И как тут не вспомнить опять Великого Инквизитора, отправляющего на казнь именем Христа самого Христа...

Ну, а что наш Дикарь, это дитя природы и естественности? Дикарь, понятно, продолжает протестовать против «прекрасного нового мира», однажды он даже пытается призывать низшие касты к восстанию. Но очень скоро видит, что они не способны даже понять его. Тогда, убедившись в своей неспособности разрушить этот мир, он бежит в пустыню, где ведет жизнь отшельника. Но и здесь цивилизация преследует его. Одна за другой прибывают толпы туристов на вертолетах — посмотреть, как он «спасается». И когда очередная партия экскурсантов вваливается однажды в хижину Дикаря, она находит его мертвым. Дикарь повесился...

Так заканчивается этот роман. В нем нашли отражение лучшие стороны дарования Хаксли: едкость социальной сатиры, насмешливый и трезвый интеллектуализм, разящая ирония аналитической мысли.

Мы уже говорили о попытках интерпретировать «Прекрасный новый мир» Хаксли как роман о будущем, роман-предвидение. Столкновение этого рода не случайно терпит всегда неизбежный крах. Когда Хаксли писал свой роман, его интересовало — и он постоянно подчеркивал это — не то, что произойдет с человечеством в будущем, а то, что произошло с ним уже сейчас. Форма утопического романа позволяла ему более

остро, через огромную историческую дистанцию изобразить современность. Поэтому-то и обращение его к таким, например, деталям, как выведение детей в бутылках, вовсе не означает каких-либо претензий на научное предвидение — это пародия, высмеивание тех возможностей и устремлений, которые заключены не в завтрашнем, а уже в сегодняшнем «прекрасном новом мире».

Какие же существенные черты современной буржуазной цивилизации удалось зафиксировать Хаксли в его «Прекрасном новом мире»? В чем главный смысл его сатирической «антиутопии»?

Отвечая на эти вопросы, нельзя не обратить внимания на то бросающееся в глаза ранее других обстоятельство, что из всех современных антиутопий антиутопия Хаксли — самая «ненасильственная», а его «будущее общество» — самое терпимое, даже в своем роде «гуманное». Здесь нет «полицейской мысли», системы доносов, тюрем, пыток, «двухминутки ненависти», то есть всего того, чем изобилует, скажем, «1984» Оруэлла. Нет здесь и публичных казней или хирургических вмешательств в мозг людей, которые описывает Е. Замятин в романе «Мы». «Стабильность» общества, контроль над мыслью и чувством достигаются здесь прежде всего с помощью средств массовой коммуникации и рационально используемой системой наслаждений. С их помощью — на самой научной основе — и осуществляется необходимая манипуляция массовым сознанием, создающая психологическую устойчивость и прочность общественного порядка.

Выдвижение в сатирической антиутопии Хаксли на первый план именно этих методов управления обществом, акцентирование писателем внимания прежде всего на средствах массовой коммуникации отнюдь не случайно. Здесь — самый центр, самая суть его «прекрасного нового мира», главное смысловое ядро его романа-предупреждения, написанного еще в те времена, когда все эти средства манипуляции сознанием масс далеко еще не достигли такого развития и не приобрели еще того «глобального» характера, который они получили в буржуазном мире в наши дни. Хаксли удалось убедительно показать уже в тридцатые годы, что современная буржуазная цивилизация вырабатывает новый механизм управления обществом: чтобы подчинить волю и сознание масс воле господствующей касты,

вовсе не обязательно прибегать к политике насилия, голода или террора. Есть другие, тоже достаточно эффективные средства — тем более эффективные, что, парализуя самостоятельность мысли и чувства, они оставляют человеку необходимую для него иллюзию свободы выбора — иллюзию, подкрепляемую всеми видами удовольствия и наслаждения. Действие средств массовой коммуникации не приносит личности никакого видимого ущерба — напротив, каждый может считать себя вполне счастливым и удовлетворенным. Человек полагает, что он абсолютно свободен в своих наклонностях, привязанностях и чувствах, — и откуда ему знать и понимать, что эти «свободные» наклонности и чувства уже запрограммированы соответствующим образом «эмоциональными инженерами»? В «прекрасном новом мире» Хаксли, казалось бы, осуществлен идеал гедонистически-потребительского общества: «никогда не откладывая на завтра удовольствия, которое ты можешь получить сегодня». Но именно эта система удовольствий и наслаждений, в числе которых оказывается и искусство, делает граждан «прекрасного нового мира» послушными рабами технократического государства, создает систему рабства в тысячу раз худшего, потому что каждый с радостью мирится со своим рабством и видит для себя высшее наказание в отлучении от него.

Раскрывая механизм манипуляции сознанием масс, Хаксли предупреждал об опасности, которая в современном буржуазном обществе в условиях господства огромных государственно-капиталистических монополий над печатью, радио, кино, телевидением стала уже будничной реальностью. В так называемых «развитых» странах западного мира управление обществом, подавление всякого протеста и критики все больше совершается сейчас уже не столько путем террора, сколько посредством управления потребностями и манипуляцией массовым сознанием.

Конечно, это вовсе не означает, что с эрой кино и телевидения времена насилия и террора ушли из практики государственного и экономического управления буржуазного общества в прошлое. Когда механизм манипуляции сознанием не «срабатывает», пускаются в ход тюрьмы и полицейские дубинки. Впрочем, Хаксли тоже не отрицал такой возможности в своей утопии, и отнюдь не случайной обмолвкой звучат слова

его Мустафы Монда: «Это счастье, что в мире существует такое множество островов. Я не знаю, что бы мы делали, если бы их не хватало. Наверное, отправляли бы вас в «смертную камеру». Для 1931 года это было смелым и страшным предупреждением. Прошло всего лишь несколько лет, и остров стало действительно не хватать.

Одно из самых значительных и острых сатирических прозрений Хаксли в его «прекрасном новом мире» связано, несомненно, с искусством. Хаксли удалось убедительно показать, что в условиях политической несвободы искусство может превратиться в социально опасную силу. Оно может стать таким же средством внушения, таким же средством манипуляции, как и реклама, и политическая демагогия. Оставаясь по видимости безобидным средством развлечения, оно может на деле служить орудием социальной дрессировки человека. Хаксли однажды уже предупреждал об этой опасности. В романе «Контрапункт» художник Рэмпион говорит: «Капиталисты, доставляющие массам стандартные развлечения, изо всех сил стараются сделать так, чтобы ты и в часы досуга оставался тем же механизированным болваном, каким ты бываешь в часы труда. Не позволяй им это делать. Старайся быть человеком». В «Прекрасном новом мире» эта мысль становится одной из главных тем романа, одним из его лейт-мотивов.

Изображая процесс превращения искусства в средство манипуляции сознанием масс, Хаксли описал картину, которую он наблюдал в современном ему капиталистическом мире. Он только развил, гиперболизировал, довел до логического конца то, что он видел в действительности. Позднее, во «Вновь посещенном прекрасном новом мире» он признавался, что для описания системы манипуляции сознанием в своей антиутопии он взял в качестве прообраза простой механизм буржуазной рекламы.

«Даже в Древнем Риме,—пишет Хаксли,—не было подобных, непрекращающихся удовольствий, которые теперь производятся газетами, журналами, радио, телевидением и кино». В «прекрасном новом мире» беспрерывные удовольствия самой удивительной природы используются как инструменты политики с целью отвлечь людей от социальной и политической реальности. Религия отлична от этих развлечений, но, создавая

«потусторонний мир», они тоже могут стать, говоря словами Маркса, «опиумом народа» и, следовательно, условием его несвободы... «Общество, большинство членов которого проводит свое время не в реальном мире, не здесь и теперь, и не в калькулируемом будущем, а где-то в другом месте, в относительном мире спорта и мыльной оперы, в мифологических и метафизических фантазиях, не сможет противостоять тем, кто контролирует и манипулирует ими».

Убедительная и социологически точная картина современного буржуазного общества, нарисованная Хаксли в его романе, предугаданные им тенденции возможного превращения его в общество технократическое по своей сущности, бюрократическое по своей организации и управлению, потребительское по своей духовной структуре — все это уже содержало в себе, пусть в первом наброске, тот комплекс идей, которые волнуют сегодня западных социологов, в частности представителей так называемой «критической философии», утверждающих, что современное индустриальное общество просто не может существовать без системы средств развлечения и потребления, которые, создавая комфорт и благосостояние, одновременно становятся орудием порабощения человека, средством социального контроля и управления обществом, формирования «счастливого» потребительского сознания. Если бы, пишет, например, один из современных авторов, все средства массовой информации, рекламы и развлечения вдруг исчезли, то современный западный человек оказался бы в устрашающей пустоте. «Потому что люди могут вынести непрерывное производство ядерного оружия, выпадение радиоактивных осадков, потребление сомнительных продуктов, но не могут вынести лишения тех развлечений, которые делают их способными производить и организовать средства своей обороны и тем самым — средства своего уничтожения. Устранение телевидения и тому подобных средств могло бы привести к тому, к чему не привели все противоречия капитализма, к разрушению системы. Создание репрессивных потребностей давно уже стало частью общественно-необходимого труда...»

Вот почему наиболее честные современные западные авторы прямо признают тот факт, что антиутопия Хаксли — это прежде всего изображение современного буржуазного общества, это протест против тех про-

цессов, которые происходят сегодня в «свободном» западном мире.

Так, например, известный американский философ и социолог Эрих Фромм в статье, посвященной антиутопии Д. Оруэлла «1984», пишет: «...«Прекрасный новый мир» — это изображение развития западного индустриального мира, если его современные тенденции останутся без существенного изменения...» И далее Фромм отмечает, что, по его убеждению, ни Оруэлл, ни Хаксли «не настаивают на том, что должен наступить мир безумия. Напротив, вполне очевидно, что их намерение — высказать предупреждение, показать, куда мы движемся, пока нам не удастся возродить дух гуманизма и величия». Характеризуя, в частности, антиутопию Оруэлла, Фромм пишет: Оруэлл «подразумевает, что новая форма управленческого индустриализма, при котором человек создает машины, действующие, как люди, и при котором люди действуют, как машины, благоприятствует эре дегуманизации и полного отчуждения, когда люди трансформируются в вещи и становятся придатком процесса производства и потребления... Оруэлл, подобно другим авторам негативных утопий, не является пророком катастрофы. Он просто хочет предупредить и разбудить нас. Он все еще надеется, но его надежда — надежда отчаяния. Она может быть осуществлена только тогда, когда будет понята опасность, с которой сегодня сталкиваются все люди, — опасность общества автоматов, где люди теряют все следы индивидуальности, любви, критической мысли и даже не осознают этого. Книга Оруэлла — энергичное предупреждение, и было бы крайним несчастьем, если бы читатели не поняли, что она касается также и нас».

Конечно, можно спорить с отдельными оценками, высказанными Фроммом в отношении антиутопии Оруэлла. Но то, что он говорит о «Прекрасном новом мире», нельзя не признать справедливым. Его трактовка романа Хаксли помогает разрушить тот миф, который с таким упорством пытаются создать вокруг Хаксли некоторые западные идеологи.

Действительно, Хаксли писал свой антиутопический роман как предупреждение; он предупреждал человечество о тех возможностях, которые, как он остро чувствовал, заложены в капиталистическом обществе. стандартизация, потребительство, по-

рабощение человека. Другое дело, что он ничего не мог противопоставить всем этим разрушительным тенденциям. Индивидуалист по убеждениям и складу ума, он не верил в возможности социального движения, — народ, как мы видели, представлялся ему однородной, серой массой. В революцию он тоже не верил и даже опасался ее. Правда, в то время он еще не высказывал публично своих опасений. Но пройдет каких-нибудь несколько лет, и устами своего героя из романа «Слепой в Газе» (1936) он скажет, что никакие социальные изменения не могут «остановить превращение людей в Бэббитов»<sup>1</sup>.

И все же, при всех этих противоречиях и слабостях мировоззрения Хаксли, прогрессивное значение его разоблачительной сатирической критики «прекрасного нового мира» современной буржуазной цивилизации несомненно.

\* \* \*

«Прекрасный новый мир» был поворотным пунктом в творчестве Хаксли. Начиная с этого момента пламя его сатирического таланта начинает медленно гаснуть. Хаксли все больше начинает заниматься позитивными поисками различных средств «нравственного самоусовершенствования», ищет пути мессианского спасения человечества.

Герой его нового романа «Слепой в Газе» Энтони Бивис, социолог по профессии, переживает глубокий духовный кризис. Он уезжает в Южную Америку, где встречается с убежденным пацифистом Джеймсом Миллером, который проповедует ненасилие и «всеобщую любовь». «Если обращаться с людьми хорошо, — говорит Джеймс, — они станут обращаться с вами так же... Пойдите, например, к подозрительным, диким людям, с которыми плохо обращались, пойдите безоружным. Идите с явным и настойчивым желанием сделать что-нибудь хорошее — лечить болезни, например. Вы увидите, что, как бы ни было велико их недоверие к белым людям, они станут в конце концов принимать вас как друга».

Под влиянием Миллера Энтони Бивис, еще недавно исповедовавший философию цинизма, становится активным пацифистом. Он выступает с докладами на митингах. Но когда однажды он получает от группы

<sup>1</sup> Герой одноименного романа Синклера Льюиса.

«патриотических англичан» письмо с угрозой убить его, «пнусного скунса, если он не прекратит свои предательские речи», он, поначалу возмущившись, в конце концов решает смириться. Все должно быть так, как оно есть, считает он теперь, и фашиствующие молодчики тоже должны существовать, ибо жизнь есть единство — «единство, воплощаемое даже в разрушении одной жизни при помощи другой».

Так герои Хаксли (а вместе с ними и он сам) отказываются постепенно от иронии и неприятия и приходят к философии ненасилия, к проповеди «морального обновления».

Жизнь вскоре разрушила убежище, куда Хаксли хотел скрыться от действительности. Возникновение фашизма, вторая мировая война показали беспомощность и бессилие пацифизма. Но тогда писатель решил, что мир обречен. Он стал проповедовать конец света, обличать человеческую природу. Именно в этот момент и появляется второй антиутопический роман Хаксли — «Обезьяна и сущность» (1949). Напрасно будем мы искать в этом романе конкретно-социологических картин, изображения окружающей капиталистической реальности, равного «Прекрасному новому миру». Куда больше здесь апокалиптических видений и мрака...

Заголовок романа Хаксли опять-таки занимает у Шекспира. Но на этот раз шекспировская цитата звучит не как ирония, а скорее как церковная проповедь:

Но человек,  
Но гордый человек, что обличен  
Минутным, кратковременным величием  
И так в себе уверен, что не помнит,  
Что хрупок, как стекло, — он перед небом  
Кривляется, как злая обезьяна,  
И так, что плачут ангелы над ним.

(«Мера за меру»)

В романе изображается мир в 2108 году, после третьей, на этот раз атомной войны. Война разрушила всю культуру и цивилизацию, города превратились в кучи развалин. Пустыни, возникшие на их месте, заселены враждующими стадами обезьян, каждая из которых таскает на веревочке, как собачек, своих «Эйнштейнов» (символ разрушающей силы научного знания). История двинулась вспять: будущее принадлежит обезьянам, ближайшим предком которых был человек.

Атомная война обошла стороной только один уголок мира — Новую Зеландию. Отсюда в Северную Америку направляется экспедиция, чтобы выяснить, какие формы жизни остались на Земле. Совершая это второе «открытие» Америки, корабль останавливается возле того места, где когда-то существовал Лос-Анджелес, и члены экспедиции разбредаются среди руин. Одного из них, ботаника д-ра Пула, похищает шайка деградированных людей, случайно сохранившихся после опустошающей войны.

Эти люди знают только один вид труда — гробокопательство. Они разрывают старые могилы и таким образом добывают необходимые для жизни вещи. Все достижения науки и техники утрачены, люди забыли, как выращивать деревья, строить города, водить машины и даже читать. Они живут в старых городах, где осталось множество библиотек. Но книги потеряли теперь всякую ценность, они используются разве что на топливо: «Закладываешь в печь «Феноменологию духа» и вынимаешь оттуда печеный хлеб».

Общественный строй находится на уровне племенной организации, жизнь людей регулируется запретами, напоминающими табу первобытного общества. Единственная форма идеологии — религия, причем в качестве бога почитается Сатана, и все происходящее в мире объясняется его злым умыслом. Люди не крестятся, а показывают два пальца над головой — новый религиозный символ, означающий рожки...

Несомненно, в «Обезьяна и сущности» будущее обрисовано в апокалиптических тонах: здесь и гибель большей части человечества, и исчезновение науки и гуманности, и витающая над всей этой катастрофой тень Дьявола, которому поклоняются жалкие и испуганные люди. Во всей этой картине есть что-то жуткое, отталкивающее.

Конечно, было бы ошибкой видеть в этом романе всего только мрачное пророчество конца света и возврата к каменному веку. Этот роман — тоже своего рода предупреждение, причем Хаксли не просто пугает нас войной. Он пытается здесь анализировать и причины, которые к ней приводят, рисует ту социальную и психологическую ситуацию, которая ей предшествует. Он предупреждает, что причиной возможной катастрофы является не только изобретение атомной бомбы и средств массового уничтожения.

Человечество может погибнуть и без использования атомной бомбы. Атомная война — естественный результат того, что ей предшествует: военной истерии, гонки вооружения, развития атомной индустрии, атмосферы насилия и сопутствующей ей политической апатии масс.

Весьма важно подчеркнуть и следующий момент: Хаксли считает, что главная моральная ответственность за надвигающуюся катастрофу лежит на современных ученых, которые не только увеличивают благосостояние, но и создают все предпосылки для самоуничтожения человечества. Он пишет: «Биологи, паталоги, психологи — все они после тяжелой работы в лаборатории приходят домой к своей семье. Обнимают свою престелную супругу. Возятся с детьми. Затем — тихий обед с друзьями, сопровождаемый камерной музыкой или интеллектуальной беседой о философии или политике. Ночью постель и привычные наслаждения супружеской любви. А утром, после апельсинового сока и грейпфрута, они опять идут на работу, чтобы изобрести средства, каким образом можно уничтожить наибольшее количество семей, точно таких же, как их собственные».

Нельзя не услышать в этих словах тревогу и озабоченность гуманиста, обращаясь с последним призывом — пусть призывом отчаяния — к своим собратьям по разуму. И нельзя не понять Хаксли, когда он с такой болью говорит об атмосфере страха и отчаяния, которая все более и более захлестывает современный мир. Хаксли характеризует ее в экзистенциалистских тонах, его описания во многом напоминают нам образы Кафки. «Любовь,—говорит он,—изгоняет страх, и наоборот, страх изгоняет любовь. И не только любовь. Страх изгоняет интеллект, доброту, мысль о красоте и правде. Остается лишь бессловесное или нарочито веселое отчаяние того, кто ощущает присутствие чего-то ужасного в комнате и знает, что дверь комнаты заперта, а в ней нет окон. И тогда это что-то наваливается на него. Он чувствует его руку на своей руке, ощущает его зловонное дыхание. Как будто помощник палача любовно наклоняется к нему, говоря: «Ты следующий, братец. Сюда, пожалуйста». Через мгновение этот тихий ужас переходит в безумие, такое же дикое, как и бесполезное. Он больше уже не человек среди людей, не разумное существо, говорящее на языке себе подоб-

ных, он всего лишь раненое животное, стонущее и борющееся в западне. Страх в конце концов уничтожает человечность в человеке. И страх, мои дорогие друзья, это основа основ современной жизни. Страх перед технологией, которая повышает наш жизненный уровень, увеличивает вероятность нашей насильственной смерти. Страх перед наукой, которая одной рукой уничтожает гораздо больше, чем дает другой. Страх перед очевидно фатальными учреждениями, за которые в нашей самоубийственной лояльности мы готовы убивать и умирать. Страх перед Великими Людьюми, которых мы вознесли и которым дали власть, дабы они использовали ее, чтобы убивать и поработать нас. Страх перед войной, которой мы не хотим, и все-таки делаем все возможное, чтобы она осуществилась».

Но, предупреждая нас об опасности, грозящей человечеству, Хаксли не находит в современном мире сил, способных противостоять этому необратимому, как ему кажется, напору насилия и зла. Он капитулирует перед ними. И поэтому роман его — уже не только предупреждение, но и своего рода предсказание, причем предсказание мрачное, пессимистическое, почти безнадежное.

И это не случайно. Хаксли явно эволюционирует — на смену обличителю и критику капиталистического мира приходит мрачный пророк и резонер. Прогресс представляется ему теперь всего лишь нечистоплотной выдумкой политиков. «Прогресс — это теория,— пишет он,— согласно которой вы можете получить что-либо в обмен на ничто, теория о том, что можно выиграть в одной области, не оплачивая свой выигрыш в другой, теория о том, что только вы способны понять смысл истории, что только вы знаете то, что произойдет через 50 лет. Это теория о том, что, учитывая предшествующий опыт, вы можете предвидеть последствия ваших сегодняшних поступков, теория, что Утопия лежит как раз впереди вас и что, поскольку идеальные цели оправдывают самые низменные средства, ваше право и долг грабить, обманывать, пытаться, поработать и убивать всех тех, кто, по вашему мнению (которое, по определению, непогрешимо), затрудняет шествие к земному раю».

Весь пафос иронии Хаксли направлен теперь не на социальную действительность, а на самого человека: во всех своих бедах,

считает Хаксли, человек виноват сам, он сам добровольно идет к своему собственному концу. Во всем повинна именно сама природа человека, его самонадеянность, тупость, неспособность к сопротивлению — в общем, все то, в чем проявляется обезьянья сторона его существа. «Любовь, наслаждение и мир,— говорит Хаксли,— все это плоды духа, который составляет нашу сущность и сущность мира. Но кроме этого существует обезьянье мышление, плоды обезьяньей самонадеянности, которые создают ненависть и бесконечное, все возрастающее несчастье, смягчаемое только безумием, более ужасным, чем оно само».

Если это еще и не мизантропия, то, несомненно, достаточно пессимистический взгляд на человеческую природу. Метаморфоза, которая происходит с Хаксли, поистине удивительна. Еще двадцать лет назад молодой сатирик беспощадно издевался над одним из своих персонажей, для которого «самым изысканным произведением был томик «опытов», где он с таким блеском... развивал свою излюбленную тему о мелкотравчатости, обезьяньей ограниченности и глупой претенциозности так называемого «Ното саріеїс». Теперь сам писатель почти уподобляется своему сатирическому персонажу, без устали обличая обезьянью сущность человека.

Когда-то он зло высмеивал некую миссис Вивиш, которая на протяжении всего романа умирающим голосом изрекает банальные сентенции вроде: «Завтра. Завтра будет более ужасным, чем сегодня». Теперь уже сам Хаксли вторит своей неврастеничной героине, проповедуя близкий конец света и пришествие царства Сатаны.

Еще не так давно он высмеивал всевозможную религию и мистику. «Если бы я был индийским миллионером,— писал он в 1926 году в очерке «Шутливый Пилат»,— я бы потратил все свои деньги для основания атеистической миссии». Теперь в своих философских сочинениях «Вечная философия» (1946), «Врата восприятия» (1954), «Рай и ад» (1956) он проповедует буддийскую мистику, нирвану, психологию самозерцания и даже — прямое общение с богом. Подобно своему сатирическому герою мистеру Барбикью-Смиту, он прокладывает «трубопровод в бесконечность», предлагая нам для полноты ощущения единения с богом всевозможные наркотические средства и мескалин. С упованием описывает он все-

возможные наркотические видения, выдавая их за «прозрения» и постижение мистической тайны мира.

Когда-то Хаксли издевался над всякой рекламой, над жалкими попытками людей быть «сверхсовременными». Теперь он сам гоняется за модой, без конца цитирует модных, «самых современных» философов, социологов и религиозных проповедников. Дьюи и Карнап, Александер и Юнг, десятки маститых, второстепенных, а зачастую и вовсе сомнительного толка авторов появляются на страницах его трактатов, и сочинения их рекламируются им как самые последние открытия в области науки и философского умозрения.

Хаксли и сам занимается теперь рекламой собственных произведений, пытается, как во «Вновь посещенном прекрасном новом мире» (1958), получить проценты с расстроченного художественного капитала. Утратив художественный талант, он занимается перелицовыванием своих прежних произведений, он пишет к ним политический комментарий и не отказывается от сомнительной славы быть «пророком катастрофы».

В последние годы жизни он как раз и специализируется на этих пророчествах. Во «Вновь посещенном прекрасном новом мире» он уточняет сроки наступления мировой катастрофы. Она произойдет не через шестьсот лет, как ему казалось раньше, а гораздо скорее, в течение одного столетия. Он не скупится на мрачные предзнаменования и жуткие картины будущего. История представляется ему «бесконечной колонной одетых в униформу людей — белых, черных, желтых, коричневых,— послушно марширующих к своей общей могиле».

«От утопии к кошмару» — так называется одна из книг об антиутопиях, вышедшая недавно на Западе. И несомненно, что Хаксли прошел все этапы этого бесплодного пути.

Если раньше он надеялся, что история окажется иной, чем его прогнозы, то теперь он с мрачным удовлетворением утверждает, что никакого выхода нет, что человечество обречено, насилия и тирания неминуемы.

Как свидетельство полной гибели его сатирического таланта появляется его последний роман «Остров» (1962). В нем Хаксли прощается со своим антиутопическим прошлым. Раскаившийся антиутопист, он рисует в своем романе вполне позитивную и, скажем сразу, не очень оригинальную утопию. Он изображает жизнь на некоем утопиче-

ском острове Пала, где-то между Цейлоном и Суматрой. Его обитатели живут небольшими патриархальными семьями. Чтобы избежать перенаселения и связанных с ним социальных бед — голода, омассовления и пр., — существует ограничение рождаемости. Технический и научный прогресс поставлен под контроль. Что же касается духовных проблем, то для их решения есть буддизм.

В своем последнем романе Хаксли испробовал себя в новой роли — роли спасителя человечества. В соответствии с требованиями роли он предложил ради спасения мира несколько рецептов собственного изготовления: контроль над рождаемостью, возврат к природе, технику буддийского созерцания. Но, очевидно, сам Хаксли чувствовал себя неуверенно в этой роли. Это видно из того,

к какому финалу приходит Хаксли в своей утопии. На острове находят нефть, и идеальное общество оказывается жертвой нефтяной горячки. Утопия (а вместе с ней и Хаксли) терпит крах...

Так погиб некогда талантливый писатель и сатирик. В последние годы жизни он превратился в самого отчаянного мистика и реакционера. Его последние мистические произведения, в которых он рекламирует наркотики как самый прямой путь во «врата восприятия», вряд ли кто читает сегодня, разве что мистики и наркоманы.

Но ранние его романы, включая «Прекрасный новый мир», сохраняют для нас свое значение: в них были высказаны многие важные и трезвые мысли о характере современной буржуазной цивилизации.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Антопольский. Точка в мире.— И. Питляр. Посмотри на себя со стороны...— А. Лебедев. Достоинство исследователя.— Я. Гордин. Парадоксы по неволе.— Ст. Рассадин. Наш современник Роберт Фрост.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Субоцкий. Управление, хозрасчет, самостоятельность.— Вл. Канторович. Социология и промышленные кадры.— М. Гефтер. Великая антиколониальная революция.— А. Морозов. Новое о Разине.— Н. Болховитинов. Т. Рузвельт и «прогрессивное движение».

## *Литература и искусство*

### ТОЧКА В МИРЕ

Владимир Гусев. Утро и день. Короткие повести и рассказы.  
«Советская Россия». М. 1968. 96 стр.

Владимир Гусев. Жизнь. Двенадцать месяцев. Повесть. «Дружба народов»,  
№ 1, 1969.

Рассказы и повести Владимира Гусева, объединенные в первой его книге, и напечатанную в «Дружбе народов» повесть «Жизнь. Двенадцать месяцев» (одна из глав ее — «Сказка для дочери» — вошла в тот же сборник) можно определить, пожалуй, как бессюжетную психологическую прозу. Конечно, события в произведениях В. Гусева происходят, люди действуют, порой завязываются узлы конфликтов, однако отчетливо видно, что для писателя это не главное. Внешние темы таких его вещей, как «Март», «Меня догоняет война», «Эккурсия», «Рыбный день», могут быть изложены в нескольких словах, но содержательность их при этом едва будет затронута.

Что есть мир и что есть «я» в этом мире? — вот то, о чем размышляют В. Гусев и его герои, что прежде всего исследует писатель, начиная с самых истоков, с детского сознания.

.. Маленькое, забавное, толстоватое существо едет в теплушке; ему хорошо, он укрыт тремя одеялами, «нижнее из которых — гладкое, байковое», а сбоку «большое, баю-

кающее тепло матери...». Его дело — блаженно растворяться в ясности и покое. Замечательно, однако: четырехлетний мальчонка из рассказа «Меня догоняет война» как-то по-особенному сознает свои взаимоотношения с окружающим. Это состояние своего маленького героя, когда полнота душевного удовлетворения непременно предполагает уверенность в том, что другим, всему другому, хорошо оттого, что я такой, что так веду себя, Владимир Гусев выделяет особо — как бы переводя его на «язык взрослых»: «сон и спокойствие» — это ведь «не просто так, а доблесть, заслуга, что вот я засну, и тем и доставлю радость и ясность миру и людям. Мне тепло, надо мною — большое и доброе — и, стало быть, миру приятно».

Но в безмятежное сознание ребенка врывается война, его воображение подавлено кошмарным видением — человек, «немец» с желтоватым лицом, в «коричневом, гладком мундире», входит в вагон... С детской наивностью мальчик стремится прогнать этот темный образ ужаса, изъять его из

своей памяти. Эта отчаянная борьба стоит ему немалых душевных сил. Но в этом освобождении от дурного, страшного призрака — не только наивность и непосредственность ребенка. Это и первая робкая попытка понять мир, значение своей воли.

Повесть «Март». В семикласснике Алеше Осенине жизнь звучит и бьется уже по-иному. Энергия и подвижность подростка соединяются в нем с задумчивостью, с какой-то тихой совестливостью. Он идет в классе первым, занимается не напоказ, а всерьез; и он же весело гоняет с друзьями шайбу и мяч, азартно сражается верхом на «лошади» — однокласснике Авдее — с другими всадниками за право овладеть вершиной ледяной горки. Но что-то вдруг ожжет его, остановит. Алеша взобрался на «лошадь»; чувствует под собой «костистое, хлипкое тело товарища» — тяжело ему, наверное! — и как-то неловко становится на душе. Строгий математик Евдокия Петровна незаметно для других наводит его на способ решения примера, и становится «нехорошо от этого заговорщичества»; Алеша не хочет получать ничего сверх того, что стоит сам.

Такого рода чувства возникают не часто. Они обычно затухают, обыденность, как правило, растворяет их в себе. Но к счастью для Алешы, у него эти толчки из глубины души не проходят бесследно. Сейчас будто уже и следа их нет, но все же, оказывается, что-то сбереглось, сохранилось, а в конце дня, собранное вместе, вдруг выплескивается неудержимым потоком наружу: «Хотелось, чтобы все, что тут есть вокруг, — оранжевая заря, загадочное, нежное небо, корявые мощные тополя, дома и птицы — взяло бы тебя в себя, приняло, растворило, ответило душе... И вдруг он с несомненностью, с такой несомненностью, вернее которой на свете и быть не может, — ощутил, уразумел и понял, что с ним в этот день происходило большое и важное».

Да, что-то совершалось, уже совершилось. Что? Ответить ясно он и сам, пожалуй, не сумеет, только уливается свежими, необычно новыми для него впечатлениями...

Не слишком ли незначительны, заметит иной читатель, эти впечатления, чтобы говорить о нравственном открытии героя? Где же «центр» этой набирающей силы личности, сформулируйте-ка определеннее!..

Кто захочет найти у В. Гусева некую сумму точных, строго выверенных словесных выводов, тот ошибется в своем ожидании —

писатель чурается однозначности, выбеленной ясности.

Однако ж в возможном читательском упреке окажется и свой резон. Замечаешь, что писатель слишком уж упорно избегает завершенности характеристик, и это оборачивается подчас той самой искусственностью, от которой он сам старательно стремится уйти. Алешу Осенина на протяжении всего его школьного дня настойчиво преследует одна мысль. Он возвращается к ней и как бы спорит сам с собой: «Но биологом я не буду... не буду биологом...» Эта фраза звучит почти как лейтмотив, но вместе с тем прямое, очевидное ее значение приглушено, «зашифровано». Можно предположить, что за словом «биолог» Алеше чудится сухое, узко-профессиональное отношение к природе; а пережитая им за день широкая и яркая гамма чувств решительно контрастирует с этим «профессионализмом». Если это так, то авторский замысел любопытен, но, право же, мысль его не стала богаче оттого, что переведена в «подтекст». Если же, допустим, мысль была иной, более сложной, то тем более стоило развернуть ее, не суживать до намека. Вернее же всего — писательское решение просто еще не созрело, и многозначительная неясность, обволакивающая его, вынужденна...

Проверка героя «на личность» — внутренняя тема произведений В. Гусева. Он остается верен ей, обращаясь и к персонажам нелюбимым, явно несимпатичным ему. Пристально, внимательно изучает писатель их внутренний мир. Человек без нравственной точки опоры, не желающий выработать свои убеждения, пустая душа, представляет собой, по убеждению В. Гусева, немалую общественную опасность. Экскурсовод Саша в «пенсне с матовым ободочком» (рассказ «Экскурсия») — приятный во многих отношениях молодой человек, он умеет держаться с достоинством и просто, точно чувствует состояние собеседника, легко настраивается на необходимую «волну». Но он многолик, в нем эклектически смешаны разные «составы»; отсюда удивительная способность к перевоплощениям. Угаданное мнение другого о себе, как правило, тут же заставляет его перестраивать себя совершенно в духе этого мнения.

Толстая бухгалтерша Зина видит в нем размазную, хлюпика, «интеллигентика несчастного»; и, почти независимо от самого себя, именно так — «как официант, согнув

перед собой в локте» руку,— является он пред ее очи. Директор музея составил иное представление о Саше. И герой наш «почти физически ощущает, как, переступив порог, он тотчас же стал тем задиристым и ершистым — «молодежь, молодежь», — на словах вечно готовым нервничать, горячиться, но на деле работоспособным, толковым, «головастым» молодым человеком, каким воспринимает его Ростислав Ипполитович. Саша ведет по залам музея экскурсию, а это не простое дело. Это нечто вроде эстетической, идеологической миссии. Однако бремя свое он несет без труда, ибо ему остается только гибко воплощаться в универсально разработанную «систему фраз». Объективной ценности искусства для Саши не существует — прежде всего потому, что он невежда; ему остается жонглировать понятиями, сочетать моду с традицией, актуальное с классикой да зорко присматриваться к лицам слушателей. Герой рассказа «Экскурсия» легко, как перчатка, выворачивается наизнанку и притом сохраняет некое подобие собственной формы. Но по настоящему своя мысль у него одна, и она преследует его неотступно: «Так что же... что с отпуском?» Рассказ убеждает, что бездуховный вырост, какой бы вид он ни принял, лишь условно может именоваться человеком и что никакая эстетика, идеология не существуют без нравственного наполнения.

Что-то общее с молоденьким элегантным Сашей угадывается и в пожилом кандидате наук, герое рассказа «Рыбный день», Михаиле Алексеевиче. Роднит их глубочайшее равнодушие ко всему, что выходит за пределы их «первого», биологического интереса. Правда, характер Михаила Алексеевича очерчен полнее, многостороннее. Этот химик из тех, кто пришел в науку не по таланту, а «по назначению». Теперь он обычный администратор, чувствующий свою бездарность и глупое превосходство над собой талантливого аспиранта Толи Волкова. Однако не в пример многим другим Михаил Алексеевич не узурпирует власть, не гнет в дугу Волкова и даже как-то стыдится несоответствия между служебным положением и действительной своей ценностью (редкая черта). Впрочем, совесть его имеет какой-то легкий, неуловимый характер, потому что Михаил Алексеевич равнодушен почти ко всему на свете. Только одна страсть может еще всколыхнуть его —

страсть к рыбной ловле. На берегу тихой реки, увлеченный борьбой со щукой, которая неистовствует, бьется насмерть «там, на конце лески», он живет полнокровной, деятельной, истинной жизнью. Неразгаданное призвание? Анемия важнейших участков души? Растраченный во внешнем энтузиазме запас сил, скупо выделенных природой? Так или иначе, но у Михаила Алексеевича ничто, кроме спиннинга, не вызывает внутреннего отрыва. Он полумертв — в душе выхолощены даже чувства близости к родным. Рушится семья дочери, уходит от нее муж Слава, хороший человек, а Михаилом Алексеевичем овладевает «глубокое и вязкое, густое, тупое равнодушие». Выморочное существование...

Однако изучение типов нравственного уродства не может надолго удовлетворить писателя, его настойчиво влечет к положительному началу в человеке. Он хочет найти и противопоставить что-нибудь размытой и обезличенной натуре, духовному бессилию. В повести «Жизнь. Двенадцать месяцев» он обращается к иному герою, который как бы продолжает линию Алеши Осенина. Снова перед нами сначала мальчик, подросток, потом молодой человек и, наконец, мужчина, отец. Но это одно «я», и возраст тут не имеет почти никакого значения. Герою свойственно особое чувство близости к природе, он ощущает себя сопричастным всему сущему — от малого, от мелко шуршащих на дубе сухих листьев до «мириад звезд» холодного черного осеннего неба. Кажется — какое отношение имеет прекрасная и вечная природа к тому, как ведет себя герой в обыденной жизни, в суতোлке городских будней, к тому, как он любит и ненавидит, к его гражданскому нравственному идеалу?..

Январский ветер играет, остро свистит, «вздывая буруны из тонкого верхнего снега»; июльское, «любимое, вечное и живое» солнце «взошло и распалось улыбкой, желтым сиянием и добром над своими родными водой и лесом»; маленький толстый сурок (из «Сказки для дочери»), путешествуя в лесу, набивает за обе щеки «молочные, гладкие, твердые зерна», идет спать к себе в теплую сухую норку с запахом ягод, трав, грибов, кисловатых падалиц груш... Что это? Картины природы, воспринятые просто и непосредственно — зрением, слухом, осязанием? Наблюдения-раздумья? Лирическое состояние? И то, и

другое, и третье. Но всякий раз с одним не высказанным до конца вопросом, с непрестанным желанием понять самого себя, схватить смысл и назначение собственной жизни. Особым, крупным планом сейчас просматривается то, что в тебе есть: и сильное, доброе, и мелкое, отталкивающее. Героем владеет чувство полноты и целостности бытия.

Скажут: слишком зыбко, туманно, отвлеченно это чувство. Да, если душа податлива, легко направляема, эклектична. Тогда такое ощущение действительно бесследно, бесцельно. Но герой В. Гусева стремится к цельности, к связи с тем «огромным», к тому философскому чувству, что уже пришло к нему и осталось, укрепляется и развивается по-новому, когда он начинает думать о людях. Он вспоминает о своем прожитом, о том, что сделано для других, а сделано, оказывается, не так уж мало, потому что был он верен своему делу и своему слову; и порыв его, и сомнения — настоящие: «Почему не могу я все делать, чтобы было всем хорошо?» «Всем хорошо» — этот нравствен-

ный идеал звучит в душе, подкрепляемый тем о б щ и м — все в мире живет через другое! — что открылось сознанию взрослого человека, не забывшего то первое сердечное движение, которое испытал четырехлетний мальчонка в теплушке далеких военных лет.

Лирическая проза В. Гусева раздумчива, в ней есть энергия мысли и собранность. Но порой отмечаешь: она становится монотонной. Ощущение это делается сильнее тогда, когда суживается круг впечатлений писателя, когда слабее звучит общий главный вопрос — о смысле и назначении жизни. Многочисленные определения, столь любезные сердцу автора многоточия и «неопределенные» словечки часто делают его стиль расслабленным. «Собирает» же текст воедино только энергия внутреннего чувства, воля к познанию. Это у В. Гусева тоже есть, и этим и притягательна его проза — во всяком случае ее лучшие страницы.

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ.



## ПОСМОТРИ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ...

**А. Смирнов-Черкезов. Дом холостяков. Повести. «Советский писатель».**  
М. 1968. 400 стр.

Смирнов-Черкезов известен читателям прежде всего и главным образом как очеркист.

Две его повести — «Мои молодые друзья» (впервые опубликованная в 1956 году) и «Дом холостяков» (опубликованная в 1962 году) — составили сейчас отдельную книжку. Это опыты писателя в собственно беллетристическом жанре, хотя нетрудно заметить, что многое связывает их именно с его «очерковой музой». И в очерках и здесь авторское внимание сосредоточено на проблемах современного строительства (производственного и гражданского), на приемах и методах руководства этим строительством, на людях, которые принадлежат к большому и славному племени советских строителей. В центре обеих повестей — конфликт между старым руководителем стройки, «зажиревшим», малокультурным ловкачом-хозяйственником, с одной стороны, и с другой — теми молодыми и культурными специалистами, которые приходят на смену этому старому типу руко-

водителя и все кругом «переворачивают» и сдвигают с мертвой точки...

Строитель по образованию и профессии, писатель знает свое дело не понаслышке, а «изнутри» и достоверен в его изображении.

Пишет ли Смирнов-Черкезов, например, о планировании строительства и его зависимости от снабжения или о «системе» приписок к нарядам и о том, чем вызывается это печальное явление, — во всем есть неоспоримое, твердое и точное знание предмета.

Но это все же полдела. Перед нами художественные произведения, и, следовательно, главное в них — люди.

Думается, что «люди стройки» стали даваться писателю нелегко и не сразу. В этом убеждаешься, сравнивая между собой его повести. Более ранняя, «Мои молодые друзья», — это как бы эскиз, набросок, первый «чертеж» повести более поздней и, несомненно, более удачной. И общая производственная ситуация, и основной конфликт, и, главное, характеры людей и их

взаимосвязь в произведении — все обнаруживает здесь черты сходства.

На пути от одной повести к другой герои писателя становятся более объемными, сложными, жизненно-конкретными; усиливается от повести к повести и ощущение той связи, которая реально существует между характером человека и характером той деятельности, которую он избирает.

В самом деле, технические вопросы в их чистом виде безличны. Лишь процесс практического их разрешения связывает их с людьми, включая в себя различные методы руководства, расстановку сил, стиль взаимоотношений, сложившийся в том или ином коллективе, и, наконец, характер людей, принимающих участие в разрешении того или иного «технического вопроса», — от руководителей до рядовых исполнителей...

В повестях Смирнова-Черкезова эта взаимосвязь и взаимозависимость между человеком и его делом вполне ощутима, но первая книга еще не вполне свободна от прямолинейности, схематичности.

То же — и в изображении «темы личной», то есть любви героев. Здесь — как и в жизни — все происходит не вполне случайно, не произвольно и не безразлично к тому, кто кого полюбил, кто кого может полюбить или же, наоборот, возненавидеть.

И когда писатель рассказывает в «Доме холостяков» о Вариню «кружении сердца», мы хорошо понимаем, что именно привлекает ее в Перлове, что нравится ей в Куприянове, что связывает ее с Талызиным и что в конце концов отталкивает ее от него...

И в изображении дела человека, и в изображении его любви писатель стремится к психологической достоверности.

В «Моих молодых друзьях» способностью к самоанализу наделен рассказчик — Ганшин. Правда, здесь это декларировано еще с излишней категоричностью: «Каждый человек иногда оглядывает себя со стороны и оценивает, как посторонний наблюдатель. И если в молодости это снисходительный, порой даже восторженный зритель, то в зрелом возрасте это строгий критик, а в старости беспощадный судья».

В «Доме холостяков» мотив «внутреннего судьи» развивается и углубляется. Оказывается, что судят себя люди по разным законам (и не обязательно в молодости снисходительно, а к старости беспощадно).

Так, умная, скромная и чуткая Вара в молодости достаточно беспощадна к себе. Она слышит себя, когда говорит с другим человеком (свойство достаточно редкое), и при этом пытается представить себе то, о чем думает в это время ее собеседник, какую она ему видится. Чаще всего Варе кажется, что в глазах собеседника она совершенная дура, что в действительности, конечно, совсем не так и свидетельствует прежде всего именно о том, что это не так. Дураку самооценка — в особенности трезвая, критическая — не свойственна вообще...

Внутреннее «я» хорошего человека — это не только его ум, но и его совесть, его мораль. Управляющий стройтрестом Орехов тоже умен, и у него есть свой внутренний собеседник, но, как пишет автор, судил он его «...не по законам морали и поэтому совестью не стал. Даже наоборот. Будучи циником и сладострастником, второй Иван Лукич судил и поносил первого за всякую неиспользованную возможность безнаказанно насладиться, за излишнюю снисходительность к людям, за чрезмерные уступки жене, Наталье Евгеньевне, за неумение подняться выше по служебной лестнице — иными словами, за неспособность первенствовать во всем, брать больше от жизни».

Способность к самооценке, умение верно смотреть на себя со стороны — эти качества, по справедливому убеждению писателя, помогают человеку стать лучше, помогают его самовоспитанию. Писателю дороги люди, подобные Варе или Куприянову, люди совестливые, строгие к себе и, главное, сердечные, душевно тонкие, наделенные даром понимания, любви и сочувствия.

Но есть еще один человеческий тип, который приковывает к себе пусть неоднозначное, но заинтересованное внимание писателя. Это люди типа Одинцова («Мои молодые друзья») и Талызина («Дом холостяков»). И тот и другой — прекрасные инженеры, люди образованные, умные, инициативные, энергичные, честные, с обостренным чувством справедливости и ответственности. И все же что-то настораживает писателя в этом «типичном» характере, что-то заставляет его пристально присматриваться к подобным людям, анализировать причины их непопулярности у товарищей. Беду таких людей писатель видит в излишней прямолинейности и душевной черствости, в недостаточной воспитанности чувств, в нехватке

сердечности (так и тянет обозначить это распространенное душевное заболевание медицинским термином «сердечная недостаточность»).

Всем вот хорош Коля Талызин, и Варю он любит крепко, а ответить ему на это чувство Варя почему-то не может. Не потому ли, что в ту пору Талызину еще казалось, что «сердце всего лишь живой насос в его теле»? Но потом, после смерти Орехова, которого накануне он резко и нетерпимо раскритиковал в своей докладной записке, Талызин чувствует угрызения совести. Этот умный и сильный человек не лишен умения смотреть на себя со стороны и судить себя собственным судом: «Пусть сидит в душе у него эта заноза, решил он, чтобы всегда помнил — работая на благо людей, опасайся, как бы не зашибить кого из них».

Вывод верный и важный. Другой вопрос, правда, — сумеют ли люди типа Одицова и Талызина воспользоваться плодами

самокритики и авторской критики, сделают ли они соответствующие выводы из своих ошибок и заблуждений? Обе повести, исчерпав в себе почти полностью собственно производственные конфликты, оставляют открытыми и «неисчерпанными» конфликты, так сказать, душевные, сердечные. Но автор добр к своим героям. Он любит и понимает человека труда, понимает ту тонкую и сложную связь, которая существует между человеком и его делом, человеком — и его жизненной позицией, человеком — и его любовью. И он верит в то, что воспитание и самовоспитание чувств — вещь возможная и, конечно же, необходимейшая... Только не быстрая, и уж никак не мгновенная, и, конечно же, требующая от каждого человека большого труда и больших сил. Эту оптимистическую уверенность и вселяют в нас, читателей, скромные и честные повести А. Смирнова-Черкезова.

И. ПИТЛЯР.

★

## ДОСТОИНСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Т. Усакина. История, философия, литература (Середина XIX века). Приволжское книжное издательство. Саратов. 1968. 293 стр.

Книга Татьяны Ивановны Усакиной вряд ли окажется достоянием широких кругов наших читателей. Слишком мал тираж этой книги (2000 экз.). Да и вопросы, освещаемые в ней, многим представляются слишком специальными: «О социальных и литературно-теоретических взглядах петрашевцев», «М. Е. Салгыков — критик Прудона», «Памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова», «Статья Герцена «Vergy dangerous!!!» и полемика вокруг «обличительной литературы» в журнальчике 1857—1859 гг.» и т. п. По прочтении же предваряющей книгу краткой аннотации и вообще может сложиться впечатление, что издание это предпринято с той главным образом целью, чтобы достойно почтить память безвременно скончавшегося молодого ученого. Слишком уж завышенными могут показаться оценки, содержащиеся в этой аннотации: «Философ найдет в сборнике оригинальное и свежее по мысли и материалу исследование проблемы личности и общества. Литературовед и критик — исторически верную картину формирования русского реализма... Собранные

в книгу статьи Т. И. Усакиной дадут почувствовать читателю обаяние сильной и самостоятельной мысли талантливого молодого ученого...» Действительно, о здравствующих, да еще притом молодых, у нас так не пишут, пожалуй.

Между тем книга, о которой идет речь, и в самом деле заслуживает очень доброго внимания нашей литературной общественности и в некоторых отношениях весьма поучительна.

Речь пойдет прежде всего о методе и стиле автора, о его исследовательской манере и приемах доказательства.

Откроем книгу.

Первое, что сразу же бросится в глаза каждому читателю (иного, может быть, и отпугнет), — это очевидные и многочисленные знаки исследовательской скрупулезности, академической «взвешенности» автора книги. Книга пестрит ссылками на первоисточники, порой весьма редкие, полузабытые, труднодоступные. Текстологический анализ выполняется с едва ли не демонстративным тщанием. Позиции оппонентов излагаются с почти нарочитой простран-

ностью. История вопроса занимает, кажется, порой автора не менее, нежели изложение собственной точки зрения.

Что это? Неизжитые следы ученической привычки «штудирования» материала? Не «снятое» еще в свободном развитии собственной мысли стремление «превозмочь» трудности освоения предмета? Так может показаться, если учесть те особенности творческой биографии автора, о которых сообщает в предисловии к книге известный литературовед профессор Е. И. Покусаев.

«В 1950 году она,— пишет Покусаев об Усакиной,— поступает на филологический факультет Саратовского университета. И хотя у студентки первого курса преподавателям пришлось принимать экзамены в больничной палате,— надежда и бодрость духа не были поколеблены. Болезнь на время отступила... Университетские студии привили Т. И. Усакиной вкус к изучению первоисточников, документов, конкретных фактов общественно-литературного и журнального быта. Впоследствии все это развилось в зрелые исследовательские навыки, практически закрепилось в текстологических разысканиях, в содержательнейших опытах литературного комментирования. Красноречивое свидетельство этому — реальные, историко-литературные примечания Т. И. Усакиной к десяткам произведений А. И. Герцена и М. Е. Салтыкова-Щедрина, мемуарным материалам двухтомника «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников»...».

Так оно действительно и есть. И вместе с тем исследовательская тщательность, академическая пунктуальность автора имеет осознанно демонстративный, кажется, характер. Т. Усакиной явно претит всякая броскость стиля, стремление ошеломить читателя дерзким поворотом мысли, заморозить его неожиданностью вывода, не поддающегося сиюминутной проверке, парадоксальностью суждений. Автор скромнен. Но эта скромность таит некую полемичность.

«Не только результат исследования,— писал некогда К. Маркс,— но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинным, истинное исследование — это развернутая истина, разведенные звенья которой соединяются в конечном итоге... Или, может быть,— иронизирует К. Маркс,— эти метафизические тонкости излишни?.. А ис-

следование допускается только как лишний, назойливый элемент, который, однако, по *соображениям этикета* не может быть полностью устранен?»<sup>1</sup>

Действительно, полное и безоговорочное неприятие всякого априоризма, всякой пристрастности и заведомой заинтересованности в научном исследовании было всегда в традициях марксистской методологии.

«...Не голые выводы, а, наоборот, *изучение*,— подчеркивал Ф. Энгельс,— вот что нам больше всего нужно: выводы — ничто без того развития, которое к ним привело,— это мы знаем уже со времен Гегеля...»<sup>2</sup>

Как видим, своеобразие исследовательской манеры, о которой у нас шла речь, имеет достаточно глубокое и весьма серьезное обоснование. И упорное настаивание автора на подобной манере обнаруживает принципиальный смысл и методологическую актуальность.

Речь идет об осознании исследователем нравственного значения научной работы и, стало быть, своего научного достоинства.

Известно, сколь остро ныне стоит вопрос об объективности, достоверности всякой информации. И научная информация не может стать в этом случае каким-то исключением. И доказательность, добросовестность в научной работе в этой связи не определяется и не может определяться соображениями этикета — она близка к сфере гражданской этики. Не вдаваясь тут по необходимости в обсуждение более широких проблем, укажем лишь на то, что даже такая, к примеру, «мелочь», как произвольная или просто «недостаточно аргументированная» расстановка знаков препинания при цитировании документов, открывает порой возможность для самых фантастических обобщений любого свойства. Вообще стоит, наверное, задуматься над таким вопросом: есть ли какая-то закономерность в том, что почти всегда наиболее поверхностные, халтурные, недобросовестные, ненаучные работы бывают, как правило, связаны с наиболее ретроградными взглядами? Мы не берем тут в расчет такие частные случаи, когда результат исследования оказы-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 7—8.

<sup>2</sup> Там же, стр. 585.

вается предрешенным неумелостью исследователя или когда азарт превозмогает разумение,— это частные случаи, они возможны всегда и не меняют общей картины. В общем же и целом объективность, добросовестность научного исследования в сфере общественной мысли оказывается не только категорией методической и методологической, но и вопросом гражданской совести ученого. Впрочем, еще К. Маркс писал, что вообще «шарлатанство в науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны» с такой точкой зрения, при которой у авторов «остается лишь один побудительный мотив — их *тщеславие*; подобно всем тщеславным людям, они,— говорит К. Маркс,— заботятся лишь о минутном успехе, о сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, Руссо от всякого, хотя бы только кажущегося компромисса» с реакцией<sup>1</sup>.

Что же касается нравственного значения исследовательской работы, то оно в конечном счете связано с тем, что объективный подход к предмету приводит к приращению правды, находящейся в данную пору в общественном пользовании.

Один пример. В последнее время тридцатые годы прошлого века стали вызывать заметный интерес у ряда наших исследователей. Весьма значительная часть книги Т. Усакиной посвящена судьбам русской культуры в «жестокий век» деспотии николаевского режима. Автор внимателен к деталям тогдашней общественной жизни.

«... В Москве, на сцене Большого Петровского театра, 2 декабря 1835 г. в первый раз шла комедия М. Н. Загоскина «Недовольные».

Эта постановка была встречена взрывом негодования. Постоянные доброжелатели и недавние почитатели Загоскина отшатнулись от него. По цензурным и некоторым другим соображениям истинную причину общего возмущения нельзя было назвать прямо. Мемуары и письма современников, знавших эту причину, были погребены в архивах, и инцидент с «Недовольными» целое столетие оставался неразгаданным.

Только в 1936 году в комментариях к критическим статьям Пушкина промелькнуло

замечание о памфлетном характере «Недовольных» и исторических прототипах комедии (в комментариях Ю. Г. Оксмана к пятому тому Полного собрания сочинений А. С. Пушкина). Однако,— замечает Т. Усакина,— оно не было замечено литературоведами, и один из интереснейших эпизодов в истории общественно-литературной борьбы прошлого столетия оставался неразъясненным...»

И вот открываются пожелтелые страницы старых журналов, неторопливо перелистываются страницы писем и альбомов, внимательно перечитываются мемуары... И постепенно перед читателем возникает бесспорно достоверная картина одной из тех проклятых эпох в жизни русского общества, когда, по словам одного из современников, «мысль преследовалась как дурное намерение и независимое слово — как оскорбление общественной нравственности»,— эпохи, погубившей Пушкина и Лермонтова, сведшей с ума Гоголя, убившей Грибоедова и обоглавившей сумасшедшим Чаадаева. А вместе с тем читатель видит, как и в эту эпоху точил Крот Истории, как, разлагая ее изнутри, вызревали в ней новые силы, как и в такую вот пору шли вперед люди вопреки губительным обстоятельствам общественного бытия.

Да, эпоха Николая I была враждебна культуре и людям культуры. И если даже в такое время страна не оскудела талантами, то надо все-таки представить себе, ценой каких жертв оказалось это возможным. Культура объективна по самой своей сути, в ее основе — познание. И потому культура по самой своей сути враждебна всякому произволу и насилию, враждебна всякому деспотизму, и потому произвол, насилие и деспотизм враждебны культуре, если не обращаться тут к вполне легендарным временам «просвещенных монархий».

Подобное соображение, по-видимому, самоочевидно. Тем не менее не так давно оно было у нас печатно оспорено.

Такую попытку решил сделать В. Кожин<sup>1</sup>, опираясь почему-то на одно «замечательное рассуждение»... Чаадаева, «в котором он (то есть Чаадаев.— А. Л.) еще в 1835 году решает,— по мнению В. Кожина-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М. 1957, т. I, стр. 407.

<sup>1</sup> См. В. Кожин, «К методологии истории русской литературы» («Вопросы литературы», № 5, 1968).

ва,— вопрос о том, совместим ли расцвет культуры с деспотизмом». И решает, согласно В. Кожинovu, положительно. В чем В. Кожинov и выражает с ним полное свое согласие.

При этом, согласно В. Кожинovu, дело у Чаадаева «шло не о судьбах отдельных людей, а о судьбе русской культуры, Чаадаев прекрасно понимал, что именно в его «жестокий век» она достигла мирового величия и значения».

Вот как.

Странно только, почему же этот чудесный «жестокий век» вызывал у того же Чаадаева чувства, столь несхожие с кожиновскими,— восторгаться бы надо было Чаадаеву и прославлять свое время, а он что-то все больше проклинал...

Примечательно, что, согласно В. Кожинovu, «для того чтобы увидеть всю нелепость» выводов тех, кто с В. Кожинovым не согласен, «не нужно погружаться в скрупулезное изучение» предмета... Ну почему же «не погружаться»? Дело ведь стоит того!

Не характерно ли в самом деле, что автор, в иных своих работах ратовавший за исследовательскую серьезность и научную основательность, как раз в данном случае утрачивает всякий вкус к конкретному анализу и «скрупулезному изучению» проблемы?

И вновь мы видим, сколь неразрывно в научной работе характер «выводов» связан с приемами исследования. И сколь разительно разными подчас оказываются при этом «выводы», к которым могут прийти исследователи, исходящие даже из одних и тех же фактов.

В полном соответствии со своей основной мыслью тот же, к примеру, В. Кожинov весьма сурово отзываясь об авторах, которые, «подчиняясь штампу», считают «Мертвые души» Гоголя произведением «суровой сатиры», представшим как «итоговый обвинительный акт». Согласно В. Кожинovu, «творчество Гоголя, в частности его «Мертвые души»,— это не сатира, это искусство, близкое искусству «ренессансного» типа — другой термин здесь подобрать трудно». Даже, говорит В. Кожинov, «в обители Собакевича, в озорстве Ноздрева, в «дремучести» Коробочки и даже в безудержной маниловской мечтательности и в беззаветном, не сходящем самого героя разгуле плюшкинской скупости воплощен тот же, по слову Белинского, «русский дух», та

же вольная бесшабашность и широта, которые в иной, идеализированной форме воплотились в лирических отступлениях о дороге, о песне, о тройке...».

Спор о «Мертвых душах» — старый для русской критики спор. В статье «Белинский и литературно-теоретические принципы петрашевцев» касается его и Т. Усакина. Она подробно излагает позицию тех авторов, которые еще в ту пору хотели видеть в «Мертвых душах» «вывод из вечно прекрасной жизни, которую нельзя не любить, в чем бы она ни проявлялась». Согласно такому взгляду, «никогда еще и не представлял перед нами русский человек в таком выгодном свете, как в «Мертвых душах»...» И затем Т. Усакина подробно и основательно рассказывает о том, какими именно обстоятельствами тогдашней российской действительности были вызваны подобные представления и почему тот же Белинский, придя к мысли, что отнюдь не все из того, что существует в действительности, заслуживает воспевания лишь на том основании, что действительно существует, полагал мнения, подобные приведенным выше, небудительными и ретроградными, а основной смысл «Мертвых душ» видел не в «апофеозе» тогдашней жизни, а в «разложении и отрицании» ее.

В нашей печати уже отмечались отдельные критические выступления, авторы которых ратуя за обновленное понимание «национального начала» в русской культуре, все как-то сбивались на прославление разного сорта «исконности» и «посконности». Выводы, к которым приходит В. Кожинov, во многом одушевлены, похоже, сходными эмоциями.

Т. Усакина, имея дело с теми же фактами, что и В. Кожинov, не руководствовалась стремлением представить их в качестве аргумента для какой-либо публицистической идеи, «актуализировать» их освещение. Но заведомо объективное их освещение «срабатывает» и само по себе — правда всегда пригодится, она может быть добыта впрок.

В этой же связи стоит сказать, что, может быть, одним из самых важных итогов книги Т. Усакиной является как раз мысль, с неизбежностью возникающая у непредубежденного читателя по мере того, как он проникается содержанием книги,— мысль о нераздельности судеб культуры и личной участи ее творцов — тех самых «отдельных

людей», чьими усилиями — что там ни толкуй — и создаются непосредственно все культурные ценности. Ибо не бывает на свете так, чтобы культура «расцветала», а люди культуры гибли бы и пропадали. Подобная идея «безличности культуры» — идея искусственная, бездушная. Настоящая культура, настоящее искусство создаются не загоскиными, которых можно уломать или купить. Подлинная, высокая культура состоит из уникальных произведений, неотделимых от личности их творца, а эта личность неповторима и незаменима, она единственна в своем роде. Иное дело, что творцы культуры бывают подчас вынуждены идти даже на самые тяжкие жертвы во имя того дела, важнее которого для них ничего уже нет на свете.

«Писатель, — говорил К. Маркс, — отнюдь не смотрит на свою работу как на *средство*. Она — *самоцель*; она в такой мере не является средством ни для него, ни для других, что писатель приносит в жертву *ее* существованию, когда это нужно, *свое* личное существование. Подобно религиозному проповеднику, — хотя и в другом смысле, — и он также следует принципу: «повиноваться больше богу, чем людям», — людям, к числу которых относится и он сам со своими человеческими потребностями и желаниями». А вот тот «писатель, который низводит печать до простого материального средства, в наказание за эту внутреннюю несвободу заслуживает внешней несвободы — цензуры»<sup>1</sup>.

Книга Т. Усакиной хороша уже, конечно, тем, что пробуждает подобные мысли и утверждает в них. Это — достойная позиция.

Но ценность книги заключается и в том, что эта позиция отстаивается в ней с достоинством, то есть с полной мерой добросовестности и научной беспристрастности. И в том — нравственное значение ее.

Все сказанное отнюдь не означает, будто я по каким-то причинам стремился здесь представить книгу покойной Т. Усакиной чуть ли не уникальным образцом научной доказательности и исследовательской добросовестности среди работ по истории русской литературы и русской общественной мысли из числа вышедших у нас за последние годы. Нет, конечно. Напротив: как раз в этой области и как раз в последние, в частности, годы у нас появилось немало работ, отмеченных высокой мерой научной объективности и глубиной анализа. И в этом смысле книга Т. Усакиной — не исключение, просто в ней с известной безыскусственностью и молодым задором выразились некоторые типические черты и характерные тенденции, которые могут быть отчетливо прослежены и в работах ряда других авторов. Да и формы научной доказательности могут быть, естественно, совершенно разные.

Дело тут, конечно, не в количестве ссылок на редкие источники — бывает и так, что все это оказывается бутафорией. Однако тот «прием обнажения приема» основанный своей мысли, к которому оказывается столь склонна Т. Усакина, полемически заостряет упомянутые черты и тенденции и придает им выразительность, помогая тем самым увидеть их общую направленность. И это — немало.

Быть может, когда-нибудь книга Т. Усакиной будет переиздана, хотя, конечно, к тому времени накопятся уже новые материалы и обнаружатся новые факты, а дополнить книгу этими материалами и фактами уже некому. И новые факты тогда, быть может, послужат аргументом для утверждения каких-нибудь новых подкупающих идей. А позднее, возможно, — для их опровержения. Но и тогда негромкая работа Т. Усакиной не устареет — она еще послужит аргументом в пользу правды.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. I, стр. 76—77.

А. ЛЕБЕДЕВ.

★

## ПАРАДОКСЫ ПОНЕВОЛЕ

А н. Д р е м о в. Идеал и герой. «Искусство». М. 1969. 200 стр.

«С оветские люди,— пишет Ан. Дремов,— хотя бы видят в художественных произведениях сложный духовный мир, внутренние сомнения и переживания, взлеты и падения, искания и борьбу, но именно настоящих людей, действительных героев, достойных героического слова». И вот Ан. Дремов решил взять на себя нелегкую задачу — выяснить, что же должен представлять собой этот «действительный герой», этот «идеальный образ», этот «пример и образец жизненного поведения».

Разумеется, подобное стремление может вызвать только сочувствие. Весь вопрос в том, как же выполнил автор эту благородную задачу.

Книга Ан. Дремова принадлежит к числу тех литературоведческих трудов, в которые надо вчитываться, которые приходится перечитывать как минимум дважды. Но и после этого впечатление остается крайне смутное. Все кажется, что чего-то ты не ухватил, чего-то «недопонял». И только после тщательной работы над текстом становится ясно, в чем дело.

Первые главы книги заняты в основном обильным цитированием авторитетных и бесспорных высказываний и пересказом разных произведений. Одни произведения пересказываются неодобрительно, например «Семеро в одном доме» В. Семина или «Тишина» Ю. Бондарева, другие, напротив, с полной симпатией. И хотя одна из глав заманчиво называется «Сложность образа нашего современника», но в чем эта сложность заключается, мы так и не узнаем.

Автор пишет: «Возьмем, к примеру, образ Чапаева. Ему свойственны преданность народу, ненависть к угнетателям, мужество, военный талант, простота, тяга к революционной сознательности, удаль, сметка, анархичность, отсутствие образования, любовь к народным песням и т. д. Каждое в отдельности названное качество не есть нечто присущее только Чапаеву. Оно присуще многим». Далее очень обстоятельно рассказано, что эти качества могут где-то встречаться у самых разных людей в разных количествах и сочетаниях. «Все это говорит о нерасторжимой целостности художественного образа, эстетического единства общего (частных качеств) и индивидуального».

Предположим, что автор убедил нас. Но вот что написано спустя несколько абзацев: «Любой отход от целостности личности, попытка расчленить типический характер на его частные качества путем выделения отдельных из них или перечисления «всех» качеств ведет к схематизму, отдаляет от понимания специфики искусства». Но ведь этим самым «перечислением» и «выделением» только что и занимался сам Ан. Дремов!..

Как мы увидим дальше, это не случайно. Наш автор любит опровергать себя.

На странице 93 автор утверждает: «...Неправы были и те, кто противопоставлял боевым партийным книгам книги, может быть, и более яркие по языку, более искусные по композиции и т. д., но содержащие идеологические ошибки, искажение действительности, принижающие образ советского человека». Но уже на странице 97 сказано: «Высота мировоззрения — могучий фактор художественного творчества. От него зависит не только содержание, но и художественная форма произведения — качество изучения жизни, мастерство типизации, нравственно-эстетическая характеристика изображаемых жизненных явлений, а следовательно, и совершенство изобразительных и выразительных средств». И так, с одной стороны — признается существование произведений идеологически неверных, но высокохудожественных. С другой — отмечается прямая зависимость «совершенства изобразительных и выразительных средств» от «высоты мировоззрения».

Прежде чем познакомить нас с героями идеальными, Ан. Дремов выводит ряд героев не только не идеальных, но хуже того — псевдоидеальных. Это — Синцов из романа К. Симонова «Живые и мертвые», Теркин из поэмы Твардовского «Теркин на том свете» и другие. А обвинение им предъявляется такое: Синцов «выступает, в сущности... как рупор идей автора». Теркин — «только схема, только рупор автора...». Таким образом, по Ан. Дремову, верный признак «псевдоидеального» героя то, что он «рупор идей автора».

Но через несколько страниц Ан. Дремов, верный своей методике, предлагает в качестве образцовых идеальных героев персо-

нажей Шиллера. А уж они ли не «рупоры авторских идей»?!

Разделавшись с псевдоидеальными героями, автор начинает исподволь конструировать представление о герое идеальном. «И приподнятость, и эстетическое преувеличение, и возвышенная героика вполне определенно выражены, скажем, в образах Ивана Сусанина или Тараса Бульбы. Но кто наберется отваги называть эти классические образы фальшивыми или нехудожественными?» По напористости интонации совершенно ясно, что Ан. Дремов готов грудью встать на защиту Ивана Сусанина и Тараса Бульбы. Но, право же, в этом нет надобности. Никто не собирается их обижать.

Однако если автор имеет в виду Ивана Сусанина из одноименной «Думы» Рылеева, то полезно напомнить, что А. С. Пушкин, например, весьма скептически относился как раз к художественности героев рылеевских «Дум». А уж в них ли нет приподнятости, преувеличения и героики! Сколько угодно. Так что, очевидно, не в этом дело.

Затем Ан. Дремов начинает рассуждать о различии между «идеализацией правдивой» и «идеализацией ложной». И тут автор запутывается окончательно. А запутавшись, обращается к авторитетам. Но и здесь дело не клеится.

«Если не подходить предвзято, то из известных слов Ф. Энгельса «за идеальным не забывать реалистического, за Шиллером Шекспира» никак не следует, что Энгельс отрицал идеальное в искусстве и идеализацию, свойственную романтическому творчеству Ф. Шиллера. Наоборот, и Энгельс и Маркс видели в Шиллере великого писателя, хотя и отдавали предпочтение шекспировскому художественному методу. Таким образом, стоя за многообразие творчества, они различали идеализацию шиллеровского типа и идеализацию фальшивую, дурную, ведущую к искажению действительности... Примеры «дурной идеализации», рассмотренные ими, приводились раньше». Вся беда в том, что у Ан. Дремова нет возможности привести примеры «хорошей идеализации», рассмотренные Марксом и Энгельсом. В приведенных словах Ан. Дремова справедливо, пожалуй, только то, что Маркс и Энгельс считали Шиллера великим писателем. Но это отнюдь не значит, что они одобрили бы теоретические выводы Ан. Дре-

мова. Ибо с Шиллером дело обстоит гораздо сложнее, чем Дремову кажется. Тех идеальных героев, которых ищет в данном случае Ан. Дремов, у Шиллера вовсе нет. Дремову нужен герой не только без страха, но и без упрека, герой, олицетворяющий собой победоносные идеи эпохи, стопроцентный пример для подражания. А ведь если подумать, самые что ни на есть идеализированные герои Шиллера Карл Моор и маркиз Поза пришли к духовному краху. Шиллер прекрасно видел, что разбой на большой дороге, даже если под него подведена прекрасная этическая база, не есть магистральный путь развития человечества. Не менее ясно видел он и то, как отнюдь не идеальная действительность, войдя в противоречие с идеальными устремлениями Позы, навязала ему весьма сомнительные методы действия. Ни Карл Моор, ни Поза для Шиллера — не эталоны нравственно-исторического действия, хотя это его любимые герои.

Главной чертой теоретического мышления Ан. Дремова является его внеисторичность. Где бы он ни увидел слова: «идеальный», «идеализация», «идеал», — он тотчас берет их и включает в свое сочинение, не задумываясь над тем, какой смысл вкладывали в эти термины те или иные мыслители, какое реальное наполнение получали они в ту или иную эпоху. Он стремителен и напорист в своем антиисторизме: «Рафаэль и Микеланджело, Корнель и Шекспир, Гюго и Шиллер, Байрон и Пушкин, Глинка и Чайковский, Лермонтов и Гоголь, Суриков и Васнецов создали грандиозную галерею идеальных героев... Слово из бронзы отлиты фигуры Вадима Новгородского, Ивана Сусанина, Наливайко. У Пушкина — яркие образы героев южных поэм. Далее, страстно рвущийся на волю юноша Мцыри и как бы в противовес ему величавый, но отрицающий все, уносящий красоту и чистоту человеческую от грешной земли в надзвездные края Демон. Среди героев романтического плана возвышается фигура могучего, добродушного великана духа — Тараса Бульбы». В идеальные герои попали и Чацкий, и Елена Стахова из «Накануне» Тургенева, и Ольга Ильинская из «Обломова»... Для Ан. Дремова все едино — все идеальные. И Демон — идеальный, и Алеко — идеальный. И у Рафаэля — идеальные, и у Васнецова — идеальные.

А вот Рембрандта наш автор не удостоил включить в свою галерею. У него, оче-

видно, нет идеальных. Между тем Маркс и Энгельс, на которых пытался, как мы видели, опереться Ан. Дремов, писали: «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения,—будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц,—были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Как видим, основоположники марксизма, безусловно понимая все величие Рафаэля, от современной им литературы требовали все-таки «суровых рембрандтовских красок», «правдивости изображения», а не «восторженного преображения» в духе Рафаэля. Все хорошо в свое время.

Ан. Дремов подменяет понятием «идеализация» понятие «романтизация», идеальный герой у него оказывается тождественным герою романтическому. И с этим методом наш автор подходит к Белинскому.

Остановимся на частном вопросе, дающем, однако, полное представление о методологии Ан. Дремова. По утверждению Дремова, Белинский, «давая высокую оценку образу Тараса Бульбы, отразившему национальный характер целого народа, вместе с тем считал его образом идеальным». Почему-то Ан. Дремов, обычно столь щедрый на цитаты, в данном случае не подкрепляет это положение цитатой из Белинского. Недоумение рассеивается, если мы обратимся к первоисточнику. Белинский действительно произнес слово «идеал» применительно к повести «Тарас Бульба». «Тарас Бульба»,— пишет Белинский,— есть отрывок, эпизод, из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..» Как видим, слово «идеал» относится к типу, жанру произведения, а вовсе не к герою. И дальше Белинский говорит о «кровавой мести Бульбы», героической гибели старого фанатика (подчеркнуто мною.—*Я. Г.*). В той же статье он пишет: «Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишаящего мать детей, убивающего собственную рукою

родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей...» Белинский восторгался мощью кисти Гоголя, «красками яркими и ослепительными», самой фигурой Тараса, который был необычайно величествен и колоритен в соответствующей исторической ситуации. Но нигде мы не находим слов, показывающих, что гуманист Белинский считал безусловным моральным эталоном образ запорожца, нравственный мир которого достаточно сложен, неоднозначен.

В отличие от Ан. Дремова Белинский обладал историческим мышлением. Он говорил о Тарасе Бульбе в более поздней статье, что это «...представитель... целого политического общества в известную эпоху жизни». Но ведь мы-то живем в иную эпоху.

Кстати, в вопросе об идеальности Тараса Бульбы мы снова сталкиваемся с невольным самоопровержением автора. На странице 110 Ан. Дремов объявляет Бульбу «идеальным», а на странице 111 пишет: «Только писатель, обладающий передовым мировоззрением, особенно глубоким и верным пониманием интересов народа... может разглядеть в жизни элементы... будущего, черты истинного идеала, а увидев, и показать в произведении». Но ведь, как известно, мировоззрение Гоголя не было особенно передовым. Что же получается? Опять парадокс? Не много ли на одну книгу? (В этом отношении вызывает сомнение и мировоззрение, скажем, Корнеля, тоже, по мнению Дремова, создававшего идеальных героев.)

Если верить Ан. Дремову, то каждый герой «идеальной поэзии» в понимании Белинского и есть тот самый «идеальный герой», существование которого так старается утвердить наш автор. «Идеальный герой» как результат некоей литературной «идеализации». Ан. Дремов пишет: «Произведениями идеальной поэзии для Белинского также были «Фауст» Гёте, «Манфред» Байрона, «Дядьки» Мицкевича. Таким образом, Белинский вовсе не считал, что идеальная поэзия, идеализация как некий второсортный способ художественного обобщения отжила свой век». В этой короткой цитате содержатся две неточности. Во-первых, рядом с «идеальной поэзией» в понимании Белинского Дремов вставляет «идеализацию» в своем понимании, и таким образом создается видимость полного единения. Во-вторых, приводя образцы

«идеальной поэзии» из предложенного Белинским ряда, Дремов тщательно отбирает те произведения, герои которых хоть как-то могут идти в «идеальные», опять-таки по Дремову. Но у Белинского сказано так: «Эта новейшая идеальная поэзия ведет свое начало от древней, ибо у нее заняла благородство, величие и поэтический, возвышенный язык, столь противоположный обыкновенному, разговорному, и уклончивость от всего мелочного и житейского. Чтобы не говорить много, скажу, что к созданиям такого рода принадлежат, например: «Фауст» Гёте, «Манфред» Байрона, «Дядь» Мицкевича, «Лалла-Рук» Томаса Мура, «Фантастические видения» Жан Поля, подражания Гёте и Шиллера древним...» Вот что имел в виду Белинский, когда говорил о «идеальной поэзии». И вряд ли любимые «идеальные герои» Дремова — Дмитрий Ершов («Братья Ершовы» В. Кочетова) или Родион Гуляев («Елки-моталки» В. Чивилихина) уютно чувствуют себя в одном ряду с мистическими видениями «Лалла-Рук» или «Фантастическими видениями» Жан Поля.

Когда штудируешь произведение Ан. Дремова, то кажется, что искусно сплетаемой им путанице конца не будет. И, однако, на самых последних страницах мы вдруг натываемся на совершенно ясно выраженную мысль: «Образ романтического героя — это интенсивное выражение отрицания нежелательного или страстное утверждение идеала. Эмоциональная сила, агитационный накал образа романтического героя очень велики. Он прямо берет нас за сердце. В этом его особенность по сравнению с образами реалистического плана. Таковы Манфред и Мцыри, Карл Моор и кавказский пленник, образы героев парижских

баррикад, созданные Гюго, Тарас Бульба, Данко, герои кинофильмов Довженко и романов Стельмаха».

Оставляя в стороне таинственный вопрос об «агитационном накале образа» кавказского пленника, можно сказать только, что мысль эта — мысль о превосходстве романтизма над реализмом — ненаучна, хотя и знакома. Мы встречались с ней, например, когда-то в книге В. Архипова о Лермонтове. Автор доказывал, что Пушкин из-за своего ползучего реализма стал приспособленцем, а Лермонтов именно благодаря романтизму пришел к революционному мировоззрению. Спорить с этим, мне кажется, нет смысла.

И напоследок мне хочется привести образец аргументов, которыми пользуется Ан. Дремов. «Когда говорят, что нашей литературе не нужен герой — властитель дум советских людей, то в этом, в сущности, выражается неверие в героический характер нашей эпохи, в возможность героизма в нашей жизни». Вряд ли кто-нибудь действительно утверждает, что нам не нужен властитель дум. Очевидно, спор идет о том, каков он может быть, этот властитель. Но в любом случае, судя по характеру аргументации, спорить с Ан. Дремовым небезопасно. Поэтому я хочу наперед оговориться, что сомнений в нужности властителя дум у меня нет. Более того, я даже верю в возможность создания идеального героя. Но я совершенно не верю в то, что эти положения надо доказывать столь неквалифицированно. Подобный теоретический и литературный уровень способен скомпрометировать любую, самую идеальную проблему.

Я. ГОРДИН.

Ленинград.

★

## НАШ СОВРЕМЕННОК РОБЕРТ ФРОСТ

Роберт Фрост. Избранная лирика. Перевод с английского. «Молодая гвардия». М. 1968. 48 стр.

Роберт Фрост, крупнейший поэт Америки, значительную часть жизни был фермером и сажал картошку — не оттого, что жаждал опрощения, просто надо было кормить семью. Он не стремился к шумному признанию и долгие годы не имел его. Он

стал все-таки на склоне лет живым классиком Америки, но принял запоздалый успех спокойно и не без юмора...

Желая выделить человека из стандартизированной среды, сказать о его несуетности, об отрешенности от погони за успехом и то-

му подобном, мы часто говорим с неуверенной похвалой: какой-то он несовременный. Роберт Фрост, всю жизнь проявлявший неуступчивость к модным, «современным» искушениям, как раз такой.

И «несовременность» его была, пожалуй, наиболее мудрым и проницательным ощущением современности.

О двадцатом веке любят говорить как о веке технических открытий, в том числе и тех, что угрожают человечеству уничтожением, о веке, подвергшем сомнению многие человеческие ценности и стремящемся к девальвации «простых вещей». Конечно, все это так, но даже на родине Фроста, где как раз и зародился машинный экстремизм, этот век стал — закономерно и логично — также веком, ощутившим тоску по этим самым «простым вещам», по человечности, по устойчивой шкале нравственных ценностей.

Фрост — один из тех, кто устоял перед массовыми психозами, не потерял ощущения истинных мер. Воспевал всеобщие и всепонятные вещи — доверие, а не разобщенность, любовь, а не секс, веру, а не фанатизм. Утверждая человеческую норму, он, как мог, восстанавливал рвущиеся связи.

Искусство Запада занято проблемой одиночества человека на миру; социологи беспокойно подсчитывают минуты, проводимые людьми наедине с себе подобными, и замечают, что собеседника заменяют телевизор и газеты, односторонние источники информации.

Быть может, одна из причин этого то, что люди разучиваются находиться наедине с собой, размышлять о себе, трезво оценивать себя. Это не парадокс. Не может быть собеседником тот, кто избегает себя самого. А телевизор и газета не требуют от человека того, что требует человек: мнений, самостоятельности, индивидуальности.

Неторопливый, сосредоточенный Фрост был врагом человеческой разобщенности не потому, что спешил высказаться на модную тему некоммуникабельности.

Чтобы найти путь к миру, надо найти путь к себе. Уединение — не то, что отъединение. Уединение — первый шаг к общению.

Роберт Фрост заставляет читателя пребывать наедине с самим собой и с собственными мыслями, ибо стихам его свойственна та мудрая неизощренность, та простота выношенных суждений, которая, будучи плодом долгих размышлений поэта, в то же время внушает читателю уверенность, что

и он думал и думает так же, — просто поэт угадал его мысли.

Фрост возвращает человека к себе самому, к изначальности, к «простым вещам», чтобы пробудить в нем чувство гражданской ответственности за все в мире.

Он живет не во вселенной, а в американской провинции. Он — сельский житель, которому стоит лишь бросить взгляд на поленницу, чтобы понять: это — клен, «нарубленный, расколотый и ровный — четыре на четыре и на восемь»; у него есть адрес на земле и есть занятие для рук. Потому его слова от имени человечества — это слова от имени человека конкретного, живого, реального.

Вот поэт-фермер видит, как ливень сносит с нагорья его землю — «немного поближе к морю».

Но жаловаться не надо:  
Когда, поглотив всю влагу,  
Остатки бывшего сада  
К зыбям стекнут по оврагу,

Тогда по-иному просторы  
Поделят вода с землею —  
Провалятся в бездну горы  
И вздыбится дно морское.

Я этим дном завладею  
И место найду получше,  
И сызнава все затею  
На новой сохнувшей суше.

Как видим, к финалу стихотворения поэт мыслит уже глобальными, почти уитменовскими символами: Земля, Море, Человек. Но этот человек, лицо человечества, остался все тем же, не по-уитменовски реальным терпеливым крестьянином, а новая земля, словно заимствованная из Библии, — его участком, на котором он делает привычное, вечное дело.

Это постоянное ощущение себя трудовым человеком, чьи руки не отвыкают от простых ремесел («Мои любимые занятия, — сказал восьмидесятивосьмилетний Фрост, — косить, рубить дрова и писать пером»), имеет не просто биографический смысл, но нравственный.

Фрост рассказал о провинциале Брэде Мак-Лафлине, который,

...разорившись до конца,  
Спалил свой дом и, получив страховку,  
Всю сумму заплатил за телескоп:  
Он с самых детских лет мечтал побольше  
Узнать о нашем месте во вселенной.

Соседи, сперва осудившие и незаконность поступка (сжег дом!), и странные чудачества, затем пришли к решению: лучше прощать, чем карать, лучше понять, чем высмеять.

Трудовое народное бытие, непосредственно связанное с основами жизни, тяготеет к гармоничности и душевной широте. Потому и было признано — хоть не сразу — право чудака печься «не о злаках, но о звездах».

Но далеко не всякая черта традиционного крестьянского сознания приемлема для поэта.

«Сосед хорош, когда забор хороший», — упрямо твердит герой другого стихотворения, фермер, отстаивающий необходимость взаимного недоверия. Эта поговорка дика Фросту, сторонник ее кажется ему пещерным человеком: «И в сумрак двинулся, и мне казалось — мрак исходил не только от теней. Пословицы отцов он не нарушит...»

То, что изречение это — «пословица отцов», не смущает Фроста.

Он вообще не рисует в стихах пейзажной идиллии; даже в стихотворении о телескопе, где восславлена мудрая терпимость, герои — не ангелы. Самому рассказчику, одному из соседей Брэда Мак-Лафлина, человеку душевно тонкому, телескоп кажется сперва зловредной трубой, да и, уже примиряясь с поступком Брэда, рассказчик замечает: «в младенца столь нелепо обратиться...»

Это чрезвычайно характерно.

Люди, требующие идеализации крестьянина, замалчивания его исторически сложившейся противоречивости, обычно далеки от народа, от нужд его. Сама их любовь — не любовь, а тщеславие, как говорил о русских славянофилах Герцен.

Истинная любовь, истинная близость, истинная забота исключают лесть.

Пристрастно-критическое отношение Фроста к бытию его героев помогает поэту отделять мудрость от житейского благоразумия, договаривать недосказанное народной памятью. И она же, равнодушная эта критичность, дает ему возможность ощущать осознанные им нравственные законы не отвлеченно, а очень лично — как то, что непосредственно руководит движениями души.

В стихотворении «Двое бродяг в распутицу» мы застаем поэта все за тем же любимым делом — за колкой дров: «Я выхода силам давно не давал, и вот, позволив душе

досуг, не общему благу их посвящал, а трагил на самый обычный бук». Бродяги, ищущие работы, так и поняли, что то, что для них насущный труд — лишь отдых для зажиточного хозяина. И даже сочли, что я «не имею права играть с тем, чем они добывают на хлеб».

Сам хозяин, поэт Роберт Фрост, колеблется:

Двое бродяг из соседних лесов —  
Такие ночуют, где бог велит.  
Пришли и считают: вся колна дров  
Им по закону принадлежит.  
Два лесоруба и лесовина  
Меня измеряют своим трудом  
И видят, напали не на дурака:  
Я знал, как орудовать топором.

И колеблясь («По мне подобный ход рассуждений нелеп»), самолюбиво радуясь, что своим искусством дровосека он может постоять за себя перед молчаливыми притязаниями бродяг, поэт все же признает: «Я видел: право на их стороне».

Осознание несправедливости общественного устройства, когда работы и той не хватает на всех, проявляется у Фроста как чувство вины. Личной. Словно это именно он мог что-то сделать для торжества добра, для того, чтобы «труд стал игрой для спасенья людей». Да вот не сумел.

Эта совесть — проявление непревзойденной связи с трудовыми людьми, независимо от того, что сам поэт теперь состоятелен, во всяком случае настолько, что благополучие его семьи зависит уже не от топора и пилы.

Это та ответственность за людские беды и за несовершенство общества, которой учит Роберт Фрост своих читателей.

Однажды он сказал: мне стыдно называть себя поэтом. Ведь это все равно что сказать: я — хороший человек.

Чтобы произнести эти слова, нужно ощущать задолженность перед миром. Для этого и в самом деле надо быть хорошим человеком.

Главная похвала, которую следует высказать русским переводчикам этого маленького сборника, — то, что они уловили обаяние естественной души Фроста.

Стихи удачно выбраны и — почти все — хорошо переведены. Основной и лучший переводчик книги — А. Сергеев; его работу я и демонстрировал, ибо лишь одно стихотворение из цитированных мною переведено не

им, а М. Зенкевичем («Сосед хорош, когда забор хороший»).

Нельзя сказать, чтобы не к чему было придраться: например, в стихах, переведенных тем же А. Сергеевым, рядом с превосходно переданными словами о наколотых и забытых в лесу дровах, которые согреваю топь «бездымным догоранием распада», диссонансом звучит наш газетный жаргон: «Что только гот, кто вечно видит в жизни все новые и новые задачи...» Даже если это дословный перевод, следовало учесть стилистическую функцию шаблона.

Но уже то, что такие строки бросаются в глаза, хорошо.

Корней Чуковский рассказывал, как читал молодому Маяковскому свои переводы из Уитмена. Тот, сдержанно их одобряв, заметил, что Чуковский неточен: строка Уитмена «Я не прижмусь моей плотью к земле...» в подлиннике, вероятно, звучит: «Я не прижмусь моим мясом...»

Чуковский был поражен догадкой не знающего по-английски Маяковского. Однако дело тут не только в чуткости слушателя, но и в общей точности переводчика. Чуковский сам дал Маяковскому возможность угадать ошибку своего перевода.

Общей точности переводов из Фроста ве-ришь. Переводчики дали нам почувствовать

свободу его манеры, обаяние простых слов, заново обнажающих свою первозаданную свежесть.

В одном из стихотворений Фрост прибегает к банальнейшему сравнению любви с розой. Притом стихи и начинаются с размышления о затертости метафоры: «Роза есть роза и всегда была розой, но над розой угроза — поэзия с прозой...» Казалось бы, это должно толкнуть поэта на поиски неслыханных словосочетаний. Но он возвращается к первоначальности: «Ты, любовь моя, роза, только это не поза, ты действительно роза».

В известной формуле Гергруды Стайн «Роза, это роза, это роза» была бес- сильная попытка выйти из плена банальности путем гипертрофии банальности. Вера Фроста в то, что старое сравнение оживет и наполнится смыслом, соприкоснувшись с его любовью,— эта упрямая и наивная вера сообщает бесхитропному стихотворению обаяние.

И это еще одно искреннее душевное движение, выдающее хорошего человека, который верит в незыблемость прекрасной человечности,— хорошего человека со всей его вечно современной «несовременностью».

Ст. РАССАДИН.



### Политика и наука

## УПРАВЛЕНИЕ, ХОЗРАСЧЕТ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Б. В. Ракитский. *Формы хозяйственного руководства предприятиями.* «Наука». М. 1968. 196 стр.

Исторический опыт убедительно доказы- вает первостепенную важность существо- вания специальной отрасли знания — нау- ки управления хозяйством. Сейчас, после длительного перерыва, такая наука начина- ет складываться, и потому выпуск в свет каждого серьезного исследования весьма важен. Книга Б. В. Ракитского принадлежит к числу именно таких исследований.

В условиях экономической реформы про- блема совершенствования организации управления особенно актуальна.

«С расширением хозяйственной самостоя- тельности предприятий,— пишет автор,— прежние методы руководства ими со сторо-

ны министерств и главков становятся со- вершенно непригодными. Здесь мы имеем дело с отчетливой альтернативой: либо курс на расширение самостоятельности — и тогда надо менять стиль руководства сверху, либо сохранение прежнего стиля руководства — и тогда все сводится к формальному подхо- ду ко всей программе экономической рефор- мы». Книга свидетельствует о том, что сам автор — сторонник углубления, дальнейше- го последовательного осуществления прин- ципов новой хозяйственной системы. И за- кономерен полемический тон многих ее стра- ниц. Вель в ходе реформы «все более от- чегливым становится размежевание между

поборниками серьезных, последовательных перемен в механизме функционирования нашего хозяйства и сторонниками чисто внешних, частичных изменений, не затрагивающих по существу дореформенной системы хозяйственного руководства. Последние, как правило, только на словах выступают за реформу». Способствовать реализации принципов новой системы в сфере управления народным хозяйством — такова цель, поставленная перед собой автором.

Книга посвящена широкому кругу вопросов. Однако все они рассматриваются под углом зрения одной основной идеи: для того, чтобы улучшить организацию хозяйственного руководства, нужно прежде всего на деле обеспечить оптимальное для современных условий сочетание централизованного планирования и управления с хозяйственной самостоятельностью производственных единиц. При кажущейся традиционности такой постановки вопроса, ее на самом деле отличает важная особенность: центр тяжести здесь перенесен на разработку действенного экономического механизма, позволяющего сочетать оба эти начала.

В самом деле, строгие напоминания о необходимости соблюдать принцип демократического централизма давно являются почти обязательным атрибутом монографий и статей об управлении. Известны случаи, когда к ссылкам на этот принцип прибегали для обоснования самых различных, порой прямо противоположных положений. Однако далеко не всегда за этим следует глубокий анализ действительного положения вещей, а главное — экономически обоснованные рекомендации, как на деле реализовать указанный принцип. В книге же Б. В. Ракитского читатель найдет и то и другое.

Прежде всего автор задается вопросом: каково то первичное хозрасчетное звено, которое может и должно быть объектом централизованного руководства и вместе с тем субъектом хозяйственной самостоятельности? Сегодня таким звеном считается любое отдельное предприятие. Но в состоянии ли предприятия, особенно небольшие, сами, своими силами и средствами выполнять существенные экономические функции — технического прогресса, изучения и прогнозирования спроса, установления рациональной системы хозяйственных связей по снабжению и сбыту и др.? Далее. Подлинная хозяйственная самостоятельность возможна лишь

при условии полного хозрасчета. Но может ли отдельное предприятие быть полностью хозрасчетным звеном, то есть возмещать за счет собственных доходов все затраты, в том числе затраты по расширенному воспроизводству? Автор отвечает на эти вопросы отрицательно и делает вывод о том, что полностью хозрасчетной ячейкой хозяйства может быть, как правило, лишь более крупная единица, чем предприятие. Такой ячейкой должно стать производственное объединение. Именно оно сможет в полной мере реализовать все преимущества, связанные с хозяйственной самостоятельностью, и именно его права могут и должны быть значительно расширены. Отсюда — задача широкого создания промышленных объединений<sup>1</sup>, по отношению к которым предприятия сохранили бы значение производственно-технических звеньев, работающих в тех или иных хозрасчетных рамках.

Эти соображения заслуживают серьезного внимания, особенно если учесть, что около трех четвертей предприятий нашей промышленности — небольшие, насчитывающие до шестисот работников. При таких условиях реальное использование хозяйственной самостоятельности для большинства из них практически недостижимо. Но оно вполне достижимо для производственных объединений. Для них возможно и значительное расширение рамок хозрасчета вплоть до обеспечения полной самоокупаемости и самофинансирования.

Преимущества объединений показаны в книге на примере знаменитого приборостро-

<sup>1</sup> Примечателен тот размах, с которым объединения создаются в промышленности социалистических стран. Так, в ГДР образованы мощные отраслевые и межотраслевые объединения народных предприятий, в состав которых входят заводы, выпускающие свыше 73 процентов всей промышленной продукции. В Болгарии 70 крупных объединений охватывают предприятия почти всех отраслей, производя свыше 40 процентов продукции болгарской промышленности. В Польше создано 156 объединений, выпускающих более половины промышленных изделий. Объединения, образуемые в промышленности этих стран, представляют собой в основном крупные хозрасчетные организации, включающие в среднем по 20—25 предприятий с общей численностью персонала в 15—30 тысяч человек. Следует отметить, что в экономической литературе социалистических стран объединения рассматриваются в качестве основного звена народного хозяйства.

тельного объединения «Сигма» (Литовская ССР) — пионера в деле организации современных хозрасчетных комплексов. Здесь сумели достичь значительных производственных успехов, ключ к которым — консолидация деятельности заводов на основе их специализации и кооперирования, а также концентрация части их финансовых средств. Образование централизованных фондов позволило объединению создать заводам стабильные условия работы, наладить действенное материальное стимулирование, в частности повысить заинтересованность коллективов во внедрении и освоении новой техники.

Однако автор справедливо отмечает, что на «Сигме», равно как и в других объединениях, возможности этой формы организации используются далеко не полностью. Видимо, создание промышленных объединений — только начало дела. Теперь задача состоит в том, чтобы совершенствовать их хозяйственную организацию, предоставить большую самостоятельность и расширить права. В решении этих важных задач слово за министерствами. Однако, как правильно отмечается в книге, министерства нередко «сопротивляются процессу объединения, задерживают накопление хозрасчетного опыта, препятствуют эволюции имеющихся объединений и фирм в полностью хозрасчетные».

Как же повысить эффективность работы министерств и других органов хозяйственного руководства, как преодолеть элементы незаинтересованности и безответственности в их работе, как сделать невозможными нередкие до сих пор случаи пренебрежения к интересам предприятий и нарушения их прав? Отвечая на эти вопросы, автор выступает активным сторонником концепции соединения управления и хозяйственного расчета. Речь идет о создании тесной связи между управленческим аппаратом и производством, при которой этот аппарат перестает быть обособленной административной надстройкой над предприятиями. В распоряжении аппарата сосредоточиваются централизованные фонды экономического стимулирования, образуемые за счет отчислений предприятий. Эти фонды используются для оказания реальной помощи предприятиям, создания дополнительной заинтересованности их коллективов, обеспечения экономической защиты их хозрасчетных интересов. Кроме того, вводятся материальное поощре-

ние и материальная же ответственность управленческого аппарата в зависимости от эффективности руководства, проявляющегося в результатах работы подчиненных предприятий. О плодотворности поисков в этом направлении свидетельствует первый опыт работы объединений, главков и министерств, где указанная идея начинает реализовываться (объединение Волгомебельдревпром, главки Министерства приборостроения СССР, Министерство местной промышленности Латвийской ССР и др.). Отмечаемые здесь положительные перемены — результат прежде всего значительного расширения арсенала средств, которые находятся в распоряжении аппарата. К сожалению, в представлениях автора о механизме деятельности управленческих органов нового типа далеко не все бесспорно.

Одно из наиболее важных условий подлинного демократического централизма — привлечение трудящихся к участию в управлении. Рассматривая этот вопрос, автор указывает на некоторую непоследовательность, известного рода логическую неувязку в работах экономистов о демократическом централизме. При абстрактном рассмотрении общей характеристики демократического централизма отмечается, что «развитие инициативы и активности широчайших трудящихся масс... создает возможность управлять экономическим и общественным развитием на началах демократического централизма». «Однако более конкретный вопрос — об участии масс в управлении предприятием и о роли руководителя-единоначальника — трактуется иначе. Оказывается, что единоначальник должен нести полную ответственность за предприятие, принимать окончательные решения по делам предприятия и т. д. Участие масс в управлении предприятием заключается в том, что они обсуждают некоторые вопросы, касающиеся работы предприятия, принимают решения, которые носят совещательный характер, контролируют соблюдение советских законов и распоряжений администрации и т. д. Другими словами, участие масс в управлении заключается в основном в разработке необязательных для администрации, а лишь совещательных рекомендаций и в участии в органах общественного народного контроля». Между тем, замечает Б. В. Ракитский, «принципы демократического централизма допускают более широкое и более эффективное участие масс в

управлении предприятием, чем это описывается в нашей литературе». Трудно не согласиться с этим.

Развитие форм участия общественности в управлении рассматривается Б. В. Ракитским в качестве составной части экономической реформы. Если в обстановке формального хозрасчета предприятий участие масс в хозяйственном самоуправлении характеризуется совещательными функциями и очень слабой экономической заинтересованностью, то в условиях новой системы положение меняется: усиливается коллективная материальная заинтересованность, устанавливается прямая и осязаемая зависимость между результатами хозяйственной деятельности предприятия и уровнем личного потребления его работников. «Посредством заинтересованности,— пишет Б. В. Ракитский,— мы подводим не единицы работников и даже не всю их активную часть, но массы к сознательному отношению к делам предприятия. А это существенный сдвиг. Если масса заинтересована, она способна действовать. Массы, заинтересованные в делах предприятия, потребуют новых, более действенных, нежели существующие, форм своего участия в управлении делами предприятий».

Предвидя, что в ближайшие годы проблема хозяйственного самоуправления потребует своего решения, автор предпринимает попытку наметить некоторые пути его дальнейшего развития. Один из таких путей, как считает Б. В. Ракитский (стр. 188—190),— передача общественным органам решения ряда важнейших, принципиальных вопросов деятельности предприятия при сохранении оперативного руководства за единоначальником. Это предложение обосновывается тем, что в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий решение таких вопросов становится неизмеримо более сложным, чем до реформы. Теперь «для этого потребуются прежде всего творческие организаторские способности и большой кругозор, тогда как до реформы на первое место выдвигались исполнительность, умение ладить с вышестоящими инстанциями и убеждать начальство».

Усложнение хозяйственной деятельности рождает потребность расширить коллегиальность в управлении. По мнению автора, коллективные органы предприятий, советы директоров объединений, коллеги министров следует наделить правом принимать

решения по принципиальным вопросам. Небезынтересен приводимый автором опыт организации крупных капиталистических фирм, где функции принципиального (неоперативного) руководства изъяты из компетенции единоначальника и возложены на коллегиальные органы-комитеты. В специальной литературе уже отмечалось, что «дело тут не только в ограниченных возможностях одного человека, но и в необходимости свести к минимуму губительные последствия произвола единоличного руководства».

Постановка в книге этих вопросов заслуживает одобрения. Однако представляется, что проблема развития демократических форм хозяйственного руководства исследована недостаточно.

Несколько слов о методе, применяемом автором при рассмотрении предмета. В научных изданиях не так уж редко случается встретить одностороннюю приверженность авторов к некоей избранной концепции, утверждаемой порой вопреки требованиям научной объективности. Увлечение любованной схемой побуждает красочно рисовать ее достоинства, забывая при этом упомянуть о теневых сторонах и трудностях осуществления. Книга Б. В. Ракитского свободна от подобного доктринерства. Ее автор исходит из реальной действительности, учитывает сложность хозяйственной жизни. Приведем лишь один, но характерный пример. Как указывалось, автор— сторонник широкого создания производственных объединений. Тем не менее он считает нужным предупредить против включения в состав фирм или трестов непременно всех предприятий, а также против излишнего администрирования в этом деле: «...пока нет опыта самостоятельной хозрасчетной работы и не выявились конкретные для каждого предприятия потребности в объединении, существует опасность чисто умозрительного, экономически необоснованного включения предприятия в то или иное объединение. Ущерб от такого искусственного объединения может быть больше, чем временные трудности необъединенного самостоятельного предприятия». И еще: «Сугубо административный путь строительства объединений крайне опасен, ибо он может оттолкнуть от прогрессивного дела творчески мыслящих хозяйственников и привести к шаблону в построении объединений». Нужные, полезные предостережения.

К недостаткам книги следует отнести слишком большое число поднятых в ней вопросов. Некоторые из них рассмотрены излишне сжато и общо. Но ей присущи важные достоинства: свежесть мысли, творческий и современный подход к проблеме.

И еще одно: книга выгодно отличается от многих экономических работ простым, ясным языком и живым стилем изложения. Все это дает ей право на широкую читательскую аудиторию.

Ю. СУБОЦКИЙ.

★

## СОЦИОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАДРЫ

Л. С. Бляхман, Б. Г. Сочилин, О. И. Шкаратан. Подбор и расстановка кадров на предприятии. «Экономика». М. 1968. 190 стр.

Наименование у этой книги какое-то узко утилитарное. Читатель литературного журнала, перебирая выложенные на книжный прилавок издания, скорее всего отложит ее, заподозрив, что тут собраны инструкции и ведомственные рекомендации отделам кадров промышленных предприятий.

И сделает ошибку! Рецензируемая книга — в полном смысле слова научный труд, написанный ленинградскими социологами, уже зарекомендовавшими себя глубокими исследованиями о рабочем классе. На этот раз они взялись за освещение в равной мере и теоретической, и сугубо практической проблемы подбора и расстановки кадров на предприятиях с позиций научной организации производства и в условиях создаваемых экономической реформой. Авторы справедливо рассматривают завод не только как производственный, но и как социальный организм, социальную ячейку большой системы, которую образует советское общество.

Мало того, читателю предложены не умозрительные выводы, проиллюстрированные кое-какими появлявшимися уже в печати цифрами, а плод ряда конкретных социологических исследований, осуществленных на ленинградских машиностроительных заводах по продуманному плану. Последнее из них по времени относится к 1965—1968 годам.

Рецензируемое исследование охватывает большой круг живых проблем современности. Вероятно, я не сделаю ошибки, если для начала извлеку из него следующий практический вывод, тесно связанный с задачами экономической реформы.

Народное хозяйство при взятом темпе развития испытывает во множестве районов недостаток рабочих рук. Но в то же время, как это ни парадоксально, директора предприятий и экономисты констатируют переизбыток работников многих специальностей, не исключая и инженеров, на своих

предприятиях. «По предварительным расчетам,— пишут Л. С. Бляхман, Б. Г. Сочилин и О. И. Шкаратан,— на машиностроительных заводах Ленинграда высвобождение персонала может достигать 10% состава работающих, а в научно-исследовательских институтах — даже 15—20%. Фактическое высвобождение рабочей силы до сих пор было намного ниже расчетного». Помимо ряда других причин, решающую роль тут играет то обстоятельство, что ни сама администрация, ни тем более работники, остающиеся в меньшем числе, не получают от этого никакой реальной выгоды, ибо не могут не только распоряжаться высвободившимся фондом заработной платы, но даже претендовать на надбавку за счет образовавшегося резерва.

Проблема эта, само собой, отнюдь не ленинградская. Известно, что на Щекинском химическом комбинате проводится экономический эксперимент, по условиям которого директор комбината получил возможность свободно распоряжаться освобождающимся фондом зарплаты. И вот какого он добился результата (по сообщению «Правды» от 3 апреля 1969 года): за два года эксперимента численность работающих на комбинате сократилась на 800 человек, заработная плата оставшихся работников возросла на 24,4 процента, продукция же комбината выросла на 73,3 процента, производительность труда — на 86,6 процента! Конечно, следует тщательно разобраться в технологических изменениях, которые, быть может, лишь на Щекинском комбинате смогли дать такой разительный эффект. Однако плодотворность того подхода к проблеме, который проверяется в ходе эксперимента и который отстаивают наши авторы, представляется уже несомненной.

Стоит особо отметить, что высвобождение персонала, без которого предприятие может

обойтись, коснулось в Шекине и инженеров, привело к более нормальному соотношению между инженерами и техниками. Несомненно, именно эта мера позволила лучше использовать труд высококвалифицированных специалистов.

Хотя рецензируемая книга посвящена главным образом рабочим кадрам, мы можем почерпнуть из нее немало фактов и цифр, подкрепляющих ту уже неоднократно высказывавшуюся мысль, что инженеров у нас подчас «слишком много», что их время, способности, труд используются нерационально.

Известно наблюдение казанского социолога Н. Антова, что половина специалистов после окончания техникумов и вузов работает у нас не по той специальности, которую изучали. Л. С. Бляхман, Б. Г. Социлин и О. И. Шкаратан добавляют к этому такие данные — по Челябинской области. Инженерные должности там занимают до 35 процентов практиков, но в то же время около десяти тысяч дипломированных техников и инженеров занимают рабочие места. На Челябинском металлургическом заводе около ста инженеров проработали в качестве рабочих от двух до десяти лет, то есть практически дисквалифицировались. Проблема эта весьма сложная, отнюдь не сводимая только к плохой работе кадровиков. Побывав на Магнитке, я узнал, что многие сталевары, пройдя все пять-шесть курсов вечернего института, не забирают своих дипломов. В немалой степени это объясняется тем, что выдвижение в мастера на первых порах сулит новоиспеченному инженеру лишь снижение заработка и нервотрепку. К тому же выпускник вечернего или заочного института лучше всякого другого сознает, что пройденная им школа инженерского мышления обычно совершенно недостаточна.

Одна эта проблема дает представление о значении подлинно научного подбора и расстановки кадров. В рецензируемой книге этот тезис раскрывается на большом фактическом материале. Авторы последовательно изучают структуру кадров по их специальностям, квалификации, профессиональной подготовке, образованию, стажу, заработной плате, а также по сочетанию этих признаков. Выясняя взаимодействие различных факторов, определяющих лицо рабочего класса в разные периоды нашей истории, ученые стремятся к наиболее полной харак-

теристике различных групп рабочих, изучают их ценностные ориентировки, удовлетворенность выполняемой работой, перспективы продвижения, даже психологические свойства характеров (правда, предложенные авторами математические модели кажутся мне недостаточно обоснованными, а главное, чрезмерно трудоемкими и, в пределах предприятия, не слишком практичными).

Отношение к труду, к своей работе — весьма существенная сторона характеристики работника. Это и фактор производственных успехов, и некий суммарный итог созданных предприятием условий. Авторы анализируют в этой связи такое явление, как текучесть, от которой немало страдает и конкретное предприятие, и народное хозяйство в целом (но их данным, смена места работы сопровождается в среднем прогулом в 12—13 дней, не говоря уже о потерях в производительности труда на первых порах). Неправильно ходячее объяснение текучести «погоней за длинным рублем». Проведенные исследования показали, что «80% работников с заработком свыше 80 руб. в месяц при смене места работы не получали прибавки заработной платы и не рассчитывали на такую прибавку». Миграция рабочих в гораздо большей степени продиктована неудовлетворенностью прежней работой, самим содержанием труда.

В книге приведены данные, позволяющие установить любопытное соотношение между производственными успехами рабочих и их ценностной ориентацией. «Среди перевыполняющих сменное задание ориентировано преимущественно на заработную плату 36,6%, среди выполняющих — 40,1, невыполняющих — 29,2%. Эти данные, — замечают авторы, — весьма интересны. Те, кто работает преимущественно ради заработка, не стремятся перевыполнять задания, поскольку в нынешних условиях это, как правило, приводит к пересмотру норм. В то же время не устраивает их и невыполнение задания. Лица, ориентированные преимущественно на содержание работы, оказались в крайних группах. Они либо перевыполняют задания, если работа соответствует их запросам, либо не выполняют их, если работа по специальности их не интересует. Таким образом, среди невыполняющих сменное задание оказываются не только заведомые лодыри, но и образованные рабочие с повышенными требованиями к содержанию тру-

да, которые предприятия в настоящее время не в состоянии удовлетворить».

Фактор удовлетворения работой действует значительно сильнее по мере повышения квалификации. Так, среди рабочих четвертого — шестого разрядов оказалось от трех четвертей до четырех пятых лиц, удовлетворенных своей работой, тогда как среди рабочих низших разрядов — только половина. Притом среди рабочих шестого разряда процент людей, удовлетворенных специальностью (83,4 процента), значительно выше, чем среди техников и инженеров (55—59 процентов). Дело, по-видимому, в том, что творческие натуры (и профессии) особенно бурно реагируют на штурмовщину, на неупорядоченность труда и процесса производства и другие достаточно распространенные недостатки.

Удовлетворенность содержанием труда зависит и от полученного образования. Результаты исследований приводят к совершенно парадоксальным на первый взгляд «выводам о том, что работа подсобника устраивает рабочих со средним и незаконченным высшим образованием в гораздо большей мере, чем рабочих с образованием до 7 классов. Причина этого явления в том, что рабочие со средним образованием, как правило, учатся без отрыва от производства. Они ориентированы на переход в иную социальную группу, а работу подсобника рассматривают как временную. Эта работа устраивает их, поскольку не связана с принудительным ритмом и оставляет свободное время для занятий. Рабочих с меньшим образованием, ориентированных на продвижение в своей группе, эта работа устраивает в гораздо меньшей степени». Напротив, «среди станочников-универсалов наибольшее число определенно положительных ответов (на вопрос, нравится ли им их работа.— В. К.) дали рабочие с образованием до 7 классов, наименьшее — рабочие с аттестатом зрелости. Та же картина среди слесарей и наладчиков». Безразличие к своей работе также «в наибольшей степени проявляют станочники, слесари, наладчики с образованием 10—11 классов». В конечном счете это опять-таки отражается на текучести. По данным В. А. Ядова, при переходе на другую работу сменили профессию: из числа слесарей только 27 процентов, электромонтеров и металлургов — 35, станочников — 49, строителей — 61, подсобников — 63, текстильщиков — 65 процентов.

Современные обследования показали, что к нашему времени не приложимы выводы, сделанные С. Г. Струмилиным в двадцатых годах, когда один лишний класс образования давал такой же рост квалификации, как 2,6 года стажа. Сегодня такой прямой зависимости между уровнем общеобразовательной подготовки рабочего и квалификацией уже не существует: как установили новосибирские социологи, один год практического стажа повышает разряд интенсивнее, чем лишний год школьного обучения. Отсюда, разумеется, никак не следует, что рабочему достаточно восьми классов,— просто оценка образования у нас не может быть узко утилитарной.

Чтобы закончить этот далеко не полный обзор одного из разделов книги Л. С. Бляхмана, Б. Г. Сочилина и О. И. Шкаратана, коснусь еще и такого аспекта темы, который тоже должен быть безусловно принят во внимание. Оказывается, наиболее устойчивую тягу к повышению образования без отрыва от производства проявляют именно семейные, а не холостые и вообще не самые молодые рабочие. При этом немалую роль играет образование жены. Учится 10,9 процента работников, чьи жены — работницы, 39 процентов, чьи жены — техники, и 58,9 процента, чьи жены — студентки.

Ленинградские социологи руководствуются принципом, что подбор и расстановка кадров должны в максимально возможной степени удовлетворять интересы и индивидуальных рабочих, и предприятия в целом. А для того, чтобы достигнуть этой цели, надо возможно детальнее изучить как содержание работы на замещаемой должности, так и индивидуальные и групповые особенности и требования рабочих. Л. С. Бляхман, Б. Г. Сочилин и О. И. Шкаратан сочувственно излагают мысли польских социологов А. Сарапаты и К. Доктура, авторов учебного пособия «Элементы социологии промышленности» (Варшава, 1963). «...Работник, как отмечают Сарапата и Доктур, приходит на завод с багажом ожиданий и готовым образцом поведения. Стремления и интересы рабочего зависят от его возраста, семейного положения, жизненного опыта, образования, состояния здоровья... Рабочие одной и той же профессии по-разному оценивают одни и те же условия труда, одну и ту же администрацию, одну и ту же зарплату и перспективы». И если руководитель производственного коллектива

хочет добиться серьезных успехов в закреплении кадров и в создании на предприятии атмосферы трудовой активности и творчества, он «должен быть тонким психологом и воспитателем, чтобы понимать и учитывать эту мозаику ожиданий».

Подобная установка во многих случаях делает необходимой, во-первых, перестройку производственного процесса в таком направлении, чтобы устранить или по крайней мере постоянно сокращать число рабочих мест, где применяется тяжелый и однообразный труд, а во-вторых, всемерное развитие подлинной производственной демократии. Было бы неправильным, пишут Л. С. Бляхман, Б. Г. Сочилин и О. И. Шкаратан, не видеть в этой области определенных противоречий, влияющих на ценностную ориентацию работника. «Коллективный характер труда, тем более в условиях общественной собственности, требует коллективного управления производством. В то же время координация трудовой деятельности в условиях развитого разделения труда может быть осуществлена только на основе единоначалия... Способом разрешения этого противоречия является все более широкое участие членов коллектива в управлении производством. Не винтиком производственного механизма, а хозяином производства должен чувствовать себя советский человек». Перспективные планы социальных мероприятий, которые разрабатываются ныне на ряде крупных предприятий, призваны предусматривать конкретные практические меры в этом направлении.

Все это вплотную подводит руководителя к необходимости знать и точно учитывать индивидуальность работника, характер его способностей и склонностей. В книге приводится интересная схема, принадлежащая английским социологам Э. Джексу и В. Брауну, которые различают семь уровней специальных способностей работника: конкретно-чувственный (задание для такого работника должно быть сформулировано конкретно, прямо на его рабочем месте); образ-

но-конкретный (когда задание воспринимается по чертежу, на основе воображаемой картины); умозрительно-конкретный (работник может реагировать на нарушения производственной системы, настраивать ее); способный к моделированию принципиально новой машины — и другие, еще более высокие уровни системы мышления. Наверно, эта схема не бесспорна, во всяком случае нельзя ее толковать в наших условиях как неподвижную, зависящую только от тех или иных врожденных способностей. Но, безусловно, эти или подобные им различия характерны для разного типа работников, и научный подбор кадров должен с ними считаться. Читая этот раздел, как и следующий за ним — о типах характера, я представил себе содержание тех стандартных и бессодержательных «служебных характеристик», которые через определенные промежутки времени пополняют «личные дела» работников учреждений и предприятий, и подумал о том, какое решительное изменение самого стиля административного мышления ставится ныне в повестку дня — экономической реформой, лозунгом научного управления производством!

Я начал рецензию указанием на узко утилитарное наименование книги. Теперь, в заключение, я хочу еще раз повторить, что прочесть эту книгу следовало бы не только образованным кадровикам, но и директорам, главным инженерам и парторгам. Уверен, что она заставит хозяйственников заново задуматься над тем, кто и как ведет на их предприятии работу по подбору и расстановке кадров, столь ответственную, столь решающую для конечных результатов деятельности всего коллектива. А читатель, так сказать, рядовой просто-напросто извлечет из книги Л. С. Бляхмана, Б. Г. Сочилина и О. И. Шкаратана довольно обширную социологическую информацию, бесполезную для всякого, кого интересуют социальные процессы современности.

Вл. КАНТОРОВИЧ.



## ВЕЛИКАЯ АНТИКОЛОНИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Казахстан в канун Октября. Сборник статей. Под общей редакцией профессора П. Г. Галузо. «Наука». Алма-Ата. 1968. 284 стр.

Книга, о которой пойдет речь, одна из большого ряда работ, вышедших к пятидесятилетию Октября и в совокупности своей освещающих предысторию революции во всех районах огромной нашей страны (если же мерить по европейскому масштабу, учитывать многонациональность бывшей Российской империи, можно бы сказать — в системе стран).

Обилие работ затрудняет сведение воедино их результатов. Надо полагать, что и достоинства рецензируемой работы присущи не ей одной. Прежде всего она фактична в хорошем смысле слова: выводы, как правило, аргументированы разбором документального, статистического материала. Вместе с тем она содержит свежие мысли, многие из которых выходят за рамки своего «региона». Специфически национальное рассматривается в книге как часть общего, общее входит потому в самую ткань изложения.

Кажется, иначе бы и быть не могло. Однако мы знаем работы на близкие темы, в которых и предпосылки революционных событий, и ход их не столько исследуются, сколько служат средством иллюстрации некоей наперед данной усредненной общероссийской схемы. В этом случае местное теряет краски и своеобразие. Но проигрывает и изучение общего — многообразного единства российской революции. А поэтому, добавим, остаются неиспользованными или недостаточно использованными и возможности раскрытия всемирности, заключенной не только в результатах Октябрьской революции, ее влиянии на другие страны и континенты, но и в ее собственном движении — в составе действующих сил и характере действия, в особой синтетичности революционного процесса.

Упрек этот вряд ли можно адресовать только отдельным авторам или коллективам, — налицо грудность, требующая перехода науки на более высокую ступень исследования. Формула объединения разных «потоков» революции общепринята. Но не нуждается ли каждый из этих «потоков» в интенсифицированном теоретическом освещении, без которого трудно создать и концепцию их взаимодействия — научную историю Октября

как целого? Так, широко сознается сейчас необходимость разработки одной из краеугольных тем — диалектики взаимодействия, взаимоперехода буржуазно-демократических и пролетарски-социалистических задач в движении нашей революции (в 1921 году, говоря, что доделанной вполне является ее буржуазно-демократическая работа, Ленин замечал: «И мы имеем законнейшее право этим гордиться»).

Коллективной работой советских исследователей уже воссозданы существенные черты аграрного переворота (заметим, впрочем, что конкретный анализ этого переворота требует и дальнейших поисков, и обсуждения еще дискуссионных вопросов). Но, пожалуй, в значительно больших усилиях нуждается изучение другого величайшего переворота — уничтожения царской империи, истории первой из осуществленных человечеством в XX веке антиколониальных революций. Этот переворот по содержанию своему уже национального освобождения в целом, непосредственно он касался азиатских колоний царской России (колоний в прямом, империалистическом смысле слова), но значение его и для России и для мира не становится от этого меньше.

Проблема генезиса антиколониальной революции составляет «фокус» алма-атинского сборника. В свете ее авторы (М. Х. Асылбеков, П. Г. Галузо, Е. Д. Дильмухамедов, Ф. М. Маликов, С. А. Сундетов) рассматривают отдельные стороны социально-экономической жизни дореволюционного Казахстана — населенных казахами областей Степного и Туркестанского генерал-губернаторств. Мы получаем, хотя и не исчерпывающее и не вполне равномерное по степени изученности, представление как об исходном уровне, с которого началось новое, некапиталистическое развитие народа, так и о сумме объективных причин, сделавших возможным союз колониального крестьянства, зажатого в колодки царистского гнета, опутанного патриархальными и феодальными традициями и установлениями, — союз с всероссийским пролетариатом, с вставшей на путь социалистического преобразования крупнопромышленной европейской Россией. Мы находим в книге и концепционную постановку проблемы — в статье П. Г. Галузо

«Колониальная система российского империализма в канун Октябрьской революции», в его же исследовании о социальных отношениях в степном казахском ауле и русской (точнее, русско-украинско-белорусской) переселенческой деревне начала XX века. Полагаю, что статьи эти привлекут особое внимание и, возможно, вызовут споры, как и предшествующие выступления автора, многие годы разрабатывающего и отстаивающего ленинскую методологию изучения колониального вопроса в России<sup>1</sup>.

Слово «отстаивает» может показаться преувеличением. Да и полемичность, чтобы не сказать задиристость, которой отмечены работы П. Г. Галузо, легко отнести на счет индивидуальных свойств автора (привлекательных или непривлекательных — в зависимости от вкуса). Но это не так. Постоянство и страстность в данном случае имеют общезначимую основу, для обнаружения которой недостаточно взгляда на сегодняшний день нашей исторической науки, приходится мысленно вернуться и к дню вчерашнему и позавчерашнему.

Нельзя не заметить, например, что термин «антиколониальная революция» по отношению к Октябрю не получил в исторической литературе, в учебниках — вузовских и школьных — того места, которого он заслуживает. Не забываем ли мы иногда, что Россия — не только Европа, но и Азия и что пробуждение Азии началось не просто под влиянием русской революции, но и в ходе ее самой, на территории Российской империи? Речь идет, разумеется, не о декларативном признании, а о логике исследования, к понятийному аппарату которого предъявляется требование строгости и последовательности. Без понятий «колониализм» и «империя», наполненных конкретным историческим содержанием, здесь не сделать и полшага или, быть может, сделаешь именно и только полшага, попав в результате в тенета софистики, отнюдь не безобидной и весьма далекой от марксизма.

Безобидно ли прочерчивать прямую, соединяющую две вехи в истории того или иного народа: вхождение его в состав России и освобождение его от национального и

социального гнета в результате Октября? Конечно же, нет. И не потому лишь, что нельзя одинаково оценивать присоединения, происшедшие в XVII или в XVIII веке и тем более во второй половине XIX века (и Россия не та, и мир другой). Но прежде всего потому, что вехи эти — события разнопорядковые и разнонаправленные. Прошли ли между первой и второй столетия или десятилетия — между ними не пустота, а реальная история беспредельно грубого национального гнета; производимое царизмом «выравнивание» в положении колониальных народов — «выравнивание» по худшему; возможность благодаря империи расширенно воспроизводить крепостнические отношения и затем удерживать их гигантские остатки. А с другой стороны, нарастающее сопротивление гнету, зарождение в борьбе, и только в борьбе, революционно-демократической альтернативы, антицаристского и антиимпериалистического единства народных масс. Одно решительно исключало другое: империя — революция, революция — империя. Прямая линия, что ни говори в ее оправдание, искажает историю.

Но у этой «прямой» есть и другая, не столь прямолинейная (просим извинения за каламбур) форма. Пишут, кажется, не без основания: действия царизма и объективный процесс не тождественны. Вопреки реакционной политике совершался экономический прогресс. И не дань ли вульгарной социологии в духе памятной школы Покровского — исключать из исторического баланса этот прогресс?

П. Г. Галузо возражает (не то слово, — воюет) против формулы «политика — реакционная, экономика — прогрессивна». В самом деле, так ли убедительна эта формула, как представляется на первый взгляд? Кажется, весь опыт истории убеждает в неверности механического противопоставления экономики политике — и не только в отношении близких к нам эпох, но и более далекого прошлого. Стронники приведенной выше формулы, конечно же, не станут спорить, что и политика царизма не всегда и не во всем была реакционна. А П. Г. Галузо (в другом месте), полемизируя против тезиса о присоединениях как продукте «внутренне присущего народам стремления к единству», отмечает, что на первых порах, в конкретной обстановке Казахстана, Средней Азии и Кавказа, приобретение в лице

<sup>1</sup> Интересующемуся темой можно ознакомиться также с историографическим и методологическим введением к монографии П. Г. Галузо «Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867—1914 гг.». Алма-Ата 1965.

царизма могущественного сюзерена, способного избавить от опустошительных набегов феодалов соседних стран и от внутренних феодальных войн, «вклинивалось» в виде прогрессивного момента в общую картину военно-феодальной агрессии России.

Однако главный пункт спора — экономика, «передовая российская экономика» в терминологии оппонентов. П. Г. Галузо не удовлетворяется общими словами, настаивает на конкретном рассмотрении проблемы. Он спрашивает: входит ли в понятие экономики крепостничество? Разве эта «часть» экономики России не воздействовала на развитие ее азиатских колоний, и не просто воздействовала, а доминировала, определяя, в частности, характер и следствия переселенческой политики? Разве может быть исключен из понятия экономики абсолютизм в качестве крупнейшего владельца земель, притом не только казенных и удельных (что обычно отмечается), но и верховного собственника земель колониальных народов (что редко включают в общую картину землевладения дореволюционной России)? Между тем эта форма собственности, роднящая царизм с восточными деспотиями и имеющая прямые параллели в колониализме других европейских держав, не только не отмирала по мере капиталистического развития России, но, напротив, с конца XIX — начала XX века и в связи с этим развитием стала более реальной, еще более ощутимой, чем прежде.

Вот цепочка, из которой так же невозможно выделить в чистом виде прогрессивное звено, как невозможно выделить «чистый» аграрный капитализм из латифундиальной системы центральной России: развитие товарного, денежного хозяйства, положительное само по себе, ведет к стремительному росту цен на землю, разжигая аппетиты и у верховного собственника. Из без малого четырнадцати миллионов десятин, изъятых у казахов Степного края в переселенческий фонд (всего же царизм экспроприровал за время своего колониального владычества около тридцати миллионов десятин), большая часть была отобрана после 1905 года. Кроме основной политической цели — с помощью переселений предотвратить новое крестьянское восстание в европейской России, — эти колоссальные изъятия, доказывает исследователь, стимулировались жадной феодальной рентой. А последствия? Резкое ухудшение землеполь-

зования казахов, удар по превращению их хозяйства из кочевого в оседлое, скотоводческо-земледельческое. Удар и по переселенцам: чтобы вернуть государству только одну ссуду на «домоводство», крестьянин-бедняк фактически должен был работать два года без получения заработной платы (а еще надо было платить налоги и сборы, откупаться от чиновников). Разорение с двух сторон. Уродливые, попятные формы эксплуатации: земельное утеснение казахов позволяло баю сплошь и рядом восстанавливать примитивную патриархальную кабалу; у кулака-переселенца более стойко по сравнению с центром России удерживались черты мироеда-ростовщика, разорявшего и кабалившего мелких крестьян. Добавим, что многие тысячи их возвращались из Зауралья «домой», а спазматическое расширение рынка труда предложением дешевых рук (приходил в массу середняк, а возвращался паупер) обостряло аграрное перенаселение центра, помогая капиталу всея Руси снижать заработок и фабрично-заводским рабочим.

Так на поверку политика оборачивается экономикой. И не только экономической конъюнктурой. Неизмеримо большим — типом аграрной и социальной эволюции, а стало быть, и типом демократической борьбы. В этом гвоздь вопроса, суть спора: конкретика против схематизма, «многомерная» реконструкция исторического развития против упрощенной (и субъективизированной) однолинейности.

Оппоненты могут сказать: под «передовой российской экономикой» мы понимаем отнюдь не крепостничество, а капитализм, всероссийский рынок, монополии, банки. Авторы рецензируемого сборника не обходят ни одного из этих явлений. Но и в этом случае они не удовлетворяются рассуждениями о капитализме вообще, доискиваясь, в каком обличье он выступает здесь, какую функцию выполняет. Да, Казахстан, как и другие колониальные районы, втягивался во всероссийский (а через него во всемирный) рынок. Но втягивался в громадной мере через разорительно-грабительскую, неотторжимую от ростовщичества торговлю. Не выдумка М. Н. Покровского — распространенность торгового капитала в России XX века, сожителство «первоначального накопления» с новейшими формами буржуазного строя. Выразительно рисуется в сборнике (в статьях С. А. Сундетова, М. Х. Асылбекова,

П. Г. Галузо) своеобразная пирамида: в ее основании множество мелких торговцев — алыпсаторов, продвигавшихся все дальше в глубь степей, над ними более крупные, державшие в своих руках целые волости, затем города—центры купеческого капитала, местного и всероссийского, а на самой вершине—банки, через свои филиалы и всю сеть торговли и ростовщичества снимавшие сливки с неэквивалентного обмена. А «ребра» у этой пирамиды — пути сообщения: в самом низу — традиционные, среднесвековье, от городов же к европейской России — железные дороги. Сооружавшиеся по преимуществу казной в стратегических и колонизаторских целях, они лишь вдобавок к этому главному своему назначению открывали доступ вовне дешевому казахстанскому хлебу и животноводческому сырью (дешевому, впрочем, для скупщиков и оптовиков; из их рук он уходил с возрастающей накидкой, к которой приплюсовывался высокий железнодорожный тариф, специально установленный ради «защиты» великорусского помещика).

Если совсем не просто объединить отдельные черты этой экономической и социальной мозаики, то еще сложнее суммировать, разъяснить ее теоретически. Можно ли вообще дать однозначное определение этому смешению укладов и способов эксплуатации? Феодализм, разлагаемый и вместе с тем консервируемый низшими, зачаточными формами капитализма, в свою очередь втягивающимися (без существенного изменения их содержания) в орбиту зрелого, финансового капитала. Капитализм, который изнутри осложнен крепостничеством и «азиатским» землевладением. Империализм, который всюду в мире надстраивался над старым, «свободным» капитализмом, но существенно — над каким именно капитализмом надстраивался он в условиях России (в какой мере, в частности, этот старый капитализм подходит под мерку свободной конкуренции?). Современная историческая мысль связывает решение этих вопросов с проблемой многоукладности. Но следует учитывать, что многоукладность — это формула, в свою очередь нуждающаяся в конкретизации.

Опираясь на Ленина, Галузо говорит о «черносотенно-октябристском капитализме» как определенном социально-историческом типе, порожденном не только могущественными остатками средневековья в аграрном

строю России, но и колониальной системой Российской империи. Такой подход представляется в высокой степени продуктивным и в решении частных задач исследования социально-экономического строя колоний, и в целом анализе общественно-экономической системы дореволюционной России.

На этой основе есть место и для дискуссии, в том числе для спора с авторами алма-атинского сборника. Стоило бы специально рассмотреть, например, вывод П. Г. Галузо о степени капиталистического развития: можно ли говорить, что для крестьянских хозяйств Казахстана основным стал «закон капиталистической дифференциации» (стр. 59)? Думаю, что анализ, произведенный самим исследователем, противоречит этому. К тому же существовало различие между этим процессом в переселенческой деревне и в казахском ауле, где «преобладали» феодальные отношения (стр. 101, 105). И кризис их — больше распад старого уклада, чем утверждение нового. Любопытно, что теснимые царизмом крестьяне во многих случаях отвоевывают в борьбе с баем возврат к уравнилельно-общинным порядкам в пользовании покосами и пашнями. Нельзя не согласиться с П. Г. Галузо, что этот «возврат» был, в сущности, шагом вперед, что и все социальное размежевание в ауле вписывается во всероссийскую борьбу за демократический путь буржуазного развития. Но все-таки вписывается не прямо, не так, как вписывалась в нее, скажем, отработочная деревня европейской России, где «закон капиталистической дифференциации», бесспорно, действовал, хотя и не восторжествовал (иначе не было бы тогда и перспективы «американского пути»).

Интересен разбор позиций классов и партий в борьбе за казахстанскую землю. Но не искусственно ли связывать позицию буржуазных партий в Государственной думе с их «империалистическим интересом» в «развитии товарного животноводства» (стр. 85)? Империалистический интерес и конфликт на этой почве с царизмом, разумеется, был, однако состоял он по преимуществу в разном представлении о способах удержания колоний, сохранения империи. Да и позиция царизма диктовалась не одними интересами крепостников-помещиков и тем более не одними их материальными интересами. Немалую роль играла вековая традиция самостоятельности абсолютизма, которую ни в

ее происхождении, ни в последних конвульсиях не понять без империи — источника и доходов, и внешнего «величия», средства удержания в узде (с помощью шовинистического развращения и стравливания) миллионов подданных.

Расчеты эти потерпели жестокий крах. Потерпели не «самотеком». И империя (как хорошо сознают авторы сборника) не отмерла сама по себе. Лишь революция, отрицающая ее в принципе, могла превозмочь силу империи, а та была силой и в начале XX века. Потому и сама революция могла победить при том категорически-непременном условии, что она освободит всю Россию от «своего» колониализма. Национальная и колониальная проблемы все теснее связывались с социальной, все глубже входили в основной классовый антагонизм. Достаточно ли учитываем мы это, когда объясняем причины, в силу которых действительным вождем демократической революции в России XX века способен был стать лишь пролетариат? И опять-таки не пролетариат «сам по себе», так сказать, революционный от рождения, но переработавший себя в интернационалистском духе. Дилемма, стоявшая в предыдущем столетии перед рабочим классом Англии (о чем не уставали напоминать ему Маркс и Энгельс), по-своему стояла и перед авангардом российского, прежде всего русского пролетариата. Гегемония требовала от него не только максимальных усилий, но и терпения, выдержки, жертв. Ими он завоевал доверие угнетенных наций, и историей это не может быть не отнесено к числу самых высоких политических и нравственных завоеваний нашей революции.

Уже после Октября, притом в условиях, когда империалисты пытались использовать против Советской России свободу, предоставленную ею же угнетенным нациям, Ле-

нин говорил: «...Не было и не может быть в России правительства, кроме Советского, которое делало бы такие уступки и такие жертвы по отношению к национальностям как существовавшим внутри нашего государства, так и к тем, которые пришли к Российской империи. Нет и не может быть другого правительства, которое бы так ясно, как мы, сознавало и так отчетливо перед всеми говорило и заявляло, что отношение старой России, России царистской, России военных партий, что ее отношение к народностям, населявшим Россию, было преступным, что эти отношения недопустимы, что они вызывали законнейший протест, негодование, возмущение угнетенных национальностей. Нет и не может быть другого правительства, которое бы так открыто признавало это положение, которое вело бы эту пропаганду, пропаганду антишовинизма... пропаганду против насильственного присоединения к России других национальностей. Это не слова — это простой политический факт, который всякому ясен, который совершенно бесспорен»<sup>1</sup>.

Бесспорные факты также бывает полезно, необходимо напоминать. Напоминать противникам и самим себе. Естественно, что мертвый империализм и колониализм вызывает к себе не такие острые чувства, как живой. Но правильность отношения к прошлому является условием верной ориентировки в настоящем. Традиции же крепки, когда переходят в обычай, в повседневную нравственную норму. И поэтому непреходящий интерес представляет изучение первой в истории антиколониальной революции, осуществления ее задач в результате великого пролетарского восстания и в ходе глубочайших «многоукладных» социальных преобразований, начатых Октябрем.

М. ГЕФТЕР.

★

## НОВОЕ О РАЗИНЕ

Записки иностранцев о восстании Степана Разина.  
Под редакцией А. Г. Маньнова. «Наука». Л. 1968. 174 стр.

Советская историческая литература бедна изданиями различного рода свидетельств современников, относящихся к более далекому прошлому нашей страны, чем XIX век. Это касается в особенности записей иностранцев, находившихся на русской

службе или путешествовавших через Московское государство в XV—XVII веках, — незаменимому источнику по русской истории

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 297—298.

этого времени. (Напомним, что подобные же записки соотечественников — это, за немногими исключениями, явление более позднего времени.) Из числа самых известных назовем такие давно ставшие библиографической редкостью источники, как «Путешествие в Московию и Персию» Олеария (в советское время не издавалось) и записки немца-опричника Генриха Штадена. Последние вышли в 1925 году в издании Сабашниковых, новое же, дополненное и переработанное издание этой книги, подготовленное еще перед войной И. И. Полосиным, так и не увидело свет. Помимо собственно исторической ценности записок иностранцев (достаточно сослаться здесь на известную работу В. О. Ключевского, посвященную этой теме), важно отметить и другое: книги, содержащие мемуарные свидетельства современников, да еще относящиеся к глубокой старине, с интересом читаются самой широкой публикой. Преимущество этого исторического жанра состоит в том, что читателю не приходится совершать работу по воссозданию картины происшедшего — она дана в живом восприятии современника. Детали, из которых складывается эта картина, много дают художественному воображению, усложняют, а порой и ломают усвоенные из учебников схемы.

Данная книга является, по замыслу редакции, первой в серии публикаций записок как иностранцев о России, так и русских людей побывавших за границей. В ней опубликованы — впервые на русском языке — два новых документа, тесно связанных с восстанием Степана Разина. Это тем более интересно, что фактического материала о Разине и его центральном войске до нас дошло крайне мало: большая часть приказных дел о Разине, включая следственное дело о нем, сгорела во время пожара в Кремле еще в 1701 году. Представить себе облик предводителя восстания нам помогают именно иностранные свидетельства.

Автор публикуемых записок — голландский наемный офицер Людвиг Фабрициус. Это имя встречалось историкам. Известно, например, что когда под Черным Яром царские полки перешли на сторону восставших, он и воевода С. Львов оказались единственными, кто остался в живых из всех «начальных людей». В XVIII веке в Швеции, где прошла вторая половина жизни Фабрициуса, вышла даже книга о нем, основанная на его собственных записках и личных доку-

ментах, однако она не привлекла к себе должного интереса историков. И когда в 1952 году в Стокгольмском государственном архиве были найдены подлинные записки Фабрициуса, в которых центральное место занимают события, связанные с разинским восстанием, это было воспринято как сенсация.

Служба забросила Фабрициуса в Астрахань, где на его глазах разыгрываются самые яркие и впечатляющие моменты восстания, начиная с возвращения Разина из персидского похода в августе 1669 года. Попав в плен под Черным Яром, Фабрициус каким-то образом входит в доверие к казачьему атаману, ходатайствует перед ним о другом пленнике — капитане Д. Бутлере, и даже пьет с Разиным чару вина.

Разин, пишет Фабрициус, добивался беспрекословного себе подчинения. «Если же кто-либо не сразу выполнял его приказ, полагая, что, может, он одумается и смилуется, то этот изверг впадал в такую ярость, что, казалось, он одержим. Он срывал шапку с головы, бросал ее оземь и топтал ногами, выхватывал из-за пояса саблю, швырял ее к ногам окружающих и вопил во все горло: «Не буду я больше вашим атаманом, ищите себе другого», после чего все падали ему в ноги и все в один голос просили, чтобы он снова взял саблю и был им не только атаманом, но и отцом». И несколько ранее: «...Среди своих казаков он (Разин. — А. М.) хотел установить полный порядок. Проклятия, грубые ругательства, бранные слова... а также блуд и кражи Стенька старался полностью искоренить». Эти известия плохо вяжутся с привычным представлением об удалой и безудержности казацкой вольницы.

Автор записок и сам говорит о подобных моментах правопорядка с нотой удивления: они мало соответствовали его представлению о восстании как о вакханалии разнузданных и бессмысленных зверств. Более того, как он мог наблюдать, эти моменты существовали и независимо от воли Разина, внутри самого казацкого войска, в котором стихийность и бесконтрольность действий уживались с некоторыми патриархальными обычаями и установлениями. Соблюдался, например, порядок, согласно которому важные дела решались коллективно, всем «кругом». Если видеть здесь начала «новой государственности» (см. вступительную статью к запискам), то корни ее, оче-

видно, нужно искать в традициях казачьего самоуправления. В согласованных решениях казачьего круга проглядывает и глубоко укоренившийся в сознании беглых и отверженных людей обычай круговой поруки, ярко выразившийся, например, в следующем: при дележе захваченного имущества никто не мог отказаться от своей доли под угрозой казни. Фабрициус свидетельствует, что после взятия Астрахани «даже митрополита и генерала-воеводу (Львова.—А. М.) обязали получить свою долю».

Сам Разин, при всей силе своего влияния на массу («все перед ним дрожало и трепетало и волю его исполняли с низжайшей покорностью»,— пишет Фабрициус), подчинился уже заведенным порядкам. Под Черным Яром Разин остановил начавшуюся было резню, говоря, что среди офицеров, «верно, есть все же и хорошие люди». Для решения вопроса об их жизни и смерти был созван «круг», на котором «как стрельцы, так и солдаты в один голос закричали, что среди офицеров нет ни одного, кто заслуживал бы пощады, что они единодушно просят, чтобы отец их, Степан Тимофеевич Разин, повелел всех начальников порубить саблями». За воеводу Львова Разину пришлось бить челом перед кругом вопреки своему же указу, по которому тот, кто просит за приговоренного, сам подлежит казни.

Проявление классовой ненависти, зафиксированное Фабрициусом в этой сцене — а он сам находился в толпе приговоренных и спасся лишь чудом,— ярко иллюстрирует общий антифеодальный смысл разросшегося восстания. Однако едва ли правомерно стремление А. Манькова доказать в своих комментариях «отсутствие бессмысленной жестокости» в действиях восставших и самого Разина: мол, поскольку известия, говорящие о крайностях восстания, исходящие из классово враждебных кругов, то они непременно преувеличены. Не оспаривая в возможности подобных преувеличений, мы не должны вместе с тем идеализировать прошлое и представлять себе ход восстания в духе плохого исторического романа. Это во-первых. А во-вторых, решать так вопрос — не значит ли невольно занижать всю остроту классовой гражданской войны, в которую вылились казачьи походы «за зипунами», войны не на жизнь, а на смерть. Довольно сказать, что в такой войне было правилом уничтожение потенциального противника независимо от наличия вины. И как

раз приходится отдать должное объективности Фабрициуса: хотя он и называет повстанцев не иначе как извергами, но, с другой стороны, одного из карателей, Я. Одовского, рисует прямо-таки вампиром.

Вообще в картине восстания не все выглядит однолинейно и просто. Читателя записок не может не поразить факт, относящийся к первому крупному столкновению Разина с царскими войсками в тот момент, когда он только возвращался от персидских берегов с сильно поредевшим и утомленным отрядом. Тот самый Львов, за которого Разин впоследствии заступится, неожиданно, имея большое превосходство в силах, пошел на мирные переговоры со Степаном. Львов не только пожаловал Разина двиницей «милостивой» грамотой царя, означавшей прощение всех грехов, но и подарил ему от себя икону богородицы, объявив своим названным сыном (в других источниках говорится о братании Львова с Разиным). Если учесть, что Разин к этому времени был известен и разбоями на Волге, и захватом Яицкого городка, и убийством многих царских людей, не говоря уже о его фактической войне с Персией, которую он вел, не считаясь с мирными соглашениями между этой страной и Россией, то такое отношение царского воеводы к «разбойнику» трудно объяснить лишь его боязнью городских низов Астрахани, наслышанных о подвигах Разина, и расчетах на вывезенную из Персии добычу (см. комментарий). Можно предположить, что власти надеялись извлечь для себя пользу из военных и организаторских талантов Разина, использовать в своих интересах его влияние на казачью массу. После похода в Персию роль Разина в качестве крупной государственной фигуры скорее усилилась — возможно, в нем хотели видеть второго Ермака, тоже казака, завоевавшего для Москвы новые земли. Как бы там ни было, поражает отсутствие психологической пропасти между социальными верхами и «воровским» атаманом, проявившееся и позднее, во время широкой астраханской гульбы Разина, когда правители города наперебой спешили воспользоваться его щедротами.

Второй новый для истории восстания документ, найденный, как и записки Фабрициуса, английским ученым С. Коноваловым в том же Стокгольмском архиве,— личное письмо купца Томаса Хебдона, содержащее описание обстоятельств казни Ра-

зна. Русских источников на этот счет мы не имеем — отчасти и потому, что власти допустили на казнь только иностранцев, оцепив площадь тройным рядом войск, «дабы, — по свидетельству другого иностранца, — предупредить волнения, которых царь опасался со стороны уцелевших случайно заговорщиков». Бросается в глаза дата, стоящая под письмом: 6 июня 1671 года, то есть самый день казни.

В книгу вошел также известный и признанный исторический источник по движению Разина — «Сообщение касательно подробностей мятежа, недавно произведенного в Московии Стенькой Разиным». Безымянный автор пользовался обширной документацией

о мятеже, предоставленной ему, вероятно, самим правительством «для оповещения миру». «Сообщение» было в 1670-х годах издано на трех языках и долгое время, вплоть до середины XIX века, было чуть ли не единственным заслуживающим доверия источником по истории разинского восстания.

В заключение отметим высокий научный уровень настоящего издания. Текст печатается параллельно — на языке оригинала и в переводе. Обстоятельные комментарии и вводные статьи к публикациям, в сущности, имеют значение сводного труда по истории крестьянской войны второй половины XVII века.

**А. МОРОЗОВ.**

★

## Т. РУЗВЕЛЬТ И «ПРОГРЕССИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

**И. Белявская. Буржуазный реформизм в США (1900—1914). «Наука». М. 1968. 415 стр.**

Читая книгу И. А. Белявской, задумываешься о многообразии исторических событий, о противоречивом характере иных деятелей истории. Действительно, кем был главный персонаж рецензируемой книги президент Теодор Рузвельт? Его имя в первую очередь ассоциируется с империалистической экспансией, политикой «большой дубинки», захватом Панамского канала, откровенно интервенционистским толкованием доктрины Монро и т. д. Мы часто забываем, однако, что Т. Рузвельт — это не только «большая дубинка», не только международный жандарм, наводящий «порядок» в Латинской Америке и бассейне Тихого океана, но и умелый политик, реформатор, активный сторонник охраны природных богатств. «Лихой наездник», — замечает И. А. Белявская, — оказался ловким политиком, способным демагогом, ну, а в таланте, энергии, настойчивости и темпераменте ему не отказывали даже враги». Не случайно поэтому в американской историографии приходом к власти Т. Рузвельта датируют начало так называемой «прогрессивной эры».

Дело здесь, разумеется, не в личности Т. Рузвельта, который, вообще говоря, мало подходил к роли прогрессивного реформатора. Дело в объективной необходимости реформ. В XX веке стало уже невозможно управлять без уступок растущему рабочему движению, без политики лавирования

для успокоения общественного мнения. Тщательному анализу происхождения и развития буржуазного реформизма в США в начале нынешнего века и посвятила свою монографию И. А. Белявская.

Признавая известное прогрессивное значение реформ, проведенных Т. Рузвельтом, и, в частности, законодательства об охране природных ресурсов страны, И. А. Белявская с полным основанием подчеркивает, что главная цель президента заключалась в укреплении существующего строя и защите интересов крупных капиталистов — «капитанов индустрии», как он их высокопарно именовал. Естественно поэтому разочарование и недовольство политикой Т. Рузвельта даже в среде его некогда восторженных поклонников.

Следует сразу же сказать, что реформизм в политике не был специфически американским явлением, — достаточно вспомнить «новый курс» Джованни Джолитти, почти бесценно возглавлявшего итальянское правительство на протяжении первых полутора десятилетий XX века, и особенно систему «лloyd-джорджизма», получившую свое название по имени знаменитого лидера английских либералов. И это явление характерно отнюдь не только для начала века: реформизм стал неотъемлемой частью политической жизни крупнейших капиталистических держав на протяжении всех

последующих десятилетий вплоть до последнего времени (назовем хотя бы «новый курс» Франклина Рузвельта или «новые рубежи» Джона Кеннеди). «Вместо открытой, принципиальной, прямой борьбы со всеми основными положениями социализма во имя полной неприкосновенности частной собственности и свободы конкуренции,— писал Ленин в 1911 году,— буржуазия Европы и Америки, в лице своих идеологов и политических деятелей, все чаще выступает с защитой так называемых социальных реформ против идеи социальной революции... И чем выше развитие капитализма в данной стране, чем чище господство буржуазии, чем больше политической свободы, тем шире область применения «нового» буржуазного лозунга: реформы *против* революции...»<sup>1</sup>.

Каковы же были причины, заставившие Т. Рузвельта обратиться к политике лавирования и реформ?

Как исчерпывающим образом показала И. А. Белявская, такими причинами были глубокие социально-экономические сдвиги на рубеже XIX—XX веков, героическая борьба рабочего класса США, распространение радикальных настроений среди мелкой и средней, «некорпорированной» буржуазии, расцвет критического направления в литературе, журналистике и т. д. При этом, если о рабочем и социалистическом движении тогдашней Америки читатель может узнать из фундаментальных трудов видного американского историка-марксиста Ф. Фонера, а также советского профессора Л. И. Зубока, то о деятельности радикальной интеллигенции, о разоблачительном направлении в американской публицистике в нашей исторической литературе до сих пор почти ничего не говорилось. В тщательном исследовании этого аспекта темы — едва ли не главное достоинство книги И. А. Белявской.

Журналистов и писателей, разоблачавших преступную деятельность крупнейших магнатов американского капитала, продажность и взяточничество политических деятелей, Т. Рузвельт назвал «разгребателями грязи», которые копаются в навозе и не способны подняться до высоких идеалов. Однако эта раздраженная реплика «прогрессивного» президента не только не оста-

новила движения «разгребателей грязи», но в известной мере даже способствовала его расширению, тем более что недостатка в «грязи» для разгребания в Соединенных Штатах не ощущалось. «Позолоченный век», — по словам известного американского историка Вернона Паррингтона, — отличался нечистоплотностью».

Книги и статьи Л. Стеффенса, Э. Синклера, Р. Бейкера, А. Тарбелл, Г. Майерса читались нарасхват. Разоблачение Л. Стеффенсом системы подкупа и взяточничества в Сент-Луисе, Миннеаполисе, Филадельфии, Балтиморе и других городах, яркое описание Айдой Тарбелл грязной истории «Стандард ойл» произвели сенсацию. Возникла целая плеяда журналов разоблачительного направления: «Макклурс мэгезин», «Эврибодиз», «Хэмптонс мэгезин», «Индепендент», «Америкен мэгезин» и т. д.

Впоследствии Э. Синклер назвал журналистов, писавших о пороках американского общества, храбрецами и был в этом несомненно прав. Разгребая «грязь» больших и малых городов Америки, смелые и честные журналисты выполняли исключительно трудное, но важное и благородное дело. Они привлекли внимание к вопиющим нарушениям закона со стороны «большого бизнеса», полиции и администрации и тем самым формировали в стране передовое общественное мнение, политически воспитывали демократическую общественность.

Редкий успех выпал на долю Э. Синклера, в частности его известного романа «Джунгли», в котором с документальной точностью воспроизводились порядки на знаменитой чикагской бойне. Американская общественность была потрясена жуткой антисанитарией и нечеловеческими условиями труда рабочих мясной промышленности. Прочитав роман, президент Т. Рузвельт был вынужден отдать распоряжение начать расследование и послать в Чикаго соответствующую комиссию. Спустя некоторое время, в июне 1906 года, был принят закон об учреждении правительственной инспекции на бойнях и заводах мясной промышленности. И хотя сам президент меньше всего сочувствовал деятельности прогрессивных журналистов и писателей, даже он не мог не признать, что в делах с мясной промышленностью Э. Синклер принес реальную пользу.

Не все в монографии И. А. Белявской представляется бесспорным, не все читает-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 20, стр. 303.

ся с одинаковым интересом. Менее удачно, чем Т. Рузвельт, обрисована в книге фигура его преемника Вудро Вильсона, хотя с его именем связаны наиболее важные реформы «прогрессивной эры». Вне поля зрения автора остались некоторые документальные источники и специальные монографии. Но в целом И. А. Белявской удалось убедительно проанализировать внутренний «механизм» американской политической жизни и осветить целый ряд важных деталей, которые ранее ускользали от внимания исследователей.

Спустя шестьдесят лет после описываемых событий историку нетрудно впасть в

назидательный и менторский тон, он легко видит ошибки и колебания тогдашнего демократического движения в США, ограниченность мировоззрения журналистов и литераторов, обнажавших язвы и пороки капиталистического общества. К чести И. А. Белявской следует сказать, что она удержалась от соблазна «оглупления» описываемых ею лиц и событий и смогла нарисовать живую и впечатляющую картину американского общества первых десятилетий XX века.

**Н. БОЛХОВИТИНОВ,**  
*доктор исторических наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ



**Б. Ц. УРЛАНИС.** История одного поколения (Социально-демографический очерк). «Мысль». М. 1968. 270 стр.

В последние годы советские экономисты и демографы все более тщательно изучают проблемы народонаселения. Такое изучение необходимо для научного экономического планирования, а также для осуществления правильной государственной демографической политики.

Рецензируемая книга существенно отличается от других книг по демографии, вышедших за последние годы. В ней использован необычный для наших демографов метод исследования, который известен под названием продольного анализа. Этот метод применяется при изучении демографических явлений, пережитых одним и тем же поколением за длительный период времени. В книге Б. Ц. Урланиса исследуется демографическая судьба мужчин и женщин, родившихся в нашей стране в 1906 году.

Выбор для изучения поколения 1906 года автор объясняет прежде всего личным интересом к его судьбе: сам он тоже родился в этом году. Однако этот выбор и объективно оправдан. Поколение 1906 года прожило большую и трудную жизнь. На его судьбе отразились важнейшие исторические события XX века, и само оно сыграло важную роль в экономической и культурной жизни страны.

Количество людей, родившихся в 1906 году, составляло довольно внушительную величину — 6,8 миллиона человек. Это было одно из самых многочисленных поколений нашей страны. Современные поколения составляют в момент рождения гораздо более скромную величину. Так, в 1960 году родилось 5,3 миллиона человек, а в 1967-м — немногим более 4 миллионов. В расчете на 1000 человек населения уровень рождаемости составлял в дореволюционные годы 45—47 детей, а сейчас немногим более 17. В книге не рассматриваются причины столь разительных перемен в уровне рождаемости. Однако, подробно проследивая судьбу поколения 1906 года, автор показывает, какие потери несло оно на различных этапах.

Уже на первом году жизни умерло 1830 тысяч человек, или около 27 процентов. Иначе и не могло быть: ведь 98 процентов всех родившихся появлялось тогда на свет во внебольничной обстановке. Чтобы оце-

нить, как далеко шагнула в этом отношении наша страна, достаточно сказать, что сейчас коэффициент детской смертности сократился до 2,6 процента.

Высокой была смертность и подростков. Поэтому поколение 1906 года значительную свою часть потеряло еще до революции. Велики были потери поколения и в последующие годы. По расчетам автора, число погибших во время Великой Отечественной войны из состава только мужской части этого поколения составило около пятисот тысяч человек. В целом же из числа родившихся в 1906 году мальчиков своего шестидесятилетнего юбилея достигло только 23 процента, а из числа девочек — 38 процентов.

Б. Ц. Урланис подробно анализирует и дальнейшие жизненные перспективы своего поколения. Развитие экономики и улучшение медицинского обслуживания способствуют увеличению продолжительности жизни людей. По прогнозу автора, в 2006 году из числа его сверстников будет жить 35 тысяч человек, или в четыре раза больше, чем дожило до ста лет из поколения родившихся в 1858 году.

В книге Б. Ц. Урланиса содержатся и другие интересные материалы, характеризующие жизнь и трудовую деятельность поколения 1906 года, уровень образования и культуры различных его слоев.

Книга не свободна и от некоторых недостатков. Так, например, автор подробно анализирует условия первого периода жизни поколения, экономическое положение России в 1906 году. Этому вопросу посвящена специальная глава, из которой читатель узнает о классовой структуре тогдашнего общества, о доходах различных категорий населения, в том числе интеллигенции, и т. д. Подобных данных за последующие годы автор, к сожалению, не приводит, а между тем они могли бы послужить полезным комментарием к таким демографическим явлениям в судьбе этого поколения, как продолжительность жизни, время вступления в брак, количество детей в семье, заболсваемость и др. Отсутствие сопоставления большинства анализируемых демографических показателей с теперешним положением дел в нашей стране и за рубежом мешает увидеть как достижения, так и сегодняшние нерешенные задачи.

Однако, несмотря на эти недостатки, книга Б. Ц. Урланиса представляет значительный интерес. Автор собрал обширный материал за большой промежуток времени. Многие расчеты приводятся в литературе впервые. Демографы, безусловно, еще не раз обратятся к этой книге, извлекая из нее не только полезные сведения, но и ценный методологический опыт.

**В. Корчагин,**  
*кандидат экономических наук.*

★

**К. КОРНИЛОВИЧ.** Окно в минувшее. «Искусство». Л. 1968. 146 стр.

Высокое и своеобразное искусство древности, созданное восьмивековым трудом русских художников, в наши дни все больше и больше привлекает внимание советских людей. Доступная недавно лишь узкому кругу специалистов и любителей, русская икона стала предметом массового интереса и любования. Однако путь освоения и восприятия древнерусских художественных сокровищ не легок: он требует специальных знаний и особого подхода. Язык иконы условен, а ее содержание порой непонятно. Нужен ключ к этому миру прекрасного, замкнутого «семью замками».

И вот в руках читателя опыт подобного пособия — искусно написанная и искусно сделанная в типографии имени Ивана Федорова книга К. Корнилович «Окно в минувшее». Нельзя не начать с суперобложки — темный иконостас с прямоугольным вырезом, в котором сияет драгоценными красками новгородская икона XV века, помещенная на переплете книги. В вырез «окна» видна лишь ее часть, и читателя тянет увидеть сверкающую драгоценность целиком.

Во введении дана самая общая характеристика иконописи и история ее появления на Руси. В разделе «Небеса и поднебесная» хорошо показано соотношение реального быта и религии, их взаимопроникновение в условиях средневековой культуры. Далее рассказано о технике иконописи и удачно раскрыта сложная тема об особенностях мышления древнерусского человека, его художественных представлениях, нашедших выражение в изобразительном языке икон, что позволяло им быть «книгами для тех, кто грамоты не понимает» (гл. III). Особый раздел посвящен искусству XIV—XV веков, сложению и смыслу иконостаса и характеристике преславных мастеров живописи — Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Здесь можно было бы отметить не только богословскую и художественную концепцию иконостаса, но и его идейно-политическую роль: его иерархический, централизующий принцип был явно созвучен начинавшейся борьбе за объединение Руси. Большая пятая глава освещает вопросы связи иконописи с актуальными темами своего времени и рассказывает о чертах быта, все сильнее дающих себя знать в искусстве иконописцев. Нако-

нец, последний раздел показывает, как уже в XVI веке нарастает тяга к реалистической почве искусства, как новое время — XVII столетие — порождает острую борьбу старого и нового, как, колеблясь на грани прошлого и будущего, вырастает искусство Симона Ушакова и его современников.

Книга К. Корнилович удачно сочетает элементы руководства к познанию технических и художественных особенностей древнерусской живописи с историческим рассказом о ее эволюции. Доходчивость этого рассказа обеспечивается хорошим языком книги, тональностью задушевной беседы с читателем, которого автор без нажима ведет за собой по труднейшим темам, порой оживляя беседу ноткой доброго юмора. Удача книги в немалой степени связана с ее щедрой иллюстрацией: 140 репродукций на 146 страниц текста, так что читатель следит за рассказом, все время видя его предмет.

**Н. Воронин,**  
*доктор исторических наук.*

★

**Л. Е. КЕРТМАН.** География, история и культура Англии. «Высшая школа». М. 1968. 542 стр.

Новая книга профессора Пермского университета Л. Е. Кертмана обладает ощутимыми достоинствами. Автору в значительной мере удалось нарисовать целостный облик страны, в котором ее география, история и особенности культуры оказываются органически слиты.

Рассказ начинается с древнейших времен (V тысячелетие до н. э.), когда преимущества островного положения будущей Великобритании начали оказывать свое влияние на жизнь ее древнего населения. Вводя в изложение географические, археологические и этнографические сведения, автор четко определяет истоки экономического развития и социальной дифференциации ранней Англии. Красной нитью через все повествование Л. Е. Кертмана проходит история борьбы английских народных масс за свои экономические и политические права, в том числе (что для Англии особенно характерно) за личную свободу каждого члена общества.

Убедительно показаны автором взаимосвязь и взаимовлияние политической и духовной жизни Англии на всем протяжении ее истории. Англия — страна древней культуры. Уже в конце VII века появилась «Поэма о Беовульфе» — первое крупное произведение английского фольклора, дошедшее до нас. Христианизация британского общества, продолжавшаяся на протяжении столетия (VII—VIII вв.), дала мощный толчок развитию культуры и положила начало образованию. К этому времени относятся рукописные тексты Евангелия, украшенные миниатюрами искуснейших художников. С христианством было в значительной степени связано и развитие английской архитектуры.

Вместе с тем, как подчеркивает Л. Е. Кертман, особенностью исторического развития Англии явилось раннее столкновение между государством и церковью, в результате которого мощь католической церкви была сломлена. Исход борьбы между церковной и светской властью оказал исключительно сильное влияние на все последующее политическое и культурное развитие страны.

История английской общественной мысли весьма богато и интересно показана на страницах книги Л. Е. Кертмана. Ее наиболее выдающиеся представители смотрят с этих страниц не иконами, а живыми людьми с их глубокими, а подчас и наивными мыслями, со всем своеобразием характеров и судеб. Таков, например, Томас Мор, канцлер короля и автор знаменитой «Утопии».

Характеризуя английскую литературу, театр, музыку, изобразительное искусство, Л. Е. Кертман не ограничивается, как это часто бывает, простым перечислением хорошо известных имен, а знакомит читателя с особенностями творчества писателей, музыкантов и художников.

Особое внимание уделяет автор колониальному характеру английского империализма, причем и в этом отношении он не ограничивается, как чаще всего бывает, перечнем тех или иных политических и экономических фактов, — в не меньшей степени его интересует идеологическое обоснование колониализма.

Почти вся книга Л. Е. Кертмана читается с неослабным интересом. «Почти» — потому что разделы, посвященные современной Англии, особенно ее послевоенной истории, и по стилю изложения, и по мысли, к сожалению, значительно беднее предыдущих. С интересом читается лишь раздел «Английская культура 20-х годов». Но здесь автор изменил себе: культуру этого периода он рассматривает отдельно от общего исторического процесса, вследствие чего вместо целостной картины мы видим лишь ее отдельные куски. Впечатление такое, будто автор, проделав трудный, но увлекательный путь, у самого его конца почувствовал утомление.

Тем не менее книга представляет собой хороший образец научно-популярного жанра, и круг людей, который мог бы прочесть ее с интересом и пользой для себя, вряд ли ограничен преподавателями и студентами, изучающими иностранные языки, для которой она формально предназначена.

**А. Некрич,**  
доктор исторических наук.

★

**Н. ПАХОМОВ.** Музей «Абрамцево». Альбом. «Советский художник». М. 1968. 93 стр.

Жителям столицы хорошо знакома эта усадьба, расположенная в пятидесяти семи километрах от Москвы, на берегу речки Вори, среди смиренной красоты природы северного Подмосковья. Деревянный одно-

этажный дом с мезонином не связан с именем какого-либо прославленного зодчего, и внутреннее убранство не поражает роскошью — тут нет ни мраморов, ни золоченой бронзы, ни яшмовых ваз.

Привлекательность Абрамцева в ином: место это связано с памятью о славных именах русской литературы и искусства. В сороковых — шестидесяти годах прошлого века усадьба принадлежала Аксаковым. Здесь были написаны «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», здесь кипели литературные и философские споры между славянофилами и западниками. Сюда приезжали в гости М. С. Щепкин, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, И. С. Тургенев, М. Н. Загоскин. Н. В. Гоголь, не однажды гостивший в Абрамцеве, летом 1849 года в гостинной среди обитателей абрамцевского дома читал первую главу из второго тома «Мертвых душ». В те времена, когда светская публика венчала славой «великого» Нестора Кукольника и принимала всерьез литературное творчество «сиамских близнецов» — Булгарина и Греча, в семье Аксаковых существовал благоговейный культ Гоголя, здесь понимали значение и ценность его творений. Любили и почитали, но и судили по праву дружбы строже всех. Прочитав «Избранные места из переписки с друзьями», С. Т. Аксаков написал автору откровенное письмо, полное горькой правды: «О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края... Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества...»

Второй расцвет Абрамцева связан с именем Саввы Ивановича Мамонтова, который приобрел имение Аксаковых в 1870 году. Савва Мамонтов, человек разносторонне одаренный, оставил свою деятельностью яркий след в разных областях русского искусства. Это редчайший случай, когда меценат не только материально поддерживает художников, но является сам стимулятором их творчества. Он не был, в сущности, коллекционером, как Третьяков, как Цветков, как Бахрушин, как Морозов, как Ицукин. Он любил чувствовать около себя творческую атмосферу и сам был неистовым выдумки. Живой, кипучий, увлекающийся, он мог позволить себе широкие и бескорыстные жесты, оплатив Врубелью забракованные казенным жюри на нижегородской выставке два панно художника и построив для их обозрения особый павильон, или «выкупить» молодого Шалапина с казенной сцены, уплатив за него крупную неустойку.

Среди активных деятелей абрамцевского художественного кружка мы находим имена Репина, Поленова, Васнецова, Острохова, Нестерова, Врубеля, Серова, причем для многих художников Абрамцево не только усадьба гостеприимного хозяина, но и важная веха в их творческой биографии.

Об этих двух расцветах Абрамцева рассказывает нам живо и интересно неболь-

шая книжка, выпущенная издательством «Советский художник» в качестве путеводителя по музею-усадьбе. В книге много иллюстраций, частью цветных, очень недурно выполненных.

Хочется надеяться, что это лишь первая заявка на тему. Автор книги — Н. П. Пахомов, в течение многих лет бывший директором Абрамцева, — и сам положил немало труда на поиски и соби́рание памятных

вещей для экспозиции музея. Читая книгу, чувствуешь, что у автора в запасе вдесятеро больше сведений и фактов, которые могли бы быть им использованы в капитальном монографическом исследовании об Абрамцеве.

Н. Кузьмин,  
член-корреспондент Академии  
художеств СССР.

## ОТ РЕДАКЦИИ

Когда этот номер «Нового мира» был уже сверстан, в журнале «Огонек» (№ 30, 1969) появилось «Письмо в редакцию», подписанное литераторами: Михаилом Алексеевым, Сергеем Викуловым, Сергеем Ворониным, Виталием Закруткиным, Анатолием Ивановым, Сергеем Малашкиным, Александром Прокофьевым, Петром Проскуриным, Сергеем Смирновым<sup>1</sup>, Владимиром Чивилихиным, Николаем Шундиком. В этом письме одиннадцать литераторов защищают В. Чалмаева и журнал «Молодая гвардия» от той критики, которой они подверглись в статье А. Дементьева «О традициях и народности» («Новый мир», № 4, 1969).

Однако названные авторы, как это явствует из их письма, ставят, по-видимому, себе и более широкую задачу. Недаром «Письмо в редакцию» снабжено широковегательным заголовком «Против чего выступает «Новый мир»?». И одиннадцать литераторов на страницах «Огонька», не утруждая себя подробным рассмотрением положений статьи А. Дементьева, со всей решимостью пытаются ответить на риторический вопрос заглавия в том смысле, что «Новый мир» выступает против патристической темы в литературе, против любви к Родине, к деревне, к самой русской природе, к святыням русской старины и, наконец, против дружбы и братства народов СССР.

Такой поворот разговора, грубая демагогия и развязный тон «письма одиннадцати» исключают возможность спора по существу. Мы уверены, что читатели, сопоставив текст коллективного письма с текстом статьи А. Дементьева, сами по достоинству смогут оценить приемы полемики, к каким прибегли одиннадцать литераторов.

Не желая участвовать в журнальной перебранке такого рода, способной лишь скомпрометировать литературное дело в глазах читателей, мы не можем все же не обратить внимание на самый характер инсинуаций, нашедших себе место в массовом иллюстрированном журнале с двухмиллионным тиражом.

Редакция «Нового мира» отнюдь не считает свою работу лишенной недостатков, готова прислушаться к любой, самой строгой товарищеской критике, но решительно отменяет попытки опорочить один из старейших советских журналов, попытки, граничащие с политической дискриминацией.

Человеку, глубоко и искренне любящему свою Родину, нет нужды, будто оправдываясь в чем-то, твердить о любви к родным березкам, поминутно присягать «народному духу», взывать к теням предков. Нет нужды и журналу, только в последнее время напечатавшему на своих страницах произведения Федора Абрамова, Сергея Залыгина, Михаила Исаковского, Ефима Дороша, Чингиза Айтматова, Васи́ля Быкова, Бориса Можаева, Васи́лия Белова, Расула Гамзатова,

<sup>1</sup> Поэт, однофамилец лауреата Ленинской премии публициста С. С. Смирнова.

уверять читателя в своем советском патриотизме, в любви к своей земле, к трудовому народу, в пролетарском интернационализме.

Что же касается собственно статьи А. Дементьева, то авторы «Огонька» делают вид, что им попросту не известны выступления других органов советской печати («Коммунист», «Вопросы литературы», «Литературная газета», «Литературная Россия» и др.) с критикой идей В. Чалмаева, проповедуемых им со страниц «Молодой гвардии». Статья А. Дементьева в «Новом мире», опираясь на известные положения Ленина о двух культурах в каждой национальной культуре, о национальной гордости великороссов и вреде всякой национальной исключительности, лишь более подробно аргументировала опасность реакционных, националистических, неославянофильских тенденций, проявившихся, помимо статьи В. Чалмаева, и в ряде других выступлений «Молодой гвардии». Это, как видно, особенно и задело литераторов, подписавших коллективное письмо в «Огоньке», — ведь среди них два члена редколлегии «Молодой гвардии» и несколько ближайших сотрудников этого журнала. Не очевиден ли здесь привкус групповых страстей, особенно яростных в самозащите? Авторы коллективного письма нашли, вероятно, случай удобным, чтобы под шум негодующих криков о статье А. Дементьева защитить В. Чалмаева и представляемый им род идей заодно и от всех других его оппонентов, осторожно названных в «Огоньке» «некоторыми критиками».

Выбрав статью А. Дементьева поводом для аляповато состряпанных обвинений против «Нового мира» в целом, одиннадцать литераторов указали и на то, что журнал неприемлем для них «особенно в отделе критики». Это не должно удивлять читателя. Дело в том, что большая часть авторов, подписавших письмо, в различное время подвергалась весьма серьезной критике на страницах «Нового мира» за идейно-художественную невзыскательность, слабое знание жизни, дурной вкус, несамостоятельность письма. Читателю, который специально интересуется этим вопросом, мы можем указать, в частности, на рецензии и статьи о романе В. Закруткина «Сотворение мира» («Новый мир», № 11, 1958, и № 2, 1968), о романе Н. Шундика «Родник у березы» («Новый мир», № 9, 1959, и № 4, 1960), о повестях М. Алексеева «Хлеб — имя существительное» и «Повесть о моих друзьях-непоседах» («Новый мир», № 1, 1965, и № 1, 1966), о поэме Сергея Смирнова «Свидетельствую сам» («Новый мир», № 12, 1968), о повести В. Чивилихина «Елки-моталки» («Новый мир», № 7, 1965).

Таким образом, не должно показаться странным, что отдел критики «Нового мира» не пришелся по сердцу авторам письма. Мы не станем, конечно, утверждать, что появление «письма одиннадцати» связано лишь с такого рода мотивами. Допускаем и то, что иные из подписавших письмо сделали это по добросовестному заблуждению или недостаточно взвесив серьезность такого шага.

Однако объективно авторы письма поставили себя в неловкое положение, выступая как бы от лица всей советской литературы и едва ли не от лица самой России. Странная и неуместная претензия! Советский патриотизм, любовь к Родине не может быть привилегией какой-то одной узкой группы литераторов, и в конечном счете только народным признанием и долговечностью наших книг, стихов и статей может быть измерена реальная, а не показная любовь писателя к родной стране.

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** За укрепление сплоченности коммунистов, за новый подъем антиимпериалистической борьбы. Выступление главы делегации КПСС Генерального секретаря ЦК КПСС на международном Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве 7 июня 1969 г. 64 стр. Цена 6 к.

**Документы международного Совещания коммунистических и рабочих партий.** Москва. 5—17 июня 1969 г. 64 стр. Цена 7 к.

**Задачи борьбы против империализма на современном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил.** Принято международным Совещанием коммунистических и рабочих партий в Москве 17 июня 1969 г. 47 стр. Цена 5 к.

**Научный коммунизм.** Словарь. Под редакцией А. М. Румянцев. 368 стр. Цена 1 р. 4 к.

### «МЫСЛЬ»

**М. Алтайский, В. Георгиев.** Антимарксистская сущность философских взглядов Мао Цзэ-дуна. 141 стр. Цена 21 к.

**Е. Богуш.** Маоизм и политика раскола в национально-освободительном движении. 120 стр. Цена 17 к.

**Борьба партии большевиков против троцкизма в послеоктябрьский период.** Коллектив авторов. 294 стр. Цена 1 р.

### «ЭКОНОМИКА»

**И. Батухтин.** Анализ труда и заработной платы на предприятии. 322 стр. Цена 74 к.

**А. Калныньш.** Экономическое стимулирование сельскохозяйственного производства. 167 стр. Цена 52 к.

**Т. Коцюба.** Гарантированная оплата и закон распределения по труду в колхозах. 184 стр. Цена 58 к.

**Л. Ринга.** Экономическая эффективность научно-технического прогресса. Перевод с чешского 310 стр. Цена 1 р. 61 к.

**А. Рубин.** Организация управления промышленностью в СССР (1917—1967 гг.) 236 стр. Цена 87 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ф. Алиева.** Закон гор. Стихи и поэмы. Перевод с аварского. 136 стр. Цена 55 к.

**А. Барто.** Найти человека. 295 стр. Цена 48 к.

**Я. Белинский.** Талант любить. Книга стихов. 134 стр. Цена 41 к.

**В. Британишский.** Местность прошлого лета. Повесть. 349 стр. Цена 64 к.

**Воспоминания об А. С. Новикове-Прибое.** Составитель М. Л. Новикова. 328 стр. Цена 75 к.

**И. Гринберг.** Точка опоры. Труд Художник. Литература. Сборник статей. 336 стр. Цена 91 к.

**Д. Дар.** Баллада о человеке и его крыльях. Повесть о Константине Циолковском. 248 стр. Цена 48 к.

**В. Панова.** Повести. 352 стр. Цена 76 к.  
**А. Прокофьев.** Прощание с Приморьем. Стихи. 190 стр. Цена 68 к.

**М. Рыльский.** Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта»). 692 стр. Цена 3 р. 31 к.

**А. Сааянц.** Иосиф Уткин. Очерк жизни и творчества. 181 стр. Цена 28 к.

**В. Солоухин.** Кукушкин сын. Повести и рассказы. 239 стр. Цена 40 к.

**В. Титов.** Всем смертям назло... Повесть. 168 стр. Цена 21 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Андалусская поэзия.** Перевод с арабского. Составление, подстрочный перевод и предисловие Б. Шидфар. 239 стр. Цена 35 к.

**Г. Гулна.** Избранные произведения. В 2-х томах. Т. I. Друзья из Сакена. Трилогия.—Каштановый дом. Скурча. Уютная. Повести. 638 стр. Цена 1 р. 29 к.

**Р. Гюнтекин.** Клеймо.— Листопад.— Мельница. Романы. Перевод с турецкого. Предисловие Алима Кешокова. 416 стр. Цена 80 к.

**Ф. Лорна.** Лирика. Перевод с испанского. 159 стр. Цена 1 р. 68 к.

**И. Лу-Юхансон.** Только мать. Перевод со шведского. 464 стр. Цена 1 р. 48 к.

**А. Маршалл.** Я умею прыгать через лужи.— Это трава.— В сердце моем. Перевод с английского О. Кругерской и В. Рубина. Предисловие В. Полевого. 655 стр. Цена 2 р.

**Г. Мусрепов.** Солдат из Казахстана. Повесть. Перевод с казахского С. Злобина. Вступительная статья З. Крахмальниковой. 240 стр. Цена 36 к.

**Ю. Палецнис.** На жизненном пути. Стихотворения. Перевод с литовского. Вступительная статья Л. Озерова. 200 стр. Цена 72 к.

**Повелитель демонов ночи.** Старинная вьетнамская проза. Перевод с вьетнамского. 256 стр. Цена 29 к.

**О. Сарывелли.** Мой век. Избранные стихи. Перевод с азербайджанского. 167 стр. Цена 50 к.

**М. Слуцис.** Лестница в небо. Роман. Перевод с литовского З. Кутюрги. Вступительная статья А. Бучиса. 279 стр. Цена 66 к.

**С. Стальский.** Избранное. Перевод с лезгинского. Вступительная статья Л. Климовича. 239 стр. Цена 68 к.

**Б. Сучков.** Лики времени. Ф. Кафка. С. Цвейг. Г. Фаллада. Л. Фейхтвангер. Т. Манн. 445 стр. Цена 1 р. 23 к.

**О. Туманян.** Лирика. Перевод с армянского. Составитель С. Хитарова. Вступительная статья С. Шервинского. 214 стр. Цена 34 к.

**И. Эйхендорф.** Стихотворения. Перевод с немецкого. 224 стр. Цена 30 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Р. Казанова.** Елки зеленые. Книга стихов. 176 стр. Цена 53 к.

**Н. Кальма.** Нет слова «невозможно». 368 стр. Цена 81 к.

**В. Песков.** Путешествие с молодым месяцем. Фотографии, обложка и оформление автора. 415 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «ИСКУССТВО»

**Н. Берковский.** Литература и театр. Статьи разных лет. 638 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Марне М. Альбер Марке.** Перевод с французского и послесловие А. Н. Замятиной. 136 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Октябрь и мировое кино.** Сборник статей. Вступительная статья А. Караганова. 395 стр. Цена 1 р. 87 к.

**Е. Яновлев.** Эстетическое сознание, искусство и религия. 175 стр. Цена 70 к.

## «НАУКА»

**Ю. Андреев.** Революция и литература. Отображение Октября и гражданской войны в русской советской литературе и становление социалистического реализма (20—30 гг.) 430 стр. Цена 1 р. 72 к.

**Источниковедение.** Теоретические и методические проблемы. 511 стр. Цена 2 р. 23 к.

**Проблемы типологии русского реализма.** 474 стр. Цена 2 р. 2 к.

**Ж.-Ж. Руссо.** Трактаты. Перевод с французского («Литературные памятники»). 703 стр. Цена 3 р. 30 к.

**XVII век в мировом литературном развитии.** Сборник статей. 502 стр. Цена 2 р. 39 к.

**Художественная форма в литературах социалистических стран.** Очерки. 391 стр. Цена 1 р. 82 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**М. Пришвин.** О творческом поведении. 160 стр. Цена 21 к.

**Революция, герой, литература.** Сборник критических статей. 384 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Л. Рогачевский.** Добрая услуга. Книга о работниках сферы обслуживания. 80 стр. Цена 12 к.

**В. Рыдник.** Атомы разговаривают с людьми. 206 стр. Цена 60 к.

**А. Твардовский.** Поэзия Михаила Исаковского. 96 стр. Цена 12 к.

## «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Ю. Басин.** Материальная ответственность предприятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств. 88 стр. Цена 16 к.

**Гражданскоправовая охрана интересов личности.** 256 стр. Цена 95 к.

**Н. Полянский.** Уголовное право и уголовный суд Англии. 400 стр. Цена 1 р. 31 к.

## «ПРОГРЕСС»

**К. Кульчар, З. Петери.** Критика современной буржуазной теории права. Перевод с венгерского. 286 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Г. Менде.** Мировая литература и философия. Перевод с немецкого. 174 стр. Цена 68 к.

**Ж.-П. Шаброль.** Бунтари. Роман. Перевод с французского. 367 стр. Цена 1 р. 19 к.

## «МИР»

**А. Азимов.** Вселенная. От плоской Земли до квазаров. Перевод с английского. 349 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Е. Жулавский.** На серебряной планете. Рукопись с Луны. Перевод с польского. 368 стр. Цена 79 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**В. Коношев.** Рано перед зорями. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 470 стр. Цена 89 к.

**И. Лавров.** Зарубки на сердце. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 359 стр. Цена 75 к.

**Н. Полякова.** Полдень. Стихи. Ленинград. Лениздат. 112 стр. Цена 33 к.

**Н. Север.** Ярославская Мельпомена. Повести. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 269 стр. Цена 57 к.

**Слово о литературе.** Сборник статей. Махачкала. Дагкнигоиздат. 121 стр. Цена 18 к.

**О. Фокина.** Стихи. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 159 стр. Цена 70 к.

**Г. Чиновани.** Радость одной ночи. Одишские рассказы. Перевод с грузинского. Предисловие В. Солушкина. Тбилиси «Мерани». 250 стр. Цена 48 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва. К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/V 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 25.VII—4.VIII 1969 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup> мм. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 06079. Заказ 1902. Тираж 125 550 экз

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636